ISSN 0130 – 6545

2. 1987

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Школа Киото. «Рыбак с бакланом».

*Цветные иллюстрации номера — старинные японские нэцкэ.*

На 1-й и 4-й страницах обложки —
ТАНАКА МИНКО. «Коза».
КОКЭЙ. «Барсук-оборотень».

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

**2** *февраль*

*1987*


## *Содержание*


МАКС ФРИШ — Стенограмма одного несчастья *(Перевод с немецкого Е. Кацевой)* 3

**Из японской поэзии**

СЮНТАРО ТАНИКАВА. ЮКИО ЦУДЗИ *(Вступление и перевод с японского А. Долина)* 14

ВЛАДИМИР ГОЛЕВ — Все сначала *(Фрагменты романа. Перевод с болгарского Л. Дмитриевой)* 22

РИФААТ АС-САИД — Комната на втором этаже *(Повесть. Перевод с арабского Д. Фролова)* 70

ГРЭМ ГРИН — Сила и слава *(Роман. Окончание. Перевод с английского Н. Волжиной. Послесловие С. Аверинцева)* 94

**Литературное наследие**

ГУСТАВ ФРЁДИНГ — Стихи *(Вступление К. Мурадян. Перевод со шведского Т. Бек, К. Мурадян)* 169

**Публицистика**

ЛОУРЕНС ПИТЕР — Почему дела идут вкривь и вкось, или Еще раз о Принципе Питера *(Фрагменты книги. Окончание. Перевод с английского Л. В. Степанова. Послесловие Е. Амбарцумова)* 175

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ — Люди и книги *(Вступление и перевод с польского Н. Подольской)* 194

## Заметки писателя

САВВА ДАНГУЛОВ — Дорога, которую торил Лу Синь *(Дневник одного путешествия)* 205

## Критика

**Арабская проза наших дней**

В. КИРПИЧЕНКО — Наследие и поиски нового 215

АТ-ТАЙИБ САЛИХ — «Выражать сложные идеи, рисуя образы простых людей» *(Вступление, перевод с арабского и комментарии Л. Степанова)* 222

## Наши публикации

**К 175-летию со дня рождения Чарльза Диккенса**

ТОМАС АДОЛЬФУС ТРОЛЛОП — Что я помню *(Глава из книги. Вступление, перевод с английского и примечания М. Тугушевой)* 226

## Наши гости

ФЕРИДУН ТОНКАБОНИ (Иран)—Беседу записал Дж. Доррн 233

## Антирубрика

БРАЙАН ФОСЕТТ — Моя карьера в «Торонто мейпл ливз» *(Рассказ. Перевод с английского М. Загота)* 235

**К нашим иллюстрациям**

Г. Чхартишвили — Нэцкэ 243

## Среди книг

**Издано в СССР**

Н. Анастасьев — Что на знаменах? *(«Называть вещи своими именами: программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX в.»)* ✦ Вик. Ерофеев — Природа жизнебоязни *(Мари-Луиза Омон. Губка. Дорога)* 244

**Издано за рубежом**

В. Никитин — Актуальность прошлого *(Жиль Лапуж. Вагрансная битва)* ✦ А. Шишкин — На пределе вымысла *(Том Шарп. Уилт на пределе)* 248

**Советская литература за рубежом** 193, 242

## Из месяца в месяц 251


© «Иностранная литература», 1987.

# МАКС ФРИШ

## *Стенограмма одного несчастья*

■

*Перевод с немецкого Е. КАЦЕВОЙ*

Преимущественное право проезда было у него, стало быть — он невиновен. Грузовик с прицепом въехал на дорогу слева вблизи Монпелье. Был полдень, светило солнце, машин было мало.

• • •

Она — коротко стриженная блондинка, фиолетовые ультрасовременные очки, на брюках — широкий пояс с металлической пряжкой. Ей тридцать пять лет, она из Базеля, остроумна. Знакомы они уже год.

• • •

Ее вопрос: «Может быть, теперь поведу я?» — не последние слова перед аварией (как ему, вероятно, потом будет казаться); этот вопрос она часто задавала во время поездки.

• • •

В Авиньоне, в ванной, где он заперся, хотя она уже спала, он решает: так больше невозможно! Он скажет ей за завтраком (не ссорясь): вернемся! Так будет разумнее.

• • •

Они познакомились в городской больнице. Он врач, которому она, так сказать, обязана жизнью; ради него она развелась с мужем.

Ночи у больничной койки, за которыми последовали осмотры готики или романского стиля; каждый день как экзамен: раз ты в Авиньоне, подавай историю пап. Она настырно расспрашивает о том, чего он не знает или знает только приблизительно, и он теряет веру в себя. Если ее действительно интересует, почему папа римский в XIV веке эмигрировал в Авиньон, можно ведь справиться в путеводителе. Но дело не в папах. Потом в постели она возвращает ему веру в себя.

• • •

Он холостяк.

---

**МАКС ФРИШ — MAX FRISCH** (род. в 1911 г.)

Швейцарский писатель, драматург. «Иностранная литература» познакомила читателей с творчеством Макса Фриша — драматурга и романиста, опубликовав его пьесу «Бидерман и поджигатели» (1965, № 5), романы «Homo Faber» (1966, № 4), «Назову себя Гантенбайн» (1975, № 4—6), повести «Человек появляется в эпоху голоцена» (1981, № 1), «Синяя Борода» (1982, № 11). На русский язык переведены также роман «Штиллер», повесть «Монток».

Рассказ «Стенограмма одного несчастья» взят из книги «Дневник 1966—1971» («Skizze eines Unglücks. Tagebuch 1966—1971». Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1972).

• • •

Поездку она считает удачной. Об этом она твердит от самой Генуи, где дождь лил не переставая. Потом погода улучшилась. Она говорит: «Ты совсем не смотришь на окрестности!» В особенном восторге она от Прованса; порой она даже поет в машине.

• • •

У него лысина, он знает.

• • •

Он соглашается: Экс-ан-Прованс — это, конечно, красиво, даже очень. Но она ему не верит, потому что смотрит он не туда, куда, по ее мнению, следует смотреть.

• • •

Название городка не Кавийон, а Кавайон, знаменитые спаржевые плантации. Кстати, об этом она сказала ему еще вчера. Она права. Городок действительно называется Кавайон, вскоре они видят указатель: Кавайон. Он молчит, затем едет на красный свет.

• • •

Гостиничный номер с грандиозным ложем, на котором она потом читает газету — «Фигаро литтерер», в этом, они оба знают, он не разбирается. Она специалист по романской филологии, д-р фил.

• • •

В Ницце они ужинают с друзьями; приятный вечер, но потом она заявляет, что весь ужин (Bouillabaisse[1]) он говорил только о еде. Близкому человеку ведь можно сделать такое замечание. Он решает впредь не заикаться о еде и, впадая в другую крайность, демонстративно молчит, когда Марлис за обедом говорит о еде, как это обычно принято, в особенности во Франции.

• • •

Это не первое их путешествие. Раньше у него хватало юмора, он всегда подшучивал над тем, что она восхищается им как врачом. После ее выздоровления их первым путешествием была поездка в Эльзас.

• • •

Он никогда еще не попадал в серьезную аварию, тем не менее он был бы рад, если бы Марлис пристегнула ремень. Она этого не делает, так как боится, что он будет ехать с еще большей скоростью. Он заверяет, что будет ехать как обещал. И делает это. От Канна. Но если он замечает, что она, хотя и молчит, все равно поглядывает на спидометр, у него пропадает охота что-либо рассказывать. Он понимает, что скучен.

• • •

В Авиньоне, выйдя из ванной, он сказал: «Я жду внизу». Что случилось? Она в самом деле не знает. Может быть, он переутомился.

• • •

Она восхищается умными людьми, в особенности мужчинами, потому что считает мужчин умнее женщин. Говоря о ком-нибудь, она замечает: «Он умен». Или: «Умным его не назовешь». Притом она ни одному человеку не дает понять, что не находит его умным. Если в обществе она высказывается умнее, чем Виктор, она огорчается и считает это огорчение еще одним свидетельством своей любви.

---

[1] Рыбная похлебка с чесноком и пряностями, распространенное блюдо на юге Франции *(франц.)*.

. . .

Жениться он не собирается.

. . .

«Теперь ты едешь со скоростью 140!» Он ожидал, что она это скажет. «Не кричи на меня, пожалуйста!» Во-первых, он не кричит, а только говорит, что ожидал ее замечания. Она ведь вечно смотрит на спидометр. Во-вторых, как показывает спидометр, он едет со скоростью ровно 140. Это-то она и говорит. Вчера он ехал со скоростью 160 (на автостраде между Канном и Сен-Рафаэлем), один раз даже 180, тогда у Марлис слетела косынка с головы. И они договорились: максимум 140. Теперь она говорит: слишком быстро. Хотя их обгоняет любой «фольксваген». Она говорит: «Я попросту боюсь». Он пытается пошутить: «Вчера максимум 140, сегодня максимум 120, таким образом у Бильбао максимум будет 30». «Прошу тебя!» Ему самому шутка кажется глупой, но он не хотел бы, чтобы Марлис сочла его шутку глупой. Она больше не поет, он больше никого не обгоняет, они молчат.

. . .

Ее муж, первый, был (есть) химик.

. . .

В Марселе она не купила туфли потому, что, ожидая ее, он потерял терпение; она не сердится, только говорит, что туфли ей жмут, а в Арле, где он проявил терпение, подходящих для нее туфель не было.

. . .

Вообще-то он охотнее завтракал бы один. Он не понимает, в чем, собственно, дело. Он ведь не знает женщины, которую мог бы охотнее ждать к завтраку, чем Марлис. Это ей известно.

. . .

Насколько умна Марлис?

. . .

Он понимает, что дело в нем.

. . .

Кажется, просыпаясь, он уже предчувствовал, что день закончится катастрофой; выходит, под платанами Авиньона он уже просто знал это.

. . .

Она по-детски радуется покупкам; даже если ей ничего не нужно, она останавливается перед витринами, прерывая разговор. Правда, другие женщины вели себя примерно так же.

. . .

Он сын железнодорожника, родился в Куре, закончил институт с отличием, вскоре должен стать старшим врачом.

. . .

Знаменитое место, где собираются цыгане, называется не Saintes Maries sur Mer, а Saintes Maries de la Mer. Она не говорит ему этого. Она даже не произносит названия, чтобы не поправлять Виктора, может быть он сам заметит.

. . .

Она называет его Вик.

. . .

Она не хочет в чем-либо превосходить его, мужчины этого не выносят, тем более Виктор; он хирург, стало быть, привык, что лю-

ди полагаются на него; Марлис в свое время тоже полагалась на него.

• • •

У Марлис привычка повторять: «Ты уверен?» Она интересуется, не гомосексуалист ли К., их общий знакомый в Базеле; стоит ему высказать свое мнение, как Марлис тут же спрашивает: «Ты уверен?»

• • •

В Авиньоне, ожидая ее под платанами, он вдруг чувствует себя как прежде, когда у него еще было чувство юмора. Все ему кажется скверным сном. Солнце в платанах, ветер, вероятно мистраль. Может, сегодня будет лучше. Нет, он не предложит вернуться домой. В сущности, это смешно. Он сидит под платанами за круглым столиком и изучает Guide Michelin [1], чтобы узнать, как лучше ехать до Монпелье.

• • •

Ему 42 года.

• • •

Однажды, студентом, Виктор провел в Провансе неделю. Когда они подъезжают к Арлю и Марлис зачитывает из Guide Michelin сведения о диаметре арены, количестве мест, высоте фасада, времени сооружения и т. д., он говорит, что знает арльскую арену. Она читает по-французски. Книга написана по-французски, Марлис не виновата, что он, слыша французский, всегда чувствует себя как на экзамене, хотя язык он понимает. Читая путеводитель, она не смотрит на спидометр. Тогда, студентом, он был здесь с девушкой из Гамбурга; от всего этого осталось воспоминание о том, как они сидели наверху на венце стены, и очень точное воспоминание об этой арене в Арле. Он описывает ее. Славный вечер в Арле, Виктор рассказывает больше и оживленнее, чем обычно. Ей нравится, когда он вот так рассказывает. Они пьют вино (чего он обычно, когда ходит на работу, не делает). На следующее утро они осматривают арену в Арле — он убеждается, что описывал арену в Ниме, чего Марлис не замечает, зато он замечает.

• • •

Она стройна. У нее крупные зубы и полные приоткрытые губы, поэтому зубы видны даже тогда, когда она не смеется. Тот, кто говорит ей, что она красива, успеха у нее не имеет; но она не жалеет сил, чтобы быть красивой в глазах мужчины, считающего ее умной.

• • •

Спустя час после того, как они покинули Арль, он признается, что спутал арену в Арле с ареной в Ниме.

• • •

Она знает, что Виктор ждет. Но считает, что время еще есть. Почему он всегда выходит раньше. Вот и приходится ему ждать. Она не может собраться быстрее. Всегда одно и то же. Сидя под платанами за круглым столиком, он сам себе признается: дело в нем, он всегда выходит раньше. Она права: он ведь может наслаждаться Авиньоном. И он делает это. Солнце в платанах. Увидев, что Марлис снова остановилась у витрины и не может оторваться, хотя знает, что Виктор ждет, он решает: потерплю. Она говорит, что, видно, и в Авиньоне не сможет подобрать себе туфли. Потом: что она слишком легко одета. Будет ли в Испании теплее? Он полагает, что будет, но не говорит этого, чтобы не ошибиться,— а вдруг они все-таки попа-

[1] Путеводитель *(франц.)*.

дут в Испанию. Говорит же он, напротив, следующее: «Хочешь бриош?» — а предлагает рожок. Он успевает это заметить, но не поправляет себя, так как вопрос она все равно не расслышала. Он теперь замечает любую совершаемую им ошибку. Так ему кажется. При этом он, к примеру, не замечает, что она ждет, чтобы он поднес огонь к ее сигарете. «Извини!» — говорит он и подносит огонь. «Извини». Повторение излишне.

• • •

В Базеле она живет не у своего мужа, но и не у Вика; это, как известно, чревато осложнениями при разводе.

• • •

Как он смотрит на нее, щелкнув зажигалкой: не зло, а безразлично, так смотрят на предмет. Она спрашивает, разве ему не нравится ее цепочка? Он вдруг зовет: «Гарсон!» Когда он рукой касается ее щеки, неясно, что означает его жест. Гарсон, всего лишь в пяти шагах от них протирающий столик, к сожалению, не подходит. Жест Вика сбил ее с толку. Он полон решимости быть бодрым и раскованным. Он говорит: «Прекрасная погода!» Она спрашивает: «Ты все еще не расплатился?» Это не упрек. Он стучит монеткой по столу, тогда Марлис зовет: «Гарсон!». Теперь он подходит. Его не должно раздражать то, что, пока он расплачивается, она подробно расспрашивает гарсона, как ехать в Монпелье; не может ведь Марлис знать, что он уже внимательно изучил карту. Когда гарсон исчез наконец, она спрашивает: «Ты понял?»

• • •

Чего он боится?

• • •

Однажды (не во время этой поездки) она полушутя сказала: «Ты уже не мой хирург, Вик, с этим тебе придется свыкнуться».

• • •

В гараже, наедине с мойщиком машины, он говорит «бензин» вместо «масла»; не важно, что Марлис здесь нет. Он получает то, что требуется.

• • •

В Базеле все по-другому.

• • •

Единственный раз за время путешествия, в Канне, она сказала: «Идиот!» — потому что вопреки ее предупреждению он въехал на дорогу с односторонним движением. Почему это так задело Виктора? Потом он ждет следующей оценки.

• • •

Она радуется поездке в Испанию.

• • •

В конце концов, она филолог-романист; и если она иногда поправляет его французский, Виктору следует быть только благодарным.

• • •

В Авиньоне, пока она делает кое-какие покупки, он ждет в машине с открытым верхом, курит. У них есть время. Отпуск. Он курит, решает быть внимательным. Когда она наконец возвращается, он встречает ее, как кавалер, выходит из машины, открывает перед нею дверцу и говорит: «Я нашел твои очки. Они лежали под сиденьем». Марлис говорит: «Вот видишь!» — словно это он потерял ее сол-

нечные очки, вторые в этой поездке. Марлис хотела купить другую пилочку для ногтей, но не нашла; зато купила босоножки, которые он находит забавными. Почему у нее плохое настроение? Ей всегда кажется, что Виктор вот-вот потеряет терпение. Как в Марселе. У нее полчемодана обуви, и он не понимает, почему с Марселя она все время носит только те туфли, что жмут. В его предложении поехать еще раз через Марсель вовсе нет иронии, но она этому не верит. Теперь у обоих плохое настроение.

• • •

Жаль, что ночи у больничной койки уже в прошлом.

• • •

То, что Манча находится не на севере от Мадрида, как утверждала Марлис, знает всякий; тем не менее он еще раз заглянул в карту до того, как она вышла к завтраку. Не затем, чтобы сказать об этом! Просто для собственной уверенности.

• • •

После его твердого обещания не мчаться они едут с открытым верхом. Все же есть разница — сидишь ты за рулем или рядом. В самом деле смешно, что он уже вообще никого не обгоняет (как между Канном и Сен-Рафаэлем), а тащится позади любого грузовика; позднее он сам считает, что был невыносим.

• • •

Он ненавидит свое имя: Виктор, но ему и не нравится, когда она называет его Виком, в особенности если это слышат люди за соседним столом.

• • •

Он считает, что Европа должна ввести и введет единую валюту; Марлис не сомневается, но выслушивает его доводы и ничего не отвечает. Почему он раздражается? То, что он ее не убедил,— еще не причина.

• • •

Она полностью выздоровела.

• • •

Когда она молчит, он сам себе ставит очередную оценку за поведение. Почему он сейчас говорит о спарже в Эльзасе (то есть опять о еде!), а не высматривает дорогу в Монпелье? Она надевает солнечные очки, говорит: «Здесь поворот на Лион! — и так как он молчит, добавляет: — Я думала, ты хочешь в Монпелье». Он опускает левую руку за окно машины, чтобы казаться непринужденным. Вскоре указатель: Toutes les Directions [1]. В Эльзасе, тогда, во время первого путешествия в начале их любви, она просто ему верила. Еще один указатель: Toutes les Directions. Он все еще не признает ошибки.

• • •

Когда он уверен, что сострил, она чаще всего не находит этого; зато бывает, что она смеется по поводу какой-либо его фразы, которая ему совсем не кажется смешной.

• • •

Она повязывает голову новой косынкой, которую купила вместо пилочки для ногтей; Виктор замечает косынку, лишь когда она спрашивает: «Тебе нравится?» Вдруг он говорит: «Ты права!» — словно она что-то сказала в ответ на его слова, что однажды он уже ездил без нее через пустыню из Багдада в Дамаск и добирался до цели. Вдруг он говорит: «В заднице, вот мы где!» Марлис удивлена, такие

[1] Движение разрешено во всех направлениях *(франц.)*.

выражения не в его манере. Он смеется, словно они стоят на знаменитом мосту в Авиньоне, который разламывается посредине; в действительности же они оказались перед воротами заводской территории, на которых табличка: «Passage interdit» [1]. Он включает задний ход, она говорит: «Не нервничай». Когда после целой серии ошибок по шуму движения Виктор нашел дорогу, которую нашел бы любой идиот, он все еще не сказал, нравится ему ее новая косынка или нет.

. . .

Она умна, это ясно и без доказательств.

. . .

Если бы он сейчас мог надеть свой белый больничный халат, все сразу же изменилось бы; представить бы себе, что он в белом больничном халате едет через Прованс в Испанию...

. . .

Почему он ни о чем не рассказывает?

. . .

Неверно, что он никогда еще не попадал в аварию. Но Марлис этого не знает, это было давно. Все обошлось. Он сам, так сказать, забыл о ней. Вспомнив теперь, он взглядывает сбоку на Марлис: он только что обогнал трейлер, и своим молчанием она будто напомнила о той аварии.

. . .

Что означает Plexus — сплетение? Он хирург, и было бы смешно, если бы он этого не знал. Тем не менее он ждет, что она скажет: «Ты уверен?» Но она молчит. Лишь когда Виктор говорит, что кратчайшая дорога — через Эг-Морт, она спрашивает: «Ты уверен?»

. . .

Марлис сидит в машине босиком, ее туфли жмут, но она об этом не говорит. Он сочувствует ей — а надо бы о чем-нибудь рассказывать.

. . .

Почему он кладет руку ей на колено?

. . .

В Антибе он наорал на нее, но не помнит, из-за чего. Потом он как будто извинился, бледный от ярости, не считая, что неправ: «Ну ладно! Прошу прощения!»

. . .

Собственно говоря, ведь все равно, называть плоский ландшафт, восхищающий Марлис, Провансом или Камарго. Почему он настаивает на Камарго? Возможно, он и прав.

. . .

Ни слова до Эг-Морта.

. . .

Вопреки ее предупреждению, которое он попросту пропустил мимо ушей, он действительно въезжает на маленькую стоянку. Без царапины и даже с ходу. Молча. В ста шагах — сплошь пустые стоянки, притом в тени. Но этого и Марлис не могла знать. Она и не говорит ничего.

---

[1] Проезд запрещен *(франц.)*.

. . .

Он в одиночестве пьет под платанами аперитив, пока она осматривает городок. Вдруг он чувствует себя как в отпуске. Этот свет под платанами, этот свет и т. д.

. . .

Он, Вик, никогда не считал, что она обязана ему жизнью. Операция была из тех, что, как правило, удаются. Вероятно, так считала она...

. . .

Здесь можно было бы остаться. Одиннадцать часов, обедать слишком рано. Тем не менее можно было бы здесь остаться. Старые крепостные стены не пропускают мистраль. Когда Марлис вернется, он преобразится: будет веселый, спокойный — ведь все дело в нем, только в нем.

. . .

Иногда ему хочется ребенка от нее.

. . .

Она не знает, почему Виктор устраивает такие сцены, как в Антибе. Сперва орет на нее, потом предлагает пойти в ресторан «Bonne Auberge»[1] с тремя звездочками. Она не верит в эти звезды. Он настаивает. Рассердившись, что его предложение не вызывает ее восторга, он предоставляет ей целый час шататься одной по Антибу. А что делает сам? Когда же они снова встречаются, опять идут бесконечные переговоры о том, где пообедать; она возражает: зачем эти «три звездочки», раз поблизости есть рестораны попроще, и т. д. Непохоже, чтобы там, куда он едет, были рестораны; когда она наконец спрашивает: «Ты уверен?»— он молча едет дальше, поворот, снова поворот, и тут возникает вывеска: «Bonne Auberge». Старший официант ведет их к столу на террасе, который господин самолично выбрал час назад. К сожалению, сейчас на прекрасной террасе слишком прохладно; внутри — кулисы, официантки в национальных костюмах, еда посредственная, хотя и дорогая, но все это не имеет значения. Марлис мила, несмотря на то что час назад он наорал на нее; ей его жалко.

. . .

Мистраль — так звали одного поэта, Виктор это знал. А ветер, тоже называемый мистралем, не с моря, как думает Марлис. Это так, между прочим. Права же она, что «Письма с моей мельницы» написал, конечно, Альфонс Доде, а не Мистраль, он читал их в школе. Это так, между прочим. Собственно говоря, она сказала лишь: «Мистраль — поэт, как ты знаешь».

. . .

У него «порше».

. . .

Под платанами Эг-Морта: он сунул руку в карман куртки, чтобы удостовериться, что не потерял свой паспорт. Виктор еще никогда его не терял. Как он испугался, не найдя в куртке паспорт, но тут же вспомнил: да он в машине, его паспорт. Он уверен, он точно помнит, что засунул паспорт в отделение для перчаток; но надо посмотреть. Он не уверен.

. . .

Если бы он осуществил свое решение, принятое в ванной: сегодня же вернуться домой,— они теперь были бы в Лионе, вечером в

[1] Славная корчма *(франц.)*.

Базеле; но здесь так прекрасно: этот свет под платанами, этот свет... Когда она вернется, он предложит: прогуляемся к морю.

. . .

Надо надеяться, она найдет себе туфли.

. . .

Под платанами Эг-Морта: за час до несчастья ему хочется черного кофе. Не слишком ли он усталый, чтобы вести машину? Он восхищается светом под платанами, этим светом... Голуби воркуют вокруг памятника Сен-Луи. Марлис хочет ехать дальше, она действительно не голодна, она не хочет и аперитива. Но Виктор считает, что у них есть время. Старик с тремя длинными французскими батонами под мышкой.

. . .

Испания — это была ее идея.

. . .

Он не кажется себе эгоистом. Он счастлив, когда думает, что может кого-нибудь осчастливить. Если это не удается, он отчаивается; он все принимает на свой счет.

. . .

Тот, кто видит их со стороны, ничего особенного не находит в том, что она читает «Провансаль», а он, вытянув свои длинные ноги на тротуаре, пьет кофе и ждет чуда — оно должно явиться сбоку, от воркующих голубей. Он готов был бы жениться. Дело в чувстве юмора. «Ты хочешь еще посидеть здесь?»— спрашивает она. «Извини! — говорит он.— Ведь это ты читаешь газету, не я». Звучит не так, как он хотел бы сказать, а к тому, что потом он несет сумку, кавалер по доброй воле, она привыкла. Стало быть, никакого чуда.

. . .

Это Виктор захотел осмотреть галерею вокруг монастырского двора. Романский стиль. Ей не хочется.

. . .

Они идут рука в руке.

. . .

Это Виктор впервые хочет повсюду останавливаться. Рынок с фруктами и овощами. Трогательно, что Виктор говорит: «Здесь есть обувь!» — хотя явно все еще не знает, чего она ищет.

. . .

Почему обязательно надо ехать в Испанию?

. . .

Он ждет в переулке, Марлис забыла свою косынку,— собственно, он не ждет Марлис. Что бы он делал, будь он один? Увидев, что она идет, что она снова остановилась у витрины, он покупает «Геральд трибюн» — узнать, что делается на свете. Подняв через некоторое время глаза от газеты, он видит: Марлис исчезла...

. . .

Обед туристов.

. . .

Позднее она сказала: «Извини». Она купила забавную кепку. «Нет,— смеется она,— для тебя!» У Марлис прекрасное настроение. Когда он отпирает машину, она спрашивает: «Может быть, теперь поведу я?» Поведет он. Почему всегда только он? Он настоятельно просит, чтобы она позволила ему сесть за руль. Теперь этого не объяс-

нишь. «Она тебе не нравится?» Имеется в виду пестрая кепка. Впервые он испытывает страх перед дорогой.

• • •

Она совсем ребенок.

• • •

Его паспорт оказался в отделении для перчаток.

• • •

«Ты забавно выглядишь!» Она надела на него пеструю кепку, чтобы он не был таким серьезным. Он удивляется, что Марлис пристегнула ремень. Без напоминания. Он не снимает кепку, когда включает мотор, глядя назад, чтобы ничего не задеть. Только бы теперь не допустить ошибки...

• • •

Значит, это вот и был Эг-Морт.

• • •

У нее есть сын, школьник; она училась в Париже; она в разводе; она взрослая женщина, не ребенок.

• • •

Кони в Камарго. Иногда она что-то говорит, иногда он. К счастью, машин на шоссе мало. Он пытается размышлять профессионально: когда человек мертв? Проблема трансплантаций сердца. Он ловит себя на том, что говорит: «Завтра надо заменить масло!»— вместо того чтобы сказать то, о чем думает. Он не осложняет себе дело.

• • •

Прежде, ребенком, она ездила верхом.

• • •

Он едет позади бельгийского жилого фургона не обгоняя; когда же наконец обгоняет, они на волоске от столкновения. Она ничего не говорит.

• • •

Пациенты ценят его: его спокойствие, его уверенность, его оптимизм и т. д.

• • •

Теперь пестрая кепка на ней. «Тебе все к лицу!»— говорит он, но смотрит на дорогу. Слушает ли он? Она читает вслух путеводитель, чтобы он заранее радовался пещерной живописи Алтамиры, чтобы не думал о замене масла, чтобы знал, зачем они едут в Алтамиру. Она хочет лада.

• • •

Ему всегда везет, по сравнению с другими людьми, в отношении здоровья, работы и вообще, не только как альпинисту (пик Буин)...

• • •

Она говорит: «Ты уже опять думаешь о еде!» Он вообще ни о чем не думает, лишь смотрит на дорогу; он только хотел что-то сказать, связанное с Монпелье, потому что увидел указатель: «Монпелье, 12 км». Лучше бы он ничего не говорил.

• • •

Виктор отделался легкими травмами, резаными ранами на виске, но он не помнит грузовик с прицепом. Она умерла по пути в больницу Монпелье. Он не помнит даже дороги, где это произошло, где теперь между платанами лежит опрокинутый прицеп; при осмотре места происшествия ему кажется, что он впервые на этом перекрестке,

здесь его допрашивают (по-французски) и сообщают ему, что он имел преимущественное право проезда, стало быть невиновен.

. . .

Позднее он становится старшим врачом.

. . .

Целое десятилетие он не говорит о несчастье вблизи Монпелье; он не знает, как это случилось.

. . .

Некоторые знакомые знают это приблизительно.

. . .

Он становится шефом клиники, отцом двоих детей, много ездит, но никогда — в Испанию.

. . .

Врач, накануне операции рассказывающий о себе,— это не принято, он знает; тем не менее он вдруг упоминает об аварии вблизи Монпелье во Франции: «У меня было, как мне сказали, преимущественное право проезда, стало быть — никакой вины»... Потом он спрашивает: «А почему мы, собственно, заговорили об этой аварии?» Пациент тоже не знает. Почему он попросту не пожелает спокойной ночи, не говорит, как обычно: «Постарайтесь заснуть, а если не удастся, позвоните дежурной сестре». Но это он сказал уже прежде. Затем он взял с тумбочки одну из книг, прочитал только заглавие, положил ее обратно на тумбочку. Собственно, сказать он хотел, что нет оснований для беспокойства, завтра он будет присутствовать при операции, не сам оперировать, но присутствовать будет, нет оснований для беспокойства и т. д.

. . .

У него никогда больше не было аварий.

. . .

Пациент, явно разочарованный, не решается спросить, почему шеф не будет оперировать сам.

. . .

Ее вопрос: «Ты уверен?»

. . .

Больше он никогда не рассказывал об аварии.

. . .

Марлис увидела грузовик, она предостерегла его, он видел грузовик, но не затормозил; он имел преимущественное право проезда. Возможно, он даже дал газ, чтобы показать свою уверенность. Она закричала. Жандармерия Монпелье признала его невиновность.

■

# *Из японской поэзии*

■

*Перевод с японского и вступление А. ДОЛИНА*

## Поколение тревоги

«Мои стихи не принадлежат мне. Они принадлежат миру, принадлежат людям,— писал Сюнтаро Таникава в своей программной статье «Миру».— Слагая стихи, поэт идет по трудному пути единения с миром и людьми... Поэт живет в своих стихах, но это вовсе не означает, что он живет только во имя поэзии. Нет, мы не живем ради поэзии. Мы пишем стихи для того, чтобы жить, или, может быть, как раз потому, что живем на свете. Поэт одержим любовью не к самой поэзии, а к миру. То, что мне удается уловить нужные слова, происходит вовсе не оттого, что я выискиваю такие слова. Просто я стремлюсь к познанию мира».

В творчестве поэтов среднего поколения, так называемой «второй послевоенной волны», к числу которых относятся Сюнтаро Таникава и Юкио Цудзи, нашли отражение многие проблемы современной Японии — Японии эпохи «экономического чуда» и энергетического кризиса, ускоренного научно-технического развития и духовной стагнации. Общая позиция художников этого поколения, вступившего на арену истории как «поколение тревоги», определяется осознанным желанием выбиться из слепого и безликого истеблишмента, штампующего человеческие интеллекты, словно электронные блоки к телевизорам и магнитофонам.

Безудержный конформизм, сменивший бунтарские настроения молодежи конца 60-х, засилье массовой культуры не могли не сказаться на поэзии, куда с черного хода проникла толпа халтурщиков, авторов эстрадных реприз, шлягеров, дешевых стишков для коммерческой рекламы. Немало юных стихотворцев пошло на поводу у всесильных средств массовой информации, бойко приторговывая версификаторским талантом и выдавая продукцию на потребу дня. Но настоящие поэты не изменили своему призванию.

Лирику «второй послевоенной», пришедшую на смену книгам старых мастеров, поначалу питали чувства горечи и разочарования, неверие в собственные силы, ощущение тоскливого одиночества и внутренней несвободы в «свободном» обществе. «Опоздавшая молодежь», которой правящие круги навязывали «программу формирования примерного японца», отказывалась жить по прописям, подражать сомнительным образцам. У одних поэтов пафос отрицания вылился в истерический протест против постылой филистерской морали, приведя к появлению фрондирующей «контркультуры», у других способствовал углубленному самоанализу, поиску новых путей в искусстве и в жизни.

Трагическое сознание утраты извечных нравственных ценностей, мучительное стремление найти Человека в каменных и бетонных джунглях большого города, восстановить связующие узы между людьми составляют основу лирики Сюнтаро Таникава и Юкио Цудзи. На фоне поэзии неоавангарда, воспевающей эротику и смерть, уводящей читателя в царство уродливых фантазий, наркотических галлюцинаций, их стихи выделяются жизнеутверждающим началом, внутренней теплотой, заботой о настоящем и будущем людей ядерного века.

Творчество Таникава и Цудзи, поэтов различных по мировосприятию, по художественной манере, роднит столь необходимое всем нам и, кстати, нечасто встречающееся в японской поэзии чувство юмора. Мягкий юмор, а порой и романтическая ирония сообщают этой поэзии подкупающую непосредственность. В каждом стихотворении чувствуется личность автора, в каждом звучит вордсвортовская «тихая и печальная мелодия человечности», без которой истинной поэзии нет и быть не может.

# СЮНТАРО ТАНИКАВА

## *Карма* [1]

Следствие в общем всегда одно и то же.
Причин же тысяч пятьдесят, не меньше,
от малюсеньких, совершенно неразличимых,
до громаднейших — тех, что застят небо.
Причины размножаются вместе с нами.
Причины в бесконечность уходят, как рельсы
Причины наслаиваются, как терриконы,
забываются, как заброшенные шахты,
и однажды обрушиваются, будто бы случайно

Никакой неожиданности —
всюду неизбежность,
на которую потребовались годы и годы,
коль скоро здесь замешана карма...

## *Удивительное дело*

К морю пойдешь [2] — громадные волны, медузы, микробы холеры.
В горы пойдешь — лавины, обвалы, медведи-людоеды.
Выйдешь на шоссе — аварии, грабежи, убийства,
безнаказанно сбитые машинами пешеходы.
Дома останешься — взломщики, сборщики налогов,
бессмысленные двойные самоубийства.
И куда ни глянь — всюду землетрясенья, тайфуны,
бесконечные извержения вулканов,
а нет — так бунты, перевороты, авиакатастрофы.
Предоставили душевнобольным свободу —
и вот вам продолжение ядерных испытаний!
При всем том — ну и удивительное дело! —
сам я жив и здоров, температура 36.6° С,
стараюсь поддерживать в организме
равновесие между потом и пивом...

[1] **Карма** — в буддизме закон всеобщей причинно-следственной связи, согласно которому судьба человека предопределена его деяниями в прошлых рождениях.

[2] Начальные строки старинной самурайской песни на слова из антологии «Собрание мириад листьев» (VIII в.).

---

**ТАНИКАВА СЮНТАРО** (род. в 1931 г.)

Японский поэт. Автор сборников стихов «Два миллиарда световых лет одиночества» (1952), «62 сонета» (1953), «Тебе» (1960), «Понурый молодой человек» (1971), «Определение» (1975) и др. Его стихи на русском языке печатались в сборнике «Из современной японской поэзии» (М «Прогресс», 1981).

Публикуемые стихи взяты из сборников «Стихотворения» (Токио, «Ситёся», 1965) и «Избранные стихотворения» (Токио, «Ситёся», 1969).

## *Новый год*

Январь —
месяц, когда начинать ничего неохота,
месяц,
когда охота дремать, прикорнув у жаровни,
месяц, когда, неоткрытый дневник отбросив,
окунаешься в лиловые лучи экрана.
Может, кто-нибудь и впрямь по ТВ погадает,
предскажет с гарантией будущее на неделю?
Новогодние подарки, поздравительные открытки
меланхолично опускаю в жаровню.
Понемногу истекает и мое время,
уходит, убегает, улепетывает, как заяц...

## *Законы*

Законы давно уже поселились
в уютных домах — совсем как люди.
В основном, пожалуй, неплохие законы...
Но бывает, какой-нибудь случайный закончик
проберется незаметно с черного хода,
норовя всучить липу, словно мелкий жулик,
или вдруг Законище пострашнее
приплывет из-за океана
и давай крушить стеклянные двери...
Как-то раз порог моего дома
попытался не пропустить законы,
и тогда они вломились без спроса,
тыча в нос мне гангстерскую наколку
с черным драконом.
Что ж, теперь законы нас охраняют,
хоть мы их и не просили об этом...

## *Тысяча журавликов*

Нанизанные на ниточку сантименты —
они не гомонят,
не летают.
Тихо-тихо колышутся под ветром
символы наивной веры, надежды...
Бесполезных, бесполых птичек из бумаги
сложили две тысячи рук работниц,
хорошо знакомых со швейной иголкой.
О Япония, ожидающая в нетерпенье!
Тысяча журавликов, увы, бессильна,
как бессильны десятки и сотни тысяч
против птицы зла, огромной, бессмертной.
Хватит складывать журавликов из бумаги —
ведь одних журавликов слишком мало!
Да, молитв и обетов сегодня мало!

## *Женщине*

Итак, жизнь продолжается —
ночью под уличным фонарем продолжается,
утром на смятой постели продолжается.

«Вот поэтому ты мне нужна, милая!» —
говорят все мужчины женщине,
пока жизнь таким образом продолжается
днем в людской толчее, а вечером
у кухонной плиты, в полутьме продолжается.

«Я хочу тебя полюбить!» —
мужчина говорит женщине.
«Я люблю тебя!» —
мужчине говорит женщина,
пока жизнь таким образом продолжается,
пока на июньском лугу в траве у тропинки
белыми цветами цветет земляника,
пока в холодной январской комнате на жаровне
закипает чайник...

## *Сонеты*

Солнечные лучи пронизали небо,
Краски Небытия необычайно красивы.
Время ласково спрашивает о чем-то —
Я не отвечаю.

О, верните, верните вчерашнее утро!
Без утраченного утреннего пейзажа
Я лишаюсь сил и могу лишь праздно
Скорбеть о прошлом.

Наше завтра живет сегодня в надежде,
но когда оно наконец-то настанет,
в день вчерашний надежда канет навеки.

Небо ясно в безоблачный жаркий полдень.
Что я в детстве любил? Чем дорожу сегодня?
Смутные тени оживают передо мною.

■ ■ ■

Облака, переполнившись, изливаются на землю.
Почему это называют ливнем?
Человек изливает переполненную душу.
Почему это называют песней?

Нищие духом готовы бесконечно
Называть по имени все вещи в мире,
Но деревья не отвечают, занятые делом,—
Деревья миром становятся сами.

Ощутив себя частью всеобщего разрастанья,
Человек вдруг решает утвердить свою силу.
«Я гораздо лучше деревьев!» — он шепчет

Тихонько, чтоб деревья не услыхали.
В жизни главное вовсе не сами песни,
В жизни главное — излить душу...

■ ■ ■

Какой ветер колышет листву в той роще,
Пока я прохожу по этому лугу,
Пока ясное небо с нежным лукавством
За спиной в кулаке Небытие прячет?

Поворачиваю, иду обратно.
Как всегда, от меня что-то ускользает.
Весь во власти небытийности, стараюсь
Поддержать свое не-существованье.

Только вдруг при слепящем свете солнца
Посреди пустынного ландшафта
Тень моя легла чернее ночи —

И теперь облака, деревья, люди
Наполняют мое не-существованье,
А любовь из небытия вызволяет...

■ ■ ■

Посреди мирозданья сел на подставленный стул —
И мгновенно меня не стало.
Кричу во весь голос —
Слишком мало слов выживает!

Бог плеснул в атмосферу каких-то немыслимых красок —
Под натуральный цвет подгоняет синеву неба.
Погибают и картины и люди.
Лишь деревья тянутся ввысь как ни в чем не бывало.

В празднике ищу доказательства существованья.
Продолжаю петь — и счастье вскоре приходит,
Чтобы пересчитать позвонки в хребте песнопевца.

Книга времени для меня открыта.
В ней написано всё — и ничего, быть может.
День вчерашний вопросами атакую.

# ЮКИО ЦУДЗИ

## *Весенние проблемы**

Вновь настала весна,
уж не помню, которая по счету —
а задолго до меня,
да, задолго,
вообще задолго до Человека
весна тоже ведь была весною,
только в ту доисторическую эпоху
человек еще названья весне не придумал
(просто думал: «Вот и настало Это...»):
Человек, должно быть,
сидел день-деньской без дела,
созерцая доисторическим взором
вешние цветы на деревьях —
те, что с легким шелестом облетают
под дыханьем теплого ветра,
и еще те огромные, как блюдца,
что нет-нет да и плюхнутся на макушку.
«Эх, питаться бы одними цветами!
Жизнь была бы — сплошное наслажденье...
Вот не буду убивать динозавров!
И других зверюшек тоже не буду!» —
так, наверное, бормотал питекантроп
на своем питекантропском наречье.
Обхватив ручищами колени,
он поглядывал
задумчиво и печально
на каменный топор и дубину.
«Ничего не поделаешь! Так надо...»
И он снова любовался цветами,
осенявшими узкий лаз в пещеру.
Постепенно
солнце погасло.
В темноте
мимо стойбища человека,
как огромные черные привиденья,
глухо топали мамонты и медведи.

*© Юкио Цудзи, 1977

**ЦУДЗИ ЮКИО** (род. в 1939 г.)

Японский поэт, автор сборников стихов «Воспоминания о школе» (1962), «Заходящее солнце» (1979) и др.

Публикуемые стихи взяты из сборников: «Теперь ты странствующий поэт» (Токио, «Ситёся», 1970) и «До реки Сумида» (Токио, «Ситёся», 1977).

Дорогой мой доисторический предок,
волосатый, усатый, бородатый!
Ты имеешь все основания гордиться
результатами естественного отбора.
Все сомненья и страхи отринув,
ты явился в тревожную эпоху
вместе со мною.
Ты во мне, я в тебе — значит,
обойдемся без самовосхваленья...

## *Время обеда*

Ем на обед бифштекс —
кусок красного, сочного мяса,
купленного у мясника по соседству.
Раньше это была корова.
Она щипала на пастбище травку.
В шесть часов вечера упомянутая корова
вдруг возникла в моем воображении как на экране
(место действия — тротуар перед мясной лавкой)
и сказала:
«Послушай, Юкио Цудзи!
Вот ты съешь меня,
но я на тебя не в обиде.
Мне противен не ты, а живодеры с бойни,
все те служащие мясомолочной фирмы,
что кормили меня на убой
и теперь превратили в мясо...»
Коли так, совесть моя спокойна.
С удовольствием отведаю бифштекса.
За отличный обед
спасибо тебе, корова!

## *Станция Икэбукуро в субботу после полудня*

В Икэбукуро в субботу после полудня
я случайно встретил женщину с маленьким ребенком.
Женщину я очень любил когда-то,
а потом хотел забыть, но не получилось.
В одной руке у нее была сумка,
за другую деловито держался мальчик.
В Икэбукуро в субботу после полудня...

Так и шли вдвоем — нет, втроем, конечно.
Все проблемы давным-давно обсудили.
О пустом говорить и вовсе не хотелось,
поэтому мы шли молча
в Икэбукуро в субботу после полудня...

Пообедали, как положено, в ресторане.
У меня совсем не было аппетита,
а она еще взяла на десерт пирожных.
Съел с трудом — казалось, что сейчас лопну.
В продовольственной секции универмага
сделали кое-какие покупки.
Как всегда, в субботу ее сожитель
ждет на партию в маджан [1] своих знакомых.

[1] Азартная игра в кости.

«Вот, купила несколько банок пива,
сыр, рамэн [1], копчушку — всякую мелочь.
Ты тоже?» —
«Ну, хоть я в маджан не играю,
но на ужин будет что-нибудь в том же роде...»
Ни с того ни с сего она решила,
что мне нужно познакомиться с мужем.
Я отнекивался: «Да брось ты, право!» —
«Дело давнее, он и знать не знает.
Впрочем, хоть бы и знал, что тут такого!» —
«Не хочу, и кончено!
Вот пристала!
Только и мечтал о таком знакомстве!»

Она пошла провожать меня до платформы
(«Провожу чуть-чуть — ну пожалуйста, можно?»).
Постояли на станции.
Свистнула электричка.
Я вошел.
Двери за мной закрылись.
Поезд понемногу набирал скорость.
Все нормально. Ничего особенного не случилось
в Икэбукуро в субботу после полудня...

## *Взморье* *

Много лет подряд я выхожу под вечер
и вот так безмолвно стою у кромки прибоя.
Все гадаю: когда исчезнет за горизонтом
яркий густо-багровый сегмент — осколок солнца.
Под лучами заката моя ординарная личность
и неординарный контур маленькой баржи.
О, воистину море всегда прекрасно!
Если б мог, я стоял бы здесь и смотрел бесконечно,
но увы, меня влечет чувство долга
и чрезмерная ответственность перед миром.
Окликая чаек, всех чаек на побережье,
я кричу, я зову:
«Эге-гей! Эй, чайки!
Ночь идет —
до утра будет мрак и холод.
Вам пора возвращаться!
Скорей на берег!
Ночь идет,
а вы и не знаете, чайки!»

[1] Гречневая лапша.

*© Юкио Цудзи, 1977

---

**ДОЛИН АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ** (род. в 1949 г.)

Советский поэт-переводчик, литературовед, кандидат филологических наук. Автор монографий «Японский романтизм и становление новой поэзии» (М., 1978), «Очерки современной японской поэзии» (М., 1984). Составитель и переводчик сборников классической и современной японской лирики «Осенние цикады» (М., 1981), «Времена года» (М., 1984) и др. Переводил также повести и рассказы японских писателей.

# ВЛАДИМИР ГОЛЕВ

# *Все сначала*

## ФРАГМЕНТЫ РОМАНА

*Перевод с болгарского Л. ДМИТРИЕВОЙ*

Память — очень сложная штука, и едва ли найдется человек, который мог бы разгадать ее тайны. Я, во всяком случае, не встречал такого. Когда я обратился к памяти как писатель, решивший отыскать в ее многочисленных пластах отголоски минувшего, то был немало удивлен ее неохватностью и богатством, словно бы специально сохраненным чьей-то заботливой рукой. Память оказалась неисчерпаемым кладезем не только важных событий прошлого, но и множества незначительных деталей.

Некоторые историки и писатели утверждают, что прошлое неподвижно, что оно не меняется и несет в себе печать вечности, подобно картине, написанной масляными красками, или статуе, отлитой из бронзы или высеченной из мрамора. Такое толкование, видимо, характерно для очень далекого прошлого. Что касается моего прошлого, то мне достаточно было слегка разворошить эту непонятную материю, именуемую мозгом, и оно ожило.

Таким образом, в мое сознание возвратились те военные годы, о которых я и хотел написать. Вначале я с трудом различал в этом хаосе времена и события. Однако постепенно это чудо — память — само начало отбирать необходимое, отбрасывая лишнее и незначительное, и я, подхваченный волнами воспоминаний, которые уже перестали быть просто воспоминаниями, а превратились в живую материю, понесся по течению реки, именуемой временем...

Ты, читатель, живущий в беспокойное и торопливое время, внимательно вчитайся в то, что было до тебя. Ведь история строится на прахе прошлого, а оно в свою очередь является основой грядущего. И если грядущее — идеал, то прошлое — мудрость.

■

Немцы вошли в Казанлык в субботу, первого марта тысяча девятьсот сорок первого года. Я видел их бронеколонны, когда возвращался с кладбища, куда ходил со всей родней поминать бабушку Тану. У этой мудрой, как жрица, старушки я прожил несколько лет, пока учился в прогимназии и гимназии. «Горсточку вре-

© Владимир Голев, 1985

c/o Jusautor, Sofia

**ВЛАДИМИР ГОЛЕВ** (род. в 1922 г.)

Болгарский писатель, лауреат Димитровской премии, народный деятель культуры. Автор многих книг стихов: «Лирика» (1967), «Мироздание» (1969), «И если мы случайно состаримся» («Ако случайно остареем», 1970), «С дыханием ветров» («С дъха на ветровете», 1972). «Поздние признания» («Късни признания», 1974), «Канун осени» («Предесен», 1978) и др., пьес, книг для детей и юношества. В русском переводе стихи В. Голева печатались в сборнике «Из современной болгарской поэзии» (М., 1980), в периодике, в том числе в «Иностранной литературе». В «ИЛ» напечатаны также фрагменты его книги «Воспоминания о старом доме» (1982, № 8). Роман «Все сначала» вышел в Софии в 1985 году («Всичко отначало», София, Партиздат).

мени»,— как писал некогда я, но, как оказалось, времени бесценного. И теперь, шагая вдоль шоссе и глядя на фашистов, сидящих на танках и поющих:

Wir fliegen gegen Engeland,
und mit uns fliegt der Tod...[1]

я видел не их, а бабушку — в черном платке, коричневой безрукавке и черных башмаках; слышал ее голос: «Ты, чадушка, не тужи. Уж сколько повидала на этом свете, сколько перестрадала — и все проходило, все налаживалось...»

Вчера, вернувшись с похорон домой, мы, как принято, устроили поминки, собрали всех бабушкиных близких и знакомых. Был поминальный курбан[2] и жито, виноградное вино. Курбан и жито накладывали в луженые медные блюда, а вино разливали в глубокие глазурованные пиалы.

Прежде чем выпить, каждый отливал на глиняный пол немного вина — «за помин ее души». Мне доводилось слышать от бабушки, что живущим «на том свете» тоже хочется пить, и, когда она ненароком проливала что-либо, говорила обычно: «Это бог взял для покойных».

От удушающего запаха ладана, устоявшегося в горнице, я не мог ни есть, ни пить, сидел на краешке бабушкиной кровати, смотрел на глиняный кувшин, из которого она любила пить воду, и думал, что вот кувшин цел и невредим, а бабушки нет. Кувшин стоял на самом краю подоконника. Я подумал, что он может упасть и разбиться, но я так и не нашел сил, чтобы подняться и поставить его в безопасное место. Я отвел от него взгляд, но коричневая глазурь продолжала следить за мной, будто живой глаз. Еле дождавшись, когда закончатся поминки и гости уйдут, я вышел во двор, затем на Маленькую улочку. Вокруг не было ни души. Но вот со стороны пекарни показалась тетя Гена. Подошла ко мне, вынула из месла[3] теплую лепешку и жалостливо промолвила:

— Горемыка ты, горемыка.

С тех пор как тетя Гена вышла замуж за дядю Стойчо и перешла жить в его дом, свой маленький домишко она сдала одинокому человеку, рабочему «Арсенала». Она была такая же красивая, как и прежде, до замужества.

А я уже не был тем беспечным мальчишкой, который некогда мотался по соседским дворам. Теперь я был гимназистом и носил шинель и куртку с бархатным воротничком...

В доме все напоминало о бабушке — этой строгой, не очень общительной женщине, помнившей далекое рабство и Освобождение, познавшей богатство при жизни мужа и нищету после его смерти, радость, дарованную детьми и внуками, и жившей гордым сознанием, что все в этой жизни она вынесла, выдюжила.

«Пасть времени поглотит всех нас»,— часто повторяла бабушка поговорку. Ее эта пасть уже поглотила.

Сиротски неприкаянными казались и двор, и свежевыбеленный дом, и алевшая на новых лестничных перилах краска, и трепетавшие в окнах плетеные занавесочки, и опечаленные жених-и-невеста, самшит и вьющийся виноград, персики, вишни и черешня, чешма и зеленевшая рядом с ней сосна, принесенная мной из леса...

А в это время в венском замке Бельведере председатель совета министров, почетный доктор Берлинского университета, кавалер «Большого креста ордена Германского орла» Богдан Филов в присутствии Риббентропа, графа Чано и японского посланника подписал договор о вступлении Болгарии в Трехсторонний пакт, заключенный полтора года назад Германией, Италией и Японией (буржуазная Венгрия и чокойская Румыния опередили нас). Венский отель «Бристоль», в котором размещалась болгарская делегация, вошел в историю. Время подписания договора — тринадцать часов тридцать минут, дата — первое марта тысяча девятьсот сорок первого года, или, как отмечено в протоколе, двенадцатый год фашистской эры.

---

[1] Мы летим на Англию, и с нами летит смерть *(нем.). (Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Национальное блюдо из мяса.

[3] Льняная салфетка круглой формы, на которую выкладывается хлеб сразу после выпечки.

...А еще вчера бабушка была жива. По улицам не расхаживали немцы, и все вокруг было таким привычным. Неужели это было вчера? Голубое небо дышало влагой, птицы разрезали крыльями бескрайнюю его гладь, песнями возвещали начало нового дня. Разбуженный их гомоном, я выбежал во двор, но, вспомнив, что бабушке надо принести свежей водицы, помчался к чешме и принес воды. Бабушка попила, блаженно прикрыла веки и шепнула тихонько, чтобы я не ревел, если она вдруг умрет. Жизнь, мол, как огонь: сначала пламень, затем — жар, а в конце — один лишь пепел.

— Я не боюсь смерти, в ней нет ничего страшного,— говорила она.— Только ты, внучек, сыграй мне шубертову, я послушаю...

Под «шубертовой» бабушка имела в виду сонату Шуберта, которую я часто играл ей на скрипке. Вдруг ее глаза — всегда ясные и чистые — помутились, бабушка подала знак, чтобы я вышел. Тонкая, с набухшими синими венами рука устало свесилась. Я хотел поднять ее, но не посмел. В волнении вышел на улицу и присел на большой камень у калитки. Под ногами мельтешили вероники. Я смотрел на них и думал, что никто в целом мире даже не подозревает, как горько мне, как одиноко...

«Куда идти?» — спрашивал я себя. А куда пойдешь? Мама с сестрой возвратились в Тракию, бате[1] Асен, который жил некоторое время у нас с бабушкой, внезапно исчез куда-то и не показывался вот уже целый месяц. Бабушка Ленка и вся наша банская родня были далеко.

Приближались сумерки. Из-под крыш выпархивали стайки горлиц. Вышли на охоту за воробьями кошки. Завели нескончаемые песни кузнечики. Наступила вечерняя пора — самая прекрасная на нашей Маленькой улочке. Вдалеке показался городской глашатай дядя Руси. Помахал мне рукой и скрылся за дверью своего дома.

И вот эту чудную тишину городка разрушили немецкие танки. Их злобный рокот сливался с воем пикирующих «щук», направлявшихся в сторону Марно Поле и Граф Игнатиево.

Бабушка Тана ушла из жизни за день до прихода фашистов, словно чувствовала, что ее время кончилось. С ней ушла и милая пора детства и юношества — того времени, в котором росли и мужали мы, дети, рожденные между двумя войнами.

■

Медленно выплыло солнце и рассеяло утреннюю мглу. Маленькая улочка, влажная и тенистая, проснулась от далекого грохота танков и криков безумного Ганю, в потурах[2], в жилетке из грубой шерсти, в замусоленном колпаке, пропахшем овечьим духом и кислым молоком.

По пути в гимназию я заметил, что Зеленый мост запружен немецкой военной техникой, а возле бочарной мастерской дяди Митьо собрались испуганные люди. Я с трудом протиснулся сквозь толпу и, чтобы сократить путь, прошел мимо типографии «Гутенберг». Возле гимназии я встретил девчонок из нашего класса. Самые веселые из них — Райна, Ружа и Мария Зубик — возбужденно закричали, что занятия отменили.

Я обрадовался, как радуются все ученики, услышав подобную новость, но на душе почему-то было неспокойно.

Все-таки я решил заглянуть в классные комнаты — там уже устроились на постой немецкие солдаты.

Война! Казалось, что слово вонзилось стальным кинжалом в сознание, заполонило весь белый свет. У меня было такое чувство, что оно со стальным скрежетом ударяется о стены гимназии, о деревья и рушит все вокруг.

Всюду было полно немцев. Они расхаживали по городу, как стаи наглых черных ворон. Такой же пронзительно-резкой, каркающей была и их речь. На Самситовой улице, где располагались торговые ряды, разложили свои товары сапожники, шорники, торговцы скобяными изделиями, столяры, продавцы тканей, тесьмы, шнуров, галунов. Немцы хозяевами входили в магазины и лавки, покупали все, что им вздумается.

— Глянь на их деньги,— заметил как-то Петр,— все до единой бумажки — новенькие.

---

[1] Почтительное обращение к старшему родственнику.

[2] Мужские брюки из домотканой шерсти.

— Сами себе их делают,— пошутил Атьо.

Разумеется, мы и не подозревали, сколь близки к истине были эти слова. Мы и понятия не имели, что путешествие полумиллионной немецкой армии по нашей земле должно оплачиваться Болгарией и что эти вылощенные, аккуратные немцы в очень скором времени доведут нас до деревянных постолов, карточек, до чудовищного «черного рынка».

Тогда еще мы не понимали, какой бедой обернется для нас все это. Размеры ее превзойдут даже самые скептические пророчества... Далеко-далеко отойдет довоенная Европа. В прошлое канут времена, когда людей занимали такие проблемы, как, например, выдержит ли человеческий организм скорость, превышающую скорость звука; под «Аривидерчи, Рома...» простится со своей эпохой неподражаемый Армстронг. В газетах уже не будет сообщений о новых теориях непонятного Эйнштейна, переломившего мировоззрение целой эпохи, уехавшего из фашистской Германии и ставшего профессором Принстонского университета. С европейской сцены исчезнут Томас Манн, Рафаэль Альберти, Пасионария, Лорка. Будут убиты Юлиус Фучик, Эрнст Тельман, Вапцаров... В эти мартовские дни сорок первого в газетах не находилось места для пламенных статей, стихов и протестов этих колоссов века. Передовые пестрели сенсационными сообщениями о бежавшем румынском короле Каролe и сопровождавшей его мадам Лупеску, о баталиях между немецкими «щуками» и английскими крейсерами, о новом германском оружии, которое «заставит трепетать весь мир».

...Мы направились в столовую, что была при нашей гимназии. Сюда, как правило, я приходил с Атьо и Петром. Еще при входе мы заметили группу немецких солдат, толпившихся у умывальника. Хотели было обойти их, но увидели среди них девушку, которую до этого встречали несколько раз в городе. Она была приезжая. На всех нас произвели впечатление ее русые, почти что желтые волосы и светлые глаза. На фоне черных немецких униформ девушка казалась сияющим весенним солнышком. В нашей гимназии не было такой девушки.

Сначала мы все трое были смущены тем, что она оказалась в такой компании, но уже в следующее мгновение прочли в ее глазах мольбу о помощи. И только лишь потом заметили, что какой-то прыщавый немец в форме пехотинца держит ее за руку, а она тщетно пытается освободиться от него.

— Отпустите девушку! — крикнули мы немцам.

— Mit wem habe ich die Ehre? [1] — не без издевки спросил пехотинец, но мы не дрогнули. Тогда он оглянулся на своих приятелей, как бы приглашая и их поиздеваться над нами, но те направились к выходу. Пользуясь моментом, мы подхватили девушку под руки и увели с собой в столовую.

— Меня зовут Петр,— представился мой друг после того, как мы усадили девушку за столик.

— Спасибо вам... Такое глупое положение,— бормотала она.

— Да что вы, бросьте,— сказал Петр.— Теперь вы под нашей защитой... Знакомьтесь — Атьо, Владо, Мишо.

— А я Димана.

— Вот и познакомились,— заключил Петр.

— Вы, наверное, знаете мою двоюродную сестру? — обратилась почему-то именно ко мне Димана.— Ее зовут Дима, она живет в квартале Кула.

— Дима? Вот как? Да, это моя соседка,— удивился я и возбужденно стал рассказывать о случае, происшедшем с Димой на реке Тундже: как ей ногу защемило в подводной впадине, а я со своим двоюродным братом Койчо долго вызволял ее оттуда.

...Перед глазами возникла Дима — худенькая, с гусиной кожей и едва обозначившимися признаками женственности. Мелкие пузырики поднимались со дна, отчего казалось, что она стоит в минеральном источнике. Я обхватил ее одной рукой за талию, другой держался за вербу, чтобы Диму не сносило течением: тельце выскальзывало из рук, и я боялся, что не удержу ее.

— Не бойся, Койчо сильный, как лев,— успокаивал я девчушку.

— Знаю,— пыталась улыбнуться она в ответ.

— Он даже с парашютом прыгал. А однажды парашют не сразу раскрылся, но ему, к счастью, удалось спастись. А тебя и подавно спасет.

---

[1] С кем имею честь? *(нем.)*

Прихрамывая, Дима вышла на берег... совсем голая.

— Не смотри! — спохватилась вдруг она и начала натягивать на себя платье...

— Дима рассказывала мне об этом случае. Значит, вы Владо? — задумчиво произнесла она, и светлый ее взгляд надолго остановился на мне.

Я был польщен ее вниманием и все же мысленно отмечал: а что же она хотела сказать этим «значит, вы Владо?». Взглянув на нее посмелее, я обнаружил, что Димана очень похожа на тетю Гену. Не знаю уж почему, но в то время я сравнивал всех девушек и женщин с тетей Геной. Мне казалось, что красивее ее нет никого на свете. Я искренне верил, что, когда тетя Гена идет по улице, даже солнце проглядывает из-за облаков, чтобы полюбоваться ею. У Диманы не было той очаровательной грациозности, какой обладала тетя Гена. Удивительно было ее лицо — лучистое, словно солнышко, когда его озаряет улыбка, и печальное, если улыбка исчезает. Необыкновенными были и волосы цвета спелой ржи, и крутые, с изломом брови. И все же Димана чем-то походила на тетю Гену.

— Мы с Димой одногодки. Родились в один день и месяц,— сказала Димана.— А вот и она.

— Все вокруг обошла, ищу ее, а она расселась тут с кавалерами! Ты же сказала, что будешь ждать меня на улице,— пожурила Дима свою сестру.

— Будет ждать, как же, чуть не стала фрау Диманой,— сострил Петр. И мы со смехом рассказали Диме о случившемся, хотя особого веселья никто при этом не испытывал, скорее — отвращение. Чертовы колбасники, без году неделя, как вошли в чужую страну, а уже пристают к нашим девушкам.

Мы вышли на улицу. По булыжной мостовой шли колонной члены молодежной фашистской организации «Бранник». Важные, в форме, они энергично размахивали руками и пели. Среди них были ученики из нашего класса, которые подозрительно уставились на нас.

— Димана, ты член этой организации? — спросил Петр.

— Нет,— ответила она строго и спросила: — А вы?

— Мы — нет,— сказал Атьо.

Димана засмеялась, и я почувствовал, как мы вдруг стали ближе друг другу.

— Давайте перейдем на «ты»,— предложил Петр.

Всем известно, что Адам взял яблоко из рук Евы не потому, что был голоден, а потому, что был любопытен. Я взял из рук Диманы мороженое, обуреваемый тем же первобытным чувством.

— Значит, ты тот самый Владо...

Я удивленно посмотрел на нее. Но Димана не сказала больше ни слова. Лишь смотрела на меня этаким дьяволенком, и с губ ее не сходила загадочная улыбка. Я тоже улыбнулся и понял, что именно это ей понравилось больше всего.

— А о чем ты думаешь? — спросила она все с той же улыбкой.

— О том же, о чем и ты.

— Э, нет, не совсем о том.

— А вот и совсем.

— Такого не бывает, чтобы два разных человека думали об одном и том же.

— А если бывает?

— Нет, со мной такого еще не случалось.

— И со мной до сих пор тоже...

— Теперь тебе осталось сказать, что ты знаешь меня давным-давно.

— А разве это не так?

— Нет, ты серьезно?

— Абсолютно.

— Интересно, и с каких это пор ты меня знаешь?

— С... всегда... Всю жизнь...

— Как же! — кокетливо покачала она головой.

— Вот тебе и как же.

Димана помолчала, внимательно посмотрела на меня и сказала:

— Хоть и понимаешь, что это неправда, а все же приятно слышать такое...

— Не сходить ли нам на советский фильм «Истребители»? — донесся до меня голос Атьо.

— Это идея,— оживился Петр.— Ну как, девушки, идем?

— Почему бы нет? — улыбнулась Дима.

— А ты пойдешь? — спросил Петр Диману.

— Ясное дело. Куда все — туда и я.

...Четыре километра. Сущий пустяк для молодых ног. На полдороге нас нагнали сумерки. Димана развеселилась и рассказывала о каком-то своем дяде, который не мог двигаться в темноте и то и дело спотыкался о тени. Как это можно спотыкаться о тени и при этом еще падать? Право слово, смешной человек. А я сказал, что мой отец видит в темноте, как филин. Какая бы ни была ночь — все разглядит. Я вспомнил, как мы с отцом однажды задержались в лесу до сумерек и как я с трудом двигался в темноте, а он расхаживал так, будто кругом вовсю светило солнце.

— Я тоже абсолютно ничего не вижу в темноте,— сказала Димана, и я, подумав, что имею полное право помочь ей, взял ее под руку.

В кинотеатре я сел рядом с Диманой и уставился на экран. Это был первый в моей жизни советский фильм, и впервые в жизни рядом со мной в кино сидела девушка. Фильм был очень интересный, но присутствие девушки волновало меня, и я смотрел то на экран, то на нежный профиль Диманы. Она потом даже сказала мне, чтобы я смотрел кино, иначе пропущу самое главное. Но я заметил, что она тоже тайком поглядывает на меня.

— Не это главное,— шепнул я ей на ушко, прикасаясь щекой к шелковистым волосам и вдыхая едва уловимый нежный аромат. И от этого аромата, от близости Диманы закружилась голова и мне очень захотелось обнять ее.

— Хороший фильм, правда? — шептал я ей, и мое дыхание, наверное, обожгло ее.

— Да! — шептала Димана.

Я сказал ей, что бате Койчо тоже летчик. И что я летал с ним на «Фокке-Вульф».

— Не страшно? — спрашивала Димана, и я ощущал ее губы почти рядом со своими.

— Нет... Только во время приземления и когда делаешь мертвую петлю,— пояснял я, и мои губы касались ее губ.— Когда приземляешься, земля мчится навстречу с такой скоростью...

Я взял ее руку в свою. Димана не убрала руки. Затем обнял ее нежно, и мы поцеловались. Я чувствовал, как бьется ее сердце, чувствовал, как заполняется сладостной теплотой мое сердце. Я хотел, чтобы фильм никогда не кончался, чтобы мы сидели так всегда. Вечно!..

Над городом плыла огромная луна. Голые, озябшие деревья тянули к ней свои ветви-пальцы, словно надеялись согреться под этим ненадежным лунным светом.

В излучинах Старой реки тревожно перекликались птицы; посверкивая востренькими глазками, метнулась на другую сторону дороги рыжая лисица. Где-то вдалеке рокотали танки, откуда-то доносилась мелодия песни «Лили Марлен».

Весь путь до дома Димана молчала. Шла рядом с Димой задумчивая и печальная и молчала. Словно несколько минут назад мы не сидели с ней рядом, не обнимались и не целовались. Правда, украдкой поглядывала на меня, словно бы изучала или стыдилась того, что произошло между нами. Почему она вдруг так охладела ко мне? Что случилось?.. Все перепуталось в моей голове...

На перекрестке стали прощаться. Дима ушла домой, а Димана осталась.

— Я завтра уезжаю,— холодно произнесла она.

«И она уезжает,— подумал я с горечью.— Куда? Зачем? В последнее время все куда-то уезжают: отец — в Момчилово, мама с сестрой — в Тракию, Койчо с Танкой — в Марно Поле. Я остаюсь один как перст».

— В самом деле? — спросил я и не узнал своего голоса.

— К сожалению.

— Но почему?

— Все имеет свой конец,— грустно ответила она.

— Но сегодняшний день был самый прекрасный. А вечер — еще прекраснее.

Димана мечтательно смотрела куда-то вдаль. Но вот ее рука коснулась моей, и она произнесла:

— Если приедешь в Стара-Загору...

— Зайти к тебе, да? — обнял я ее.

— Если тебе это будет приятно... Улица Железные Ворота.

И она назвала номер дома. Затем ласково посмотрела на меня, приподнялась на цыпочки и поцеловала.

— Уже поздно,— прошептала она и скрылась в маленьком дворике.

Качалась на ветру неприкрытая калитка, в ее скрипе мне чудились печаль и горечь. Я стоял у калитки, той самой, у которой стоял сотни раз, и не замечал ее. Там, во дворе, всего в шаге от меня, сейчас двигалась, говорила, дышала Димана. Милая Димана! Весеннее солнышко, благоухающее цветущим миндалем. Я пытался удержать в своем воображении ее облик, сохранить в памяти ее голос. Она была еще здесь, рядом со мной.

«Стара-Загора! Значит, она оттуда?!» — мысленно повторял я, не в силах сдвинуться с того места, где мы только что простились.

Во дворике слышались голоса матери Димы, Димы и Диманы... Я продолжал сидеть у забора, как воришка. Вскоре все ушли в дом, и я остался один на один с холодной ночью.

■

Квартиранта тети Гены звали Йовчо, но никто не обращался к нему по имени, а дали ему прозвище Бынзар, так как родом он был из села Бынзары, расположенного за талилейскими лесами, а точнее — в скалах. Говорят, издалека это село напоминает овечью шкуру, небрежно брошенную на кусты терновника, а вот откуда идет название села и что оно означает — одному богу известно. Но кроме этого прозвища у дяди Йовчо были и другие: Оккультист — поскольку он принадлежал к какой-то религиозной секте; Вегетарианец — потому что не ел мяса; Генин — так как жил в доме тети Гены.

Жена дяди Николы, брата матери, страшно не любила Оккультиста. Она вообще испытывала неприязнь к чудаковатым людям, а к верующим — особенно. И все же, несмотря на частые стычки с мужем, который не прочь был выпить, она больше уважала его, чем непьющего Оккультиста. Ведь дядя Никола был не только видный мужик, но и мастер, каких поискать. Он и дом поставит, и черепицу уложит, и оштукатурит его, и покрасит, и принарядит, что невесту. Да и велеречивый был. Во всей округе не нашлось бы ни одного человека, который мог сказать про дядю Николу худое, даже если бы он шел домой на бровях. Хотя дядя не позволял себе ничего подобного. Пьяный-препьяный, а крепко держался на ногах.

— Да может, я выпил уже море ракии, кто считал? Но посмешишем никогда не был! — нередко оправдывал свое расположение к спиртному дядя Никола.

Оккультист не шел с дядей ни в какое сравнение. Нелюдимый, замкнутый, он был довольно странный человек. Ел только зерно и орехи, больше грецкие.

— В одном орехе столько же калорий, сколько в одном яйце. А два-три ореха заменяют килограмм мяса,— уверял он.— Ядрышки полезнее мяса, потому что, когда животное закалывают, оно приходит в ужас и все его тело наполняется ядом. Люди, которые едят мясо, не только рано старятся — у них портится характер: становятся злопамятными и жестокими. Человек должен есть только фрукты и овощи, и то сырые. От вареных нет пользы.

Тетя смеялась над Оккультистом, говорила, что все это болтовня, не больше.

— Это что же выходит, человек должен пастись на лужку, как скотина какая? А на что ему даны острые зубы? Может, только для того, чтобы скалиться, когда пляшет хоро? Да если не есть мяса, откуда же взяться тогда мышцам, костям, не говоря уже о костном жире? — возмущалась тетя.

Костным жиром она называла костный мозг, который, по ее мнению, во сто раз важнее головного мозга, потому что, как нередко говаривала она: «Этот сидит

себе в черепушке и, кто знает, делает что-нибудь или нет, а вот костный жир как сок в дереве — так и бегает от корня к стеблю, так и бегает. Сколько глупых людей, сколько со сломанными черепами — и ничего, живут. А у нас в Шипке (тетя была родом из Шипки) один упал, сломал себе позвоночник и больше не встал. А сколько раз разбивал себе по пьянке голову Никола? И все как на собаке заживало. Зальет болячку ракией — и все лечение. А случись что с позвоночником, разве обошлось бы? Нет, костный жир не от травы образуется, а от мяса, жиров и яиц. От них человек набирает силу, растет, становится ловким... Вы видели когда-нибудь ловкую корову? Нет, так ведь? А слон, это могущественное животное, что питается травами? Он же еле ноги переставляет. А возьмите тигра, льва. Вот где сила!»

Лично я испытывал к Оккультисту противоречивые чувства: интерес и недоверие одновременно. Как человеку, росшему в непосредственной близости от растительного и животного мира, мне не раз доводилось видеть, как закалывают поросят, ягнят, и, несмотря на отвращение к длинному тесаку как к орудию смерти, я нередко и сам зарезал кур и цыплят. «Уж коль поросенок родился поросенком — один конец и ждет его. Пусть бы тогда родился владыкой»,— говорил в таких случаях мой родственник из Банско дядя Коле, и я скорее принимал его земную философию, чем витийства Оккультиста.

— Смерть — есть врата к новой жизни,— утверждал он и приводил сотни примеров, якобы свидетельствовавших о перерождении человека, цитировал целые куски из Евангелия, пересказывал жития святых, например, как Христа спросили его ученики: кто же есть Иоанн Крёститель, и он ответил, что это Илия. Оккультист ссылался на первых христиан — Тертуллиана, Климента Александрийского и Оритена,— веровавших в перерождение человека, но все это казалось мне блажью, равно как и лечение травами. А вот разговоры о Вселенной и вселенской необъятности, о материи и душе были для меня куда интереснее. Проникновение в мир звезд, в те вселенские просторы, где, согласно религии, господствует бог, а по мнению ученых, холод и тьма,— вот что привлекало меня. Малейшее прикосновение к «тайне» волновало меня с детских лет. Помню, теплыми сельскими ночами я любил смотреть на звезды и рассуждать со своим другом Иванчо о бесконечности Вселенной. Потом, уже в постели, я спрашивал себя, как, наверное, спрашивал себя древний человек, смотревший на звездный купол: где начало и где конец всего этого? И, как древний человек, оказывался перед неизвестным и недоступным. Порой меня охватывало странное волнение. Хорошо, говорил я себе, но что же представляет собой этот мир, из чего он возник, куда движется? И меня охватывал страх перед замкнутым пространством, в котором мы все находимся, и невозможностью выбраться из него, посмотреть на него со стороны или сверху и почувствовать себя свободным. Оккультист утверждал, что мир — единое целое, неделимое и что мы, люди,— его частицы, точно так же, как клетки являются частицами нашего тела. Каждый имеет свое место в этом общем, и просто невозможно быть вне его. Это еще в большей мере усиливало мою космическую клаустрофобию, до такой степени, что я невольно начинал задыхаться, словно находился в замкнутом пространстве с непробиваемыми стенами, пульс мой учащался от страха. И хотя он объяснял мне жизнь как нечто проникнутое всеобъемлющим и вездесущим богом, богом, который проникает во все вселенные и в солнечные системы, во все организмы, во все одушевленные и неодушевленные предметы, мне от этого не становилось легче. В школе мы учили, что материя делится на органическую и неорганическую, живую и мертвую. По мнению же Оккультиста, этого новоявленного Аристотеля из Кулы, мертвой материи нет, есть только степень ее сознательности и одухотворенности. Но что я вообще не мог понять в его рассуждениях и принять, так это его представление об общем космическом сознании. По его мнению выходило, что едины не только материя и пространство, но и дух и сознание, частицами которых мы являемся. Выходило, что и духовно мы крепко связаны. Прочный мир, по которому я шагал до сих пор, разрушался, и я как мог противостоял идеям Оккультиста, думал о них и не мог принять.

В один из мартовских дней, когда немцы только вошли еще в Казанлык, я сидел на лавочке с дядей Йовчо. Он угостил меня жареными тыквенными семечками и спросил:

— Видел немцев?

— Видел. Весь город кишит ими.

— Лес тоже полон веток.

— Ветки — одно, а это — живая сила.

— Заблужденне, а не сила.

— Какая разница?

— Есть разница. Сила — это солнце... Можно иметь много самолетов, танков. Но божественная мудрость никому не давала право распоряжаться другими народами. Насилие — это меч, не признающнй хозяина. Сегодня ты сносишь этим мечом кому-то голову с плеч, завтра этот же меч сносит твою голову. Да, каждый рождается человеком, да не каждый им становится. Сегодня человечество переживает последнюю стадию индивидуализма — виновника всех борений и противоречий... Ты слышал о древе жизни?

— Слышал.

— Оно имеет корни, ствол, ветви, листья, но все же является единым целым. Оно — Вселенная. Может быть, листья и ветви думают, что они существуют независимо от древа, но это не так. И сколько бы они ни бились друг о друга под порывами ветра, сколько бы ни ранили друг друга, они остаются частью древа.

— Вы имеете в виду немцев? — спросил я, но он не ответил.

Придвинулась ночь. На востоке затрепетали белые блестки звезд. Казалось, они ежатся от холода. Выплыл месяц. Меж домов пролегли большие черные тени.

— Сейчас наступает конец духовной зимы, наступает весна,— бормотал Оккультист.— Черный век человечества кончается. Наступает светлая эра...

— Пожалуй, все наоборот,— сказал я, тревожно прислушиваясь к гулу немецких бомбардировщиков, к дребезжанью стекол в окнах домов нашей Маленькой улочки.

Оккультист печально произнес:

— К чему все это? Против кого они затеяли?..

— Против англичан.

— Сейчас против англичан,— сказал он чуть тише, выделив слово «сейчас». Затем встал, задумчиво посмотрел вдаль и повторил: — Сейчас против англичан. Но в таких делах меры не бывает. Это я тебе говорю.

Он немного постоял и медленно направился к своему дому — высокий, сутуловатый, с большой косматой головой. Он круглый год ходил без шапки. На ноги надевал кундури [1], прямо без носков. Летом вообще обходился без обуви, так как считал, что ноги человека всегда должны касаться земли, а голова — воздуха. Ведь именно от них — земли и воздуха — приходит к человеку сила, а также от солнца, которое дает человеку тепло и оберегает от вселенского холода и пустоты.

■

Просунув руку под коврик, я нащупал под ним записку. Хотел было сразу же вытащить ее, но, помня наставления бате Асена, зажал в кулаке и вынул вместе с ключом. Затем, осмотревшись, вошел в дом. В нашем квартале, как и во всем Казанлыке, ключи от домов клали под коврики для ног. Каждый знал, где прячет ключи сосед, но никто никогда не злоупотреблял его доверием.

Уже в комнате прочитал записку, написанную карандашом: «Если кто-нибудь будет интересоваться мной, передай Станчо. Я в Банях, жду, когда пройдет ревматизм. Асен».

Я прочитал записку еще раз и сжег.

Бате Асен появился у нас с рекомендательным письмом от мамы, в котором она писала мне, что он является братом ее коллеги и чтобы я принял его и приютил у нас. «Остальное расскажет он сам»,— заканчивала свое письмо мама. А «остальное» было немаловажно. Оказалось, что бате Асен, или, если представлять его полностью,— Асен Иванов Стоянов, уроженец Стара-Загоры, в тридцать третьем году вступил в подпольную организацию при Варненском морском училище, за что был приговорен к смертной казни, но, как несовершеннолетнему, смертный приговор заменили пожизненным заключением. Благодаря различным амнистиям через восемь лет он вышел на свободу. В Стара-Загору возвращаться не стал, приехал в Казанлык. Почему — догадаться нетрудно.

[1] Грубая кожаная обувь.

«Интересно, кто же принес записку?» — думал я, повторяя текст слово в слово. Немного погодя пошел к дяде Станчо. Застал его за чтением газет. Тетя Гена, как всегда, рукодельничала. Увидев меня, улыбнулась, предложила сесть и тотчас вынула из шкафа сушеные плоды смоковницы.

— Ешь, такая вкусная.

— Всякая лисица свой хвост хвалит,— засмеялся дядя Станчо.

— Есть весточка от бате Асена,— тихонько шепнул я.

Дядя Станчо отложил газету в сторону, закурил, вопросительно посмотрел на меня.

— Интересуется, спрашивал ли его кто,— продолжил я.

— Ты не заметил, возле нас никто не крутится? — включая радио, спросил дядя Станчо.

— Вроде никого нет.

Он посмотрел в окно, а затем обратился ко мне:

— И все-таки пойди посмотри, нет ли кого.

Я вышел за ворота и, насвистывая какую-то легкомысленную песенку, прошествовал небрежной походкой из одного конца улицы в другой. Улица точно вымерла. Затем я поднялся по извилистой тропинке, пересекавшей сливовую и ореховую рощицы, на холм Тюбле, радуясь, что в этом году, как никогда, много уродилось ежевики, бузины и шиповника. Место было довольно заброшенное. Сюда свозили всякий хлам жители окрестных улиц, да обретались бездомные кошки и собаки. Об этом месте рассказывали всякую небывальщину. Именно здесь несколько лет назад полиция арестовала меня и дядю Станчо. В этой рощице скрывался некто по кличке Проповедник, на след которого полицейские все же напали и убили. Люди старались не заглядывать сюда даже днем, не говоря о ночи. Мне же предстояло обследовать местность, что я и делал, стараясь подавить в себе страх: все казалось, что вот прямо сейчас кто-то выскочит из кустов и схватит меня.

Не обнаружив ничего подозрительного, я поднялся на вершину холма и увидел нашу улочку — всю в светлячках огней. Если бы где-нибудь прятался шпик, я непременно заметил бы его, ведь с холма вся окрестность видна как на ладони. Помню, однажды жандарм, затаившийся на мельнице деда Ивана у Старой реки, выдал себя. Дед Иван был участником сентябрьских событий [1]. Мы с Атьо часто ходили к нему помочь или просто поговорить о том о сем. Мы были влюблены в созвездие Орион и по вечерам долго наблюдали за трепетавшими серебряными блестками звезд: как они то приближаются, то отдаляются, словно бы играют с нами. Конечно, мы понимали, что это обман зрения, и все же не могли отвести глаз от этой красоты. Именно в такую чудную ночь мы сделали для себя открытие, что звезды расположены не на одной плоскости, а рельефно, то есть одна звезда — ближе, другая — дальше. Мы любовались звездами, и вдруг Атьо сказал мне испуганно, чтобы я посмотрел вправо, туда, где растет верба.

— Какой-то светлячок перепархивает с ветки на ветку,— ответил я, посмотрев туда, куда указал Атьо.

— Это не светлячок, а огонек сигареты,— возразил он.

Я присмотрелся внимательнее и заметил не только горящую сигарету, но и поблескивавшие пуговицы и кокарду. На плече у жандарма висело ружье. Мы предупредили деда Ивана, он постоял минуту-другую, будто бы наблюдая за луной, затем крикнул нам, чтобы шли спать,— мол, время позднее. Дед Иван запер мельницу на засов и повел нас по чердаку, мимо грозно скрежетавших мельничных жерновов, к небольшому чердачному окошку.

— Ну-ка прыгайте! — приказал нам дед Иван.

Мы приземлились на мягкую траву и стали удаляться от мельницы. Немного погодя догнал нас и дед Иван.

Ни подозрительных теней, ни светлячка сигареты на этот раз не было. Вокруг стояла такая тишина, что я слышал биение собственного сердца. Конечно же, мне было страшно, но я не уходил с холма не только потому, что хотел честно выполнить порученное дело, а еще и потому, что не хотел идти домой. После смерти бабушки наш дом точно вымер. Каждый шорох, каждый звук заставлял меня вздрагивать. Мне казалось, что кто-то постоянно ходит по дому и переставляет все

[1] Имеется в виду Сентябрьское антифашистское восстание 1923 года.

предметы с места на место. Поэтому я часто спал при свете лампы: не так страшно было.

Неожиданно выплыла круглая луна. Стало так светло, что я испугался, как бы кто не заметил меня.

Где-то вдалеке часы отмерили одиннадцать ударов — то ли из политехнического училища доносились эти звуки, то ли еще откуда, я так и не понял. Город спал. Направился домой и я, заперев входную дверь, не зажигая света, лег.

■

Бате Асен появился неожиданно. Был поздний вечер. Я только что вернулся из кинотеатра и собирался ложиться спать. Настроение было подавленное. По пути домой, войдя в наш дворик, заполненный бело-розовым цветом вишен и персиков, желтыми крокусами, я подумал, что, несмотря ни на что, жизнь продолжается и все вокруг цветет, а вот доживу ли до конца войны я... В последнее время эта мысль беспокоила меня особенно. И неудивительно, ведь с каждым днем число жертв росло.

Занятый этими невеселыми мыслями, я не заметил, как открылась входная дверь, поэтому едва не закричал от страха, когда на пороге показался человек. Поняв, что это бате Асен, я успокоился.

— Ну, здравствуй! — протянул он мне руку.

— Прямо как серна ходишь,— пробормотал я смущенно, понимая, что бате Асен заметил мой испуг.

— Лучше скажи, как волк,— засмеялся он, и я вспомнил своего дядю Коле из Банско, который ходил так же бесшумно, как бате Асен, и так же заразительно смеялся. У дяди Коле была поразительная способность приближаться к человеку совсем неслышно. Как-то мы пастушничали с ним целое лето на берегу Демянишской реки. Жили в шалаше. Днем дядя Коле пропадал где-то с пастухами и лесорубами, а вечером ловил форель, которую потом запекал на раскаленных камнях. (С той поры я не едал ничего вкуснее.)

Никогда не забуду эти прекрасные дни отшельничества. Полные кузовки брусники и земляники, восхождения на горные вершины, не всегда заканчивавшиеся благополучно. Помню, однажды я забрался на вершину отвесной скалы и не мог спуститься оттуда до самого вечера, пока не появился дядя Коле и не помог. Так же неожиданно он появился и в другой, не менее трагический для меня момент, когда я оказался один на один со змеей. Она была в нескольких шагах от меня — огромная, черная, свернувшаяся в большой клубок. Я не знал, собирается ли она нападать на меня, поэтому решил напасть на нее первый.

— Не трогай ее! — крикнул мне дядя Коле и затем долго объяснял, что змеи безвредны.— Ты думаешь, они вредны для природы? Напротив, полезны, таким образом сохраняется равновесие двух видов.

Вряд ли дядя знал, что змея считается символом здоровья и мудрости и что, сбрасывая по весне с себя шкуру, она омолаживается, а не умирает. Просто он смотрел на все, что окружает нас, трезвым взором мудреца, который осознает ничтожество человека в огромном мире галактик, и не считает, что он превосходит кого-либо, даже маленькую змею...

Каким образом дяде Коле удавалось появляться в нужный момент? Как умудрялся этот человек ходить так, что я даже не слышал его шагов? Точно так же пришел и бате Асен. И я чувствовал какую-то неуловимую связь между этими людьми. Дядя Коле, этот редкостный человек, воспитавший целые поколения коммунистов, всегда удивлял меня простотой своей одежды, неиссякаемым желанием объяснять жизненные законы, толковать историю, политику, техническое развитие человечества. Бате Асен по своей природе был таким же. Хотя и не такой подвижный, как дядя Коле, и менее здоровый, поскольку восемь гюремных лет подорвали его здоровье. В отличие от дяди Коле — загорелого, смуглого — бате Асен был бледен. Глаза его были окружены множеством морщинок. Но манерой речи, способностью просто и убедительно толковать то или иное явление он постоянно напоминал мне моего дядю из Банско. Он тоже говорил о мировой революции, в нем тоже жила вера в близкую победу, и каждый, кто слушал его, был исполнен чувства оптимизма. Он рисовал та-

кие картины будущего, что дух захватывало. Говорил, что в будущем не будет жалких хибар и людей, кашляющих и харкающих кровью, которых в то время можно было встретить на каждом шагу, что поднимутся новые здания, люди целиком отдадутся созидательному труду, а безработицы, нищеты и социальной несправедливости не будет и в помине. Я ни на минуту не сомневался в реальности подобного будущего, мне и в голову не приходило усомниться: каким же образом на месте развалюх, выстроенных во времена османского ига, вдруг вырастут новые строения, каким образом — вдруг, сразу — изменятся люди, станут добрыми, благородными в отношениях друг с другом. Я представлял себе все это чрезвычайно легким делом, считал, что достаточно одержать победу, а там... О, святая чистота революции!..

— Как ты считаешь, чем кончатся все эти дела с немцами? — спросил я бате Асена.

— Считаю, что война будет долгой. Немцы заняли Европу, Балканы; в Африку стягивают живую силу и технику, готовятся идти на Восток... Фашизм есть фашизм. Его тактика известная: террор внутри страны и агрессия вне.

— Оккультист говорит, что черный век человечества кончается, скоро наступит светлая эпоха.

— Да, черный век должен уйти... В принципе он прав,— согласился, к моему удивлению, бате Асен со словами куленского пророка.

— А еще он говорит, что Вселенная, все солнца и планеты и мы все,— единое целое.

— Конечно, целое,— подтвердил бате Асен.— Уж не думаешь ли ты, что мы — нечто отдельное от Вселенной? Мы живем в ней, она создает нас, она диктует нам свои законы...

Бате Асен засмеялся и совсем стал похож на дядю Коле.

— Эти оккультные теории я изучал. Был у нас в тюрьме один человек,— удивил меня бате Асен.— Давал читать книги немецких авторов, брошюры о «высоком идеале» и «ключе жизни»... Типичные идеалистические теории...

Бате Асен снял с себя верхнюю одежду, вытащил из карманов ломти теплого хлеба и брынзу и сказал весело:

— А мы материалисты.

Я засмеялся. Мы ели теплый хлеб с брынзой, тихонько напевали «По военной дороге шел в борьбе и тревоге боевой восемнадцатый год...». Бате Асен очень любил эту песню, говорил, что она была написана специально для конармии Буденного.

...Много лет спустя, во время одного из приемов в Москве, мне довелось сидеть напротив прославленного Буденного, и один мой русский товарищ представил меня маршалу. Я вспомнил об этом нашем вечере с бате Асеном и после традиционной заздравной чаши позволил себе сказать Буденному, что незадолго до победы в маленьком болгарском городке, расположенном в Розовой долине, часто пели песню «По военной дороге...».

— Я слышал об этой долине. Наверное, она очень красивая,— ответил маршал.

— Бате Асен,— сказал я после некоторого колебания.— Я познакомился с одной девочкой из Стара-Загоры. Ее зовут Димана.

— Имя красивое, а девушка? — спросил бате Асен.

— Еще красивее.

— Тогда смотри не упускай. Девушки должны быть красивыми, а мы, мужчины, должны оставаться мужчинами...

— А еще, Петр, Атьо и я вступили в РМС [1].

— Как это, вступили? — вздрогнул он.

— Наш одноклассник Диньо связан с человеком из Стара-Загоры...

— А что это за человек, ты имеешь представление?

— Думаю, это брат Диньо.

— Какие задачи поставлены перед вами?

— Организация троек. Будем работать тройками.

— Смотри, больше никому ни слова.

[1] Рабочий молодежный союз.

— Только тебе.

— Наше дело такое: один неосмотрительный шаг — и провал.

Он помолчал, затем спросил:

— Ну, а что нового написал за это время?

Я протянул ему тетрадку стихов. Бате Асен полистал ее и сказал:

— В этом деле я тебе не советчик, но вот почитать Смирненского рекомендую. Конечно, Ботева и Вазова — само собой. Смирненский — большой поэт. У него не только революционная поэзия сильная, но и лирика. А сатиру взять! Потрясающе! Не мешало бы «Песнь о Буревестнике» Горького почитать. Больше читай русскую поэзию. У Лермонтова есть чудное стихотворение:

Отворите мне темницу,
дайте мне сиянье дня,
черноглазую девицу,
черногривого коня.

Впервые я услышал его в тюрьме. Помню, человек десять, не меньше, просили потом переписать...

Не знаю, почему именно этот разговор с бате Асеном сохранился в моей памяти со всеми подробностями. Может быть, потому, что беседы подобного рода были крайне редкими среди многочисленных «нелитературных» наших бесед?

Через несколько дней бате Асен позвал меня к себе и сказал:

— Сможешь выполнить одно поручение? Ведь ты уже ремсист.

— А что надо, скажи.

— Надо встретить на вокзале человека из Софии. Это молодой парень, худощавый, высокий. Волосы каштановые. Одет в кожаный пиджак, в левой руке у него будет букет цветов. Запомни — в левой. Приведешь его сюда. Он здесь будет ночевать.

— Хорошо,— твердо ответил я.

— И еще одно: ты не должен подходить к парню. Разговаривать, естественно, тоже. Просто укажешь ему дорогу: пойдешь впереди. Он знает тебя.

— Откуда?

— Это не важно,— улыбнулся бате Асен.

Доверительность, с какой он говорил, позволила мне спросить о том, что волновало больше всего:

— Бате Асен, а где же ты был все это время?

— Видишь ли, схватили нашего связного...

— И что, он выдал тебя?

— Если бы выдал, меня уже давно склевали бы вороны,— ответил он и замолчал.

Казанлыкский вокзал той поры представлял собой маленькое строение желтого цвета. Узкий перрон, переполненный народом. Старики, женщины, мужчины, дети, болгарские и немецкие солдаты. Горы узлов, торб, корзин — яблоку негде упасть. Но я люблю эту вокзальную толчею. Любил людской гомон, смешанный со свистом прибывающих и уходящих поездов, перронную суету, продавцов семечек, булочек, бузы. Мельтешенье рук встречающих и провожающих, огромные клубы дыма и пара, в которых на мгновенья пропадали и люди, и их багаж. Детьми мы часто прибегали сюда, чтобы подышать паровозным паром. Для нас это было большим событием...

Парень в кожаном пиджаке и с букетом на мгновение остановился на вагонной подножке, ровно настолько, чтобы я мог заметить его. Я показал ему взглядом, чтобы он шел за здание вокзала. И только было направился за ним следом, как откуда-то вдруг появился не кто иной, как наш родственник Стоянчо Мелкий, служивший в полиции. У Стоянчо была удивительная способность появляться там, где его вовсе не ждут.

— Ждем кралю? — с ехидцей спросил он, обнажая желтые зубы.

— Ждал, да вот не приехала! — не скрывая раздражения, бросил я, так как наши отношения всегда были более чем прохладными. Он хотел сказать еще что-то, но, видимо, передумал и неожиданно нырнул в гущу толпы. Я стал искать глазами парня с букетом. Он стоял у выхода и как ни в чем не бывало ел только что купленную булку. Я прошел мимо него, шепнул: «Иди за мной»,— и мы двинулись по пыльным

кривым улочкам. Время от времени я останавливался, осматривался, не следит ли кто за нами.

Кто этот парень? Откуда? Какое задание выполняет? — думал я, хотя и понимал, что все эти вопросы лишние. Я не чувствовал страха, напротив, меня охватила шальная радость. Хотелось, чтобы все знали, что я выполняю очень важное, связанное с риском задание.

Когда мы вошли в дом, бате Асена не было. Он появился минут через пять — семь со словами:

— Проверил, нет ли хвоста.

И, улыбнувшись, он усадил парня на кровать, и тот стал развязывать букет, из которого посыпались листовки.

На следующий день парень уехал.

Звали его Андреем.

■

В ту далекую весну сорок первого в людях с каждым днем возрастало чувство страха перед грядущим. Каждый понимал, что невозможно предотвратить надвигающуюся опасность, физически ощущал ее неминуемое, губительное приближение. Необъяснимое чувство тревоги не покидало и меня. С этим чувством я засыпал, с ним просыпался. Состояние радости возникало лишь при виде трепетных солнечных зайчиков, появлявшихся по утрам на занавесках окон. Мне и в голову не приходило, что Германия начнет войну против Советского Союза в такой же солнечный, опьяняющий розовым ароматом день.

Возвращаясь к событиям тех лет, я думаю о том, как же ловко впрягли нас в колесницу войны. Казалось, никто не хотел воевать. Хорошо ли, плохо ли, но люди продолжали мирно жить в своих домах со своими семьями. Правда, не хватало ни еды, ни одежды, но это можно было пережить, перетерпеть... И видимо, именно так рассуждали тогда многие, поэтому и не заметили, как с каждым днем все туже и туже натягиваются поводья, что война вовсю уже размахивает кнутом... Как быстро, оказывается, человек смиряется даже с тем, что ему глубоко ненавистно. И вот вчерашний мирный крестьянин, горожанин, чиновник, гимназист неожиданно предстает перед тобой с винтовкой в руках и стреляет по чьему-то приказанию в тебя, в твоего ближнего, оправдывая свой поступок такими фразами, как, например: «Этого требует время», или: «Иного выхода нет» — и испытывая при этом подленькое чувство радости, что, слава богу, не он оказался в числе жертв...

Я спросил бате Асена, пустить ли мне на квартиру немецких офицеров. В то время немцы кроме общественных заведений занимали и частные дома, и квартиры. Бате Асен тотчас же ответил:

— Пусти! Пусть не думают, что мы имеем что-то против немецкой армии.

Офицеры Иоганн и Курт, совсем молодые парни, похоже, не очень-то были обременены службой, поскольку довольно много шлялись по улочкам города или валялись на своих кроватях. К ним часто наведывался немец со шрамом во всю щеку, который постоянно вызывал меня на всякие разговоры. Не знаю, что так прилип ко мне этот немец. Его походка, вальяжная, вразвалочку, говорила о том, что в прошлом этот человек служил на флоте. Однажды я это и сказал немцу, на что он ответил, мол, на самом деле служил на флоте. А сюда его перебросили после контузии...

Через месяц после нашего знакомства, а может быть и больше, немец встретил меня вечером на улице и, наклонившись, сказал тихо:

— Hitler ist Schwein[1].

Я замер от изумления. Осмотрелся, нет ли кого рядом, не слышал ли кто его слов. Вокруг не было никого.

Он повторил:

— Hitler ist Schwein.

Не ожидал я от немца, от немецкого солдата, что он назовет своего фюрера свиньей. Я выслушал и другие его рассуждения: что не все в Германии согласны с фюрером, что в один прекрасный день немецкий народ предъявит ему счет, но с каждой минутой я все больше подозревал, что это провокация, и, не дослушав немца до

[1] Гитлер свинья *(нем.)*.

конца, ушел домой. Бате Асен собирался идти на работу во вторую смену. Он заметил мое волнение и тотчас спросил:

— Что случилось?

— Тот немец... с рассеченной щекой... Я рассказывал тебе...

— Да, помню.

— Он такое наговорил мне о Гитлере. Что тот свинья, сказал, что однажды ему предъявят счет...

Бате Асен задумался и ответил:

— Здоровайся с ним, но смотри не засиживайся часто... Надо будет прощупать его... Может быть, он и не провокатор.

И вышел.

■

«Владо, милый! (Ты ведь позволишь мне называть тебя так?) Хочешь — верь, хочешь — нет, но я знаю тебя давным-давно. Не веришь? Тогда слушай:

Где-то в поле вдалеке
прокричит ночная птица
и замрет вдруг в тишине.
Как красиво все! Шагаешь
молодой и вольный по земле...

А может, напомнить «Скитальческую песню»? И это стихотворение я выучила наизусть. Теперь-то ты веришь, что я знаю тебя давно?.. Когда мы встретились тогда, в столовой (только, пожалуйста, не вспоминай о тех мерзких немцах), я сразу поняла, что это именно ты.

Владо, знай, я всегда жду тебя. Как хочется увидеть тебя! После разлуки я чувствую себя, как никогда, одиноко. Я вообще очень одинокий человек. Даже не знаю почему. Такая вот я... Но об этом при встрече.

Извини за сумбур.

Живу надеждой на встречу. Целую.

Димана».

Прочитав письмо, я прижал его к груди и помчался непонятно куда и зачем.

«Димана написала мне! Димана!» — повторял я, мысленно сочиняя ответ на письмо. Хотелось, чтобы оно было необыкновенным. Может быть, таким: «Милая моя Димана!» Нет, пожалуй, таким: «Милая моя, единственная! Если бы ты знала, что значишь для меня». Нет, не так. Пожалуй, вот так: «Милая Димана! Твое письмо словно...» Нет, лучше: «Твое письмо примчалось ко мне точно луч солнца...»

Я настолько увлекся, что не заметил, как очутился рядом с гимназией. По улице маршировали гитлеровцы. Из репродуктора, установленного во дворе, доносился чей-то дребезжащий голос, похожий на голос Богдана Филова, но я не вслушивался в то, что говорилось, равно как и не присматривался к происходящему вокруг. Я сел на лавочку у памятника Кириллу и Мефодию и стал перечитывать письмо. Никогда в жизни я не испытывал радости, подобной этой. Каждая клеточка во мне ликовала, сердце трепетало от счастья...

Я толком не понял, когда появился учитель музыки Христо Мыников. Сначала он не заметил меня, но когда я поздоровался с ним, остановился и внимательно посмотрел на меня своими большими влажными глазами. Мы были хорошо знакомы, он относился ко мне как к близкому человеку.

— Пойдем со мной,— сказал Мыников.

Я встал и последовал за ним в читальню «Искра».

— Ты старайся не попадаться немцам на глаза. Еще неизвестно, чем все кончится.

— А чем, собственно, это может кончиться? — спросил я с радостной улыбкой, поскольку мысли и чувства мои были далеко.

— А тем! — бросил Мыников раздраженно.— Не сегодня-завтра начнутся аресты, облавы.

— Чего-чего? — непонимающе уставился я на него.

— Да ты что, не знаешь, что ли, что немцы напали сегодня на Россию?

— Что? — ужаснулся я и остановился.

«Но почему именно сегодня? Что теперь будет? Увидимся ли мы когда-нибудь с Диманой?» — с отчаянием думал я.

■

В то время нас, молодежь, занимала не обрушившаяся на всех шквалом мутная пропаганда фашизма, а проникающие все же к нам книги Ромена Роллана, Барбюса, Горького, Тагора, Шоу. Целым праздником было для нас прочтение какого-либо произведения этих авторов. Помню, мы выписывали в тетрадки отдельные их мысли, особенно яркие, и заучивали наизусть. Нас поражала необыкновенная философия и острота мыслей Рабиндраната Тагора, невероятный для того смутного и беспокойного времени гуманизм Барбюса и Ромена Роллана. И по сей день я нахожу в тетрадях и блокнотах отрывки из произведений Толстого, Чехова, Гёте, Шиллера. Неиссякаемая жажда знаний заполняла наши души, захватывала наши сердца незнакомыми доселе переживаниями. Философия античных авторов, которых мы переводили с латинского, глубоко вторгалась в наше сознание, тревожила ограниченное наше представление о мире и Вселенной, заставляла смотреть критично и строго на расширяющуюся вокруг нас пропаганду и не верить насаждаемым с таким упорством «новым» идеям национал-социализма.

В моей комнате висела большая карта Европы, на которой я отмечал булавками с черными головками города, занятые немцами. Вскоре карта представляла собой мрачное зрелище, что в свою очередь вызвало во мне мрачные мысли. Казалось, мир несется к пропасти. Я обратил внимание, что люди стали подозрительными, злыми. А мой родной город, этот романтический город роз, этот европейский Кашмир, постепенно превращается в военно-индустриальный центр, нищает духовно и материально. Насколько обнищала страна и народ, особенно отчетливо проявлялось по вечерам и в утренние часы, когда булыжные мостовые заполнялись стуком деревянных подметок голодного, оборванного рабочего люда восемнадцати фабрик города.

У дяди Станчо был самодельный приемник, который ловил почти все радиостанции мира. Мы с бате Асеном часто ходили к нему слушать сводки Советского информбюро, радиостанции Лондона, Америки и других стран.

Тетя Гена, как правило, занималась домашними делами, но при этом не забывала угостить меня то вареньем, то баничкой[1], то соком бузины. Поинтересоваться, как поживает и чем занимается Диманочка из Стара-Загоры, напомнив тем самым, что наша встреча не осталась незамеченной ею. А может быть, эти слова тети Гены следовало понимать так: мол, пришло и твое время, не ребенок уже.

В такие минуты я смотрел на тетю Гену с обожанием. В ней мне нравилось все: и мягкие, неторопливые движения, и ласковый, воркующий голос, и нарядная приталенная блузка (ее я помнил с тех пор, как тетя Гена вышла замуж за дядю Станчо, именно тогда появилась блузка). Нередко тетя Гена тоже садилась послушать радио — при этом постоянно что-то делала — и не сводила глаз, полных любви, со своего мужа. Тетя Гена гордилась, что именно ее муж сумел смастерить такой приемник, какого нет во всей махале[2]. Глядя на этих людей, счастливых в своей любви, я думал о Димане...

Вскоре пришло письмо от мамы. Она звала меня к себе в Тракию.

«Приезжай хоть ненадолго, а там посмотрим...» — писала мама. Если честно, то более всего я обрадовался возможности побывать в Стара-Загоре: ведь именно через этот город лежал путь в Тракию. В последнее время мы с Диманой завалили друг друга письмами. Но письма — одно, совсем иное — увидеть ее, услышать. Конечно же, я поеду к родителям, а по пути остановлюсь дня на два в Стара-Загоре. Благо, знакомых много: преподаватель болгарского языка Асен Младенов (кстати, он был первым человеком, кому я показал свои стихи); близкий знакомый отца — хирург Прокопи Еремеев, мать бате Асена — бабка Стефанка...

Я вышел на перрон и направился в центр Стара-Загоры по длинной прямой улице, решив зайти к бай[3] Бойчо — известному меценату, который кормил некредитоспособных литераторов. Бай Бойчо сразу же усадил меня за отдельный столик и, улы-

[1] Слоеный пирог, обычно с брынзой.
[2] Квартал, часть города.
[3] Почтительное обращение к старшему мужчине.

баясь своей добрейшей улыбкой, спросил, когда я приехал, останусь ли и почему бы мне не остаться, тем более что сейчас... не закончил он, указывая на столики, занятые немецкими офицерами, которые пили пиво и говорили чрезвычайно громко, заполняя ресторан своими крикливыми голосами.

— Я еду в село к родителям, но могу остаться на день-два.

— Так останься,— улыбнулся бай Бойчо.— Еды хватит.

В ресторан вошла девушка в форме бранников, и бай Бойчо направился к ней. Они оживленно заговорили, и я услышал следующее:

— Посажу тебя за один столик с поэтом из Казанлыка.

Я почувствовал себя неловко, но бай Бойчо не дал мне времени опомниться и представил девушку:

— Юлия Белянова.

Девушка села за столик и непринужденно произнесла:

— Я читала ваши стихи.

— Я ваши тоже,— произнес я несколько неуверенно, хотя имя ее мне было знакомо по «Болгарской речи», где когда-то мы печатались с ней.

Она недоверчиво покачала головой, словно сомневалась в правдивости моих слов, и сняла кепку. Черные тугие локоны упали на плечи, и мне почему-то показалось, что на карих ее глазах, как на всем лице, лежит печать не то печали, не то болезни.

— Сомневаюсь, что вы запомнили что-нибудь из моих стихов,— заметила она.

— Почему же? Разве одно из них не начиналось с эпиграфа «Cogito, ergo sum?»[1]

— Действительно, у меня есть такое стихотворение... Вы не хотели бы пройтись? — неожиданно предложила она.

— Пожалуй, два часа в запасе есть,— ответил я, испытывая даже удовольствие от ее предложения.

— А потом? Потом что, вы заняты? — спросила она таким тоном, будто вела допрос.

— Потом у меня дела,— ответил я, стараясь сдержать раздражение.

— Тогда проводите меня до дома, это рядом.

Шли мы молча. Я обратил внимание, что настроение Юлии заметно улучшилось, а вот мое падало катастрофически. «Почему я повел себя с ней так? — спрашивал я себя.— Девушка просто хотела пройтись, а я... Глупая, однако же, история. Конечно, можно пройтись. Что тут такого? Не съест же она меня. Наверное, говорили бы о литературе... Но нет, я не мог прохаживаться по Стара-Загоре с какой-то командиршей группы бранников, если приехал сюда ради Диманы...»

— Мне сюда,— сказала Юлия, остановившись перед неказистым домишком, и я вдруг увидел, что эта улица называется Железные Ворота. «Какой же это номер дома?— лихорадочно соображал я.— Слава богу, не десять».

— Мне приятно было познакомиться с вами. Если останется время после работы,— продолжила Юлия, подчеркнув слово «работа»,— заходите.

Подав на прощание руку, она легко взбежала по лестнице.

Не чувствуя под собой ног от волнения, я дошел до калитки Диманы. Перед домиком играли совсем еще маленькие рыжие котята. Они гонялись за пестрой бабочкой, порхавшей меж распустившимися георгинами... Не знаю, как долго простоял бы я у калитки, если бы из дома не вышла женщина с такими же, как у Диманы, волосами и не спросила:

— Что вы здесь делаете? Кто вам нужен?

— Димана,— промолвил я едва слышно.

— Ди-ма-на! — звонко крикнула женщина, и на пороге показалась Димана — босоногая, в просторном платье из тонкой ткани.

— Ты-ыы! — выдохнула она и бросилась мне на шею. Придя в себя, смущенно прихватила рукой широкое в талии платье и пробормотала:— Я сейчас. Переоденусь. Подожди меня!

«Самое трудное позади,— облегченно вздохнул я.— Сейчас Димана выйдет, и мы будем бродить по городу до рассвета».

И все же я отказывался верить, что через несколько минут Димана снова будет рядом.

---

[1] Мыслю, следовательно, существую *(лат.)*.

«Я сейчас. Переоденусь. Подожди меня!» — эти слова продолжали звучать во мне. Казалось, то же самое шепчет листва тополя, о том же щебечут ласточки в вышине.

Красивая не красивая, а любимая...

— Неужели ты рядом? — шептала Димана, глядя на меня лучистыми глазами, и я с восторгом отмечал прикосновение ее волос к моей щеке.

Димана была в белом костюмчике и, как тогда в Казанлыке, напоминала мне весеннее солнышко.

Когда мы оказались в тенистой аллее под раскидистым миндалем, я обнял ее и прижал к груди, не понимая толком, как отважился на подобное. Димана сбивчиво рассказывала о том, что мое последнее письмо она перечитывала тысячу раз, на что я ответил, что ее письмо я перечитывал тысячу двести раз. Потом она сказала, что, если бы я не приехал в Стара-Загору, она приехала бы в Казанлык. Я сказал, что очень люблю решительных девушек, и снова обнял ее.

Горьковатый запах миндаля и сладостный аромат зрелой пшеницы, исходившие от Диманы, опьяняли меня и в то же время наполняли какой-то неведомой доселе силой...

Два дня, проведенных в Стара-Загоре, промчались, как летний ливень, после которого на земле остаются глубокие следы от ручьев, а воздух наполняется терпким, стойким ароматом магнолий. Сидя в телеге, тащившейся в Тракию, я ощущал этот аромат особенно явственно. Он будил во мне радостные воспоминания. Еще вчера вечером я был с Диманой, а сегодня утро застало меня в дороге. Хотя какой вечер, если мы расстались с ней на рассвете. Интересно, как она объяснила матери свое позднее возвращение? Приятная усталость, хорошо знакомая всем влюбленным, разливалась по телу. На душе было радостно.

Село Тракия раскинулось на берегу двух мутных рек. Ровно в тридцати километрах от Стара-Загоры, Хасково, Чирпана и Тырнова Сеймена — одинаково далеко и близко от «большого мира». Четыре-пять улиц, сотня домов, школа, церковь, две корчмы-бакалейни, мясная лавка, которая открывалась по большим праздникам. Умопомрачительная жара летом, зимой — грязь по колено, такая, что дети ездили в школу не иначе как верхом на осле. Не приведи господи потерять в такой грязище царвули[1] — ни за что не отыщешь.

Электричества и того не было. Обходились керосиновыми лампами, а во время войны почти все перешли на карбидные, издававшие запах, далеко не из приятных. Ни автобусы, ни поезда тем более не ходили в Тракию. Единственным культурным достижением того времени был общественный телефон — черный, старый, с ручкой. Если кто заболевал, за врачом надо было ехать в Стара-Загору. Ближайшая железнодорожная станция Михайлово находилась в двенадцати километрах от села. К ней вела пыльная гужевая дорога, становившаяся непроходимой в дождливую пору. Ни у кмета[2], ни у попа, ни у учителя, ни тем более у крестьян не было радио. Позже кое-кто наловчился собирать детекторные приемники с наушниками, но для этого прежде надо было поставить шестидесятиметровую антенну.

Во времена моего детства в Тракии верили во всякую небывальщину. Кто-то утверждал, что лично видел, как по ночам над рощей летают змеи, из пасти которых полыхает огонь. Иные — что встречали в поле рогатого: то стариком прикинется, то собакой обернется или филином. А дед Желю из нижней махалы божился, что в молодости на него напали самодивы с такими же длинными зелеными волосами, что и ветви вербы. Уж так они гнались за ним, так гнались — хотели запутать в своих волосах и задушить,— но он перекрестился трижды и, призвав на помощь Святую Богородицу, пустился что было мочи. Они и отстали.

В этот мой приезд в селе уже не велось разговоров о змеях и самодивах. Собравшиеся у корчмы деда Байко мужчины говорили о войне. Сам дед Байко, стопятилетний старик, сидел на лавочке, стараясь уловить тугим ухом суть разговоров мужиков, понять, что же творится на белом свете.

Я не испытывал желания сидеть в маленькой комнатенке с двумя кроватями, столом и двумя окошками, одно из которых выходило на гумно, а второе на сеновал. Поэтому показался матери на глаза и сразу же ушел на речку.

[1] Крестьянская обувь из кожи.

[2] Сельский староста.

Я любил бывать на реке в любое время года. Зимой, когда над мертвой водой курится легкая дымка, а в самой середине реки, сузившейся на зиму, желтеют островки камышей, выставляет свои чудом сохранившиеся красные плоды нахохлившийся от стужи шиповник, одиноко застывший на берегу. Весной и ранним летом берега покрываются густой муравой, из которой не без кокетства выглядывают белые шляпки шампиньонов. В эту пору крестьяне, как правило, срезают вербовые веточки и делают дудочки для своих детей и внуков. Милые вербные дудочки! С какой радостью мы играли на них и как мчались с ними по улицам и сельским дворам, дразня собак!..

Вдоволь побродив у реки, я возвратился к корчме деда Байко, к односельчанам.

Мне нравились эти простые, открытые люди, среди которых я рос, с детьми которых учился до четвертого класса и ел на переменах теплый хлеб и сало. Я любил этих крестьян в широченных потурах, безрукавках, подпоясанных красными кушаками, в лихо заломленных шапках и бурках, в белых онучах. Любил их дома, выбеленные известкой, с резными наличниками. Любил их вечные хлопоты... По ночам крестьяне вставали с постели, наведывались к скотине. В нос шибал запах навоза и прелой соломы, но они не замечали его, ибо давно пропахли им. Продрогшие, возвращались в дом, неся с собой под одеяло дух хлева, прижимались к теплым крепким спинам жен и так коротали остаток ночи — недолгой, впрочем, ибо занимался рассвет, и снова надо было вставать, поить-кормить скотину, колоть дрова, пахать, сеять, жать, как и положено. И так каждый день. В любое время года. Разговоры с односельчанами на улице и у корчмы были для них праздником. Душа находила усладу, сердце заполняла радость, смех и шутка поднимали настроение, а вернувшись домой, они долго повторяли услышанное, покачивали головами и давали понять своим женам, что и у них есть нюх на мировую политику.

— Я сказал им о немцах... Сказал им, что знаю этих немцев... Да, ясные и понятные мне все эти дела...

Жена тем временем, собрав со стола посуду и вымыв после всех домашних дел руки, снимала верхние юбки и, босоногая, крепкая, ложилась рядом, прижималась к широкой мужниной груди и замирала от счастья, что ее муж может так вот говорить с односельчанами...

— Учительша, веду тебе гостью,— заглядывая в нашу комнату, сказал маме хозяин дома Желязко Байков.

Гостьей оказалась симпатичная женщина невысокого роста, в одной руке у нее была сумка, а во второй — плащ, или, как их тогда называли, балонзайдер.

— Недялка? — удивилась мама.

— Зина! — радостно обняла гостья маму.— Мимо проходила, дай, думаю, зайду. А что, Ивана нет?

— На переподготовке. С этой их переподготовкой все здоровье забрали у человека.

Недялка, или Недялка Попович, как я потом узнал, когда-то работала вместе с отцом и матерью в школе. Она посетила нас в печальный период нашей жизни. Весь июль, знойный и засушливый, мы провели в ожидании: надеялись, что не сегодня-завтра отца демобилизуют и тогда мы все вместе поедем в Казанлык и проведем лето там. Мы однажды ездили к нему в Момчилово. Отец стал такой худой, почернел весь из-за своей язвы, будь она неладна. Мама привезла ему отварную курицу, чуть присыпанную красным перцем, но он даже не прикоснулся к ней.

— Солдаты бунтуют, не хотят служить,— рассказывал нам отец.— И можно понять людей: пшеница осыпается в полях, виноград необихожен... Не сотворили бы какую глупость...

Сидя на пороге, я ел кукурузу, но слух мой был обращен к тете Недялке. Я не мог разобрать, о чем речь, но был уверен, что приход этой женщины к нам в село не случаен, здесь есть какая-то тайна. Я попытался прислушаться к их разговору. В открытую дверь я видел их обеих, сидящих на миндере [1], но так и не расслышал ни единого слова. А разговор, похоже, был очень интересный. Я понял это по маминым глазам. Давно в них не было такого лучистого сияния, какое я наблю-

[1] Деревянная лавка, расположенная у окна.

дал в эти минуты. Я пересел поближе к двери, и отрывочные слова вдруг слились в предложения:

— Переходим к курсу вооруженной борьбы,— говорила тетя Недялка.— Есть решение.— Она не сказала, чье это решение.— Создана специальная военная комиссия. Будут образованы партизанские группы. Будем собирать сведения о полицейских частях, о проходящих по нашей территории немецких войсках, о количестве складов...

— Недялка, да они здесь всего один раз и проезжали.

— Опять будут проезжать... Окружной комитет пытается наладить связь со всеми, кто участвовал в Сентябрьском восстании...

— Да ведь это чудесно, Недялка!.. Я буду вашей связной... И к Ивану поеду... Ой, а тебя случайно не выследили, Недялка?

— Нет, Зина. Все спокойно.

— Давай ужинать,— крикнула мне мама немного погодя.— Хватит есть кукурузу на голодный желудок.

Я сидел за столом, хлебал похлебку и думал про себя с улыбкой: нет, вы посмотрите на эту тихоню тетю Недялку! Да и мама тоже...

Мы решили ехать в Казанлык и ждать отца там. Накануне я получил письмо от Диманы. Она писала:

«Милый, у нас несчастье. Моего брата Здравко арестовали. Чтобы не выдать товарищей, он вскрыл себе вены. Сейчас лежит в Сливене в больнице. Мы с мамой едем к нему,— может быть, разрешат свидание... Позже напишу в Казанлык. Димана».

Грустный и печальный, бродил я по улицам Стара-Загоры, куда мы добрались с мамой и сестрой на разбитой таратайке с продавленными сиденьями, пропахшей бензином и, ко всему прочему, без тормозов. Ее хозяин — предприимчивый сельский парень — купил эту рухлядь по дешевке, как он нам рассказал, и мечтал подзаработать на этом. Вряд ли ему это удалось.

Ничто не привлекало моего взора на улицах Стара-Загоры. Я гордился тем, что у Диманы такой славный брат, и трепетал при мысли, что, может быть, именно в этот момент она, сдерживая слезы, кормит его (если им вообще разрешили посетить его) и думает об одном: как только брат выздоровеет, его снова начнут пытать, допрашивать. Мне хотелось сесть не на казанлыкский, а на сливенский поезд. Матери Диманы мы могли бы еще кое-как все объяснить, ну а полиции как объяснишь? Кем я довожусь этому парню? Да и поверит ли он, будто я приехал только потому, что испытываю самые добрые чувства к его сестре? И как расценит мой поступок бате Асен?

■

В начале сентября сорок первого прошел слух о том, что на Восточный фронт будет отправлен санитарный поезд — дар Болгарии Германии — и что в городе будут размещены раненые гитлеровцы. И действительно, вскоре в Казанлык прибыло две тысячи искалеченных немцев и триста итальянцев. Их разместили в городской больнице и в других общественных зданиях, переоборудованных для этих целей. Больница располагалась неподалеку от нашей Маленькой улочки, и часто, проходя мимо, можно было наблюдать, как прогуливаются во дворе «доблестные» солдаты.

Особенно хорошо мне запомнились итальянцы. Это были совсем молодые ребята,— может быть, чуть постарше меня. Веселые, несмотря на болезни и ранения. Их веселость можно было понять: ведь отныне война кончилась для них. Теперь им не надо будет лезть под пули и дрожать от страха при мысли о русских партизанах. Все это осталось в прошлом. Ничего, что кто-то лишился руки, кто-то — ноги. Главное — живы и в скором времени вернутся домой, к мирной жизни. Кто-то откроет велосипедную мастерскую, кто-то фотоателье. У кого достанет сил, будет возделывать виноградники, обрабатывать поле.

Карта, на которой я отмечал булавками с черными головками наступление немецких войск, была не очень радостным зрелищем; подобные черным каскам гитлеровцев, черные булавки вонзались в окрестности Москвы, Ленинграда. Но рядом с черными булавками уже появлялись булавки с красными головками. Ими я помечал войска Красной Армии, которые то тут, то там стали отвоевывать захваченные немцами территории.

В Казанлыке, Стара-Загоре и в Банско все эти события комментировались с подробностями, и насмешки относительно немецкого «блицкрига» становились все более частыми и более язвительными. Правительство Богдана Филова еще с начала войны стало принимать крутые меры в отношении недовольных его политикой. «Меченные» полицией коммунисты были брошены в тюремные застенки, концентрационные лагеря. Вооруженная борьба народа против фашизма, о которой я услышал от маминой подруги Недялки Попович, была частью огромной программы, о которой нам предстояло узнать только теперь.

Все эти дела совершались в строгой секретности, но сколь секретной ни была бы тайна, она не может вечно оставаться тайной, потому что, как говорил старик Сократ, человеку легче держать на языке горячие уголья, нежели тайну.

Как-то вечером дядя Станчо, тетя Гена, Оккультист, бате Асен, дядя Никола, тетя Тана и я сидели на большом камне у дома дяди Николы. Неожиданно из ворот фабрики «Филтис», расположенной напротив, вышел человек и направился к нам. Это был Чоло — житель нижней махалы. Русоволосый, синеглазый, с пышными рыжими усами, всегда спокойный, Чоло на этот раз был явно чем-то взволнован.

— Вчера у нас такое случилось...— сообщил Чоло, подойдя к нам.

— Что? — насторожился дядя Никола и даже отставил в сторонку фляжку с ракией.

— Даже не знаю, рассказывать, нет ли,— прикуривая дрожащими пальцами папиросу, пробормотал Чоло, хотя видно было, что ему просто не терпится поделиться новостью.— Администрация категорически запретила...

— Чоло, не юли, говори прямо,— оборвала его тетя Тана, женщина нетерпеливая и напористая.

Чоло огляделся по сторонам, зачем-то натянул кепку на самые глаза и, понизив голос, начал:

— В общем, такое дело. Работаем вчера во вторую смену. Вдруг слышим, кто-то кричит, что в цех направляется полиция. Надзиратель тут как тут: приказывает, чтобы все оставались на своих местах,— мол, будет обыск. А целый полицейский кордон громыхает уже по лестнице. Глянул я на наших — что такое? Иван Астаджов сделался весь желтый, заскрипел зубами и шасть за станки, потом к окну, открыл его и — вниз по трубе... А полицейские уже вошли в цех и, как назло, о нем спрашивают, об Иване, значит. Мы и говорим, что, мол, здесь он. Кто-то даже крикнул: «Иван, ты где? Иди, к тебе пришли!»

— Вы кого дурачите, скоты?! — заорал какой-то в штатском, наверное начальник. И командует: — Немедленно обыскать всю фабрику!

И тут посыпались вопросы: кто и когда видел Ивана в последний раз, как ему удалось уйти, кто помог. А мы что — молчим, а сами думаем: ищите ветра в поле...

— Молодец Иван, показал им кукиш с маслом,— засмеялась тетя Тана.

— Я к политике не имею отношения, но вот такие дела творятся,— закончил свой рассказ Чоло, словно оправдывая свою болтливость.

— Христос сказал: «Не нарушить пришел я, но исполнить»,— вставил Брынзар ни к селу ни к городу.

Дядя Никола внимательно посмотрел на него и сказал:

— Если на фабриках такое началось, это хорошо.

— Да, уж коль появилась туча — жди дождя,— заключила тетя Тана.

Вскоре о случае, происшедшем на «Филтисе», знал весь город. Несмотря на меры, предпринимаемые полицией, Ивана Астаджова так и не удалось поймать. А через неделю об этом случае стали постепенно забывать, так как на смену ему пришли другие события, другие беды. В тот вечер, когда Чоло рассказал о случае на фабрике, я вошел в наш пустынный дом, погасил лампу и долго смотрел в темноту за окном. Все надеялся, что где-то там, во тьме, покажется нелегальный. А почему бы нет? Здесь вряд ли кто будет искать его, потому что прямо за небольшим лесочком начинаются горы. Здесь легче всего спрятаться. Я представлял себе, как он пробирается сквозь заросли кустарника, голодный и невыспавшийся, как я приближаюсь к нему и зову его: «Дядя Иван!» — затем прячу его в доме. Бате Асен устраивает ему связь с нужными людьми, а тетя Гена и тетя Тана приносят ему теплый хлеб и баничку...

В небе показался тонкий, в огненных подпалинах серпик месяца, словно кто-то окунул его в багряную краску. Он излучал необычный свет, отчего поле за домом казалось подрумяненной корочкой огромного каравая. Мрачные фиолетовые тени бро-

дили по полю, точно живые существа... Глаза мои затуманились от напряжения, и в этот миг я увидел за окном чью-то тень. Через секунду рядом с первой тенью возникла вторая. Мне казалось: еще немного — и произойдет что-то страшное. Тени придвигались все ближе и ближе. И вдруг я узнал в одной из них начальника полиции Сомова. В лунном свете отчетливо были видны блестевшие ботинки, пуговицы кителя, ременная пряжка. Меня затрясло словно в лихорадке. Что делает здесь Сомов? Кого ищет? Не Ивана ли Астаджова? А может быть, собирается арестовать дядю Станчо?

В памяти всплыло давнее утро. Я сижу на макушке раскидистого ореха, откуда видна наша Маленькая улочка, а также улицы Радецкая, Тюлбе и горы. И вдруг я заметил в сливовой рощице группу полицейских, направлявшихся к дому дяди Станчо. Я со всех ног бросился предупредить его об опасности, но не успел — и меня арестовали вместе с ним... Сколько нас били, как я лежал без чувств и мне грезились то Бырдо, то Бузиновый лесок, то мама и бабушка... Все это пронеслось в моей голове, пока я наблюдал за Сомовым, который шел по меже. Отблеск ременной пряжки слепил глаза, я боялся, как бы он не заметил меня. Но вот снова появилась вторая тень, буквально прилипла к полицейскому, словно обнимала его, затем пошла впереди него. И только теперь я узнал Надку, девушку из соседней махалы. Надо же! Значит, страшилище города устраивает любовные встречи?..

Сомов и Надка остановились под нашим забором.

— Так в среду? — услышал я.

— В среду,— согласилась подружка Сомова.

— Только на этот раз у ореховой рощи.

— Хорошо. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Я проследил, куда Сомов пойдет дальше, не собирается ли нагрянуть к кому-нибудь с обыском. Но нет, он направился в сторону Радецкой улицы...

На Маленькой улочке жила одна женщина, которая работала телефонисткой на почте и которая по характеру своей работы имела возможность узнавать из первых рук весьма важные сообщения. Естественно, она не рассказывала об этом кому ни попадя, но в узком кругу, особенно когда находилась среди нас, не могла удержаться. Звали ее Веса, тетя Веса. Эта добрая, отзывчивая женщина бессчетное количество раз связывала меня по телефону с мамой и папой, жившими в селе. Во время дежурств она слышала разговоры полицейских, распоряжения, отдаваемые начальником полиции Сомовым или начальником гарнизона полковником Владковым, а также экстренные сообщения местных властей о появлении в их районах нелегальных или подозрительных личностей; об акциях саботажа, о побегах заключенных и пр. Еще когда жива была бабушка, тетя Веса по пути с работы частенько заходила к нам. Вдвоем они садились на крылечко и вели свои неспешные беседы... Тетя Веса была вдовой, имела двоих детей примерно моего возраста, и мама все удивлялась, как эта женщина умудряется прокормить их на одну зарплату, да еще надеется дать им высшее образование, и не какое-нибудь, а университетское. Но тетя Веса не жаловалась на судьбу. Она была очень сердечным человеком, стремилась делать людям добро и в этом находила радость.

Именно от нее я узнал, что полиция разыскивает в Казанлыкском крае какого-то подпольщика.

— Ты, детка, на самом краю живешь, поэтому будь осторожнее. Нынче всякий лихой люд бродит, недолго и до беды,— предупредила меня однажды тетя Веса, заглянув на огонек к тете Гене, а затем рассказала историю, произошедшую неподалеку от Большого села.

Собирала женщина фасоль у себя на огороде, слышит вдруг, кто-то говорит ей: мол, не бойся, ничего плохого я тебе не сделаю, только дай хлеба, если есть. Подняла голову — видит, стоит перед ней молодой красивый мужчина.

— Какой хлеб,— отвечает испуганно,— ломоть небольшой да кусочек сала.

— И то хорошо,— обрадовался мужчина и спросил, чья она будет.

Женщина назвала имя и фамилию мужа, но мужчина сказал, что не знает такого.

— Я не разбойник, ты уж не подумай обо мне плохого,— успокаивал он жен-

щину.— Такие времена. Но ничего, все образуется... Только смотри никому не рассказывай, что видела меня. Ну, прощай...

С тем и ушел.

А женщина пошла к себе домой. Зареклась, что слова никому не скажет об этом человеке. Но на беду подкараулил ее сторож, охранявший пшеничное поле. Он давно уже пытался ухаживать за ней, да только понапрасну все. А тут такая удача: застал одну в поле с неизвестным мужчиной. Ну и пригрозил, что, если она не уступит ему на этот раз, он расскажет все мужу. И выпытал все подчистую...

В заключение тетя Веса сказала, что об этом случае она узнала из разговора кмета Большого села. Он с полчаса обстоятельно докладывал по телефону о происшествии в полицейскую управу Казанлыка.

Я заметил, как нахмурились, слушая рассказ тети Весы, дядя Станчо, бате Асен и дядя Никола, и подумал: уж не об Иване ли Астаджове идет речь?

И вот, эта самая тетя Веса принесла мне извещение на телефонные переговоры. Я удивился: кто бы это мог быть? Мама с сестрой жили со мной в Казанлыке, отец по-прежнему находился на службе. И каково же было мое удивление и радость, когда я прочитал на бланке имя «Димана».

— Что это у тебя? — спросила мама и, прежде чем я успел сказать, что это мне лично, взяла телеграмму, прочитала и, улыбнувшись, заметила: — У тебя время еще есть. Успеешь кучу дел переделать.

До начала разговора оставалось полчаса, а я уже был на почте и, теряя терпение, ходил туда-сюда, постоянно поправляя то рубаху, то брюки, словно Димана могла увидеть меня. Я купил газету, начал ее читать, но строчки сливались в одну, и я не понимал, что читаю.

Стрелки часов приблизились к шести. Я сел на лавку и замер. Прошло десять минут, я с отчаянием подумал, что разговор не состоится, и, поднявшись с лавки, направился к тете Весе, чтобы узнать, что же происходит, как телефон вдруг зазвонил.

— Алло! Алло! — заорал я что было мочи и услышал в ответ спокойный голос Диманы.

— Не кричи, а то у меня могут лопнуть перепонки. Я уже в Стара-Загоре... При встрече расскажу, как съездила.

— Димана, я так рад, что ты не забыла меня.

— Кто, я?.. Я получила твое письмо. Думаю, скоро увидимся. На днях собираюсь приехать в Казанлык.

— Я буду ждать тебя, Димана. Слышишь? Буду ждать!

Вдруг в трубке что-то щелкнуло, послышались гудки. Но я не выпускал ее из запотевшей руки, наивно полагая, что произойдет чудо и разговор возобновится...

В то время в книжных магазинах продавалась одна очень привлекательная книга «В стране белых лилий» Георгия Петрова. Я с большим увлечением читал эти страницы о далекой Финляндии, написанные с глубокой любовью.

Сейчас, когда я объехал почти полсвета — побывал в Канаде и США, пил воду из недр земли древних индусов, купался в Мексиканском заливе, исколесил вдоль и поперек красавицу Гавану,— Финляндия кажется мне соседним государством. Я знаю о ней столько же, сколько знаю о наших соседях — Греции и Турции. Но в то время Финляндия рисовалась в моем воображении как страна-сказка — вся в блюдцах озер с белыми лилиями, в которых плавают русалки и еще бог знает какие необыкновенные существа.

Что касается бате Асена, то он не разделял моих восторгов. Более всего его восхищали необъятные просторы России и чудные русские березки. О сказочной красоте русской природы, о необъятности этого загадочного и сурового края бате Асен узнал из рассказов антифашистов, живших в эмиграции в этой стране.

И вот в один из вечеров, когда я зачитывался «Страной белых лилий», в комнату вошел бате Асен и сказал:

— Ты не мог бы сходить в квартал Сырылан?

— Конечно, мог бы,— с готовностью ответил я.— А что надо делать?

Бате Асен прошелся по комнате, словно сомневался, стоит ли говорить, потом продолжил:

— Дело, в общем-то, несложное. Знаешь дом деда Симеона Охотника?

— Да.

— Так вот. Напротив, через дорогу, стоит дом, обнесенный дощатым забором...

— Знаю,— прервал я его,— там во дворе еще растет шелковица.

— Точно, растет. Постучишь четыре раза в дверь. Выйдет молодой человек с большой шевелюрой, чернявый. Его зовут Кынчо. Спросишь его: у вас продаются туристические ботинки? Повтори.

— У вас продаются туристические ботинки?

— Хорошо. И запомни, что́ он тебе ответит. Ну так как, можешь выполнить это поручение?

— Разумеется, бате Асен. Мне прямо сейчас идти?

— Да. Я буду ждать тебя...

Я вышел на улицу. Липкий мрак обступил дома и деревья. Весь квартал спал.

Уже почти перед самым домом Кынчо я заметил человека, который стоял под фонарем и читал газету. Худой, высокий, в черном котелке. Ясно было, что это шпик и что дом Кынчо находится под наблюдением. Я прижался к ограде и подумал, что надо возвращаться домой. Но как быть с поручением бате Асена? Наверняка он послал меня к Кынчо по особому какому-то делу... К счастью, на дороге показалась телега и человек под фонарем спросил что-то у возницы. Тот приостановил лошадь и стал отвечать ему. Мелькнула мысль, что я могу шмыгнуть незаметно в соседний двор, а оттуда — через забор во двор Кынчо. Шпик и возница еще продолжали разговаривать, а я уже стучался в дверь. Дверь отворилась моментально, и я оказался в темной комнате, но все же заметил, что юноша одет в винтягу и массивные туристические ботинки. Помня наставления бате Асена, я проговорил скороговоркой:

— У вас продаются туристические ботинки?

— Ботинки готовы... Этой ночью заберу... Пусть носит их спокойно...

Я кивнул в ответ и собрался уж было уходить, но вспомнил о шпике.

— Там, под фонарем, стоит человек,— сказал я.

Кынчо подал мне знак, чтобы я следовал за ним, и направился в дом. Он подошел к окну, полностью загородив его широкими плечами, постоял секунду, хмыкнул и открыл дверцу, ведущую в небольшую пристройку типа сарая. Подошел к окну, выходящему на нижнюю улицу, и сказал:

— Держись левой стороны. Перескочишь через забор, дальше пойдешь по улице. Никто не заметит.

Через мгновение я уже был на другой улице. Здесь дворы были огорожены высокими оградами. Я притаился за одной из оград, чтобы перевести дыхание, и, прячась в тени деревьев, направился домой. Вскоре я услышал за собой шаги и схоронился в тени раскидистого вяза. Из мрака показался Кынчо, прошел мимо и снова исчез во мраке. Я догадался, куда уходит он в винтяге и туристических ботинках.

Бате Асен внимательно выслушал все, что я ему сказал. Ответ Кынчо обрадовал его, а мое сообщение о шпике обеспокоило.

— Ну-ка, пойдем к Станчо,— сказал он.

В доме еще не спали. Бате Асен шепнул дяде Станчо что-то на ухо, и тот ответил:

— Эту ночь паренек пусть у нас спит, а завтра посмотрим, как обернутся дела.

Мне постелили в маленькой комнатке, мастерской дяди Станчо. Любопытный месяц заглядывал в окно, слепил глаза ярким лунным светом; по стенам шарили осторожные тени, пел сверчок и долго не давал мне уснуть.

■

«Лета господнего сорок втораго» — как написал бы древний летописец — весна выдалась ненастная, дождливая. Хлеба стояли в воде, по лугам расхаживали перепачканные глиной и грязью аисты, что сулило быть году плодородному, однако ж хлеба не уродились. Ибо солнце проглядывало из-за туч редко, крестьяне наведывались на нивы и того реже (почти всех взяли в армию), а тем, кто остался в селах, не на чем было пахать, сеять, жать, скородить: всю тягловую силу забрали для нужд армии.

Мне доводилось видеть, как лошадей, коров и волов сгоняли в огромные стада и гнали неведомо куда и зачем. А тем временем по радио гремели торжественные

марши, лжепатриоты произносили напыщенные речи о «высоком духе болгарина», на что завсегдатаи корчмы деда Байко не без сарказма замечали, что у болгарина дух, может быть, и высокий, но у скотины уже и духа не осталось.

Когда я приехал в Стара-Загору, оказалось, что Димана уехала в село Казанка. Опечаленный, возвращался я в гостиницу к бай Бойчо и вспоминал, как бродили мы с Диманой до рассвета в этих благоухающих миндалем и липовым цветом аллеях, как старались подольше сохранить и запомнить тепло поцелуев, забыть о войне и обо всем на свете...

...Тихо и уютно было в гостинице бай Бойчо.

— С приездом! — тепло встретил он меня.— Приехал один ваш парень. Из Тракии.

К великому моему удивлению, за столом сидел Иванчо Иванов и улыбался мне.

— Какие новости? — спросил меня Иванчо, хлебая горячий суп.

— Новости есть.

— О событиях на Восточном фронте?

— И на Восточном тоже. Похоже, немцы испытывают затруднения, и немалые.

— Русские так дали немцам по сопатке под Сталинградом, что они до сих пор очухаться не могут.

— Потому они и озверели. Лютуют страшно... В Казанлыке большой провал произошел.

— Когда? — спросил Иванчо так, словно это для него не было новостью.

— Еще в январе арестовали многих. Некоторым удалось уйти в горы. Остальных будут судить.

— В Стара-Загоре тоже много арестов.

— Раскрыли группу, действовавшую в воздушном полку. Арестовали руководителя, Желю Манолова. Избили до полусмерти, но он никого не выдал. А в одну прекрасную ночь Желю сбежал с часовым, охранявшим его. Некоторое время они прятались в селе Овошник, но какой-то мельник заметил их и выдал. Подошли войска, полиция, окружили со всех сторон. Парни отстреливались. Последние пули они оставили для себя.

— Точно такое же произошло в Кириллово. Организован был боевой отряд, но кто-то выдал товарищей... Говорят, страшный бой был.

— В селе Энина прятался рабочий фабрики «Филтис» Иван Астаджов и советский парашютист. Обоих схватили...

— Кое-кому из Стара-Загоры удалось уйти в Балканы. Если бы связаться с ними,— произнес Иванчо задумчиво.

— Ты уйдешь в горы?

— Уйду! — ответил Иванчо твердо. И я поверил его словам — ведь он был ремсистом.

Когда мы выходили из гостиницы, Иванчо шепнул мне, что в общине имеется восемь винтовок и большое количество патронов.

— Ты сообщил об этом нашим? — спросил я его.

— Да. Велели пока повременить...

■

Я простился с Иванчо, который уехал на попутной подводе в Средец, и направился к доктору Прокопи Еремееву, как просила меня о том мама. Его клиника, двухэтажное строение с маленьким двориком, располагалось неподалеку, в Житном переулке. Доктор получил образование в Вене. Будучи человеком добрым и гуманным, он время от времени объезжал окрестные села и оказывал бесплатную помощь неимущим. Богачей же обирал самым безжалостным образом.

О Прокопи Еремееве как о специалисте ходили легенды. В городе нередко говаривали так: «Если уж Прокопи не сможет помочь, то и сам бог не поможет».

Кто только не обращался к нему за помощью. Доктор лечил и туберкулез и малярию; лечил рожистые воспаления, всякого рода язвы, отравления и прочее. Этот невысокий худощавый человек, несколько вспыльчивый, порой даже грубоватый, снискал у всех уважение и признательность. Слава его росла день ото дня, росло и число пациентов.

Каково же было мое удивление, когда я увидел на калитке желтый листок, на котором чьей-то рукой было выведено следующее: «Закрыто из-за отсутствия тока».

Это сообщение показалось мне странным. Я обогнул ограду и вошел через заднюю калитку. Во дворе никого не было. Открыл входную дверь, маленькую боковую дверочку, и вдруг кто-то сверху спросил: «Кто там?» Я узнал голос доктора. Сказал ему, кто я такой. Он спустился вниз и пригласил меня в свой кабинет. Доктор смотрел на меня и, видимо по привычке, ощупывал меня своим профессиональным взглядом. Меня смущал этот взгляд, и я выпалил скороговоркой, что мама шлет ему привет, что отец на сверхсрочной и что один наш родственник из Казанлыка хотел бы попасть к нему на прием, так как совсем потерял голос.

— Пусть приедет, посмотрю его,— сказал доктор.— Хотя сейчас клиника закрыта.

— Из-за тока? — спросил я.

— Отключили ток,— выпалил он, едва сдерживая негодование.— И все же не такие они глупые, эти сволочи. Нет оснований сказать, что коммунист Прокопи Еремеев не имеет права работать,— так берут и отключают ток.

— Хорошо придумано,— проронил я.— Нет тока — нет и доктора Еремеева.

Доктор предложил выпить кофе. И когда мы сидели за столом, неожиданно спросил:

— Хочешь помочь мне?

— Разумеется,— ответил я, даже не подумав, о какой помощи пойдет речь.

— Ты ведь сегодня не уезжаешь?

— Нет.

Он прошелся по кабинету. Вытащил из шкафа книгу, полистал ее, затем взял вторую, тоже полистал и только потом продолжил:

— Вообще-то у меня для этих дел есть человек. Но, как назло, сегодня утром он уехал... Словом, если не боишься крови, вечером поможешь мне. А пока сходи в кино, посмотри какую-нибудь ерунду, но в одиннадцать чтоб был у меня.

— Хорошо.

— Ну, ты как, пописываешь еще стишки?

Вопрос доктора смутил меня. Я знал, что к людям искусства, особенно к поэтам, он относится с явным пренебрежением, поэтому ответил несмело:

— Пишу.

— Нет, я отказываюсь понимать все это,— усмехнулся он.— Ведь борьба требует не слов, а действий.

— Ботев тоже писал...— несмело возразил я.

— Так ведь это Ботев,— заметил он вставая и добавил с улыбкой: — Иди прогуляйся. Жду тебя...

Не знаю, где я мотался до одиннадцати часов, но, как сейчас помню, что, когда пришел, Прокопи Еремеев сидел за столом у зажженной свечи и рассматривал какую-то медицинскую книгу, точнее — фотографии брюшной полости, и что-то бормотал себе под нос. Чтобы не отвлекать его от дела, я сел на один из стульев и стал ждать. Доктор словно не замечал меня, продолжал рассматривать книгу и что-то бормотать про себя. Затем вдруг встал и сказал:

— Значит, так. О том, что мы сегодня будем делать,— никому ни слова.

— Конечно,— согласился я, и доктор повел меня на второй этаж.

Мы вошли в маленькую темную комнату. Находившаяся там медсестра зажгла свечу, и я увидел длинный стол, рядом с ним — маленький столик для инструментов, а напротив мотоцикл, поднятый и поставленный на доски. Мотоцикл этот был довольно странный: без колес, а выхлопная труба выведена на улицу. Обстановка была, скажем, странная: свеча, блестящие инструменты, вата, йод, марля...

— Ты когда-нибудь ездил на мотоцикле? — спросил меня доктор.

— Еще как!

— Тогда все ясно,— сказал он, метнулся к столику с инструментом, накричал на сестру, что она не очень хорошо подготовилась к операции, и снова обратился ко мне: — Жми!

Я вскочил на мотоцикл, повернул ручку сцепления, и мотор затрясся.

— Газуй дальше и следи за фарами! — крикнул доктор, и я только сейчас понял, зачем ему нужен был этот мотоцикл.— Хорошо. Теперь выключи...

Эту мрачную комнату я вижу и сейчас, когда пишу эти строки. Часто, очень часто мне снилась эта комната, наполненная урчанием мотора и криками Прокопи Еремеева, кричащего на сестру, бросающего окровавленные инструменты на столик...

Человек, которого доктор собирался оперировать, был худощавый, невысокого роста. Особое впечатление произвели на меня его глаза. В них было столько отваги, силы, решительности.

— Нельзя ли без этого? — спросил он доктора, когда тот стал привязывать его к столу.

— Береженого бог бережет,— ответил доктор и стал ощупывать живот больного...

Подготовка к операции заняла довольно много времени. Чем-то недоволен был доктор, несколько раз пристально всматривался в глаза больного, щупал пульс, долго мыл руки, очень медленно натягивал перчатки и, наконец повернувшись в мою сторону, произнес кратко:

— Газ!

Я направил свет фар на стол и увидел провалившийся живот больного и руки медсестры, ловко обрабатывающей его йодом. Затем длинная игла вонзилась в тело больного. Не прошло и минуты, как доктор сделал первый надрез. Сестра промокала марлевыми тампонами собиравшуюся кровь, а доктор все увеличивал надрез. Вскоре я почувствовал тошноту, перед глазами заплясали радужные круги, и я решил отвести взгляд.

— Ну и молодец же ты, парень! Богатырь! Другой на твоем месте не выдержал бы,— подбадривал больного доктор, но вряд ли тот слышал его слова. Он обеими руками вцепился в стол, лоб его покрывала холодная испарина.

— Скажи мне, а что вы будете делать с такими частниками, как я, когда власть будет ваша? — стараясь перекричать шум мотора, продолжал доктор.

Больной молчал.

— Ясно что,— сам ответил на свой вопрос доктор.— Закроете клинику, а меня отправите работать в общественную больницу.— Затем, помолчав, добавил: — Вам, партизанам, проще: увидел фашистскую морду — сразу стреляешь. А мы здесь что можем?..

«Так вот, значит, кто этот человек»,— подумал я...

Уже далеко за полночь, когда операция была окончена, рана зашита, а доктор и сестра сняли свои марлевые маски, я выключил мотор. Наступили глубокая тишина и темнота. Пока глаза привыкали к свету свечи, я стоял неподвижно и ощущал, как подрагивают от перенапряжения кисти рук.

Доктор открыл дверь, и в комнату хлынул освежающий аромат зелени и влажной земли.

— Прокопи,— прошептал больной чуть слышно.— Я должен уйти. Не хочу, чтобы ты из-за меня...

— Ты на этот счет не беспокойся. Я понятия не имею, кто ты такой. Просто как врач я помог тебе. Вот и все. Никаких пуль не вытаскивал из тебя. Сделал операцию, какие делаю чуть ли не каждый день,— успокоил его доктор.— Ты лучше постарайся уснуть. Сон для тебя сейчас — главное...

Утром, когда мы прощались, Прокопи Еремеев похлопал меня по плечу и сказал:

— Ты ничего не видел, ничего не слышал.

— Ничего,— подтвердил я.

■

Наступила осень — сырая, с густыми холодными туманами. Город был сплошь укутан голубоватой пеленой, которая к полудню превращалась в сизые рваные клочья, а вечером вновь наседала на город с утренней настырностью.

— Дрянная погода,— ворчал дядя Никола, возвращаясь вечером с работы.

— Как бы не так — дрянная,— возражала ему тетя Тана.— Да в такую погоду капуста наливается соком, крепнет.

В такую погоду тетя Гена нет-нет да и выйдет за калитку, посмотрит, не идет ли дядя Станчо.

— Не заплутал бы случаем. Эка непогодь,— сокрушалась она.

— Не волнуйся, никуда он не денется,— успокаивала ее тетя Тана.

Внезапно с гор подул северный ветер, пакостник, как называла его бабушка. Он принес с собой такой холод и такое обилие снега, что вся улочка моментально сделалась белой, точно в сказке. Какая-то необъяснимая радость охватила людей. Измученные долгой войной и лишениями, люди радовались, как дети, бросали друг в друга снежки, как будто те могли унести с собой горе и страх, голодные вечера и заплатанную одежду.

— Снег позасыпал все, и не поймешь, подметен двор, нет ли,— радовалась тетя Тана, забежав «на минутку» к тете Гене.

— В такую погоду лучше дома сидеть, в тепле,— ответила та спокойно, явно не разделяя восторга своей соседки. Тетя Гена любила тепло: ведь только в теплую погоду можно показаться во дворе и на улице в блузке, которая подчеркивает все прелести женской фигуры.

— С молодым-то мужем, как твой Станчо, что не сидеть. А с моим Николой что высидишь? Враз нашарит бутылку — и все, другого не жди...

Я слушал эти разговоры, и мне хотелось тоже сказать что-то, но разве это дело, если мужчина встревает в женские разговоры? На душе было радостно, я чувствовал, что люблю этих женщин. Тетю Тану за то, что нет-нет да и подкормит меня, тетю Гену за то, что красивая и ласковая...

Поздно вечером ко мне в комнату вошел бате Асен, одетый в полушубок и туристические ботинки. В руке он держал мою куртку.

— Я не спросясь взял твою куртку, она нужна мне.

Эту куртку я сшил из военного полотна. Она была с несколькими карманами, длинной молнией и сидела на мне как влитая.

— Я должен сказать тебе вот что: нужны несколько пар носков, рубашек, пуловеров, если есть обувь — тоже. Посмотри в гардеробе, может, найдешь что.

— Так ты...

— Тихо. Я не останусь там. Вернусь... До утра вернусь... Ты ничего не видел, не слышал.

В который раз доводилось мне слышать эту фразу. Она стала уже привычной.

Я порылся в белье, нашел то, что просил бате Асен.

— Думаю, для тебя это малоприятно, но куртка останется там... Бинокль тоже...

Я очень любил эту куртку. А полевой бинокль принадлежал отцу.

— Как скажешь, бате Асен,— сказал я.— Если для них...

Он вышел из дома. Большие снежные хлопья по-прежнему падали на землю. Я шел на расстоянии от бате Асена. Он направился в сторону Бырдо, а оттуда, я знал,— в горы. Бате Асен ходил по этим тропам уже много раз...

Почему я шел следом за бате Асеном? Наверное, потому, что внезапно поймал себя на мысли, что боюсь, как бы его не выследили. Это стало уже моей привычкой...

■

С каждым днем солнце поднималось над землей все выше и выше, согревало ее, иззябшую, промокшую, истосковавшуюся по зеленым побегам и цветочному дыханию. Девушка, которая ехала с нами, Мария, была переведена из стара-загорской гимназии в нашу, казанлыкскую. Был субботний день, поезд, как правило, переполнен, и мы с Атьо и Марией с трудом нашли себе место в зловонном купе. Я сидел у окна, глядел на пробуждающееся утреннее поле, где вместо сельских телег громыхали танки и военные джипы.

Не все еще было бы потеряно, если бы в это мгновение я сообразил кое о чем. Но ошибка потому и ошибка, что человек не может предвидеть ее. Если ее допустит кто-то другой, она кажется тебе смешной, нелепой, но если она твоя и ты вовремя не догадался о ней, она кажется вовсе не смешной, а порой даже трагической...

— Что это сумка у тебя такая тяжелая, чего ты в нее напихал? — спросила Мария, отодвигая мою школьную сумку в сторону.

— Книги,— ответил я небрежно.

В купе то и дело заглядывали полицейские патрули, подозрительно осматривали пассажиров и шли в соседние вагоны. То и дело проверялись документы, которые сличались с каким-то списком. Спекулянты прятали в торбах и мешках мясо, кожу, масло и сахар. Тяжкое время было, смутное и жестокое. Аферисты и некоторые хитрецы

из сел становились миллионерами. Ведь не составляло большого труда прятать дефицитные товары, чтобы затем продавать их по баснословной цене. Подметки, ткани, шерсть для свитеров — все это воровалось на фабриках, складах, у военных.

Больное время, гнилое и порочное! По нашей земле, сохранившей столько чистоты и героизма, безнаказанно разгуливало зло, насмехалось над добром, топтало его. На нашей земле находили приют темные, низменные страсти. Где, в чем могла обрести надежду и утешение измученная народная душа? В церкви, продавшейся в те годы носителям зла? У самодержцев, которые уничтожали сотни, тысячи людей, бросали их в тюрьмы и концлагеря? Безвременье бродило по нашей земле, душило нас своими безжалостными пальцами, заглушало наши отчаянные крики. И единственный светоч в темноте, единственный притягательный лучик вселял веру в наши души, только одно пробуждало сопротивление и жажду жизни — далекая и непобедимая, сражающаяся и побеждающая Россия. Только она и только те неизвестные сильные мужчины из сел и городов, из лесов и с гор, о которых слагались легенды и песни, как об Индже-воеводе и дьяконе Левском...

— Что это за книги? — не унималась Марня.

Мне ничего не стоило сказать ей, что эти книги меня попросила привезти Димана, что взял я их в читальне «Искра». Ничего не стоило, наконец, показать их. Если бы я знал тогда, чем все это обернется для меня, разве я не сделал бы этого?

Когда Атьо узнал, что я собираюсь в Стара-Загору, он решил поехать со мной. Между прочим, произошло событие, которого никто и не предвидел. Бате Асен женился на сестре Атьо, русоволосой Донке. Об этом он сказал мне за день до свадьбы. Меня точно громом поразило. Жениться сейчас? Сейчас, в такое время, когда никто не знает, что может произойти с тобой завтра?

— А при чем тут время,— говорил бате Асен.— Время как время. Да и, если долго ждать, могу не дождаться.

И вот теперь Атьо ехал к Донке, которая находилась в Стара-Загоре у своей свекрови.

Когда прибыли в город, я оставил Атьо, а сам помчался на улицу Железные Ворота.

— Ты?! Ты приехал?! — радостно воскликнула Димана.

Мы бродили по нашим любимым местам и были бесконечно счастливы.

— Я всегда верил, что встречу именно такую девушку, как ты.

— Именно такую, как я?

— Да.

— Совсем-совсем как я?

— Совсем-совсем... Я знал, что у тебя будут зеленые глаза, веснушки и такая вот короткая стрижка,— сказал я, и Димана благодарно прижалась ко мне...

Известно, что тучи могут в одно мгновение появиться даже на безоблачном небе. Я почувствовал, что надо мной нависла черная туча, уже тогда, когда мы сидели с Диманой на нашей лавочке. Почему-то вдруг тревожно стало на душе и неожиданно мелькнула мысль: кто-то следит за нами.

Я предложил Димане сходить куда-нибудь, например в кондитерскую. Затем проводил домой. А когда возвращался обратно, обратил внимание, что неподалеку прохаживаются двое в черных плащах. Стало не по себе, что меня видели с Диманой: ведь у нее я побывал в этот день дважды — первый раз, когда привез книги, и второй, когда провожал.

У бабушки Стефанки собирались ужинать. Я хотел предупредить, что дом находится под наблюдением, но сильный стук в дверь опередил меня.

— Всем оставаться на местах! — послышался чей-то грубый окрик. А через секунду я уже стоял у стены.

— Предъявить удостоверения личности!

Первое, что я увидел, была длинная рука чрезвычайно худого человека, который, открыв дверцу печки, ворошил сгоревшую бумагу. В комнате был настоящий погром. Вспарывались матрацы, сбрасывались с полок на пол книги, вытряхивалось содержимое шкафа. Бабушка Стефанка, на долю которой выпадали и потяжелее времена, стояла у окна и, сложив руки на животе, безучастно смотрела куда-то вдаль. Донка и Атьо встали рядом с ней, и один из агентов быстро стал проверять, нет ли у них какого-либо оружия. Со мной все обстояло иначе. Я подвергся настоящему обыску. Все содержи-

мое карманов было извлечено, записная книжка досконально просмотрена, а ничтожная денежная сумма, которая имелась у меня в наличии, внесена в протокол обыска. С особым тщанием были ощупаны мои брюки и куртка, висевшая на вешалке школьная шинель. Над шинелью висела моя фуражка... Я оцепенел. Ведь в фуражке, а точнее — под подкладкой у меня была спрятана записка, которую следовало бы уничтожить давным-давно и чего я не сделал, несмотря на советы бате Асена. Что делать? На бумажке записаны радиоволны и время передач почти всех зарубежных радиостанций, которые мне надлежало слушать. Прослушивание зарубежных радиостанций было категорически запрещено, за это бросали в тюрьмы. Мне тоже неминуемо грозила тюрьма, но самое ужасное — я ставил под удар Асена и дядю Станчо...

— Ничего, там все скажете как миленькие! — орал верзила, видимо желая нагнать на нас страху.

— Скажем, если есть что сказать! — бросил я.— Но уверяю вас, вы совершенно напрасно беспокоите людей. Если решили нас арестовать, так арестовывайте! — закончил я и, шагнув к вешалке, надел фуражку и взял в руки шинель.

— Что это ты засуетился? — поинтересовался начальник.

— Засуетишься. Пришел к людям в гости, а вы...

— Вспомнил о людях,— подозрительно уставился на меня полицейский и приказал: — Проверьте его ботинки, заодно манжеты брюк посмотрите.

Но и эти меры ни к чему не привели.

— Ведите его. Этого тоже! — указал верзила на Атьо.

Как же избавиться от этой записки? Кто их знает, пешком ли поведут в полицию или повезут в каком-нибудь грузовике? Пожалуй, в коридоре надо попробовать вытащить ее, там темно. Оказавшись в коридоре, я быстро снял фуражку, вытащил из-под подкладки записку и сунул ее в карман. Замешкался чуток, когда надевал фуражку, и тут услыхал злобный окрик:

— Эй, живее!

Сунув руку в карман, я стал рвать записку на мелкие кусочки, затем незаметно выбросил. Двое полицейских шли впереди, двое — сзади.

— И кто же мы такие? — обратился к нам с издевкой один из полицейских.

— Люди как люди,— сказал Атьо.

— Члены организации «Бранник»? — ткнул тот его локтем в бок.

— Нет,— ответил я.

— Легионеры?[1]

— Нет.

— Значит, коммунисты,— сделал вывод полицейский.

— Мы учимся в гимназии, политикой не занимаемся,— заявил Атьо.

— А ты никак против нас что-то имеешь? — замахнулся полицейский на Атьо.

— Не думайте, мы тоже не лыком шиты. Видим вас насквозь...

Второй участок находился неподалеку от гимназии. Это зловещее здание я знал давно, слышал немало о том, что творилось в его застенках, и когда шел по лестнице, ощущал невольную дрожь в коленях.

Нас с Атьо развели по разным комнатам. Меня ввели в большую комнату, заставили встать на середину, и, едва я это сделал, меня сразу же окружили все агенты города. Так мне показалось, во всяком случае. Они молча смотрели на меня, их глаза были полны злобы. Нет, это были не люди, а волки... Я не понял, кто именно ударил меня первым. Я покачнулся, но удержался на ногах.

— К кому приехал?

— Вы знаете.

— Что вез с собой?

Я пожал плечами.

— Кто тебя послал сюда?

— Никто. У меня была...— начал я, но сильный удар в солнечное сплетение заставил меня замолчать.

— Что у тебя было, скотина?!

— Встреча была. Это мое личное дело.

— О твоих личных делах тебя никто не спрашивает.

---

[1] Легионер — член молодежной фашистской организации в Болгарии до 9 сентября 1944 года.

— А других дел у меня нет.

Последовал сильный удар, и я, упав на пол и ощутив во рту привкус крови, испугался, но, вспомнив мужественного партизана в клинике Прокопи Еремеева, устыдился своей минутной слабости. Собравшись с силами, я встал, хотя удары продолжали сыпаться со всех сторон. Впрочем, я простоял недолго, так как был слабее этих горилл, снова набросившихся на меня. Стены закачались, потолок стал надвигаться на меня, и вскоре я уже ничего не видел...

— Вниз! Немедленно вниз! — услышал словно в полусне чей-то голос.

Очнулся я в каком-то подвале. Двое полицейских держали меня под руки. Вскоре глаза стали различать предметы, и я увидел на углях какой-то шевелящийся ком... Один из полицейских зажег фонарь, и я пришел в ужас. На углях лежал мальчишка, гимназист. Сквозь рваную одежду виднелось вспухшее от побоев тело. Мальчик стонал и харкал кровью. Полицейский направил свет в лицо гимназиста. Господи! Это было не лицо, а сплошная кровавая масса...

— Тащите его наверх! — донесся откуда-то сверху голос начальника, и меня поволокли обратно.

— Ну? — спросил меня начальник полиции, едва я оказался в комнате.— Ты хочешь, чтобы мы сделали из тебя такой же вонючий фарш?

Я не в силах был произнести ни слова. Господи! Неужели возможно такое зверство? Неужели человек способен на такое?

— Сядь на пол! — крикнул верзила.

Я оглянулся и, увидев, что полицейские стоят за моей спиной, сел на пол.

— Снимай ботинки.

Едва я разулся, как мои ноги связали веревкой, и в следующее мгновение кто-то ударил по ступням с такой силой, что я весь затрясся словно в лихорадке.

— Как настроение? О чем задумался? — крикнул верзила и уселся мне на ноги, в то время как второй полицейский наносил обжигающие удары по ступням. Вскоре я потерял сознание.

Придя в себя, я увидел, что начальник полиции тычет мне в лицо горящую сигарету, словно бы случайно это делает.

— Ну что, дошло, наконец, до тебя, что это не шуточки? Поэтому садись и пиши все как есть: кто тебя послал, что ты вез с собой и куда.

Я не чувствовал ног, вернее, вместо них я ощущал какую-то горящую головешку. Голова раскалывалась.

— Можно немного воды?.. — прошептал я.

Мне дали воды. Я выпил ее залпом и, задыхаясь, рассказал, что приехал сюда на поезде, что встречался со своей приятельницей.

— Все это нам известно! — заорал начальник.

Я молчал. В это время вошел полицейский и отрапортовал:

— Господин начальник, тот, на углях который, умер.

— Сбросьте его с балкона, инсценируйте самоубийство,— бросил начальник как бы между прочим и снова обратился ко мне: — Ну?

— Больше мне нечего сказать, даже если хотел бы.

Один из полицейских подошел ко мне, снял с меня шинель и куртку и стал бить бичом. На этот раз бил уже не по ногам, а куда придется. Я почувствовал, как запылала спина, как вскочили на груди и голове шишки, как потекла тонкой струйкой по шее кровь...

Очнулся я на грязном диване. Прямо над головой тускло светилась лампочка. Где-то трезвонил телефон, и я услышал чей-то молодой нервный голос. Я долго не мог понять, где нахожусь...

Около полуночи в комнату втолкнули Атьо. Тяжело дыша, он сел рядом со мной.

— Что же вы такие глупые, а? — сказал дежурный.— Не видите, что ли, что России конец?

— Нас не интересует политика,— сказал Атьо, и я обратил внимание на то, что его губы разбиты в кровь.

— А что же вас интересует?

— Учеба.

— Ну мы посмотрим, что это за учеба, когда наши люди вернутся от этой, как ее, от Диманы.

Я почувствовал, как ноги налились свинцом, а в висках часто-часто застучали молоточки... Значит, они будут проводить обыск у Диманы.

Зазвонил телефон. Дежурный взял трубку.

— Да! Слушаю. Записываю. Так. Точно? Хорошо. Принял Ванчев.

Затем дежурный взял сигарету, долго мял ее в пальцах, наконец сунул в рот, но зажигать не стал.

— Балбесы чертовы! Скажите спасибо, что ваших фамилий нет ни в одном списке.

■

Наутро нас выпустили. Солнце едва позолотило фасады домов. Еще было по-утреннему свежо, но чувствовалось, что день будет погожим. Мы едва тащили ноги. Когда дошли до переулка, Атьо шепнул мне: «Смотри, шпик». Действительно, на углу стояла одинокая фигура человека, который явно прислушивался к нашему разговору.

Как потом оказалось, этот шпик не был единственным шпиком, поставленным полицией для того, чтобы подслушать наши разговоры. На пути к дому бабушки Стефанки мы наткнулись еще на двоих «скучающих» мужчин и всякий раз громко выражали свое удивление по поводу нашего необоснованного ареста.

Когда мы оказались у калитки бабушки Стефанки, я сказал Атьо:

— Я исчезну ненадолго. Встретимся на вокзале.

— Хорошо, только смотри, будь осторожным... Да, знаешь, я подумал, что кроме Марии больше это никто не мог сделать.

— Пожалуй, ты прав,— согласился я.— Помнишь, сколько раз она спрашивала, что у меня в сумке лежит? И вообще, почему она переехала учиться к нам в Казанлык, если живет в Стара-Загоре?

— Теперь ясно почему. Так что будь осторожнее...

Как осторожничать, если надо узнать, что с Диманой? И все же надо быть благоразумным. За мной действительно следят. Значит, дело еще не закрыто. Отпустить — отпустили, но все же решили проверить, с кем еще мы будем связываться. Вот и прекрасно. Может быть, дойдет до них наконец, что Донка и бабушка Стефанка тут ни при чем, а значит, отпадут все подозрения и в отношении бате Асена. А что же они подумают, если я сейчас пойду к Димане? Книги, которые я ей привез, они видели. В них нет ничего крамольного. Значит, Димана вне подозрений. Да, но если я сейчас заявлюсь к ним домой, то могу снова впутать ее в какую-нибудь историю. Но ведь я должен узнать, что случилось с Диманой? Удобно ли идти к ней? Если полицейские видели книги, которые я привез, значит, она вне игры. А если я пойду сейчас к ней... Чертовски сложная задача! И уезжать не могу, и зайти узнать, что произошло, тоже не могу.

Пока я размышлял, ноги неудержимо несли меня к Железным Воротам. Агент шел за мной следом. На расстоянии, конечно, но шел. Что делать? Вот дом Диманы. Во дворе никого нет, поскольку еще довольно рано. Нет! Лучше, если Димана сейчас не будет видеть меня. Так лучше...

Я продолжал идти по улочке, продумывая сотни вариантов, и вдруг... Да, это спасение. Рискованно, но спасение. Я прибавил шагу и заметил краем глаза, что агент тоже зашагал быстрей. Да-да, именно так я и сделаю. Как же это я не догадался раньше. Вот он, дом, в котором живет Юлия. Вот и лестница. Я приостановился на минутку, чтобы агент хорошенько разглядел, куда я вхожу. Постучал. Юлия выглянула в окно, увидела меня и помчалась открывать.

— Ты что в такую рань? — спросила Юлия, появившись в дверях.

— Можно войти?

— Господи, конечно! — ответила она и повела меня по маленькому коридорчику в свою комнату.

— Не ожидала, что ты можешь заявиться ко мне в такую рань,— сказала Юлия, усаживаясь в кресло и закуривая.

— Да, я выбрал неподходящее время для визитов.

— Я тебя не понимаю.

— Так получилось. Может быть, тебе это неприятно?

— Почему же? — спросила Юлия.— А что это у тебя с лицом? Объясни мне, наконец, что все это значит? Господи, да ведь это кровь! — воскликнула Юлия, когда я расстегнул шинель и обнажил ссадину на шее.

— Юлия, меня вчера арестовали.

— Тебя, поэта?!

Я ничего не сказал ей и подумал неприязненно: ничего, бранниковская кукла, поволнуйся и ты немного.

— Господи, да что же это я сижу? — спохватилась Юлия, умчалась куда-то и вскоре появилась снова, неся в руках миску с теплой водой. Смочила водой марлю и стала смывать с лица кровь.

— Вы подрались, что ли? — спросила она, и я подумал: что за идиотский вопрос, кто мне позволит драться с полицией? И все же ответил ей:

— Все было именно так, как ты говоришь. С той лишь разницей, что я был связан, лежал на полу, а меня били.

— Тебя били?

— Представь себе.

— Нет, это невозможно. Ты шутишь, правда?

— Конечно. И что голова у меня раскалывается — тоже шутка,— сказал я, стараясь сдержать раздражение, и вдруг все стало терять свои реальные очертания.

«Этого мне только не хватало — завалиться здесь в обморок»,— подумал я и глубоко вздохнул. Ноги были точно деревянные. А что будет со мной к вечеру? Я вспомнил, как дрались у нас в селе парни из-за девчат или за право водить хоро. И кольями дубасили друг друга по голове и ногам, и цепями. А после драки накладывали на больные места компрессы из хлеба, смоченного водой, и заворачивались в овечьи шкуры. Лежали день-другой, бывало неделю, и поднимались живые и невредимые. Но случалось, что и не поднимались.

— Попей чайку,— предложила Юлия.— А может быть, поесть хочешь?

— Хочу,— ответил я, вспомнив, что со вчерашнего дня не держал во рту маковой росинки.— В полиции почему-то не принято подавать завтрак арестованным.

Юлия принесла хлеб с маслом, кусок шоколада и немного мяса.

Еда вернула мне силы и в то же время разморила. Боль в ступнях стала невыносимой, но меня страшно клонило ко сну.

Я посмотрел в окно: шпик по-прежнему стоял у столба.

— Юлия, у меня к тебе просьба. Она может показаться тебе странной.

— Ну говори! — ласково произнесла Юлия и, достав чистый платочек, вытерла мне лоб. Затем наклонилась и поцеловала.

Я уже был готов отказаться от своего намерения. Я просто не имел права требовать от этой девушки что-либо, но слова опередили мои мысли и чувства.

— Очень прошу тебя, сходи к Димаше. Узнай, что произошло с ней этой ночью. Больше ничего, только это.

— Я так и знала,— почти что прошипела она,— что просто ради меня ты никогда бы не пришел. Никогда.

— Юль.

— Что? Может быть, скажешь, что это не так?

— Не так.

— Неправда. Ты прекрасно пользуешься моим отношением...

— Да я просто попросил тебя. По-человечески.

— Я прекрасно понимаю, что тебе нужно от меня.

— Мне ничего не нужно, напрасно ты так. Больше мне не нужно ничего. Извини,— сказал я, чувствуя, что боль становится все невыносимее. «Какой же я дурак,— подумал я,— нашел кого просить об одолжении. Да она сейчас пойдет в полицию и донесет. Ведь из ревности сделает это».

— Хорошо-хорошо,— повторила Юлия,— ты меня плохо знаешь.

Она быстро сняла халат и, нисколько не смущаясь моим присутствием, надела юбку, блузку и кепку.

— Значит, пусть агент видит, что ты был у меня?

— Что?

— То!

Я не ожидал от нее такой прозорливости.

— Вон тот, что стоит у столба, ведь он следит за тобой, так?!

Я был просто восхищен ею.

— Юля! — привстал я, но она уже захлопнула за собой дверь.

Нет, я абсолютный дурак. Если бы бате Асен сейчас увидел меня, так отругал бы... Однако внутренний голос говорил мне иное. Я чувствовал, что Юлия не выдаст меня, что она выполнит мое поручение. И что здесь такого, в конце концов. Я попросил ее узнать, что случилось с Диманой. Я люблю Диману. Боюсь, как бы она не пострадала из-за меня...

Я был не в силах пошевелиться. Любое движение причиняло мне страшную боль. Лицо пылало огнем. Ступни, колени и поясница тоже пылали...

На столе лежал аспирин. Я взял две таблетки, проглотил их.

Агент продолжал стоять у столба, точно прирос к нему. Не догадался пойти за Юлией, дубина!

Я расслабился. В комнате было тепло и уютно. Откуда-то доносилась приятная музыка. Под стрехой щебетали птицы. Да, птицы тоже были на этом свете... Я не заметил, как задремал...

— У Диманы был обыск,— услышал я сквозь дрему голос Юлии.— Ничего не нашли. Видели книги, которые ты ей привез... Вот и все.

— Юля! — Я встал и подошел к ней.

— Прошу тебя, уходи!

В ее голосе не было и искорки радости, это был голос смертельно обиженного человека.

— Юля, я никогда не забуду этого...

■

Почти четыре десятилетия спустя поздним осенним вечером я посещу американскую поэтессу Элизабет Ричи, и в шумном холле, заполненном литераторами, она попросит меня рассказать о себе. И я, облокотившись на камин и отпивая небольшими глотками белое калифорнийское, с болью в сердце вспомню Стара-Загору, Диману, давно исчезнувшую из моей жизни, покойную уже Юлию и свой арест. И поэтесса, худенькая огненно-рыжая женщина с болезненной улыбкой, изумится точно так же, как когда-то изумлялась Юлия, и спросит меня, как спрашивала в то апрельское утро Юлия: неужели это возможно, чтобы тебя, поэта, арестовали? И я расскажу ей, что тогда не только арестовывали, но и расстреливали, и Болгарию не случайно называют «Землей расстрелянных поэтов», и она, всю войну прожившая в своей далекой Америке, будет возмущаться, и удивляться, и повторять, что «здесь, в Штатах, мы ничего не знали об этом»... А на следующий день во время обеда в библиотеке Конгресса она сядет рядом со мной и снова и снова будет расспрашивать меня о том, что я чувствовал тогда, как вынес все это и не позволю ли ей написать об этом рассказ. И я скажу ей, что не возражаю...

Но все это произойдет через сорок лет в далекой Америке, в доме поэтессы Элизабет Ричи, о существовании которой в те дни я даже не подозревал. Больной, обессиленный, я сидел в вагоне третьего класса, и перед моими глазами мелькали то агенты из чудовищной полицейской комнаты, то Димана, то Юлия...

Я смотрел на людей, ехавших со мной в вагоне, на бегущие за окном поля и неожиданно вдруг понял, что все происшедшее со мной — в прошлом. Я понимал, что оно не может исчезнуть совсем, что это прошлое будет возвращаться ко мне, тревожить мои сны, но я уже воспринимал его с улыбкой. Мне стало легче. Вокруг были люди, я был свободен, и никто не бил меня... Да, я был свободен, как и раньше.

Пыхтя, поезд взбирался на крутизну холма, где располагалась станция Змеево и самые точные в те времена часы в Болгарии. Здесь, в Змеево, поезд делал передышку и мчался дальше, в Казанлыкскую долину. Убаюкивающе перестукивались колеса; согретый вагонным теплом, я провалился в сладкую дрему.

Вспоминая свой давний арест, я пришел к мысли, что самым значительным для человека является п е р е ж и т о е. Положение, материальные блага перед ним — ничто. Зерно этой мысли заронилось в мое сознание давно, еще когда я дружил с турчанкой Айгюл, внезапно ослепшей и также внезапно прозревшей во время землетрясения, и когда меня впервые избили в полицейском участке, после чего бабушке пришлось выхаживать меня древним крестьянским методом: обернуть в овечьи шкуры, чтобы зажили все болячки... Пережитое! Оно запечатлелось в памяти со всеми подробностями. Что запомнили мы, живущие ныне, из тех военных лет? Бомбардировки, лишения, приобретение по карточкам еды и одежды? Разве кто-нибудь может точно

сказать, сколько раз бомбили Софию? Нет. Однако каждый непременно запомнил, что́ он испытал во время этих бомбардировок и что́ увидел после их окончания... Я не помню, сколько было полицейских, не помню фамилию начальника полиции, но четко помню, что́ я думал и чувствовал в те минуты, когда меня вели во второй участок... Факты, цифры, отличительные особенности кого-то и чего-то — все забывается. Остается пережитое.

...Напротив меня сидел худощавый крестьянин с женой, тоже худенькой крестьянкой, и какой-то извозчик, который ездил в Стара-Загору к доктору, так как вот уже два года не дает ему покоя что-то под ложечкой, не язва, не желчный пузырь, а поедом ест-съедает.

— В селе Тырничене появились партизаны,— говорил крестьянин.— Остановили человека, который вез подводу муки, дали ему расписку — чтоб не судили невинную душу — мол, забирают все добро, и только их и видели... А один возница рассказывал, как разнесли сыроварню в Скобелеве, где делали сыр для немцев. Сколько могли с собой взяли, а остальное люди порастащили по домам.

Потом крестьянин вспомнил, что недавно в их селе какие-то вооруженные парни убили полицейского, известного своей жестокостью.

— Нет, я не имею ничего против властей,— поспешил заверить всех в своей лояльности крестьянин,— но больно уж плохой человек был этот полицейский...

Поезд подходил к станции Тулово. На соседнем пути стоял немецкий эшелон. Зенитные орудия, установленные на платформах, были нацелены прямо в небо, на остальных платформах лежали горы искореженной боевой техники. С одной из платформ, расположенной прямо напротив нашего вагона, изможденные парни сгружали уголь. Их охранял гитлеровец с автоматом.

— Пленные русские! — воскликнул кто-то из пассажиров.

Все бросились к окнам.

— Ребята! — крикнули мы им.

— Здравствуйте! — поднял руку в приветственном жесте один из пленных, и гитлеровец тотчас ударил его.

— Эй, дойч, не распускай руки, а то протянешь ноги! — зашумели люди в вагонах, и фашист демонстративно повернулся к нам спиной.

— Куда вас везут? — спрашивали все наперебой.

— На Запад!

— Нельзя разговаривать с пленными! Немедленно отойдите от окон! — заорал неизвестно откуда появившийся полицейский, но никто не обращал внимания на его слова. Каждый считал своим долгом отдать пленным все, что он имеет. На платформу с углем полетели бутылки с вином и ракией, хлеб и сало. Парни ловко подхватывали эти неожиданные гостинцы и прятали их под одежду, несмотря на то, что на них был нацелен автомат.

Вскоре эшелон тронулся, и к изнуренным пленным потянулся лес рук...

Казанлыкский вокзал гудел, как потревоженный пчелиный улей. Опустились ранние сумерки. В воздухе запахло свежей землей, ощущалось легкое дуновение горного ветерка. Я забыл о своих больных ногах и о пульсирующей боли в висках. Купил булку с мармеладом и пошел себе не спеша. Из моего поля зрения не ушли стоявшие у ограды агент и полицейский. Мне показалось, что, прежде чем направиться в мою сторону, они переглянулись. Я быстро прошел мимо них и тотчас услышал их шаги за спиной. Свернув в Маленькую улочку, что рядом с железнодорожной линией, я готов был броситься наутек, но подумал, что вряд ли это бегство спасет меня. Приблизившись к какому-то складу, я остановился, сделал вид, что завязываю шнурок, и посмотрел назад. Агенты (теперь их было двое) и жандарм стояли посреди улицы. Не задумываясь, я шмыгнул в складской двор, пересек его, оказался по другую сторону железной дороги и пошел вдоль линии. Затем, испугавшись, как бы меня не заметили на высокой железнодорожной насыпи, спустился вниз. Ноги коснулись мягкой пахучей травы. Неудержимо захотелось зарыться в эту траву и никуда не идти. Вскоре я был на окраине города. Вышел на тропинку, петлявшую вдоль сливовых и ореховых деревьев. Не доходя до нашего поля, затаился за одинокой могилой, присмотрелся и

прислушался, нет ли кого. Вдалеке светился огнями наш квартал. Никаких звуков, кроме посвистывания уходящего поезда, не было слышно. Я спустился с холма и направился в укромное местечко, где мы еще детьми играли в разные игры. Обнаружил старую лавку, заваленную травой, на которой ночевал во время сбора слив и покосов хозяин этого участка земли. Свернувшись калачиком, я лег на лавку и почувствовал, как дурманит голову аромат скошенной травы. Вскоре усталость и сон сморили меня.

Утром я открыл глаза и долго не мог сообразить, где я и как сюда попал. Когда же вспомнил наконец, радостно пошел к родничку, клокотавшему в низине. Попил воды, умылся и присел на ствол дерева, лежавшего здесь с незапамятных времен... Наступил полдень, и солнце стало медленно скатываться к фабричным трубам, потом и вовсе спряталось за гребни крыш. Мне вдруг показалось, что я остался абсолютно один во всем огромном мире и что быть мне здесь отныне всегда, вечно. Как этому вот дереву или могильному холмику.

Стемнело. Я решил идти в город. Страшно болела и кружилась голова, отваливались ноги, меня всего трясло в лихорадке. Я боялся, что упаду и умру здесь, в этом забытом людьми и богом месте. Не помню, как я шел, где останавливался. Помню, что в одной маленькой корчме сидели двое и пили, то ли цыгане, то ли еще кто. Я сел с ними рядом и заказал ракию и кусок хлеба. Кроме нас, в корчме никого не было. Мне захотелось спать. Расплатившись, я ушел. Но идти домой не решился. Я спустился к нашей ниве и зарылся в пахучей траве. Здесь было не так сыро, как в низине. Южный склон холма обогревался солнцем, поэтому земля источала тепло. Отсюда, с холма, была видна вся наша улочка. Вот вспыхнул свет в домике безумного Ганю, затем в доме тети Таны, потом у тети Гены... Хотелось встать и идти на эти манящие огоньки, но я боялся, что меня все еще поджидают полицейские агенты... Но сколько можно прятаться? Ну неделю, две. Да и что, собственно, я сделал такого недозволенного? Запрещенной литературы у меня нет, злополучная бумажка уничтожена. А то, что я ремсист,— это еще надо доказать!..

Я проснулся на том же месте, где и уснул,— продрогший, голодный. Кое-как привел себя в порядок и направился в сторону Маленькой улочки...

Это было на четвертый день после моего возвращения из Стара-Загоры...

■

Дойдя до Маленькой улочки и оказавшись в нашем дворе, пустынном и заброшенном, заросшем травой и сорняками, я вдруг почувствовал себя ужасно одиноким. До боли сжалось сердце, закружилась голова, я с трудом поднялся по лестнице, вошел в свою комнату, лег на кровать как был — в одежде и точно провалился. Озноб продирал до костей, голова раскалывалась, ноги пылали словно головни. Очень хотелось пить. Пришлось спуститься вниз и зачерпнуть дрожащими руками воду, стоявшую в доме со дня моего отъезда. Как назло, в этот день ни тетя Гена, ни тетя Тана не торопились заглянуть ко мне. Видимо, решили, что я поехал к матери. Я же не осмелился идти к ним и снова поднялся к себе в комнату. В шкафу лежал кусок черствого хлеба и окаменевшая головка брынзы. Я пожевал немного, проглотил две таблетки аспирина, закутался в одеяло и провалился куда-то. Проснулся на следующий день в полдень. Но едва поднялся с постели, голова закружилась и я чуть не упал. На душе было так одиноко и тоскливо, что хотелось плакать. Не с кем было поделиться своими печалями и бедами. Как мне хотелось в эти минуты, чтобы была жива моя бабушка! Я представил себе, что мы сидим с ней у горящей печки. Бабушка делает мне баничку, я рассказываю о том, что произошло со мной, а она, разгневанная и возмущенная, говорит, что такого не было даже во времена османского ига, чтобы свой своего выдавал... Милая, милая моя бабушка... Нет, она не баловала меня, всегда была строгой и, знаю, что не позволила бы мне жаловаться и киснуть и сейчас, а сказала бы так: ты мужчина, а мужчина должен уметь терпеть все. Так было, когда несколько лет назад меня арестовали с дядей Станчо и когда Койчо освободил меня. Тогда она не позволила мне жаловаться и плакать, а обложила меня всего овечьими шкурами, которые ей принес безумный Ганю, и все мои болячки прошли.

Тогда мне шел тринадцатый год...

Я перебрался в мамину спальню и, лежа на кровати, смотрел в потолок и думал, что, если я вдруг умру, никто даже не вспомнит обо мне. Я чувствовал, как поднимается температура, но был бессилен сделать что-либо.

Не знаю, как долго я пробыл в таком состоянии. Но вдруг мне почудилось, что кто-то зовет меня. Я прислушался. Действительно, с улицы раздавался чей-то голос... Встал и, пошатываясь, подошел к окну. Я не верил своим глазам. Во дворе стояла Юлия в гимназическом платье с белым воротничком. Она помахала мне, я сказал ей, чтобы вошла, и она, хотя и не расслышала моих слов, поднялась по лестнице. У меня закружилась голова, я добрался до кровати и лег.

— Что с тобой, что? — донесся до меня ее голос, и снова все вокруг потеряло свои очертания. Я видел глаза Юлии — печальные и испуганные, губы, которые хотели что-то сказать мне или, может быть, уже сказали, но я не слышал ничего и погружался в какую-то необычайно мягкую тишину. Проснулся от укола в руку. Надо мной склонился доктор, который хлопал меня по лицу, приоткрывал веки. Что говорила Юлия, я сначала не понимал, но постепенно ее слова стали доходить до моего сознания. Доктор, молодой скуластый мужчина, раздел меня и стал ощупывать ссадины на голове и синяки на теле, особенно внимательно послушал сердце. Потом написал рецепт. Юлия помчалась в аптеку и вскоре принесла мне лекарство, баночку и сироп, заварила чай.

Вечером пришла тетя Тана. Еще с порога воскликнула удивленно:

— Господи, да ты, оказывается, здесь?

Но, увидев незнакомую девушку, смутилась и замолчала.

— Ему уже лучше,— несмело произнесла Юлия.

— Что с тобой было, детка? — дрожащим голосом спросила тетя Тана.— Я думала, ты уехал к матери.— Когда же подошла совсем близко и увидела мое лицо, запричитала: — Да что же они с тобой сделали?!

Тетя Тана заплакала, но затем вытерла слезы и сказала:

— Пойду зарежу курочку, приготовлю тебе бульон.

Мы остались с Юлией вдвоем, и я спросил ее:

— Ты когда приехала?

— В среду.

— А сегодня у нас что?

— Пятница.

— Неужели все это время я был без сознания?

— Нет. Просто ты очень крепко спал.

Я понял, что Юлия хочет скрыть от меня правду.

— Где же ты спала? — спросил я.

— Рядом... Меня не покидает чувство вины за тот мой поступок. Я тогда не имела права говорить тебе такое. Это было бесчеловечно,— взволнованно говорила Юлия.

— Не надо об этом.

— Нет, надо. Я просто не знала, что у нас могут поступать подобным образом с абсолютно невинными людьми...

— Почему ты так уверена в том, что я невиновен?

— Какое преступление совершил ты: убил человека, был связан с партизанами?

— А если так?

— Оставь, пожалуйста, шутки.

— Нет, я серьезно. Я на самом деле собирался уйти в горы.

— Ну и что из этого?

— Ничего, кроме того, что ты помогла мне.

— Какие глупости ты говоришь. Да я помогла бы тебе даже в том случае, если бы ты только что вернулся от партизан.

— Серьезно?

— Ничего-то ты не понимаешь... Эх ты... А эти полицейские — самые настоящие звери.

— Юлия, я так благодарен тебе за все. Ты даже не представляешь, как я уважаю тебя.

— Уважаешь... Дурачок ты мой, да не это я хочу услышать от тебя.

— А что же?

Юлия присела ко мне на кровать.

— Скажи, ты заходил к Димане после того, как ушел от меня?

— Нет.

— Честно?

— Честно.

— Вот и хорошо. Если хочешь знать, именно этого я боялась больше всего. Я не хотела этого, понимаешь? Нет, вряд ли ты поймешь это,— сказала Юлия поднимаясь и, надев берет, продолжила с улыбкой:— Я сегодня даже не умывалась, но, надеюсь, что нравлюсь тебе и неумытая... Ну, прощай. Доктор сказал, что через день-два все пройдет,— и Юлия протянула мне на прощание руку.

■

Я поступил в университет, и началась моя студенческая жизнь.

На улице Аксакова в студенческой столовой, где кормились мои однокурсники и приятели, кто-то познакомил меня с высоким худощавым парнем с каштановыми волосами, в красной студенческой шапочке. У него были на редкость доброе лицо и теплая улыбка. Звали парня Иван Нивянин. Как-то мы разговорились с ним, и выяснилось, что он знает меня по публикациям в «Болгарской речи» и по статье в газете «Заря», где я рассказывал о читальне в селе Тракия. Нивянин долго и увлеченно говорил о наших читальнях, о своем родном селе Джурилове, которое он вспоминал с особой нежностью. При встрече он всякий раз спрашивал меня, пишу ли я что-нибудь новое и кого из поэтов люблю больше всего. Когда я однажды сказал, что меня просто поразил сборник стихов Николы Вапцарова «Песни мотора» и что это такие стихи, каких я еще не читал никогда, и что в будущем, мне кажется, будут писать именно так,— Нивянин обрадовался. Он ничего не сказал. Может быть, потому, что в столовой сновали всякие личности и некоторые из них открыто цеплялись к студентам. Но мне достаточно было теплого, заботливого взгляда Нивянина, взгляда старшего брата, его одобрительных слов.

Со своим другом Радоем мы встретились тоже в столовой и направились к Народному театру. День выдался холодным, в легких плащах было зябко. Конечно же, Радой повел меня к Народному театру не случайно. Завтра здесь должен был состояться студенческий праздник.

— Царь пройдет здесь,— указал мне Радой на желтые плитки.— Он каждый год присутствует на студенческих праздниках. Как правило, приезжает в экипаже. Мы встанем у парапета возле скверика. (В то время в сквере на месте нынешних фонтанов был парапет.) Как только царь поравняется с нами, мы крикнем: «Требуем народное правительство!» Это все. Если начнется заварушка, каждый спасается сам...

Все это показалось мне элементарным делом. «Разумеется, крикнем»,— думал я, вспоминая слова Радоя. В определенное время я был у театра. Народу собралось в сквере великое множество. Я с трудом протиснулся сквозь толпу и остановился неподалеку от двух конных полицейских, нисколько не боясь их соседства. Пока они развернутся на своих тяжеловозах, меня и в помине не будет. Осмотрелся по сторонам, выбрал для ориентира какое-то кривое дерево, по-моему, это был каштан. Пригляделся к полицейским. Оба были тучные, медлительные. Не верилось, что они способны стрелять в такой толчее.

Я не знал, сколько нас, кто мы такие и вообще есть ли еще кто-нибудь здесь, кроме меня, но знал одно: в определенный момент мы выполним свою задачу.

Его величество появилось в экипаже. Я видел его впервые. Царь сидел на заднем сиденье, в руке у него была сабля. Царь улыбался. Он был при полном параде, и все же показался мне жалким и жидковатым. «Патриотически настроенные» студенты встретили его возгласом «ура!». Грянула музыка, офицеры и полицейские замерли по стойке «смирно». И в этот момент кто-то крикнул:

— Требуем народное правительство!

Мы подхватили клич.

Я заметил, что улыбка исчезла с лица царя Бориса. Экипаж промчался мимо нас и остановился у входа в театр.

— Требуем народное правительство! — кричали мы.

Едва царь скрылся в театре, как засвистели нагайки, заржали кони. Началась страшная суматоха. Не мешкая, я бросился к раскидистому каштану, затем свернул в маленькую улочку и метнулся в первый попавшийся подъезд. Побежал вверх по лест-

нице, снимая с себя на ходу плащ и кепку, и тут же стал спускаться обратно. На выходе столкнулся с агентом, который заорал:

— Кто-нибудь сейчас поднимался наверх?!

— Да какой-то парень прошел...— сказал я уверенно.

На улице творилось что-то страшное. Полицейские хватали студентов и загоняли в машины. Среди них были мои знакомые. На тротуаре лежал со связанными руками мужчина, все его лицо было в крови... Я прошел мимо машин и затерялся в толпе...

■

Погожим весенним днем сорок третьего, когда наш двор утопал в белой кипени цветущих вишен, в Казанлыке появилась Недялка Попович.

— Добрый день! — приветствовала она меня своим звонким голосом, подавая руку.

— Добрый день! — обрадовался я и пригласил ее в дом, но она отказалась:

— Посидим на лавочке, подышим воздухом... Что от ваших слышно? Отец вернулся?

— Вернулся. Я получил от него письмо. Пишет, что вылечил язву.

— Я собираюсь съездить в село. Если хочешь передать что-нибудь со мной, письмо, например...

— Да, напишу,— обрадовался я.

— Ну а вообще, чем занимаешься?

— В Софию собираюсь.

— Да, студенческие годы — самые прекрасные, но ваши...

Она осмотрелась по сторонам, наклонилась ко мне и, не упуская из виду каждого, кто проходил по улице, заговорила тихо:

— Будешь встречаться с нашими ребятами, говори, что у нас все очень хорошо. Советская Армия громит гитлеровцев, освобождает город за городом. После Сталинграда немцы уже не очухаются. Хоть и кончился у них траур по «победоносной» армии Паулюса, впереди еще много поводов для траура... Наши партизаны переходят к активным действиям. Пловдивские и стара-загорские отряды осуществляют дерзкие акции. Ты слышал что-нибудь о Чочоолу?

— Знаю, что он приехал из Советского Союза, и все.

— Он наш, болгарин... Недавно попал в полицейскую засаду со своими товарищами в боздугановской роще. Полицейские окружили их, такой огонь открыли, что страшно. Они молчали. А потом вдруг — раз и прорвали кольцо. Не испугались, хотя на них были направлены сотни пулеметов. Полицейские в ужасе бросились врассыпную... Ушли из одного окружения и вскоре нарвались на штаб, где располагалось сто пятьдесят офицеров, полицейских и солдат. Но Чочоолу и его товарищи ушли и на этот раз. Переждали немного в каком-то селе, а потом — снова в горы. А полиция до сих пор по кустам шастает, партизан ищет.

Тетя Недялка засмеялась и продолжила:

А в Габрово вошел отряд партизан из пятидесяти человек, убили местного начальника полиции — ирода из иродов. В Софии партизаны казнили Христо Лукова. Совсем недавно убит бывший директор полиции, полковник Пантев... Близится час возмездия...

■

Как говорят, в жизни время от времени должна происходить встряска, чтобы ты не думал, что все всегда будет в порядке. Во время моей учебы, однако, было столько встрясок, что я до сих пор не могу понять, как мне удалось закончить университет. Все шло через пень колоду, нас спрашивали с пятого на десятое и отметки ставили только для того, чтобы можно было говорить, что нас чему-то учили. А когда начались бомбардировки Софии, факультеты эвакуировались в разные города и, по существу, проводились только экзаменационные сессии.

Еще в сорок первом году правительство Богдана Филова объявило войну Англии и Америке. Естественно, всерьез этот факт никто не воспринял, многие говорили, что эта война «чисто символическая». Но никто не сомневался в том, что у двух этих держав достаточно длинные руки и, если надо будет, они дотянутся до нас. Так что с самого начала можно было предполагать, какие ответные (или карающие) действия могут принять Англия и Америка против Болгарии. Конечно же, атаки с воздуха.

По этому поводу Рузвельт и Черчилль встречались в Касабланке и пришли к договоренности ударить по союзникам Германии с воздуха. В двух местах — на Британских островах и на базе Фоджия в Сицилии, которую англичане к тому времени заняли целиком,— разместились целые соединения, сотни бомбардировщиков и истребителей.

Я помню первый налет на столицу. Был чудный осенний день. Люди гуляли по паркам и улицам, любуясь красотой уходящей осени, и не подозревали, что для многих из них этот воскресный день будет последним.

Когда завыла сирена, мы выходили из студенческой столовой, что на улице Аксакова, и не обратили на нее никакого внимания. В последнее время многие научились не придавать этому обстоятельству особого значения, ибо зачастую сигналы тревоги были ложными. Кто же знал, что на Софию надвигается целая армада бомбардировщиков — семьдесят «Митчелов» и «Бостонов» под прикрытием сотни истребителей. Поэтому мы немало удивились, когда перед нами возник страж порядка и взашей затолкал в какой-то подвал.

Вскоре началось настоящее светопреставление: трещали зенитки, страшно ухали бомбы, с диким воем проносились самолеты. Нам казалось, что следующая бомба непременно угодит прямо сюда, в подвал, и мы все окажемся заживо погребенными.

Но вот дали отбой тревоги. Мы вышли из подвала. Центр города, как оказалось, не пострадал, а вот окраинные кварталы — Хаджи Димитр, Надежда и Орландовцы — превратились в руины.

Во время следующего налета был разрушен штаб гитлеровцев на улице Царица Иоанна (ныне бульвар Витоша), от которого не осталось ровным счетом ничего. Нас, студентов, такой поворот дел обрадовал. Когда же авиация разбомбила железнодорожный вокзал, Государственную типографию, Народный театр, железнодорожную больницу, министерство юстиции, Зоологический сад, оставаться в городе стало небезопасно, и многие стали покидать Софию. За это время из столицы в села выехало свыше трехсот тысяч человек.

Я тоже возвратился в Казанлык, но и там уже чувствовалось горячее дыхание войны... Как по расписанию, утром и вечером, английские и американские бомбардировщики пролетали над городом по направлению к Плоешти. И так — три месяца. Нередко сбрасывали между делом бомбу-другую и на Казанлык. Просто так, для развлечения.

...Однажды вечером мы сидели на большом камне и обсуждали последние события. И вдруг объявили тревогу. Но все остались сидеть на своих местах. И правда, куда спрячешься? В развалюху дяди Николы? Да и не из робкого десятка были мужчины на нашей улице, чтобы бояться бомб. Дядя Никола как рассказывал, так и продолжал рассказывать. Ему ли, участнику двух войн и боев под Одрином, бояться какой-то сирены?

Через несколько минут на западе вспыхнуло огромное желто-красное зарево. Земля затряслась, задрожала, завыла. Где-то вдалеке послышалось уханье взрывов.

— Вы слышали? Разбомбили аэродром Марно Поле возле Карлово! — крикнула пробегавшая мимо телефонистка тетя Веса.

— Койчо, сын! — запричитала тетя Тана.

Дядя Станчо решительно встал и сказал, что надо съездить в Карлово. И они с дядей Николой отправились на поиски какого-нибудь мотоцикла.

Тетя Тана продолжала плакать и причитать, когда к дому подъехал джип, из которого выскочил человек в форме летчика и крикнул:

— Койчо жив-здоров, не волнуйтесь!

— Сохрани тебя бог и помилуй, детка,— залилась слезами радости тетя Тана.— Зайди в дом, хоть покормлю тебя.

— Не до угощений сейчас, тетя Тана,— ответил летчик.

— Ты уж скажи, что случилось-то? — спросила тетя Таиа.

— Лучше не спрашивайте, такой страх,— вытирая рукавом гимнастерки потное лицо, ответил летчик.— Сначала сбросили осветительные ракеты. Стало светло как днем. Потом как стали бомбить, кошмар один... Ну, мне пора,— закончил парень, направляясь к джипу. Через минуту машина скрылась в темноте.

Бате Асена призвали в так называемую «черную роту» куда-то в Беломорие[1].

[1] Побережье Эгейского моря.

Рыл какие-то военные укрепления, но это был сущий концлагерь. Писал редко, к тому же цензура проверяла письма с такой тщательностью, что понять из них что-либо было просто невозможно. Донка худела без него, увядала на глазах и часто приходила ко мне, спрашивала, не написал ли он случайно и мне, не писал ли писем дяде Станчо. Атьо уехал в Энину, Петр и Кольо — в Мыглиж. От Диманы давно не было никаких вестей. Они с матерью переехали в одно из сел Сливенского округа, чтобы быть поближе к Здравко, находившемуся в тюрьме вместе со своим другом из Орехова. Юлия училась в Софии.

■

Народная мудрость гласит, что дольше живет тот, кто больше пережил. Если это действительно так, то сорок третий и сорок четвертый годы должны продлить мою жизнь в десятки раз. Мы ежедневно слышали, что в том или ином уголке страны схватили партизан и казнили; на сельских майданах валялись головы казненных, нередко их несли на жердях, точно овец.

Однажды из Мыглижа приехал Петр и привез страшную весть: жандармы убили Дончо Бояджиева. Я хорошо помнил этого красивого юношу с мечтательными глазами и доброй улыбкой. В нем удивительно сочетались артистизм и романтичность. Я не мог поверить, что Дончо не стало.

— Он и еще двое партизан шли на связь с ятаками[1],— рассказывал Петр.— Какой-то предатель заметил их в лесу и донес в полицию. Вскоре их окружили солдаты... Дончо сказал товарищам, чтобы они уходили, он прикроет их... Товарищи действительно ушли из окружения, когда же попытался уйти Дончо, было уже поздно. Последнюю пулю он пустил себе в висок... Я видел его,— дрожал от волнения Петр.— Они привязали его к жерди за руки и за ноги, как овцу, и так несли... Потом всех жителей согнали на площадь и заставили пройти мимо трупа... Ужас!

Петр заплакал.

Когда Петр ушел, я направился к Оккультисту. В последнее время квартирант тети Гены стал еще более печальным и хмурым. Он часами сидел на лавочке у дома и бормотал что-то себе под нос. Я поздоровался с ним и заметил, что правая рука у него очень здорово трясется. Дядя Йовчо поймал мой взгляд и заметил:

— Не обращай внимания на руку. Вот где болит,— указал он на голову.

— Аспирин помогает,— сказал я.

— Такое от аспирина не проходит,— загадочно пробормотал он.

— Но ведь вы знаете всякие лечебные травы, может быть, они помогут?

— Нет, не помогли.

— А вы верите, что травы могут помочь?

— Когда великого химика, сэра Уильяма Крукса, спросили, верит ли он, что четвертое измерение материи, лучистое, существует на самом деле, он ответил: «Я не сказал, что это возможно, я сказал, что это есть»,— пробормотал дядя Йовчо, и его слова немало удивили меня.— В человеке сокрыты силы, о которых ни он, ни окружающие не знают, так что человек не всегда такой, каким кажется на первый взгляд. Он обладает шестым чувством — ясновидением. Физический мир, о котором мы имеем какое-то представление,— это тоже еще не все. Вокруг нас действуют нематериальные миры, они управляют нашими судьбами...

— То, о чем вы говорите, только предположение, не так ли? — прервал я его.

— Да... Но я верю в учителей... Я убежден...

— Ни в чем вы не убеждены,— не выдержал я.— Только повторяете чужие слова и мысли. Говорите о прогрессе, о том, что наступит новая жизнь на планете, а на самом деле людей уничтожают сотнями, миллионами. Что это за новая жизнь и новый мир, которые придут на планету? Выдумка все это, ничего больше...

Оккультист помолчал.

— Может быть, мы никогда и не узнаем, что это за силы. Может, и нашим потомкам не суждено будет узнать о них ничего. Да! Вот что тревожит меня. Уйду, так ничего и не узнав... И все начнется сначала.

— А вы видели эти силы?

— Да, и не отрицаю этого. Зачем говорить, что их нет, когда они есть? Может

[1] Люди, помогавшие партизанам в борьбе с фашизмом.

быть, я слишком ничтожен, несовершенен, чтобы почувствовать их явственно, и все же они существуют.

— Я думаю, все, что существует, можно обнаружить, открыть,— возражал я.— Лучи, то есть лучистое состояние материи,— это что-то реальное, но что такое шестое чувство? А если кто-то станет утверждать, что есть седьмое, восьмое, десятое чувство?

— Пока есть только шестое.

— А какие чувства толкают немцев уничтожать другие народы?

— Вы, коммунисты,— тихо продолжил он, и я вздрогнул от неожиданности,— близки к нам, как никто другой. Вы тоже за мир, за мир без крови и страданий, и вы считаете, что разум — это самое главное, а не военное варварство. Почему вы не признает нас?

— Если подумаешь хорошо, поймешь, что между нами разница,—вспомнил я слова бате Асена.— Большая разница. Мы прежде всего реалисты. Мы не уповаем на всякие там неведомые силы и знаем, что в первую очередь надо уничтожить эту звериную власть, а потом уже строить, совершенствовать...

— Вы — за силу. Вам нужна власть, но когда обретете и ее, будете искать душу...

— Да, наверное...

— Станете сытыми, будете иметь все, что вам надо. Но потом что?

— Нам бы власть взять в свои руки...

— У человека всегда будет желание познать мир. Этого вы у него не можете отнять...

— А кто собирается отнимать?

— Ваше учение признает только реальность. А человеческая душа хочет проникнуть и в нереальное тоже. Она ищет...

— Да, метафизика всегда привлекает...

— Вы еще на низкой ступени иаходитесь, потому такое пренебрежение к метафизике, от непонимания многих вещей.

— О каких ступенях говорите вы, когда рядом уничтожаются сотни людей?

— Я говорю о грядущем. Душа придет тогда...

— Если верить религии, душа — это одно, а если науке — то совсем иное.

— Это точно, иное,— произнес дядя Йовчо с каким-то разочарованием в голосе и спросил: — Ты слышал о Доичо?

— Слышал.

— Я знал этого мальчика, когда он был еще вот таким. Мы дружили с его отцом... И я не прощу им этого никогда.

■

В Библии сказано, что в великой мудрости — великая печаль. По-видимому, есть эпохи, когда мудрость становится очень осязаемой. А с ней — и человеческая печаль...

За что убили Дончо? Почему этот прекрасный юноша должен был погибнуть в расцвете лет? А мы все? Выживем ли мы? Вопросы эти тревожили меня с каждым днем все больше и больше.

Террор и репрессии приобрели небывалый размах. Министром внутренних дел Дочо Христовым был издан приказ, согласно которому «подпольные группы надлежит уничтожать беспощадно; ятаков и их пособников впредь судить военным судом, которому надлежит работать оперативно, без проволочек...»

В моей софийской квартире — я снимал ее в доме на углу улиц Обориште и Алеко Константинова — часто ночевали люди, совершенно неизвестные мне. Их приводили ко мне мои близкие друзья. Я не знал, кто они, и не интересовался этим. Переночевав ночь, рано утром они исчезали. Через мою одноклассницу по стара-загорской гимназии, Иветту, я познакомился с ее родственниками Розой и Асеном Воденичаровыми. Мы не раз встречались у них и возбужденно говорили о происходящих событиях. У них был зубопротезный кабинет на улице Марии-Луизы. Не знаю, изготовляли ли в этом кабинете коронки и протезы, но политическая работа была налажена хорошо. Наша компания «Эдельвейс», совершавшая «невинные» поездки на Витошу и Стара-Планину, однажды, также «невинно», целиком вошла в состав Отечественного фронта.

Как-то вечером я пошел на танцы в Медицинский институт. Я не помню, в ка-

ком именно зале был организован вечер, помню только, что было очень весело и все мы старались забыть и о войне, и о бомбардировках, и о карточках на хлеб — обо всем. Накануне вечером ко мне пришел на ночлег какой-то незнакомый, изможденный и заросший человек. Чтобы его не заметили хозяева, я принес в комнату таз с водой. Гость вымылся, побрился и, не говоря ни слова, лег как был в одежде и уснул. Я ходил по комнате, смотрел в окно, слушал, как громыхает сапогами вернувшийся со службы хозяин (он был офицер), как хозяйка стала говорить ему что-то, и все боялся, как бы она не заметила, что у меня посторонний человек. Однако из их разговора я понял, что речь идет о каком-то сапожнике, который обещал сшить хозяйке новые туфельки, что надо только достать подметки, но тоненькие, не толстые. Хозяин сердито ответил ей: мол, откуда ему взять эти подметки, но хозяйка продолжала настаивать на своем. Я успокоился и лег. Долго не мог уснуть. Если в квартире ночевал кто-либо из подпольщиков, это вообще удавалось крайне редко. Под окном процокала по брусчатке конная полиция, слышались их разговоры с агентами. Где-то раздавались выстрелы. Я знал, что если нас поймают, то пощады не будет, но никогда никому не отказывал в квартире и жил надеждой, что ничего плохого не произойдет. Товарищи говорили мне, что я в полной безопасности, потому что живу в доме царского офицера. Эти уверения действовали на меня успокаивающе, вскоре и я сам поверил в это, и когда случалось принимать какого-либо человека, я надеялся, что все будет хорошо.

Когда я проснулся, незнакомца не было. Как удавалось этим людям вставать так неслышно, просто удивительно.

Хозяйка вскипятила молоко и предложила мне выпить с кофе. Она была очень приветливой и доброй женщиной. Детей у них еще не было. Жили они тихо и счастливо. Да и сам хозяин тоже неплохой был, не числился кадровым офицером царской армии. Был инженером-химиком, в армии занимался пиротехникой, и работа его, похоже, больше была научной, нежели строевой...

Танцуя в зале, я радовался, что все обошлось, что товарищу удалось уйти незамеченным. Среди танцующих мелькала голова одного студента, долговязого малого, который, мы знали, был агентом полиции. Но ни его присутствие, ни присутствие других сомнительных лиц в зале не смущало меня. Все уже в прошлом: человек, ночевавший у меня, ушел куда надо, я выполнил свой долг и теперь могу веселиться. Но вскоре веселье мое было омрачено. Ко мне приблизилась моя знакомая Иветта и взглядом показала, чтобы я следовал за ней. Я подождал, пока закончится танго, отвел девушку, с которой танцевал, на место и подошел к Иветте. Было ясно, что без особых на то причин она не станет меня звать. Иветта была очень бледна и встревожена. Рядом с ней стоял один из наших товарищей по РМС.

— Тебе надо уходить,— тихо сказала Иветта.— Возле вашего дома стоит полицейский.

— Откуда тебе это известно?

— Я проходила мимо.

Мы сели на скамейку. Иветта советовала не возвращаться домой. Я сказал ей, что должен остаться один. Если кто-то следит за мной, ей ни к чему в это дело впутываться.

Вскоре на город легли темные тени. Я сидел в сквере и следил за входом в институт: все ждал, что полиция появится с минуты на минуту. Однако никто так и не появился. Я решил идти домой. Собственно, за что меня арестовывать? Никаких улик против меня нет. Даже если полиция схватила человека, который ночевал у меня, он не выдаст ни за что. Этих людей я знал очень хорошо. Кремни, а не люди...

Время близилось к полуночи, когда я подошел к своему дому. Действительно, у входа в дом стоял полицейский, а перед дверью моей квартиры — агент.

— Ваше имя...— начал агент.

— Да, это я.

— Пройдемте на несколько минут.

В комнате моей все предметы стояли на своих местах,— следовательно, обыск не проводился.

— Меня интересует вот кто,— сказал агент и назвал какую-то фамилию.

— Я не знаю такого.

— У нас есть сведения, что вы знаете этого человека.

— Нет, уверяю вас,— спокойно ответил я, чувствуя, как пересыхает от волнения

горло.— Может быть, знакомился когда-то в столовой или в университете, но не обратил внимания.

— Он не просился переночевать у тебя? — отбросив вежливость, перешел на «ты» полицейский.

— Неужели вы допускаете, что в доме болгарского офицера могут останавливаться случайные люди?

Агент помолчал, затем спросил:

— Как тебя по батюшке?

— Иванов.

— Вот что, Иванов, если к тебе попросится ночевать подозрительный человек, ты прими его, а нам обязательно сообщи, сразу же. Ясно? Вот тебе номер телефона. Твоего хозяина я тоже предупредил.

— Не понимаю, к чему весь этот разговор. Я не маленький и знаю, что подобные действия караются законом...

— Я сказал все,— оборвал меня агент и вышел.

Едва он перешагнул порог, как меня затрясло, точно в лихорадке. Вся эта история показалась мне крайне странной. Я подождал, когда агент скроется из виду, и направился ночевать к моему знакомому, поскольку не был уверен, что после визита агента полиции ко мне не заявится целый отряд и меня не упекут в тюрьму.

Из друзей и знакомых мне удалось найти только Кольо Томова, который в свое время тоже эвакуировался, но сейчас вернулся в столицу. Мы бродили с ним по тихим улицам, вспоминали своих товарищей по компании «Эдельвейс», и неожиданно он сказал:

— Знаешь, что Ивана Нивянина убили?

— Как убили? — спросил я, чувствуя, что от волнения у меня пересохло в горле.

— А ты разве не знаешь, что он был в партизанском отряде?

— Знаю.

— Погиб в конце мая в бою под Соколаре во Врачанском округе. Был тяжело ранен и на следующий день умер в партизанской землянке...

«Выживем ли мы?» Эта мысль не давала мне покоя весь путь до Банско, куда я ехал, чтобы увидеться с дядей Коле. На каждой станции военными и полицейскими производилась проверка документов и багажа. Для поездки из одного населенного пункта в другой требовалось специальное разрешение полиции, которое необходимо было предъявлять при появлении полицейского или военного патрулей. Поезда были переполнены, и найти свободное место было практически невозможно.

Давно я не был в родном Банско с буйными ручьями, мчащимися по улицам, соснами и елями, домиками с чердаками и красными черепичными крышами. Я забыл шум быстроводной Глазене, снежные вершины Элтепе, этот запах смолы и свежего сена, доносившийся со дворов и завораживавший путников. Я забыл этот напевный, мелодичный говор его жителей, какого нет нигде на свете и не может быть, потому что нигде на свете не звенят такие прозрачные хрустальные воды, как здесь, нигде на свете нет таких горных вершин и такого синего неба.

Дяди Коле дома, как всегда, не оказалось.

— Приехал-таки, не забыл,— обрадовался дядя Минчо, брат дяди Коле.— Оно только гора с горой не сходится, а человек с человеком...

Послышался скрип ступенек, и появилась нана[1] Люба, похожая в черном платке и белой блузке на ласточку. Она спросила, «как мама и папа», а что говорила дальше — я так и не понял, поскольку нана Люба произнесла все очень быстро. Нанизывая крупные табачные листья на длинную нитку, она продолжала говорить не умолкая.

Немного погодя я вышел в сад, затем прошел на мельничку. Быстрый поток по-прежнему вращал мельничный жернов. Казалось, ничего не изменилось с той незабвенной поры детства. Так же медленно текла белая мучная струйка. Такая же серебряная паутина, как в детстве, опутывала балки. Я сел на большой камень и стал смотреть, как в прохладной чистой воде мелькает форель и исчезает затем в глубокой запруде под мельницей...

Странно, но я не ощущал, как прежде, радости от встречи с мельницей, с этим домом, меня не радовали водяные брызги, слетающие с колес, нежные ростки дикой

[1] Жена брата матери.

герани, проклюнувшиеся среди камней. Я не хотел возвращаться в наш старый дом, хранивший в себе столько воспоминаний...

— Ты когда приехал? — услышал я голос дяди Коле и от неожиданности вздрогнул.

Как всегда, дядя Коле приблизился неслышно. Поздоровался со мной за руку. Одет он был в черные брюки и рубашку из грубой шерсти с пристегивающимся воротником. И как всегда — в соломенной шляпе, известной во всем Банско.

— Я заходил в дом, тебя не было,— сказал я.— Поговорили маленько с дядей Минчо.

— Нашел с кем говорить! — засмеялся дядя Коле. И, не говоря больше ни слова, вышел на улицу.

Я не удивился поведению дяди Коле. Он был именно такой. Мог внезапно появиться, начать разговор и так же внезапно уйти, занятый своими мыслями и заботами. Впрочем, эти «свои» мысли и «свои» заботы вовсе не были его личными. Его не волновали проблемы собственного благополучия. Дни и ночи дяди Коле были заполнены мыслями и заботами о других. Тем более — в эти напряженные дни, когда в горах сражались его товарищи и ученики, когда люди изнемогали под тяжестью налогов и поборов, голодали, когда им нечего было надеть, а дети их болели и часто умирали от самой обыкновенной простуды. Вместе с коммунистами и сельской беднотой он боролся за лучшую долю; его избирали председателем «популярного банка»[1], его, учителя Николу Голева, потому что, будучи членом этой организации, он имел возможность раздавать землю неимущим, помогать им. Как скажет позже Крум Радонов, дядя Коле был подлинным защитником бедноты, оберегал ее, как оберегает орел своих детенышей. Даже в тюрьме он находил возможность вдохновлять людей добрым ли словом, советом ли.

Усталость сморила меня, и я лег рано. Мне постелили в комнатке, где сушился табак. Перед сном я почитал «Что есть марксизм?». Брошюр подобного типа в доме было полным-полно. Когда я уже собирался уснуть, вошел дядя Коле. Он присел на кровать и спросил:

— Ты ел?

— Нана Люба покормила меня.

— А я поем,— сказал он и достал ломоть хлеба. Затем стал макать его в кружку с вином и есть с большим аппетитом. Спросил, хочу ли выпить. Я ответил, что не пью.

Я и сейчас с волнением вспоминаю эту ночь в маленькой комнатке старого дома и дядю Коле. Мы ходили с ним по горам, сидели у огня под вековыми соснами, много беседовали, но никогда он не говорил со мной как со взрослым мужчиной. Тогда же он словно бы искал во мне собеседника.

— Почему русские побеждают на Восточном фронте? — спрашивал он.— Потому что на стороне Красной Армии весь народ. А Красная Армия не воюет стихийно. Все научно продумано: и какой потенциал у врага, и каково качество оружия, отвечает ли оно местным условиям... Это целая наука...

Потом он объяснял мне, почему союзники (Англия и США) только сейчас, в конце войны, начали высадку в Северной Франции.

— До сих пор у них не было заинтересованности в этом. Они ждали, когда силы России истощатся. Однако теперь, когда она входит в Европу, для них уже становится опасной не побитая Германия, а Советская Россия.

Дядя Коле объяснял мне некоторые экономические законы, причины инфляции и возникновения «черного рынка». Рассказывал об огромных экономических потерях маленькой Болгарии, на содержании которой находятся гитлеровские части и соединения.

— Болгария не воюет на фронтах, но она содержит целую армию, плюс полицию и жандармерию, охраняет оккупированные немцами районы. А это стоит денег, и немалых. Поэтому болгары и не имеют ничего, кроме трехсот граммов хлеба в день.

Дядя Коле смеялся над полицейскими и жандармерией, над их бессилием в борьбе с партизанами.

На следующий день я уехал в Софию. В моей сумке лежал кусок сала, завернутый в бумагу, сквозь которую можно было прощупать крупные крупинки соли. Сало мне дал дядя Коле, чтобы я отвез его знакомым Стайковым. Лежал в сумке и

[1] Существовавший в те годы в Болгарии кооперативный банк взаимопомощи, капитал которого состоял из взносов его членов.

каравай хлеба, его дала мне на дорогу нана Люба. Хлеб был черный и непропеченный, как во времена моего детства. Он возвращал мою память в те далекие годы, и я видел горы Пирин, ощущал дыхание бабушки Ленки и деда Гёги; он напоминал мне Банско, то Банско, которое в те времена целиком утопало в этом кисловатом запахе — запахе черного хлеба...

Стайковы жили на улице Росица. Помню, дом их был старый, а лестница, ведущая к квартире,— крутая. Дверь, на которой висела табличка с фамилией знакомых дяди Коле, была красноватого цвета и изъедена шашелем. Такой я запомнил ее. Однако в тот день, когда я оказался у этой двери, она была облеплена некрологами [1]:

«Внезапно скончался
ТОШКО.
Отец и мать».
«Умер
ТОДОР СТАЙКОВ».

Дверь отворилась, и на пороге появилась мать Тошко. Она была вся в черном. Увидев меня, женщина прижала руки к груди и заплакала:

— Нет его, Владо. Нет Тошко. Убили. Замучили до смерти...

Я не помню, о чем говорил. И только когда оказался на улице и пошел в направлении центра, вспомнил, что пакет с салом так и не отдал.

«Зачем я ездил в Банско?» — спрашивал я себя чуть позже, сидя в вагоне.

— Чтобы увидеть и услышать дядю Коле, чтобы он вдохнул в меня силу и уверенность; побродить по родной земле, где я всегда чувствовал себя уверенным; почувствовать, что ступаю по крепкой, здоровой почве.

«Ты успокоился?» — спрашивали меня вагонные колеса, ветер, влетающий в открытое окно, сияющие в лучах солнца горные вершины. Увы, в душе по-прежнему жила тревога, я непрерывно возвращался мыслями к Андрею, которого полицейские подло убили на чердаке, где он скрывался, Дончо Бояджиеву из Мыглижа, Ивану Нивянину из-под Врацы, сыну Стайковых из Софии — Тошко. И все они — знакомые мне люди, в той или иной степени связанные с моей жизнью, судьбой, люди, с которыми я говорил и которых знал, видел, как они шагали по земле — радостные, улыбающиеся...

Ничто не в силах освободить меня от этой скорби.

■

Я постучал в дверь дяди Станчо. Звякнула щеколда, дверь приоткрылась, и я увидел веселое лицо тети Гены.

— Станчо, Владо вернулся! — крикнула она и, гладя меня по волосам, как маленького, повела в комнату.

Дядя Станчо слушал радио. Какая-то радиостанция передавала на болгарском языке новости с Восточного фронта. Я узнал, что Красная Армия ведет бои в Западной Украине. Болгарская буржуазия, боявшаяся за свою судьбу, начала переговоры с англичанами и американцами, которые со своей стороны торопились предотвратить вступление советских войск в Болгарию...

Дядя Станчо подмигнул мне заговорщически, из чего я понял, что комментарий последних известий ему очень понравился. Мы посидели, поговорили. А когда я стал уходить, тетя Гена вдруг спохватилась и сказала:

— Совсем из ума выжила! Подожди, дам тебе письмо. На днях пришло...

Письмо было написано небрежно, крупным почерком... Письмо от Диманы. Я распечатал его прямо на глазах у тети Гены и торопливо стал читать:

«Владо, прости меня! К сожалению, жизнь не считается с нашими желаниями... Я вышла замуж. Почему? Это не суть важно. Я не могу объяснить тебе это. Мой муж — тот самый парень из Орехова, который был арестован вместе с моим братом. Их выпустили в прошлом месяце.

Димана»

Я был поражен прочитанным. Видимо, я очень побледнел, потому что тетя Гена, которая внимательно смотрела на меня, крикнула:

— Что, что случилось?

[1] В Болгарии есть обычай вывешивать траурные объявления на доме, где жил умерший.

— Ничего, ничего тетя Гена! Оставь меня!..

Как трудно вычеркнуть из памяти, и еще труднее из сердца, человека, которого любил и в которого верил. Думал ли я, что мы расстанемся с Диманой? Нет!

Придя домой, я бросился на кровать и заплакал. Всю ночь не мог сомкнуть глаз и молил бога, чтобы скорее наступил рассвет.

Я вышел на крыльцо, сел на порог дома и стал смотреть на небо. Медленно выплыл из тумана месяц, ненадолго застыл над кладбищем и пошел своей небесной дорогой.

Далеко, как далеко были те дни, когда началась война, когда мы познакомились с Диманой и ходили смотреть фильм «Истребители». Для меня Диманы уже не существовало.

Пропели первые петухи, а я все продолжал сидеть на крыльце и смотреть в бледнеющее небо. Где-то заскрипела телега, засопели волы, послышался голос крестьянина, собравшегося чуть свет на дальнюю ниву. И снова тишина. Даже бреха собак не слышно...

На следующий день я решил зайти к своим друзьям, но никого в городе не было, не вернулся и бате Асен. Сидеть сложа руки и грустить в такое напряженное время было невозможно. «Когда все потеряно, остается будущее,— повторял я чьи-то слова.— Чтобы жить — надо что-то делать,— твердил я настойчиво, истязая себя душевно. Только мертвецы ничего не делают. Можешь страдать, плакать, и это уже жизнь... Надо что-то делать». Я посмотрел на карту, висевшую на стене. Красные головки булавок углублялись далеко на запад.

Я встретил Христо Келчева. Он сказал, что мы должны быть наготове в любую минуту. Через день-другой могут наступить решительные перемены. С одним парнем мы стали писать воззвания и разбрасывать их в городе.

Дядя Станчо сказал мне, что надо собирать патроны. Я съездил на два дня в Мыглиж, Дыбово, Ветрен и Гурко и привез целую сумку патронов. Шестого сентября мы встречали политзаключенных из сливенской тюрьмы. На железнодорожном вокзале их приветствовал Христо Келчев, а я с художницей Петраной Клисуровой выполнял роль телохранителя. Мы попытались организовать митинг, но тотчас появился начальник полиции Сомов и его подручные.

— Немедленно убирайтесь! — орал он.— А то через три минуты будет уже поздно!

— Это для тебя будет поздно через три дня!— крикнул кто-то пророчески, и все запели «По военной дороге...».

Когда память возвращает меня к тем далеким дням, я вижу солнце — огромное, ослепительное солнце, а на его фоне, как бы в самой середине, людское множество. Все радостно машут кепками, платками, смеются и плачут. Над городом полыхают красные полотна. Слышны песни. Прекрасные болгарские и русские песни:

Вставай, страна огромная,
вставай на смертный бой...

Расцветали яблони и груши...

Три дня и три ночи мы не появлялись дома. Никто не знал, где мы и что, живы ли. А мы захватили полицейский участок. Встречали партизан, возвращавшихся из лесов и с гор. С радостной улыбкой я всматривался в эти мужественные лица, надеясь увидеть кого-нибудь из знакомых. Но тут кто-то крикнул, что в город прибывают советские войска, и мы бросились встречать освободителей. Загудели колокола, завыли сирены, весь город вышел на центральную площадь.

Я и сейчас вижу, как ринулась толпа навстречу русским солдатам, как пролился дождь из цветов, затрепетали на ветру знамена, слышу, как звучат песни.

Усталые, покрытые пылью дальних дорог, солдаты соскакивали с машин, по-братски обнимали людей, бросавшихся им навстречу. Я тоже побежал к солдатам, но вдруг что-то остановило меня. Оглянулся и увидел одиноко стоящего деда Атьо Ивана Ганева, мельника. Не по силам было одряхлевшему старику толкаться в этой людской сутолоке. Я подошел к нему, окликнул:

— Дед Иван!

Он узнал меня, приподнял посох и, указывая на шоссе, где шли колонны советских солдат, сказал:

— Дождался-таки...

— Дед Иван, дай-ка я подведу тебя поближе!

Старик не ответил. Я посмотрел на него и увидел, что он плачет. Я отказывался верить своим глазам. Неужели это тот самый дед Иван, который ни разу в жизни не проронил слезы? Даже в тюремных застенках...

А через месяц я был призван на службу в летные войска, где меня неожиданно навестила Юлия. Когда я увидел ее, то подумал, что это уже далеко не та Юлия, что прежде. Она похорошела, похудела. Лицо ее сияло какой-то незнакомой мне прежде улыбкой. Юлия привезла мне газеты и книги, рассказала, кого из нашей компании «Эдельвейс» видела, с кем говорила.

Мы сидели прямо на траве в саду. Белые парашютики одуванчиков носились вокруг, садились на плечи и волосы.

— Летаешь на самолетах? — спросила она.

— Летаю.

— Давняя твоя мечта... Знаешь, я очень благодарна тебе. Если бы ты не открыл мне глаза... Тогда, в Казанлыке, когда ты был без памяти, я нашла у тебя под матрацем брошюру «Азбука коммунизма», читала две ночи подряд...

— Ты мне не говорила об этом.

— Недавно встретила Диману. Сдается мне, она не очень счастлива...—Юлия внимательно посмотрела на меня.

— Моей вины в том нет,— произнес я как можно спокойнее, но лицо мое, видимо, выдало меня.

— Я буду приезжать к тебе чаще,— пожав на прощание руку, сказала Юлия. Но больше не приехала ни разу.

Через два года я вернулся из армии. Приехал в Казанлык. За это время в городе произошли большие перемены. Руководили им новые люди, лишь немногие из них знали меня. Мои отец и мать были заняты общественной работой.

Я знал, что новая волна жизни захлестнет и меня и для грусти не останется времени. Но также знал и то, что из памяти моей не уйдет аромат розового масла, которым благоухала тетя Гена, что будут продолжать звенеть голоса дяди Николы и тети Гены, бате Асена, теперь уже командира флотилии в Варне, дяди Станчо, директора завода, крестьян из Тракии, голос бай Бойчо из Стара-Загоры... И глубокой ночью я буду слышать журчащий смех, ощущать легкий, едва уловимый аромат молодых губ, увы, утерянных навсегда...

Все должно будет начаться сначала.

■

---

ДМИТРИЕВА ЛЮБОВЬ РОМАНОВНА

Советский переводчик с болгарского и польского. В ее переводах печатались рассказы Павла Вежинова, Богомила Райнова, Стефана Продева, Станки Пенчевой, Тадеуша Ружевича и др.

# РИФААТ АС-САИД

# *Комната на втором этаже*

ПОВЕСТЬ

*Перевод с арабского Д. ФРОЛОВА*

...Узкая улочка, поворот. Не смотреть назад. Ни в коем случае не оглядываться. Рядом со мной человек с жестким лицом. Глаза его бегают, как стрелки обезумевших часов, но он не оборачивается...

Я ждал недолго. Он пришел точно. Как он узнал меня? Непонятно. Сделал мне знак, и я покорно пошел рядом...

Снова поворот. Он украдкой бросает взгляд назад, а я — на него. Сосредоточенное, отчужденное лицо, стекла очков толстые, как дно дешевого стакана, птичий нос. Внешность совершенно неприметная, если бы не острый взгляд.

Он до сих пор и рта не раскрыл. Может быть, заговорить мне? Я набираюсь решимости и шевелю губами: «Привет». Без всякого выражения он отвечает: «Привет». Словно это сказал кто-то другой и уж во всяком случае не мне. Будь я в пустыне, я бы подумал, что это всего лишь эхо.

Разговор не завязывается, и я молча иду дальше. Чтобы скоротать время, я продолжаю разглядывать своего спутника. Брюки чистые, но дешевые, вылинявшие от частой, неумелой стирки. Выцветший шерстяной пуловер. Быть может, и к лучшему, новый, он не подошел бы к брюкам. Ботинки блестят. Не помню, кто это сказал: «До такого блеска ботинки чистит только сам хозяин».

Очки не придают лицу значительности, возможно потому, что они дешевые, и потому еще, что они теряются между птичьим носом и оттопыренными слоновьими ушами.

Поворот, еще один. Каждый раз он осторожно осматривает улицу. Я стараюсь не отставать. Если бы не очки, я бы сказал, что у него военная выправка. Дороге нет конца, и тут я замечаю, что мы кружим на одном месте. Те же магазины, которые мы проходили полчаса назад. Лужа, которую мы уже пытались обойти. Жестяная банка, на которую он наступил, чтобы не запачкать свои сверкающие ботинки. Мне же это и во второй раз не удается. Нога соскальзывает в воду. В грязи и ботинки и брюки.

Один взгляд в мою сторону — и снова он смотрит вперед. Про себя, наверное, думает: «Даже ослу достаточно одного промаха, чтобы научиться». Я ощущаю неловкость. Или усталость? Он-то не устал, как шел, так и идет.

Кружим по улицам. Хорошо хоть, что он повел меня теперь другой дорогой. Что было бы в третий раз? Плюхнулся бы в лужу? Что бы он тогда обо мне подумал? А вдруг я бы благополучно перепрыгнул через нее? Очень может быть. В следующий раз я наверняка прошел бы испытание. И тогда можно было бы выругать ответственных за благоустройство городских улиц, распечь их за нерадение и бездеятельность... Но такие, как он, дополнительного шанса не дают.

---

**РИФААТ АС-САИД** (род. в 1931 г.)

Египетский публицист и общественный деятель, доктор исторических наук. В 60-е и 70-е годы выпустил серию работ по истории левого и социалистического движения в Египте в XIX—XX веках, в том числе —«История социалистической мысли в Египте», «Левая пресса в Египте. 1925—1948», «Египетские левые и палестинская проблема» и др. Публикуемая повесть вышла в Бейруте в 1979 году (издательство «Дар ал-Калима ли-н-нашр»).

Слегка замедляет шаг, глаза перестают бегать. Оказывается, он способен улыбаться. Короткая, едва заметная улыбка человека, которому все это надоело, но все-таки улыбка.

— Думаю, хватит?

А я-то полагал, что он не умеет говорить. Тон не предполагает ответа. Ни вопрос, ни приказ, что-то среднее, и я молчу. Первый урок не прошел даром.

Он резко оборачивается, я тоже. Из тех, кто шел за нами, ни один не внушает ни малейшего подозрения. Последний поворот. И вот мы у дома. Дверь открыта раз и навсегда — уснула вечным сном, притулившись к косяку. Кромешная тьма. На ощупь пробираюсь к шаткой деревянной лестнице.

Он начинает говорить. Почему же прежде он молчал, если ему есть что сказать?

— Меня зовут Хасан. Снимаю комнату под самой крышей. Служащий. Ты мой племянник Мидхат, студент юридического факультета, ночами подрабатываешь. Хозяйка дома — хорошая женщина. Я снял комнату месяц назад. Надо было дать время привыкнуть ко мне, прежде чем приводить тебя. Все соседи знают, что ты скоро приедешь. Ждут тебя.

Он говорит быстро, а я пытаюсь запомнить имена, это — главное.

— Я — Хасан...

Он обрывает меня тоном человека, не любящего повторять дважды:

— Ты — Мидхат. Важно прижиться здесь, найти комнату было трудно.

Мы долго карабкаемся по темной деревянной лестнице с продавленными ступенями. Сверху на нас смотрят смеющиеся глаза.

— Здравствуй, Надийя. Это Мидхат, мой племянник. Смотри не мешай ему заниматься.

Я робко здороваюсь, и крохотная ладонь оказывается в моей. Надийя смущенно опускает взгляд, а я не могу оторвать глаз от ее маленькой, ничем не стесненной груди под старенькой ночной рубашкой.

Рука Хасана привычно вставляет ключ в дешевый замок, и я в комнате. В моей комнате. Товарищи готовили ее целый месяц, чтобы мне было где укрыться.

— Все в порядке.

Хасан устало садится на раскладушку, застеленную ветхим одеялом, и с явным облегчением говорит:

— Учебники на столе. Примус полный. Вон там целая бутыль керосину. Твоя пижама и белье в ящике. Должны подойти.

Что за человек! Ничего не забыл, даже тетради и ручку.

Не успеваю его поблагодарить, как он уже прощается, сунув мне в руку горсть монет:

— Тут десять фунтов мелочью, разменять в этом квартале трудно. Каждый четверг вечером буду заходить к тебе. Все просьбы откладывай до четверга. А если что срочное, связывайся со мной как договорились.

Вышел и исчез.

Ну что ж, комната неплохая, чистая. Кровать, ящик, стол, на нем книги, тетради, мыло, зубная щетка и паста.

Обо всем Хасан позаботился, даже о венике. (Потом Надийя со смехом описывала мне, как он мыл пол в комнате и как из закатанных брюк торчали его худые босые ноги.)

Вот и начинается для меня совершенно новая жизнь. Все новое: имя, дом, родственники, занятия. Я сажусь, кладу голову на руки и начинаю повторять инструкции. Прокручиваю все с самого начала: «Тебя должны взять. Надо скрыться. Хасан все подготовит».

Где-то рядом надрывается радио. Кажется, что актеры стоят у меня за спиной. Хрипловатый голос откуда-то из-за стены:

— Муза, дочка, пьеса кончилась, выключи радио.

В голове снова всплывают инструкции Хасана. Замечаю на столе иголку с нитками. Какой молодец. Даже газеты купил.

Кто-то резко распахивает дверь. (Приказ Хасана: «Дверь запирай только на ночь. Люди здесь ничего не прячут».)

Женщина лет сорока кокетливо говорит:

— Добрый вечер, свет очей моих.

Я растерянно отвечаю на приветствие. Не спросив разрешения, она сбрасывает шлепанцы и забирается с ногами на кровать. Розовая потрепанная ночная рубашка, под которой свободно тяжелым, крепким грудям. Некогда стройный стан раздался, в крашеных рыжих волосах заметна седина. Красивые глаза, густо подведенные сурьмой. Ну и темперамент у нее должен быть. Чувственность сквозит в каждом движении, хотя ясно, что никаких видов на тебя у нее нет, что она относится к тебе как сестра или приятельница.

— Добро пожаловать, господин Мидхат. Господин Хасан много рассказывал о вас...

И замолкает, наверное заметив мое смущение. Уж очень жалко звучит ответное «спасибо», которое я едва выдавливаю из себя. Но эта женщина умеет управлять беседой.

— Отрада глаз моих, да ты, видно, совсем недавно вылетел из родного гнезда. Оставил семью в Танте и приехал учиться, один-одинешенек. Да проклянет Аллах учебу и ученых.

В комнате звенит ее особенный, ни с чем не сравнимый смех, где женственность причудливо переплелась с грубостью, отчего он становится еще более волнующим.

— Что ж ты молчишь? Грустишь, душа моя? Я тебе как сестра,— она запинается,— или как мать. С любой просьбой приходи ко мне. Всегда помогу чем смогу.

Затем добавляет:

— Я хозяйка дома. Меня зовут Умм Луза [1].

Аллах размыкает наконец мои уста, и я спрашиваю:

— Луза или Муза?

Комната снова освещается ее пьянящим смехом:

— Луза, Муза, Аззуза, какая разница? Главное, что она похожа на меня, глупая и добрая.

Она лукаво подмигивает мне сильно накрашенным глазом.

— Она тебе понравится. Тихая, ну, прямо как ты.

С громким возгласом заходит госпожа Сона из комнаты напротив, потом Умм Надийя. Из-за двери несмело выглядывает Надийя.

Мы все усаживаемся на пол. Умм Луза начинает операцию пересадки меня на новую почву, действуя как опытный агроном.

Когда я неловко пытаюсь разжечь примус, чтобы приготовить чай, Надийя выручает меня. Она берет заварку, сахар и возвращается с налитыми стаканами.

Кончаются сигареты, которые я выложил на пол, и Умм Луза кричит:

— Аззуза, доченька, жизнь моя, принеси нам табачку. От сигарет эфенди еще сильней курить хочется.

Мы смеемся, но, пока не пришла Луза, темные, жесткие пальцы еще не раз тянутся ко второй и последней пачке. Луза медлит в дверях с кальяном, пышущим жаром, и входит, только когда мать кричит:

— Что ты мешкаешь, душа моя, заходи. Тут жених для тебя сидит. Выйдешь за него и бросишь меня.

В комнату торжественно вплывает кальян, а за ним — Луза, которая раздула его с ловкостью опытного официанта.

Она всего лишь большой ребенок, пытающийся выглядеть взрослой женщиной, чтобы угодить матери. Наверное, играла на улице с детьми, прежде чем подняться сюда. Но уже умеет соблазнительно выставлять грудь, стрелять глазками, завлекать движениями бровей, рук, пальцев, знает, что и как говорить, не хуже любой женщины.

Кальян идет по кругу и доходит до Лузы, которая ловко и жадно затягивается. Надийя отказывается, бросив на меня взгляд, говорящий: «Я не такая, как они, я такая, как ты».

Я пытаюсь овладеть последней сигаретой, но Умм Луза выхватывает ее у меня из рук и со словами: «Ну и сигареты ты куришь, не табак, а трава. Возьми, дочка» протягивает Надийе. Та преспокойно закуривает.

Начинаются мои мучения с кальяном. Хасан советовал подружиться с соседями. «Стань одним из них, и они будут любить тебя и защищать». Но он не сказал, как

---

[1] Умм — значит «мать». Замужнюю женщину, имеющую детей, почтительно называют: «мать такого-то (или такой-то)», например, в тексте Умм Луза — «Мать Лузы» и далее — Умм Надийя. *(Здесь и далее прим. перев.)*

втягивать дым из кальяна. Сона, по-моему, злится, думая, что я не хочу снизойти до них. Она резко кричит:

— Дочка, пойди принеси мочалку и мыло, чтобы смыть следы наших губ с мундштука. Мы же заразные.

И с деланным смехом добавляет:

— Хотя многие жаждут наших поцелуев.

Я совсем было потерялся, но «агрономша» быстро сообразила, в чем дело. Полунасмешливо, полуучастливо она говорит:

— Помолчи-ка. Мальчик — сын порядочных людей, а не оборванец без роду, без племени. Понемножку всему научится.

Она заботливо засовывает мне в рот мундштук, словно мать, дающая ребенку грудь. Луза смотрит на меня подбадривающе, а Надийя — умоляюще. Ни та, ни другая не хотят моего поражения.

Сона и Умм Надийя кричат хором: «Алле, гоп!»

Я делаю глубокий вдох и затягиваюсь. В грудь словно набили тяжелых камней, голова идет кругом. Кашель сотрясает все тело.

Про себя я поминаю недобрым словом их родителей. Отца Надийи, отца Лузы, отца Хасана... и самого Хасана, засунувшего меня в такую дыру.

«Алле, гоп!» Я затягиваюсь во второй, потом в третий, в четвертый раз. Выпускаю дым изо рта и носа и пытаюсь откинуться к стене, как завзятый курильщик. Состояние, близкое к обмороку. Меня тошнит, но я держусь. Что скажут обо мне женщины? Как я буду смотреть на них завтра?

«Алле, гоп!» Дорога проторена. Дыхание становится ровным. Я выдыхаю и кашляю, но совсем по-другому, как кашляют они все, как кашляют знатоки.

Женщины чувствуют себя полными хозяйками. Луза заваривает чай. Неожиданно для самого себя я достаю из кармана полфунта и протягиваю их Надийе:

— Сходи купи нам что-нибудь на ужин.

Надийя выскакивает из комнаты, и до нас доносится звук ее быстрых шагов по деревянной лестнице. Умм Надийя спешит созвать детей, чтобы они не пропустили угощения.

Руки чинно тянутся к еде. Если кто и толкается, то по-дружески. Вдруг посреди шуток и смеха мы слышим скрип деревянной лестницы. Надийя выбегает и тут же возвращается: «Дядюшка Бринс». Сона вскакивает как ужаленная. Оборвав смех и вытирая рот, она перескакивает через наши головы. Через секунду она уже в своей комнате и дверь заперта.

Затаив дыхание, мы слушаем тяжелые, уверенные шаги и еще более уверенный стук в дверь. Дверь распахивается и тотчас закрывается.

Умм Луза, подмигнув нам, выходит и стучится к Соне:

— Добрый вечер, хозяин. Что ж ты целый день держишь жену взаперти? Ни за дверь выйти, ни в окно выглянуть, ни посидеть с нами. Грех так заточать ее.

В ответ слышится грубый, довольный смешок и высокомерный, как хочется думать самому хозяину, голос:

— Такие уж мы люди, госпожа Умм Луза. Живем сами по себе. В доме полно чужих, холостяков.

Ответ Умм Лузы лишен учтивости. Вероятно, Бринс получает сильный толчок в грудь, так как его смех обрывается кашлем, а она кричит:

— Брехня все это. Здесь живут славные парни из хороших семей.

Умм Луза возвращается. Вечер завершается потоком откровенно непристойных шуток и анекдотов. Когда далеко за полночь все расходятся, я понимаю, что за один вечер им удалось заставить меня забыть о прошлом. Я действительно стал Мидхатом, чего и добивался Хасан...

Утром я вышел в общую уборную в одних пижамных штанах и, не чувствуя никакого стеснения, стоял у ее полуоткрытой двери и ждал, когда выйдет Надийя.

Умм Надийя зазвала меня к себе и предложила затянуться разок-другой из кальяна, но я ответил, что еще не завтракал. Тогда она собрала на стол, и я поел, а потом сделал две затяжки «на дорожку», как она говорила. Надийя занервничала, торопясь переодеться и уйти на фабрику. Увидев ее умоляющие глаза, я хотел встать, но мать удержала меня:

— Пойди, дочка, переоденься в комнате господина Мидхата.— И, усмехнувшись, прибавила:— Я задержу его здесь, чтобы он не застал тебя голой.

Затем она запросто попросила у меня в долг четверть фунта и быстро спрятала их на груди. Я поднялся к себе. В коридоре, постелив старое платье, сидела Сона с распущенными волосами, еще влажными после ранней утренней ванны. Она усадила меня рядом с собой поболтать и принялась расчесывать свои вьющиеся волосы деревянным гребнем. На лицо мне падали капли, и я вдруг почувствовал, что между людьми может быть совершенно особая, дотоле мне неизвестная близость...

## Первый этаж. Дверь напротив лестницы

Здесь живут Умм Луза и Луза. И забытый всеми мешок костей — дядюшка Хусни, муж и отец. Автомеханик. Молодость, здоровье, деньги — все растратил на Саадийю (так зовут Умм Лузу), а годы и опиум доконали его.

Из тысяч мужчин Саадийя выбрала в мужья именно Хусни. (Как-то в минуту откровенности, лениво откинув руку на ее горячую грудь, я спросил: «Сколько мужчин отдыхало здесь?» В ту же секунду ответ: «Ни одного».— «Ну хорошо, а сколько мужчин побывало на этой груди?» Она засмеялась и сказала: «Может быть, миллион».)

Из миллиона она выбрала дядюшку Хусни, лишив его отдыха раз и навсегда.

— В молодости он был сущий жеребец. Ну и силища. Словно рельс. Не понимаю, что его так согнуло.

Но я-то понимал. Такая женщина, как Саадийя (я называл ее про себя «миллионерша»), могла подорвать силы дядюшки Хусни. Он попытался идти вровень с нею с помощью опиума и гашиша, один заменить собой всех. И потерпел поражение. Опиум превратился из средства в цель. Износился дядюшка Хусни. Именно так. Ненасытная распутная жена, которую он так и не насытил, опиум, который стал его страстью и высосал последние силы, мастерская, которую теперь, когда он уже не может работать, разворовывают неблагодарные юнцы. От всего этого износился Хусни.

— Сейчас жена принесет нам поесть.

(Он пытается заговорить со мной. Редчайшая возможность — в доме человек, готовый его слушать...)

И сразу — как оплеуха:

— Поесть! А откуда я возьму еду? Ведь с каких пор ты не даешь ни гроша. Годами ешь, пьешь, спишь задаром. Хватит с тебя твоей травки.

— Когда-то ты была рада травке.

Тут она загнула такое, что пробудила чувства, давно заглушенные опиумом.

— Все отдал тебе: молодость, силы, деньги. И все зря.

То, что было когда-то Хусни, рухнуло на меня. Мне стало страшно, что он сейчас распадется и из него посыплются кости. Я осторожно опустил его на пол подле окна рядом с деревянной полкой, на которой стоял безнадежно охрипший приемник.

Гнев Хусни потряс меня. Я присел рядом и стал его утешать.

Он принялся рассказывать мне свою жизнь. «Вся молодость ушла на эту женщину. Она прямо сохла по мне... А теперь что же? Сердиться не на что...» Хусни нужно было выговориться, и говорил он долго, сбивчиво, возможно слегка привирая. Слова путались, цеплялись друг за друга, складываясь в чудовищный многосерийный сюжет. Пять или шесть сценариев, с редкой изобретательностью сплетенных в единое повествование. Наконец-то этот жалкий, сломленный человек нашел слушателя, чтобы рассказать эту историю в первый и последний раз. «Историю Хусни и Саадийи»,— сказал он, улыбнувшись. Улыбка тоже была первая и последняя. Из щели между потрескавшимися губами выглянуло два-три коричневых зуба.

Бессвязные слова. Детство. Отец. Большое наследство. Свой дом... Неожиданно вплетаются воспоминания о том, как он гулял в молодости, о его мечтах и надеждах. Заведение Клот-бека. И снова скачок назад: учеба, палка учителя и оплеухи отца... Снова прыжок: мастерская... Повествование все более запутывается, усложняется. Голова идет кругом, но я слушаю. Он словно рассказывает о ком-то другом. Иногда даже говорит: «Он». Я спрашиваю: «Кто?» И он отвечает: «Хусни». Затем поправляется и говорит: «Я». Похоже на модернистский фильм.

Я продолжаю слушать.

Как она тряслась над ним. Как они спорили на количество раз, и он всегда выигрывал. Рекорды, которые он ставил. Но она — гуль ненасытная. Всегда хочет еще и еще. Все девочки у Клот-бека готовы были целовать ему ноги. Саадийя украла его, в одиночку высосала все соки, посмеялась над ним. А какая ласковая была,

просто чудо. Все для него делала. Ноги ему мыла розовой водой. «Женись на мне, Хусни, всю жизнь буду твоей служанкой». Они поженились, родилась Луза. Силы пошли на убыль, а она все молодела. Пришлось обратиться к опиуму. Чем только не укреплял себя, чтобы ублажить ее. В конце концов понял, что проиграл. Бросил ее ради опиума. По утрам выходит подкрепиться в кофейню на другой стороне улицы. «Черный кофе и кальян». Затем плетется в мастерскую. Паршивцы рабочие смеются над ним. Мошенники и воры. Обкрадывают его. Хусни клянет их на чем свет стоит, а затем забирает всю выручку, как бы мала она ни была. Возвращается в кофейню, где хозяин вытягивает из него все, и Хусни еще остается должен. «Этот мошенник подмешивает всякую дрянь, обсчитывает, а потом тебя же осыпает бранью...» Остаток дня Хусни просиживает в углу. Ни с кем не разговаривает. Ест что дают. Ему стирают джильбаб и дают объедки. Никто Хусни не замечает. Родная дочь Луза и та ругается. Никогда не подойдет. За всю жизнь ни разу не сказала «папа».

Мне жаль этого человека. Однажды из-за него я ударил Лузу. Она торопилась подняться ко мне, чтобы взять мыло «Люкс». (Для ее полудетской натуры в мытье этим ароматным мылом было что-то манящее и будоражащее.) Чуть не упала, споткнувшись на бегу о мешок с костями, лежавший на полу около окна. Луза стала кричать и со злости пнула его ногой. Моя ладонь тяжело опустилась на ее щеку. Девочка заплакала и, ничего не сказав, побежала к матери жаловаться. Что я наделал! Вдруг мать придет в бешенство и выгонит меня из дома? Куда я пойду? А если возникнет скандал, который, как все скандалы Саадийи, закончится в полицейском участке Баб аш-Шаарийи, где начальник — ее друг, помогающий улаживать все дела с властями? Поймут ли меня Хасан и остальные товарищи, когда я расскажу им историю Хусни, Саадийи и Лузы? «Какое твое дело?» — вот что они ответят.

Мне стало по-настоящему страшно.

— Здравствуйте, господин Мидхат.

Слегка пошатываясь, вошла мать. Ворот ночной рубашки, как всегда, расстегнут.

— Дочка сердится на вас. Она не привыкла к побоям.

Ну вот, начинается... Ни одна мать не даст в обиду свое дитя. К моему изумлению, Саадийя взяла меня под руку и прошептала:

— Будь с девочкой поласковей. Если ударил, пожалей. Пойди помирись с ней.

С этими словами она втолкнула меня в спальню, и я впервые оказался наедине с Лузой.

— Ну ладно, Луза. Прости меня.

Она сидела на полу и плакала, кокетливо прислонившись к черной ножке кровати в картинной позе, которая, несомненно, была тщательно продумана. Юбка задралась, высоко открывая стройные ноги.

Умм Луза выждала минут пять, от силы — десять и заглянула в комнату. Я все еще столбом стоял у двери. Надо было спасать положение:

— Хватит, дочка! Ну что с того, что ударил. Шею же не свернул. Ради меня, господин Мидхат, помирись с ней.

Подняв дочь, толкнула ее ко мне, и мне ничего не оставалось, как обнять и поцеловать ее. Луза вырвалась и выбежала из комнаты. Вдогонку мать насмешливо крикнула:

— Не пугайся, дочка! Это же просто «братский поцелуй».

Последние слова специально для меня и с явной издевкой были произнесены на чистом литературном языке. Саадийя словно говорила мне: «Раз в жизни тебе повезло, а ты...»

Луза пошла в ванную, в первый раз взяв с собой дорогое душистое мыло. Умм Луза язвительно посоветовала ей быть осторожнее, а то как бы я не стал подсматривать в полуоткрытую, как обычно, дверь.

Дотронувшись до моей руки, Саадийя воскликнула: «Да ты совсем как лед». Дождливыми январскими вечерами тоскливо и зябко. А тут еще мои переживания. От страха я совсем окоченел.

Вскоре по радио пробило пять часов и начался выпуск новостей. Моя рука осталась в ее руке, но сознание отключилось, оглушенное судорожным криком диктора, который тщетно пытался сделать вид, что его волнует читаемый текст. Наверное, удивительное чутье Саадийи помогло ей уловить связь между грубым голосом диктора и холодом моей руки. Как ни пыталась она согреть меня своим теплом, душа промерзла насквозь. Итак, обстановка накаляется, приближается неизбежный взрыв...

В моем мозгу начал составляться проект манифеста, который должен четко определить нашу позицию, а там будь что будет. В то время как грубые пальцы пытались привлечь мое внимание, я был далеко, оттачивая фразы будущей декларации.

Когда Саадийя уловила связь, она вздрогнула и принялась крыть диктора на чем свет стоит. Протянула руку, выдернула шнур, не переставая ругаться.

Перекрывая жужжание примуса, зазвучал свежий голосок Лузы:

— Зачем ты выключила радио? Оставь, сейчас будет спектакль.

— Не приставай, дочка. Надоели эти постановки.

Я совсем упал духом. Холод, тоска, страх и никакого выхода. Отчего меня била дрожь? Аллах знает. Во всяком случае, Умм Луза начала действовать:

— Иди сюда, дорогой, согрейся.

Единственным местом, еще хранившим тепло, была кровать. Впрочем, в комнате и не было ничего, кроме кровати с черными ножками и маленькой тощей кушетки, по виду не более гостеприимной, чем тротуар.

— Залезай на кровать и укройся.

У этих людей кровать — место, где сидят близкие друзья. Я пытаюсь спрятаться в постели от собственной слабости, а она укрывает мне ноги грязным, тоже ледяным одеялом.

— Луза, дочка! Если вода согрелась, выставь сюда примус.

Из-за двери ванной высунулась белая мокрая ручка, и в комнате громко зажужжал примус. Сам этот звук уже нес в себе тепло, но мне было по-прежнему холодно.

Что произошло со мной? Несколько минут назад я держал себя в руках. Я был Мидхатом, как того хотели Хасан и товарищи. Мидхатом, которого знают жильцы этого дома. От чего же я начал распадаться? От злобного голоса диктора? От мрачных новостей? Или от взгляда Умм Лузы, как бы говорившего: «У тебя тяжелая рука»? Все мне было нипочем, и вдруг такая мелочь выбила почву из-под ног. Видно, я давно находился на грани срыва. Я ощутил холод, растекающийся по жилам. Вспомнил себя. Себя настоящего, не Мидхата. Роскошную шерстяную пижаму, домашний халат в зимние вечера, свой дом, отца и мать, любимую... Один взгляд Саадийи сорвал «корку», и меня захлестнули отчуждение, тоска и страх. Я сжался в комочек на постели. Хотелось согреться и... плакать. Плотнее завернуться в грязное одеяло. Согреться. Спрятаться.

«Личное», «субъективное» полилось как из бутылки, которая до того была плотно заткнута. Мидхата не стало. Внутри меня все тряслось. Окружающее предстало страшным кошмаром.

Как нелогично устроен человек. Достаточно бывает пустяка, чтобы он воспрянул духом или же впал в отчаяние. Я почти плакал. Для тоски было много причин. Моя личная беда и боль за общее дело, моя тоска по родному дому и наша общая тоска, рожденная отчуждением и одиночеством, тупик, в котором я оказался под грязным одеялом в постели чужой женщины, и тот большой тупик, в который зашли мы все. Правилен ли путь, ставший нашей жизнью? Оправданны ли наши лишения?

Моим товарищам в изгнании еще тяжелее. Чем же держатся они? Можно ли отступить, не потеряв уважения к себе? Можно ли отсидеться, или все равно всех переловят, и выстоявших, и сдавшихся? Да и есть ли смысл в нашей борьбе? Ведь народ спит или выступает против нас. Против нас, отдающих жизнь за него. Все бесполезно. Наши жертвы никому не нужны. Нас никто не слышит. Те, кто способен только повиноваться, нас понять не могут. Положение трагическое. Если бы люди знали о наших мучениях, нам было бы легче их переносить. Но мы далеки от всех. Убедили ли кого-нибудь наши слова? Или мы говорим только для истории, чтобы спустя годы некий ученый сказал: «Они говорили правду». А что такое «правда»?.. Замолчи, трус. Ты просто пытаешься оправдать свою слабость. Мелкий буржуа, вздрагивающий от каждого шороха... Передо мной вдруг предстал Хаджи Мухаммад, муж моей тети с большим трясущимся животом, он говорил мне: «Я люблю поболтать с друзьями, люблю красивых женщин, люблю жареного барашка. А все эти разговоры о книгах — чушь собачья». Такие, как он, хотят видеть тебя опустившимся до их уровня, когда все мечты сводятся к барашку... А что сказать любимой? Мы встречались, мечтали вместе, строили воздушные замки. А что вышло? Один удар за другим. Нас все меньше и меньше. Издаваемые с таким трудом газеты конфискуются. Где им пробить стену сплошного страха и дать отпор правительственной пропаганде!

— Ты болен, Мидхат.

Саадийя тоже залезла на кровать. Ночная рубашка задралась, и она натянула на себя одеяло.

— Что с тобой?

— Все в порядке. Только замерз немножко.

— Я поставила вариться картошку. Поешь горяченького, разом согреешься.

Саадийя пододвинулась ко мне, прижалась, обняла за плечи, и мы разговорились, как старые друзья, которым легко вдвоем.

Из ванной вышла Луза. Что пробудило эту внезапно расцветшую женственность? Горячая вода? Или ласкающие прикосновения пальцев к голому телу? Или аромат мыла подтолкнул воображение, начавшее рисовать соблазнительные картины?

Рваное полотенце на влажных волосах казалось короной на голове маленькой принцессы. Луза как-то вдруг похорошела. Глаза без сурьмы еще красивее. Розу украшают капельки росы...

— А мне где погреться?

Она прыгнула на кровать. Еще две голенькие ножки оказались под одеялом. Мои собственные ноги потерялись среди четырех женских.

Мы принялись болтать. И я почувствовал, что уже могу взять себя в руки. Посыпались непристойные шуточки, анекдоты. Сильно привирая, я начал рассказывать о своих вымышленных похождениях. Луза всему верила и смотрела на меня с изумлением. Мать добродушно улыбалась. Она-то знала, что я лгу... и радовалась этому.

Саадийя начала рассказывать о своей юности. Как она попала на задворки царства Клот-бека. Ее первый день «на панели». Как она еле дошла домой. Как она различала британских солдат.

— Я точно знала, кто англичанин, кто австралиец, кто новозеландец. На каждого была своя цена.

Луза спросила ее, откуда она это знала. Чтобы принять хоть какое-то участие в беседе на столь скользкую тему, я пустился в общие рассуждения:

— Австралийца наверняка можно узнать по его силе.

— Да что ты. Все они были слабаки. Я их по запаху различала.

(...Рассказ продолжается... Сусу, так звали Саадийю «на работе», начала завоевывать место под солнцем. Потихоньку от «мадам» стала копить денежки, но у хозяйки был такой авторитет, что никто не смел с ней тягаться. Только после смерти «мадам» Сусу вздохнула свободно. Купила собственный дом с отдельным входом и занялась странным ремеслом, называвшимся «наставничеством».)

Саадийя пришла в бешенство, когда у меня вырвался смешок. С трудом мне удалось ее успокоить и уговорить рассказывать дальше. Итак, у Сусу был дом, были девицы. Главное — приручить девушку, превратить ее в продажную девку. С редкой простотой и откровенностью Саадийя делилась с нами своим опытом «сексуального воспитания», умением найти правильное решение для возникающих психологических проблем. «Двух похожих девушек не бывает, однако у всех у них есть нечто общее». Мы словно слушали лекцию маститого профессора, только манера изложения была несколько необычной. «Девушка может прийти в дом сама, а может быть похищена. У одних уже были раньше мужчины, другие — еще «сырые», но в любом случае нужно много уговоров и ухищрений. Иногда требуется сила. Девушке нужно убедить себя, что она согласилась не добровольно, даже если она этого хочет». Опыт Сусу сводился к тому, что психологический барьер надо ломать силой.

— А что значит силой? — прозвучал капризный голосок Лузы, чье любопытство требовало подробностей.

— Силой — значит силой. Показать тебе, как это делается?

Она, смеясь, повернулась ко мне.

— Ну что, малыш, готов?

— С Лузой — нет. Она мне словно сестра.

Саадийя посмотрела на меня с неожиданной нежностью. На глаза у нее навернулись слезы.

— Ты — хороший мальчик.

И продолжила лекцию.

(Без первого раза не обойтись. Девушку нужно заставить, пусть даже силой. Потом о ней «забывают», не разрешают выходить к гостям. «Не нужна, мол, не нравится клиентам. Не на всякую девушку есть спрос». При этом она обязательно должна видеть, как другие входят и выходят с клиентами. А те знают, что, находясь

в комнате с мужчиной, должны громко вскрикивать и стонать, показывая, что тают от наслаждения. А между собой — заводить разговор о мужских достоинствах и о том, как «это» приятно женщине... «Птичке», сидящей в клетке, запрещено выходить, запрещено принимать мужчин под предлогом, что ее никто не спрашивает. Надо дать время, чтобы закипела ревность и созрело желание. Ревность и желание ломают любое сопротивление. «Поверь мне, я многое видела. Всякие у меня бывали. Ни одна не смогла выдержать больше недели, максимум — десяти дней. Одна мысль о том, что она никому не нравится, зажигает в ней два огня — огонь ревности и другой, более сильный — огонь страсти. Она начинает увиваться за тобой. Говорит, что на все согласна. Я гоню ее от себя. При всех говорю, что на нее никто и смотреть не хочет. Еще день-два — и она начинает умолять и упрашивать. Я отвечаю отказом. Она валяется в ногах. Я не соглашаюсь. Она впадает в истерику. Я бью ее. В конце концов, сжалившись, разрешаю ей выйти к гостям. С этого момента она становится совсем другой, уже готовой к работе в «доме». И вот что странно. Все прошли через одно и то же. И ни разу ни одна не попыталась предупредить новенькую. Словно их заветная мечта — превратить всех женщин в шлюх». Когда девушка заканчивала «курс», она становилась точно воск, с ней можно было делать что угодно. Я спросил Саадийю: «Неужели ни одна потом не пыталась убежать?» Она посмотрела на меня как на недоумка: «Если девочка почувствовала вкус к «ремеслу», хода назад ей уже нет. Она мечтает о паспорте, хочет убежать, но все это только разговоры. Без мужчин ей уже не прожить. Привычка держит крепче кандалов».)

Быстро догорел короткий зимний закат. Мы поели горячей картошки. Все эти «сексуальные» разговоры возбуждали больше, чем прижимавшиеся ко мне со всех сторон женские ноги, но я чувствовал себя по-прежнему оглушенным, словно меня ударило током.

Моя нервозность передалась Саадийе. Воспоминания о прошлом пробудили в ней не то грусть, не то чувственность. Она нащупала под одеялом мою руку:

— Все еще неможется?

— Слегка.

— Да что с тобой?

— Пустяки.

— Нет, не пустяки.

— Просто устал.

Это последнее слово «устал» сокрушило остатки моего мужества. Что заставило меня бросить любимую, родной дом? Как оказался я под этим грязным одеялом? Чьи ноги касаются моих ног? Зачем я прижимаюсь к чужому бедру? И чье оно? Матери? Дочери? Человек — все же противоречивое существо. Мне было совсем плохо, но вопрос, возникший в голове, не давал покоя. В самом деле, чья же это нога? Стройная, нежная, упругая, прохладная. Конечно, это ножка Лузы. Грубые пальцы Саадийи, унизанные дешевыми, потускневшими от времени кольцами, нашли под одеялом мою руку и осторожно сжали ее.

— Плюнь на все. Ничего не бойся. Ты среди своих.

И тут же отправила дочь в лавку за какой-то мелочью. Луза из вредности стала упрямиться.

— Мамочка, я же простужусь. Я ведь только что из ванной.

— Очень тебя прошу. Сделай это для меня.

Одной рукой Саадийя ласкала мою ногу, другой вынула из-за пазухи платок с деньгами. Узелок она развязала зубами, как бы показывая, что вторая рука занята, и протянула дочери полфунта.

— Ну давай, дочка.

Луза лениво села, отбросила одеяло, не потрудившись одернуть платье. Потом встала, завернулась в черную накидку, которую мать надевала очень редко. Как она была хороша в эту минуту. Глаза ее ни на секунду не отрывались от глаз матери. В этом взгляде были и вызов, и симпатия, и полное взаимопонимание, но было в нем и что-то, смущавшее и задевавшее меня.

Девочка вышла. В то же мгновение Саадийя поцеловала меня. Дверь тотчас приоткрылась, и в нее просунулась головка Лузы:

— Старик-то,— она имела в виду дядюшку Хусни,— за дверью сидит.

В ответ Саадийя разразилась проклятиями по адресу их обоих.

Дверь захлопнулась.

Я и Саадийя. Вот уж этого я никак не предполагал. Я любовался грудью Надийи, поглядывал на бедра Лузы, подумывал даже о Соне, жене Бринса, но Саадийя!..

Она обняла меня и принялась раздевать.

Когда я попытался изобразить энтузиазм, подобавший, на мой взгляд, мужчине, Саадийя легонько погладила меня, молча дав понять, что притворяться не нужно.

Я погрузился в волны тихой музыки. Во мне росло изумление. Откуда в Саадийе с ее властностью такая кротость, даже не кротость — смирение. Едва слышный шепот, не разобрать слов. Тихий напев, вплетающийся в сладкую мелодию. Мне стало удивительно легко, как никогда раньше. Ничего не осталось, кроме желания и нежности. Нежность сводит с ума больше, чем грубая страсть. Какая разница между детскими рисунками, которые мне доводилось видеть в своей жизни, и этим полотном подлинного мастера, от которого захватывает дух. Каждая линия осмысленна и прекрасна. Каждый оттенок значим. Ты становишься частью этой картины. Словно грезишь, но все реально, ощутимо. А прежде я привык и видеть, и слышать, но ничего не чувствовать...

Я открываю рот, чтобы сказать ей, что она — чудо и я люблю ее, и тем исполнить долг вежливости, но она останавливает меня. Любое слово заглушит еще звучащий в нас напев. Саадийя утыкается лицом в подушку. Я обнимаю ее и замечаю, что она плачет...

(Лет через пять мы вспомнили этот день. «Я все знала о тебе. Знала, что ты скрываешься и что тебя хотят посадить в тюрьму. Сама не знаю, что на меня нашло. Почему я плакала? Потому что чувствовала: «Вот единственный мужчина, который не стал моей собственностью... который уйдет от меня». Я задумался над ее логикой. Мне вспомнился бедуин, который угощает гостя, чтобы тот почувствовал себя в безопасности.)

...Когда вернулась Луза, мы сидели и ели картошку. На лице дочери промелькнула лукавая усмешка.

— С чего это ты такая красивая, мама?

— Не приставай, дочка.

— Клянусь пророком, ты хорошеешь с каждым днем.

В первый раз я обнаружил, что Саадийя умеет смущаться, хоть она и попыталась скрыть это громкой бранью.

...Поднявшись наверх, в свою комнату, я понял, что стряхнул с себя все свои страхи. Я — Мидхат, только Мидхат, который живет здесь уже сто лет и проживет еще столько же.

Вспоминая слова: «Ты среди своих», я чувствовал себя как за каменной стеной. Мне было тепло и спокойно.

## Второй этаж. Комната напротив лестницы

Сона была моей печкой в холодные январские утра. Я привык сидеть рядом с ней на старом джильбабе, разостланном на всегда влажном полу. Прислонившись к сырой стене, мы болтаем ни о чем. Деревянный гребень гуляет по ее вьющимся после утренней ванны волосам, и холодный мелкий дождик брызжет на лицо, но мне от этого только теплее.

Сона — женщина бесцветная, ничем не привлекательная. Волосы тусклые, кожа не то смуглая, не то бледно-желтая. Говорит ровно, без всякого выражения, держится безучастно. Увядшая былинка, жизнь в которой еле теплится. В облике Соны есть что-то жалкое. Женское начало в ней, похоже, отсутствует начисто. Влюбиться в нее невозможно, а подружиться очень просто. Она остается отгороженной от тебя тысячью заслонок, но ее неизменные приветливость и дружелюбие согревают того, кто случайно оказался рядом.

Каждое утро мы разговариваем. Ей нужен слушатель. А я? Мне запрещено говорить, но слушать — сколько угодно. Бринс возвращается с работы уставший, злой, всем недовольный. Ему нужны только горячий ужин и уши, которые внимали бы потоку жалоб на мастера, бригадира, рынок, клиентов, усталость — вообще на жизнь. Он жалуется и глотает одновременно, словно у него два рта: один — для еды, другой — для жалоб. Засыпая, он продолжает жаловаться, просыпаясь, он вздыхает.

С ним ей не удается поговорить, да и не хочется. Как водится, ее выдали замуж против воли. («Я тогда училась в подготовительной школе, мечтала окончить

среднюю, хотела стать учительницей или адвокатом. Отец работал мастером и жил в своем мире. Мы видели его только в дни праздников или несчастий. Я полюбила Магди, сына соседки. Увидела его из окна. Стоило мне выглянуть, он тут же появлялся. Мы столько сказали друг другу взглядами. Он писал мне письма. Мы встречались около мечети ар-Рифаи. Забирались в цитадель. Мы ничего плохого не делали. Иногда он брал меня за руку и осторожно гладил пальцами мою ладонь, а я чувствовала, что таю... И тут нас укусил скорпион — сержант Махмуд, полицейский из участка ал-Халифа, наш сосед, увидел нас. Сделал вид, что не заметил. Я выдернула руку и помчалась домой. Сердце колотилось как бешеное. Я не знаю, что сказал Махмуд отцу. Оба умерли раньше, чем я набралась смелости спросить об этом... В тот день отец вернулся домой раньше обычного и привел плотника, который наглухо забил окно большими гвоздями. Мне казалось, что каждый удар вгонял гвоздь в мое сердце. Отец принялся рвать мои учебники. Из одного выпало письмо Магди. Отец читать не умел. Я поклялась, что это сочинение, но нарисованное на листке сердце, пронзенное стрелой, все раскрыло. Я задрожала от страха, что он меня ударит. Если бы он меня избил! Он сделал много хуже: выдал меня замуж за одного из своих подмастерьев».)

Я знал, что цветы в наших краях отцветают быстро, но когда Сона сказала, что ей двадцать лет, меня охватил ужас. Этому изношенному телу всего двадцать лет?! Безжизненные глаза, погасшая улыбка, отвисшие груди, похожие на кукурузные початки, руки словно тростинки. Умм Надийя, которой лучше не попадаться на язычок, сказала как-то, что Сона похожа на метлу дворника.

Женщина, лишенная жизненных соков. Ее досуха выжали тоска, заботы, отсутствие любви, вынужденное затворничество в полутемной комнате. Говорят, что надо довольствоваться своей долей, но как же тяжела доля Соны. Муж с его огромным дряблым телом, жестокий от бессилия. Его повеления должны исполняться без промедления и без рассуждения. Выходить запрещено раз и навсегда. Даже окошко, притаившееся в углу комнаты и выходящее на пустынный проулок, полузакрыто шкафом.

Сона не ропщет, она не осмеливается протестовать, ибо хорошо знает, чем неповиновение оборачивается для слабого. Каждый раз муж грубо и зло напоминает, что ему ее навязали, что он знает о ее любви к другому.

И при этом каждое утро рекламное шоу в ванной. Жужжание примуса вторгается в сладкий утренний сон. Позвякивание таза, журчание льющейся воды, скрежет кувшина о таз. Пусть все знают, что мужская сила Бринса неистощима. Каждый раз он выходит из ванной с видом полководца, одержавшего победу. Не важно, что им завоевана всего лишь крохотная деревушка. Не важно, что его жена — старуха в двадцать лет. Важно только это ощущение триумфатора, когда он спускается по лестнице, выпятив грудь, будто поймал волка за хвост. Возможно, его единственное удовольствие в жизни — выслушивать соленые шуточки Умм Надийи по поводу утренней ванны. Сначала на лице Бринса появляется высокомерная улыбка, а потом он разражается самодовольным хохотом. Сона слабо улыбается, и в ее улыбке нет ни осуждения, ни одобрения.

Жизнь Бринса — минимум отдыха и максимум работы. Это-то его и придавило. Чуть ли не с самого детства он вертится как белка в колесе, ни разу не сумев передохнуть.

Даже в пятницу он просыпается рано и совершает весь положенный ритуал. В слегка влажном, сверкающем белизной джильбабе, о который Сона стерла свои тонкие, как карандаши, руки, Бринс выходит из ванной, садится, поджав ноги, на пороге комнаты, лишая меня удовольствия погреться около моей привычной печки. Сона не осмеливается сесть рядом с ним. Бринс с шумом прихлебывает чай, смакуя каждый глоток и отдуваясь, а жена смотрит на него странным взглядом, в котором нет ни любви, ни ненависти.

Это его единственная передышка за неделю. Не больше часа. Затем он потягивается, встает и идет завтракать, закрыв за собой дверь. Еда для него, по словам Соны,— тоже труд. Всю неделю он ест, не прекращая работы. После завтрака обязательный ритуал: соседнее кафе, пятничная молитва, пара слов с приятелями. И выходной пролетел.

Меня долго удивляло странное несоответствие между его дряблостью и слабостью, с одной стороны, и обязательной ежеутренней ванной — с другой. Но однажды,

когда я повздорил с Надийей, она прошлась насчет моих «слишком теплых посиделок» с Соной. Я поспешил к Саадийе, чтобы она выручила меня. Та спокойно спросила: «А у тебя с ней что-то есть?» Я поклялся, что ничего нет, и добавил: «Разве Бринс оставляет место сопернику?». Послышался характерный смешок, затем Саадийя презрительно хмыкнула и без обиняков объяснила мне, что Бринс — это лампа без масла, а происходящее каждое утро — всего лишь спектакль, который Бринс заставляет играть свою жену, чтобы убедить всех, что Соне больше и желать нечего. Я усомнился, Саадийя пришла в ярость и закричала, что позовет Сону и спросит ее в моем присутствии.

Я стал умолять ее не делать этого, солгав, что я поверил. Однако ее зычный голос заглушил мои просьбы. Спустилась Сона. Как ни странно, она не возражала, не отрицала. Даже не смутилась. Только с деланным весельем в голосе сказала: «Обычное утреннее умывание».

Больше я с Соной об этом не заговаривал, и она молчала. Только раз со слезами на глазах воскликнула: «Как я хочу ребенка!» Теперь, когда начиналась утренняя возня, я уже не повторял, как прежде, своей ежедневной молитвы: «Пусть Господь лишит его силы». Оказалось, что и лишать-то его нечего. Теперь я жалел Сону.

Бринс — человек прямой и откровенный. Скажет, как отрежет. Кривому так и заявит, что тот кривой. Все жильцы дома его уважают. Говорят, что у завсегдатаев кафе он тоже в большом почете.

Когда к Умм Надийе зачастил молодой мужчина, именно Бринс первым забил тревогу. Как-то утром в пятницу он спросил меня: «Кто этот парень?» А тот в это время взбегал по лестнице, слегка сутулясь и прыгая через две ступеньки, чтобы побыстрее оказаться в комнате Умм Надийи. В руках он держал маленький пакет, из которого выглядывали ломтики жареного картофеля.

Этот человек, или, как предпочитала его называть Умм Надийя, «господин Мухаммад», вторгся в жизнь нашего дома неожиданно. Появлялся он в странное время — то утром, то за полночь. С шумом врывался в комнату, без спроса прыгал на кровать, свесив ноги в ветхих брюках и еще более ветхих ботинках. Визиты его не прекращались, и это стало беспокоить обитателей дома. Даже Саадийя, сторонница политики «открытых дверей», и та начала возмущаться. Умм Надийя решила припугнуть нас и прошептала на ухо Саадийе, что это — шофер из органов, но Саадийю этим не устрашить. Органы там или не органы, а в дом, где живут почтенные семьи, он ходить не будет. Объяснение Умм Надийи не убедило никого: он земляк мужа, случайно встретил ее, спросил адрес. Заходит потому, что любит детей. Саадийя тут же, не выбирая выражений, все назвала своими именами. Бринс тоже возмутился, выразив свое негодование звенящим шепотом: «В доме полно женщин, а тут чужой мужчина шляется, глазеет на них. Что же это делается, люди добрые? И ведь даже не кровный родственник». Он попытался настроить против чужака и Умм Надийи меня, но, увидев, что я не загораюсь гневом и остаюсь безучастным, обратился к господину Магди, жившему в комнате слева от ванной.

Умм Надийя все понимала, но несчастной женщине нужен был мужчина, который хоть что-нибудь приносил бы в дом. Дети как саранча — все подчищают и всегда голодны, а она всегда без денег.

Она попыталась и нам заткнуть рот, повторяя: «Господин Мухаммад — шофер из органов». Когда она прошептала это мне, я вздрогнул, но тут же сделал безразличное лицо. Бринс утверждал, что Умм Надийя врет. Долгое время «господин Мухаммад» оставался главной темой наших разговоров и перешептываний. Отношения в доме стали напряженными, жильцы перессорились, и жизнь утратила большую часть своей прелести.

На Бринсе, которому удалось-таки настроить Магди против этого шофера, лежит часть вины за печальный конец истории. Однажды утром Магди, против обыкновения, вышел из своей комнаты очень рано. (Обычно он спал до полудня, а проснувшись, сразу же начинал упражняться, наполняя дом звуками скрипки. После обеда он исчезал. Осторожно спускался, прижимая к себе скрипку, и возвращался только на рассвете.)

Никто не ожидал ничего плохого. Мы просто удивились, увидев так рано Магди, трущего глаза, чтобы окончательно проснуться. Он прислонился к дверному косяку и застыл в напряженном ожидании. Появился «господин Мухаммад» и стал подниматься по лестнице. Наверху он столкнулся с Магди, который преградил ему дорогу.

Как только скрипач открыл рот, стало ясно — это не боец. Его жалкие выкрики могли вызвать только насмешки. Он ругался, как будто играл на скрипке. Когда же Мухаммад нахально бросил ему: «А тебе-то что?» — он запнулся, замолчал и густо покраснел. Очевидно, только в этот момент ему пришло в голову: «Действительно, а мне-то что?»

А через два дня на рассвете пришли люди. Грохот их шагов в утренней тишине напугал весь квартал. Когда они стали подниматься по лестнице, я решил, что это за мной. Проглотил несколько листков с адресами, именами связных, датами. Быстро обшарил глазами комнату, не забыл ли чего. Но они пришли не за мной. Выломали дверь, выволокли Магди из постели прямо в пижаме. Тот держался спокойно, не сказал ни слова. Все выскочили. Я тоже, чтобы мое отсутствие ни у кого не вызвало подозрения, но Саадийя изо всей силы ударила меня кулаком в грудь и визгливо закричала: «Вам бы только на чужую беду глазеть. Здесь не цирк». Я мысленно поблагодарил ее и скрылся в своей комнате. Я слышал, как Бринс со своей обычной прямотой обратился к офицеру: «В чем дело, эфенди?» Офицер, не привыкший давать отчет в своих действиях, пришел в ярость и грубо его выругал. Бринс сразу замолчал, однако окрик офицера послужил сигналом, и на несчастного посыпались пинки, пощечины. Сона с криком выскочила из своей комнаты. Я тоже вышел. Бринс умоляюще посмотрел на меня, прося увести жену от зрелища его унижения. Когда их с Магди потащили вниз, он обернулся и, увидев, как я, полуобняв Сону за плечи, заталкиваю ее обратно в комнату, благодарно улыбнулся.

Прошло три мрачных дня. Все ходили притихшие и всячески старались утешить Сону, а о Магди жалеть было некому. Тщетно пытались мы выяснить, куда их увезли. Я дал Саадийе пять фунтов, постеснявшись отдать их прямо Соне.

Время поползло очень медленно, словно огромная черепаха, которая шевелится, но с места не трогается. Умм Надийя собрала детей и заперла дверь, боясь скандала.

Верхний этаж помрачнел. Две запертые двери, плачущая Сона и я.

На третий день пришел сержант, друг Саадийи, ее опора во взаимоотношениях с участком Баб аш-Шаарийя. Он отвел Саадийю в сторону и прошептал ей на ухо несколько слов. Саадийя засунула руку в вырез платья и вынула бумажку в полфунта, которая мгновенно исчезла в руке сержанта. Он строго посмотрел на нее и вышел. Саадийя завернулась в накидку, пулей бросилась наверх, схватила Сону, крикнув ей без всяких предисловий: «Пошли забирать твоего мужа».

(Бринс сидел в одиночке в участке Баб аш-Шаарийя. Его начали избивать при нас. Потом продолжили на лестнице, на улице, в машине. Наконец, устали. Он им не был нужен. Мелочь. Даже дело затевать не стоит. Его арестовали просто по привычке. Когда машина подъехала к участку Баб аш-Шаарийя, один из них приказал дежурному офицеру: «Взять его». Бринса бросили в камеру, где он провел три дня. Никто его не вызывал, никто о нем не вспоминал, никто не знал даже его имени и за что он сидит, но никто и не осмеливался отдать приказ о его освобождении. Начальник участка ломал голову, что с ним делать. Возможно, он так и сидел бы, тщетно ожидая решения своей участи, но неожиданно одному из офицеров пришло в голову простое решение проблемы.

«На него есть документы?» — «Нет».— «А ордер на арест?» — «Нет».— «А приказ о содержании под стражей?» — «Нет».— «Выдавалась ли расписка о его поступлении к нам?» — «Нет».— «Записан ли он в журнал вновь поступивших арестантов?» — «Нет».— «Ну так гоните его в шею!»

Сержант поспешил к Умм Лузе, чтобы сообщить ей радостную новость и получить свое.)

...Женщины встретили едва державшегося на ногах Бринса уже на улице, подхватили с двух сторон и повели. Снизу кликнули нас, и дом ожил. В первый раз за эти дни распахнулась дверь Умм Надийи, а я как был, босиком, бросился им навстречу. Саадийя издала пронзительный крик радости. Меня поразила Сона: из ее взгляда исчезла безучастность — впервые она была рада возвращению мужа. Оставив на меня Бринса, женщины побежали наверх, чтобы приготовить комнату, а мы медленно, ступенька за ступенькой, потащились за ними. Все засуетились: Луза взялась приготовить чай, Умм Надийя посоветовала прогреть косточки горячей ванной. Баня действительно была нужна. Белый джильбаб Бринса стал серым от грязи, с темными разводами всех оттенков.

Тяжело повиснув на мне, Бринс едва переставлял ноги. Когда я втащил его наверх, он кивнул на мою комнату. Мы вошли, и он прошептал: «Закрой». Я захлопнул дверь ногой перед носом у женщин. Он в первый раз пристально посмотрел на меня и, судорожно всхлипнув, припал к моей груди. Бринс плакал долго. Рыдания шли из глубины его души...

Он рассказал, как его били. Какое это унижение, когда мужчину бьют на глазах у жены. Как они ругали и оскорбляли его. «Слава Аллаху, что они своими лапами не дотронулись до Соны». Поблагодарил меня за то, что я тогда увел ее.

Бринс говорил и постепенно приходил в себя. Стоявшие снаружи перешептывались, но открыть дверь не осмеливались. Они уважали желание одного мужчины излить свою скорбь другому без присутствия женщин.

Я долго убеждал его. Побои — не унижение. Разве это смелость, когда полицейские звери, на стороне которых власть, сила, число, бьют одинокого человека... Мужество не в том, чтобы не дать себя бить. Настоящее мужество в том, чтобы вынести все издевательства, не утратив достоинства. А он ведь не дрогнул, не согнулся от их побоев. «Ты и глазом не моргнул». Бринс вытер слезы. Мы вышли. Он последовал совету Умм Надийи и даже соблаговолил принять от нее новое мыло в обертке. Помылся, и жизнь вернулась к нему.

Утром я улыбнулся спросонья, услышав звон таза, скрежет кувшина и жужжание примуса. Улыбка моя стала еще шире, когда я увидел радость, сиявшую на лице Соны.

Это была настоящая радость, в которой сквозило подлинное удовлетворение.

Бринс сумел найти себя. Беда стала для него средством самоутверждения. Он сотни раз рассказывал историю своего ареста. Слова «Ты и глазом не моргнул» поразили его и пробудили в нем сознание того, что он настоящий мужчина. Странно, но шум по утрам прекратился. (И еще удивительней, но Сона, как я узнал много лет спустя, вскоре стала матерью.)

## Комната рядом с ванной, слева от входа

### Магди

Тоненький зеленый стебелек в диком и мрачном лесу. Грустная мелодия, тихо звучащая посреди шума и грохота нашего несовершенного мира.

Он живет музыкой и для нее, с ней связаны все его мечты и надежды, в ней — его настоящее и будущее. (Кроме музыки, у него ничего нет. Во всем — в одежде, в обстановке, в пище — видна крайняя нищета, которая неразлучна с ним, словно верный друг или возлюбленная.)

День он проводит, склонясь над своей скрипкой (его дверь — единственная, которая всегда заперта). Из комнаты Магди доносятся такие грустные звуки, что во рту появляется вкус горечи, а сердце наполняется пронзительной тоской.

Музыка в таком доме — вещь непопулярная. Слушать ее для этих людей — пустое занятие, которого они не выносят. От своих забот они спасаются болтовней. Слушать — значит думать. А задуматься о своей ничтожной и несчастной жизни для человека здесь уже несчастье. Раздумья толкают их в темную бездну отчаяния, от которого они стараются убежать в безмыслие, защищаясь громкой бранью и грубыми шутками.

Стоит Магди-Музыканту (таково его прозвище) взяться за скрипку, как все начинают его ругать. Особенно злится на Магди Умм Надийя. Вот она берет из моей пачки сигарету и кричит: «Господь обрек нас утром слушать примус Соны, а днем — стоны Музыканта».

Магди не может не слышать ее, но никогда не подает виду. Ни разу не ответил ей. Вообще не сказал ей ни слова. Разве что «доброе утро», идя в ванную или обратно. А вот слов «добрый вечер» от него никто и никогда не слышал, так как он до рассвета домой не возвращается.

Замкнутый, одинокий человек, чувствующий, что миру нет до него дела, и стремящийся отгородиться от всех, уйти в свой собственный, им самим созданный мир. Магди словно раз и навсегда застыл в позе скрипача. Идет по переулку, ни с кем словом не обмолвится, не то что мы. Единственный из жильцов, запирающий дверь. Никого из нас он не удостаивает своим вниманием. Во всяком случае, так нам сначала казалось.

Однажды утром я выбежал за газетами и в темном углу под лестницей натолкнулся на него. Магди, ссутулясь, прислонился к стене и шептался с Надийей.

Оба страшно перепугались. Я дружески улыбнулся, чтобы успокоить их и показать, что тайна будет сохранена. (Вернувшись с фабрики, Надийя нашла повод поговорить со мной наедине. Она клялась, что это было в первый раз, что он к ней даже не прикоснулся, они просто разговаривали. Он обещал научить ее играть на скрипке. Заставила меня поклясться, что я никому ничего не скажу.)

Позже, увидев меня сидящим рядом с Соной, Магди выразительно посмотрел на меня. Взгляд, которым мы обменялись, стоил долгой беседы. Днем я услышал скрип его двери и увидел, как его круглая голова высунулась и исчезла. Он высматривал меня, но колебался. Потом собрался с духом и зашел.

Наивный предлог. Спички. Я улыбнулся и пригласил его сесть. Он присел на самый краешек кровати, рискуя в любую минуту упасть. Из-за вечной сутулости взгляд Магди все время упирался в пол. Нервно перебирая пальцами, он молчал и отрешенно улыбался.

Я вывел его из замешательства, заговорив о Надийе. Милая, приятная девушка. Предупредил, чтобы он не зашел слишком далеко — Умм Надийя не прощает. У Магди явно полегчало на душе.

На следующий день он пригласил меня к себе. В первый раз открыл дверь гостю. Было видно, что Магди специально к моему приходу убрал комнату. Все вещи разложены в том неестественном порядке, когда кажется, что этими вещами никто не пользуется. Под кровать засунуто всякое барахло. Ботинки. Корзина. Кастрюли. Стакан с недопитым чаем. Чайник. Старые газеты. Когда я невольно бросил туда взгляд, он небрежно засмеялся и сказал: «Под кроватью у меня шкаф».

В комнате царит скрипка, аккуратно висящая на стене. Кроме нее и кровати в комнате есть еще огромный асьютский стул, который он с гордостью называет «троном султана», старая коробка из-под мыла, набитая книгами, и больше ничего.

Магди усадил меня на «трон султана» и принялся суетливо вытаскивать из-под кровати примус, коробку с чаем, чайник. Затем вдруг выскочил из комнаты, бормоча невнятные извинения. Я остался один. Стал перебирать книги в ящике. Абд ар-Рахман ар-Рафии. «История национально-патриотического движения». Итак, передо мной человек образованный. На обложке его имя. «Магди Хамис. Средняя школа в Кафр ад-Давваре». Он влетел в комнату с пакетом сахара. Увидев книгу у меня в руках, сказал, как бы извиняясь: «Дела давние. Другие времена». («Даже выбор книг ему нужно объяснять и оправдывать... Что-то мне это непонятно.)

Я выпил чаю, развалившись на «троне султана». А Магди, по своему обыкновению, пристроился на самом краешке кровати. Чтобы не сидеть молча, я спросил его:

— Вы из Кафр ад-Даввара?

Он вздрогнул и не ответил. Немного помолчал, набираясь решимости, сжал кулаки, глубоко вздохнул и выпалил, словно запустил камнем в стеклянную витрину:

— Кто вы такой?

(Кто я? С чего это вдруг? Откуда столько пыла? Неужели он что-то обо мне знает? Тогда кто он? Почему он извиняется даже за книги ар-Рафии?)

Я перевел дух, изобразил ставшую уже привычной наивную улыбку и ответил вопросом на вопрос:

— Я Мидхат, а что?

Как будто из опрокинутой бутылки выскочила пробка и полились слова, теснясь и давя друг друга.

Он сказал, что не знает, кто я, но не верит, что я из Танты. Ему там знакома каждая улица, но никогда не приходилось слышать ни о семье с такой фамилией, как моя, ни об улице, которую я назвал как свой адрес в Танте. Потом, я никогда не выхожу днем и ко мне никто не приходит. И не занимаюсь я, как должен был бы студент.

Магди излагал свои улики, как прокурор, выступающий на крупном процессе. Набычился, глаза покраснели, но голос по-прежнему звучал, как скрипка.

Закончив свою речь, он еще раз спросил:

— Так кто же вы?

(Я уже справился со своим волнением. Пока он говорил, я разглядывал его. Он чего-то боится. Его душа полна ужаса. Мне стало его жаль. Может быть, он такая

же залетная птица, как и я? В любом случае опыта конспирации у него нет. Однако все же кто он?)

— Кто вы на самом деле?

Он опять повторил вопрос. Спокойно улыбнувшись, я сказал:

— Да что это с вами?

Словно холодный душ обрушился на неопытного прокурора. Он растерялся. Воцарилось молчание. Понемногу напряжение начало исчезать из его взгляда. Я откинулся на спинку «трона султана», хладнокровно наблюдая за дымом от моей сигареты, поднимавшимся к потолку. Мое спокойствие сбивало его с толку. Наконец он сказал:

— Извините. Прошу вас, извините меня.

(При внешнем спокойствии на самом деле я испытывал страх и растерянность. Я запутал Магди, но так и не ответил на его вопрос. Если я не дам убедительного ответа, вопрос так и останется у него в голове.)

Чтобы скрыть замешательство, я решил продолжать наступление и повторил вопрос, который так взволновал его:

— Так вы из Кафр ад-Даввара?

Бутылка все еще опрокинута, и пробка по-прежнему вынута. Слова опять полились, тесня и обгоняя друг друга. Те слова, которые он копил все время, пока искал человека, с которым мог бы отвести душу. Артисты не выносят секретов.

— Я не политик и никогда не был им. Они убили моего двоюродного брата. Он был мне братом, другом, учителем. Он научил меня всему: делать бумажных голубей, ловить рыбу, ездить на велосипеде. Он был немного старше меня, но мы всегда играли вместе. Вместе выросли. Он жил у нас. Отец его умер, когда он был совсем маленьким. Он был бесхитростным, но очень умным. Часами мог слушать мои первые попытки играть на скрипке. Все время подбадривал меня, убеждал отца, что я не впустую трачу время. Музыка — язык будущего. Так он говорил. Мы любили сидеть на берегу арыка. Забросим удочки, а сами наслаждаемся покоем и болтаем. Сколько он рассказал мне за эти часы! Мечтал окончить школу, жениться. Он все время был занят, но никогда не жаловался. Работа на заводе. Учеба. Профсоюз. Встречи со мной. Он любил слушать, как я играю. А еще он много читал, спорил о политике.

Потом была забастовка. Его схватили и приговорили к смертной казни. В два счета все было кончено. Отец пошел проститься с ним. Брат улыбался, был спокоен. Просил передать мне, чтобы я не бросал скрипку, так как музыка — это язык будущего. О таких мелочах помнил, когда его вот-вот должны были убить. Мы долго искали его могилу, но так и не нашли.

Однажды вечером я пошел прогуляться. И вдруг представил себе, как он идет мне навстречу со стороны кафе. Размахивает руками и слегка раскачивается. Тут я заметил, что в руке у меня кусок мела, и написал на стене: «Долой убийц!». На следующий день надпись стерли. Я затаил гнев и приготовил цветные мелки. Долго играл на скрипке, чтобы язык будущего внушил мне смелость. Потом вышел. И стал писать на каждой стене: «Долой убийц!». Мы ведь так и не нашли его могилу, так пусть каждая стена будет памятником ему. Шпик схватил меня и приволок в участок. Меня избили. Дома устроили обыск. Уликой против меня оказались и книги ар-Рафии. И даже скрипка. «Как, у тебя и скрипка есть? И книги?»

Опять поволокли в участок. Офицеру запомнилась скрипка, висящая на стене. Он все говорил солдатам: «Поосторожней с ним. Он ведь слабенький. Как-никак музыкант», а те как по команде начинали бить еще сильнее. Сначала было больно, а потом я потерял чувствительность. Они стали перебрасываться мной, как мячом. Потом швырнули на пол, лицом вниз. Руки вытянули вперед. Офицер внимательно посмотрел на мои пальцы. Ими я совершал преступление, играя на скрипке. Он наступил на них сапогами и постоял так некоторое время, болтая с приятелем и куря сигарету. От непереносимой боли и страха за пальцы я завизжал. Они поняли, где мое уязвимое место. Стали стоять на моих пальцах по очереди. Сердце ушло куда-то далеко. Дыхание перехватило. Изображение перевернулось. Они теперь на потолке, а я вишу в воздухе. Пальцы мои — огромные слоны. Чудовищная боль заливает всю комнату. Мучают кого-то другого, а мне просто больно за него. Пальцы не мои. Да они уже и не пальцы. Кошмар обрывается, и меня несут домой.

Мать чуть не умерла от страха за меня. Отец мрачно молчал, как вошло у него в обычай после прощания с моим братом. Меня оставили и ушли. Мать дотронулась до моих ран, и от ее нежного прикосновения я снова стал ощущать боль, жуткую боль. Душа вернулась в тело, раздавленное пытками. Только в эту минуту я понял, что человек, которого они избивали, это я, что боль внутри, а не вне меня, что это мне больно, а не кому-то другому.

Вечером следующего дня они опять пришли. Я еще лежал. «По городу разбросаны листовки, кто их разбросал? На стенах надписи, кто их писал? Кто твои сообщники? Кто сообщники твоего двоюродного брата? Кто его друзья? Кто к нему ходил? Куда вы вместе ходили?»

По глупости я сказал, что мы ходили ловить рыбу. Идея им понравилась. Они подвесили меня за руки, как рыбу на крючке удочки. Я висел часами. Снова мучили другого, а я страдал за него. К полудню они бросили меня.

Посещения стали повторяться. Жертва была под руками. Чуть где появится листовка или лозунг на стене, они тут как тут. Я решил бросить все: дом, школу, родной город.

Взял скрипку и уехал. Даже мать не знает, где я. Каждую неделю пишу ей. Два месяца назад виделся с ней у родственников в Танте. Она обняла меня и зарыдала, и я заплакал. Она взяла с меня слово, что я не вернусь. «Гиены ищут тебя. На улицах полно шпиков. Раз ты скрылся — значит, опасен, значит, ты причина всех беспорядков. Листовок много. Они будут бить тебя за каждую».

Грустная мелодия звучала еле слышно. Страх его прошел. На лице появилось наивное, детское выражение. Он сказал, что пытается заниматься, что собирается поступить в заочную среднюю школу. Брат завещал ему закончить учебу. На жизнь зарабатывает, играя на потеху пьяным в оркестре одного ночного клуба. «Никто нас не слушает. Мы только закуска к вышивке».

(Он ждал, что я расскажу ему свою историю и мы будем квиты. Вместо этого я огорошил его новым вопросом. Рассказывал ли он все это кому-нибудь из жильцов нашего дома? Нет, только Надийе он сказал, что не может вернуться домой, и открыл ей свое полное имя. Пока он говорил, я мысленно нарисовал стрелку, идущую от Надийи к ее матери, а от матери — к «господину Мухаммаду». Мне стало жаль Магди.)

Разговор надо было кончать. Рано или поздно любой беседе приходит конец. Моя задача — найти такое окончание, чтобы не пришлось рассказывать о себе, не создавая впечатления, что я от кого-то прячусь. Я протянул руку и взял один из учебников. «Хотите, я буду вашим репетитором?» Он согласился принять мою помощь.

Странно, но Магди больше ни разу не задал вопроса: «Кто вы?» Ему надо было увериться, что я не опасен, и он уверился. Ему нужен был друг, и он его нашел. Понемногу Магди стал открывать свою дверь и наконец слился с остальными жильцами, стал членом нашей большой семьи.

Конец наступил быстро. Бринс сумел настроить Магди против чужака. Произошла стычка с «господином Мухаммадом».

Возможно, причиной была любовь к Надийе и страх за нее или ненависть к прихвостню из службы безопасности.

Так или иначе, стычка произошла.

Мы потом долго смеялись. Веселились весь день. Умм Луза все повторяла: «Боже, пусть с ним ничего не случится».

Вид Магди, который пытался выглядеть сердитым и грозным, был уморителен. Голос звучал громко, но мелодично, и никакой злобы в нем не было слышно. Ругался он, словно повторяя заученный урок из учебника. До уровня, которого требует хороший скандал в таком доме и в таком квартале, ему было далеко.

— Вы невоспитанный человек. Безнравственный.

Смех, да и только. Но «господин Мухаммад» молчал. Ушел и два дня не возвращался. Мы думали, что распрощались с ним навек. Умм Надийя не упрекала Магди, она смеялась вместе с нами, как будто вся эта история не имела к ней никакого отношения.

На третий день они пришли. Забрали Магди. Бринс, когда вернулся, клялся, что «господин Мухаммад» сидел за рулем.

Магди не вернулся...

А Мухаммад вернулся. Совершенно неожиданно мы увидели, как он поднимает-

ся по лестнице с пакетом фиников. Идет, будто ничего не произошло, но в глазах молчаливое предупреждение. Как обычно, сел на кровать Умм Надийи, свесив ноги.

Мне показалось, что его каблук наступил мне на горло.

## Комната перед ванной, справа от лестницы

Умм Надийя...

Заржавленный гвоздь, вбитый судьбой в стену вечных страданий.

Пятеро детей, муж в тюрьме за воровство.

Семья знает разные времена. Умм Надийя видела и дни обеспеченные, благополучные, и дни лишений.

(Она рассказывает о муже легенды, вспоминает дни величия, когда денег куры не клевали и она тратила, не считая. А очнувшись от грез, начинает ругать его. Как только заведутся деньги, он и знать ее не хочет. Откупится от нее какими-то крохами, а остальное тратит на гулянки и подружек. Домой приходит зверь зверем. Стоит послышаться его голосу, как дети начинают дрожать, да и она тоже. Пока на воле, житья от него нет. Чувствуешь себя его женой, только когда он в тюрьме.

Она исправно посещает его, а он клянется из-за железной решетки, что раскаялся, что любит ее, что ноги будет ей целовать, когда выйдет. Никого, кроме нее, не будет. Потом выходит и в первую же ночь избивает ее.)

...На суде он клялся, что невиновен. Судья смотрел на вора и молчал. Камеры полны мужчин вроде него, зал полон женщин вроде нее и детей, похожих на ее детей. Все подсудимые клялись, что невиновны. А судья слушал... и молчал.

В конце заговорил: «Рецидивист. Пять лет тюрьмы».

Абу Надийя рухнул на скамью. Обычно его приговаривали к трем месяцам, максимум — к шести. А тут вдруг — пять лет. Даже матерый ворюга пустил слезу. Раскис на глазах у детей. Просил Умм Надийю беречь их. В тысячный раз обещал исправиться.

— Оставляю на тебя детей, Умм Надийя.

— На меня?! А чем я их кормить буду?..

И начала Умм Надийя вертеться как белка в колесе, из ничего добывать пропитание себе и детям. Каждое утро уходит из дома, берется за любую работу, стирает, убирает квартиры, торгует собой. Все хорошо, что дает заработок. Ее маленькие хитрости я принимаю как должное. Посылает ко мне своего младшего: «Мама спрашивает, нет ли у вас десяти филсов?», или: «Можно попросить у вас немножко сахара?». Одалживает полный примус, а отдает выжатым до последней капли. Надийя работает на фабрике и получает фунт с четвертью в неделю. Мечтает накопить денег на часы, но этой мечте не суждено осуществиться, ведь ее заработок — это единственный твердый доход в семье. Остальное зависит от ловкости матери, которой всегда удается каким-то чудом накормить всех шестерых.

Надийя — самая красивая в доме. Тоненькая, с упругой грудью. Два воробышка, подпрыгивающие при каждом шаге. Она рано повзрослела и умеет пользоваться своей привлекательностью. Способна растопить сердце любого мужчины, просто взглянув на него или слегка поведя своей высокой грудью.

Каждое утро уходит на фабрику и возвращается вечером. Поднимается по лестнице, то и дело прислоняясь к перилам. Однако тут же начинает скакать, как бесенок, от чего весь дом ходит ходуном. Забежит ко мне за чаем, к Соне — за примусом, потом вниз к Умм Лузе — послушать радиопостановку, затем опять наверх — рассказывать бесконечные истории про фабрику. Веселая, хлопотливая бабочка. Всегда смеется и кажется наивной, но это не так. И зубки у нее есть...

Однажды Умм Надийя поссорилась с соседкой, угрюмой и сварливой бабой. Умм Ашур — пугало для всего квартала. Все ее боятся и стараются обойти стороной. Язык у нее как помело, а руки и того длинней. Она набрасывается на противницу, подминает ее под себя, руками вцепляется в волосы, а зубы делают остальное. Когда она начинает ругаться, ничто и никто не в силах ее остановить. В крайних случаях она применяет оружие стриптиза: начинает раздеваться, чтобы все знали — ей нечего скрывать и нечего стыдиться.

С этой-то Умм Ашур и повздорила Умм Надийя. Ведьма стала распускать про нее слухи: «Пойдет с любым, кто попросит. Убирать квартиры ходит только к холо-

стякам. Ашур видел ее в Эзбекийе с мужчиной». Умм Надийя попыталась было заткнуть этот поток грязи парой жалких упреков: «Стыдно, Умм Ашур. Мы соседи. Я одна, без денег, с пятью детьми». Но Умм Ашур неведомо сострадание. Она захлопнула дверь перед носом Умм Надийи и уже из окна стала поливать ее, как из лохани, новыми обвинениями вперемежку с бранью. Надийя застала уже отголоски прошедшей грозы. Потерпев поражение, мать уходила, плача. Надийя превратилась в маленького хищного зверька. Тоненькая, застенчивая девушка стала обстреливать Умм Ашур, словно тяжелая артиллерия. Ее тихий голос загремел как гром, и посыпались такие ругательства, что даже я не все из них знал. Часть она сочиняла тут же на месте, используя словарный запас невиданного объема и состава.

Умм Ашур растерялась, стала запинаться и умолкла. Затем перешла в контрнаступление, но справиться с молодым, сильным голосом и искусным словотворчеством ей было не под силу. Больше всего Умм Ашур ошеломило то, что такая кроха угрожала разбить ей голову, если она посмеет высунуться за дверь. Взревев, баба ринулась на улицу защищать свой авторитет. Кто будет ее бояться, если она отступит перед таким ребенком, как Надийя. Распахнув дверь, она точно ракета бросилась на девушку. Может быть, она споткнулась. Или Надийя оказалась ловчее. Во всяком случае, Умм Ашур рухнула, как мешок, а Надийя вцепилась ей в волосы. Черная туша распласталась на мостовой. Надийя и ее мать прыгнули на нее и стали осыпать ударами и бранью. Мегера завопила, прося пощады. Подошли бакалейщик, хозяин кафе и другие мужчины и оттащили Надийю с матерью в сторону. Обе женщины издавали пронзительные крики победы, перемежая их проклятиями в адрес Умм Ашур.

Платье Надийи висело лохмотьями, и два воробышка выпорхнули наружу, но ей было все равно, да никто и не обращал на это внимания. Я чуть не упал с лестницы, торопясь укрыть ее одной из своих рубашек. Надийя упивалась победой. Дыхание прерывистое, лицо раскраснелось, как гвоздика, воробышки резвятся на воле. Она взяла рубашку, надела, но не застегнула. Через полчаса зашла ко мне, тихая и скромная, как ни в чем не бывало, и спросила, потупясь: «Вам очень нужна эта рубашка? Из нее вышла бы отличная блузка»...

Битва закончилась, но война продолжалась. Умм Ашур осыпала проклятиями всех обитателей нашего дома — и жильцов и хозяев. «Замужняя женщина ведет себя точно девка, а им хоть бы что». Припомнила «господина Мухаммада» и начала попрекать нас нашим молчанием. Каждому досталось. После поражения она стала еще злее. По утрам Умм Ашур пряталась за занавесками, точно раненый лев, и рычала на всех проходящих. Это было для нее вроде второго завтрака, все уже привыкли. Однако «господин Мухаммад» был для нас незаживающей раной.

(Никто не знает, как он проник в семью Умм Надийи. Даже Надийя, победительница Умм Ашур, трепещет перед ним. Зрачки у него пустые, взгляд — наглый, язык — грязный. Держится так, будто он — хозяин дома, словно он купил всю семью за жалкие гроши, понимая, что даже от этих грошей они не могут отказаться. Часами разглагольствует перед ними о своих связях. Вся охранка у него в кармане. Офицеры любят его. Он бывает у них дома и знает все их секреты и даже секреты их жен. Каждый день — новая история. Сыплет именами, званиями. Явно набивает себе цену. Он говорит, а вся семья оцепенело смотрит на него. Мать и дочь давно поняли, чего он хочет. Он хочет попользоваться Надийей, а потом — удрать. Надийя знает это и остерегается. Мать тоже знает и тянет время, чтобы выудить из него как можно больше, прежде чем он исчезнет, надеясь, что он удовлетворится ею.)

Была история с Магди. А до этого — брань проклятой Умм Ашур. И о «господине Мухаммаде» заговорил весь квартал.

Как и мы, Умм Надийя была огорчена тем, что произошло с Магди, вместе с нами ругала Мухаммада, однако он сильно запугал ее. «Какие связи! Для него человека сгубить — раз плюнуть. Где мне с ним тягаться! Засадит за решетку, а у меня — пятеро. Он обещал освободить мужа, когда тот отсидит полсрока, и найти ему работу в органах...» Однако по выражению наших лиц Умм Надийя поняла, что должна выбирать между ним и нами.

И выбрала нас без колебаний.

«Только человек он очень хитрый. Я против него ничто. Делайте с ним что хотите. Магди мне словно сын, а вы — как родственники. Но что придумать?»

Умм Луза оглядела нас всех, остановила взгляд на мне. Помолчала. Первый и единственный раз в своей жизни она решала проблему без помощи длинного языка. Она думала, уставившись в землю, иногда ободряюще смотрела на меня. Повторения того, что случилось с Магди, она не допустит. Наконец сказала: «Я займусь этим». Сказала один раз и никогда больше к этой теме не возвращалась. Мы уже забыли об ее словах, махнули на все рукой.

....Снова появился «господин Мухаммад». Дом встретил его мрачно. Все разошлись по своим комнатам и закрыли двери. Его самоуверенные шаги стучали как будто не по лестнице, а прямо по нашим головам. Ощущение собственного бессилия душило нас. Какой позор. Даже шоферишка из органов в состоянии нагнать на нас такого страху.

К нашему удивлению, Умм Луза встретила его приветливо, а Луза поздоровалась с ним.

И начался бой, вернее, охота на шакала...

...Однажды вечером мы услышали пронзительные крики Лузы. На крик с двух сторон бросились люди: мы — сверху, так как крики доносились из темного угла под лестницей, а прохожие, завсегдатаи кафе, покупатели из бакалейной лавки — с улицы.

Умм Луза опередила нас. В руках у нее была лампа. «Господин Мухаммад» пытался забиться в закуток под лестницей. Он был совершенно голый...

...Несколько дней Луза кокетничала с ним. Улыбаясь, прижималась к нему на лестнице, а потом обгоняла его ступеньки на две, так что ее круглый задик оказывался у него прямо перед глазами. Ощутив его руку, она отпрыгивала, смеясь, но не протестуя. Однажды Луза нагнала его, когда он шел вниз. Спустилась вместе с ним. Когда его рука потянулась к ее груди, она жеманно оттолкнула его и убежала.

На следующий день у них было назначено свидание в темном углу под лестницей, куда никто никогда не заглядывал. Он обнял ее, тяжело дыша от сдерживаемой страсти. Вот так подарочек. Надийя не дается, а тут вдруг эта сама на шею вешается. Луза сказала, чтобы он раздевался, пока она сходит за циновкой. Когда она вернулась, он был уже в чем мать родила. Ее передернуло от отвращения. Он хрипло прошептал: «Ну, раздевайся же». И тут она закричала что было силы. Мать с лампой была наготове. Луза вопила так, что сбегались люди из соседних кварталов. Шакал растерялся, потянулся было за одеждой, но Умм Луза уже успела подхватить ее.

Собрались все соседи, мужчины, женщины, дети. Даже Умм Ашур пришла. Объяснять ничего не надо. Все и так ясно. Голый мужчина. Хотел посягнуть на честь девушки. Голого, его стали бить. Голого поволокли в участок, осыпая проклятиями, насмешками. Процессия росла с каждым шагом. Этот подонок плакал. Дрожащими руками пытался прикрыть то, чего люди видеть не должны, одновременно стараясь увернуться от плевков и пощечин, в которых недостатка не было. Человек, скажем, вышел купить что-нибудь детям, или сидит в кафе, или ждет автобуса. Вдруг видит процессию, спрашивает, что случилось, и тут же рука его тянется двинуть обидчика по морде или губы складываются для плевка. Честных людей много.

Бринс торжествовал. И он, и Магди отомщены. Нарушив инструкцию, я тоже вышел. Пошел с края процессии. Радость переполняла меня.

Перед участком толпа расступилась. Сдерживая смех, полицейский стал разгонять людей сердитыми жестами. Саадийя, Бринс, Луза и десятки свидетелей зашли внутрь. Сержант, друг Саадийи, начал допрос. Бедняга попытался прошептать ему на ухо, что они коллеги, что он из тайной полиции. Сержант сурово прикрикнул на него и потребовал удостоверение, но оно пропало вместе с одеждой. Сержант составил протокол о появлении в общественном месте в недостойном виде и о покушении на изнасилование. Голого, его бросили в камеру. Ту самую, где три дня просидел Бринс.

Когда процессия вернулась домой с криками торжества и ликования по случаю победы, я заплакал. Мне вспомнился зеленый стебелек. Где-то он сейчас? Мы отомстили за него, хоть он и не знает этого. А когда мы отомстим за всех остальных? Грустные мысли внезапно нахлынули на меня, но тут в мою комнату прокралась Саадийя. Я вздрогнул от неожиданности, а она нежно меня поцеловала. Я ощутил рядом с собой ее горячее тело. Когда мы были на вершине блаженства, она вдруг прошептала: «Запомни, ты среди своих».

## Комната справа от лестницы, напротив комнаты Соны

Я...

Я не Мидхат. Мидхат — это просто подпольная кличка. Меня называли по-разному: Шукри, Хасан, Сафват, Салах.

Новое имя — это новая биография, которую рассказываешь сначала себе, а потом — другим. Твердишь ее, пока не поверишь. Рядом с тобой возникает другой человек. Он рождается, формируется, становится все определеннее, а затем поселяется в тебе. Остается только слушаться его и поступать так, как хочет он.

Странно иметь несколько имен, не так ли?

Одно имя для товарищей по партии, другое — для соседей. И еще одно, внезапно всплывающее иногда из колодца памяти,— твое настоящее имя.

Настоящее?.. А что это значит?

Иногда тебе кажется, что ты и в самом деле Мидхат. И что настоящий — тот молодой человек, которого любит Надийя и у которого бывают приятные минуты с Саадийей. Иногда настоящий — подпольщик, спорящий на ночных сходках о политике, живущий борьбой. А тот, давно забытый, имя которого записано в свидетельстве о рождении, он неистоящий.

Когда расстаешься с очередным именем, нельзя допустить ни малейшей оплошности. Подпольная кличка — что стакан. Выскользнул и разбился. Торопливо отскакиваешь, чтобы не пораниться осколками.

Так и живешь бесплотной тенью. Создаешь нового человека, по крупицам составляешь его биографию. Только станешь им — и снова пора менять обличье, дом, соседей. Все забываешь и начинаешь новую жизнь рядом с новыми людьми, осваиваешься с незнакомцем, который просыпается в глубине твоей души.

Мидхат может перестать существовать, ты можешь забыть его и его друзей, но он не умрет, он останется. Хоть частица, но останется. Временами он приходит без всякой видимой причины, без всякого повода и стучится в твою память, а вместе с ним приходят и все остальные.

Иногда ноги сами ведут тебя к его дому. Здесь он проходил, здесь замедлял шаг, чтобы оглянуться. У этого торговца обычно выпивал бутылку кока-колы, проверяя, нет ли хвоста.

Однако, если бы ты столкнулся с кем-то из знавших Мидхата и он окликнул тебя его именем, ты, наверное, сделал бы вид, что он обознался. Ведь это чужой, незнакомый человек, которого ты раньше никогда не встречал и который был знаком с каким-то Мидхатом.

...Однажды вечером, лет десять спустя, я пригласил друзей на ужин в ночное кабаре шикарной гостиницы. Неожиданно гарсон принес бутылку шампанского. Сердце у меня ушло в пятки. Шампанское стоит бешеные деньги. Один из гостей попытался выручить меня: «Мы не заказывали шампанское». Официант снисходительно улыбнулся и пояснил: «Это привет от маэстро Магди Мидхат-беку». Мы посмотрели друг на друга. Среди нас не было Мидхат-бека. И вдруг я заметил мягкую улыбку в оркестре. Зеленый стебелек вырос, окреп. Руководит ансамблем, виртуозно играет на скрипке, срывая аплодисменты даже у подвыпивших гуляк. Я узнал его сначала по улыбке, затем по тому, как он любовно склонился над скрипкой. Он подмигнул мне. Я ничего не стал объяснять друзьям. Они шутили, пили шампанское, а я слушал скрипку. Оркестр замолчал. Один из оркестрантов взял микрофон и на том ломаном английском, который в ходу в наших ночных кабаках, объявил: «Кэптен Магди, руководитель ансамбля, играет соло для старого друга».

Играл он замечательно. По-моему, я один заметил слезы у него на глазах. Остальные слышали только скрипку. Я сидел на полу рядом с Саадийей, Соной, Надийей и ее матерью и слушал его... Не аплодировал я один. Мне было не до того. Магди подошел и обнял меня. Весь зал обернулся на нас. Я прошептал ему на ухо: «Меня зовут не Мидхат». Он засмеялся: «Я знаю. Понял это с самого начала. Потом на обложке одной из твоих книг увидел твою фотографию и прочел твое настоящее имя, доктор». Мои друзья торопливо поздоровались с Магди и отвернулись от нас. Их взгляды и мысли сосредоточились на теле появившейся на сцене танцовщицы. Мы остались вдвоем. Он рассказал о том, что было с ним после ареста. Пытки, допросы, опять пытки. Ужасней всего было то, что ему не в чем было признаваться...

Я слушал невнимательно. Все это я хорошо знал. Почувствовав это, он рассмеялся и сказал: «Зачем я тебе все это рассказываю. С тобой они, верно, еще и не то делали». Я сглотнул слюну, пытаясь вместе с нею проглотить все дурные воспоминания. Решил сменить тему. Он застенчиво улыбнулся, когда я сказал, что он стал замечательным музыкантом.

«Был ли ты у Саадийи?» — «Конечно, она сказала, что ты заходил один раз, сразу после выхода из тюрьмы. А я был несколько раз. Приводил жену в ту комнату, где жил сам и где живет теперь Надийя. Она вышла замуж и у нее двое детей». Он вдруг радостно воскликнул: «У Бринса тоже сын и дочь. Твоя первая книга есть у Саадийи, она хранит ее в шкафу, засунув в старый журнал. Увидела твою фотографию в газетном киоске и заплатила целый фунт, понося продавца на чем свет стоит. Она и сейчас еще ругается. Никто не соглашается ей читать. Луза вышла замуж и живет далеко. Дети Умм Надийи берут за страницу, а то и за полстраницы шиллинг. Да она и не понимает ничего из прочитанного». Он откинулся на стуле и вытянул ноги. Я вспомнил «трон султана» и громко рассмеялся. Танцовщица кончила трясти своим дрябловатым телом, и друзья повернулись к нам. Магди надо было идти играть. Он пожал мне руку, еще раз поцеловал меня. «Ты должен зайти к нам. Жена очень хочет с тобой познакомиться...»

■

Дни в подполье тянутся медленно. Время словно слон, который придавил тебя и лениво шевелится. Днем выходить нельзя. Зато после наступления темноты дел много. Спрятаться так, чтобы не нашли, легко. Трудно, скрываясь, продолжать борьбу, вести партийную работу. Трудно встречаться с людьми, рискуя на каждом шагу. Трудно сознавать, что за любую твою ошибку будет расплачиваться, может быть, кто-то из тех, с кем ты встречался. Трудно превратить свое исчезновение в борьбу, а не просто в бегство.

А вот дневные часы очень длинные. Просто готовишься к темноте и прячешься в ожидании ее. Иногда стараешься взглядом подтолкнуть солнечный диск к закату, а он упирается. Утомительная болтовня Соны или Умм Надийи, от которой ржавеют и останавливаются колеса времени. Каждая секунда растягивается, удлиняется. Кажется, что ее можно поймать. Я пытаюсь философствовать, связав время с пространством. Если бы я был в другом месте, время бежало бы быстрее, даже слишком быстро. Вспоминаю заумную статью, которую прочитал много лет назад и от которой в памяти осталось только название «Хронотоп». Вроде бы там тоже делалась попытка связать время с пространством.

Стараюсь, сколько возможно, побыть один в своей комнате. Перевести дух вдали от Саадийи, Соны и продумать дела на предстоящую ночь.

Из маленького окошка моей комнаты мне видны десятки крыш. Часами я смотрю на них, на сваленную там рухлядь, на людей. Во мне развилась привычка разглядывать развешенное на крышах белье и по нему знакомиться с соседями, угадывая подробности их жизни. Чего там только нет: джильбабы, платья, комбинации, трусики, шаль, чалма, мундир полицейского. Общее наблюдение: мужчина выбрал себе самый лучший цвет — его джильбаб всегда белый — и оставил женщине в основном черный. Любопытная деталь: соседняя крыша каждое утро расцветает дорогими тканями. Какая-то щеголиха живет среди этой непролазной нищеты. Как будто на ее крышу перевесили кусок бельевой веревки из Замалика [1] со всем, что на ней висело. Я задаю себе вопрос: видел ли я эту девушку на улице?

(Однажды Саадийя была у меня. Мы подошли к окну, в которое помещались только наши головы, да и то если плотно прижаться друг к другу. Я не успел даже спросить. Она указала мне на роскошные платья и стала рассказывать о соседке так, как если бы я ее хорошо знал, без всяких предисловий: «Добрая душа, а брат у нее негодяй. Каждый день бьет ее и отнимает весь заработок. Работает в кафе и еще осведомителем в полиции». Озноб пробежал у меня по коже, но я не подал виду. «Это он донес на отца Надийи и на Сирийца, продавца опиума». Я осторожно перевел дух. «Ее зовут Фатима, но она называет себя Дина. Работает в «Аризоне».)

Любопытство мое бесцельно, просто способ убить время, которое девать некуда.

[1] Фешенебельный район Каира.

Думаешь... читаешь... да. Но сколько можно читать? Час, два, три, а потом? Кроме того, соображения безопасности и характер человека, которым я сейчас являюсь, не предполагают домашней библиотеки. (У Магди я обнаружил ар-Рафии. А если и мне попросить у товарищей несколько книг?) Вообще и читаешь, и пишешь только для того, чтобы убить день, и не один, а целые месяцы.

Когда солнце наконец, словно сжалившись, заходит, начинается настоящая жизнь: товарищи по партии, собрания, дискуссии, борьба. Забыты и Мидхат, и тот, кто когда-то носил твое настоящее имя. Ты меняешься. Теперь ты один из многих. У тебя другие цели и задачи. Ты даже говоришь не тем языком, что с Саадией, Соной...

(Странная пирамида из трех людей — юноша из благополучной семьи, революционер-подпольщик и бедный студент Мидхат,— таких разных, но неразрывно связанных. Ты несешь ее на спине, как эквилибрист.)

Однажды дождливым вечером я вышел с собрания, где разгорелся скучнейший спор. Некоторые любят слушать только себя. Они вещают истину в последней инстанции и внимательно следят за тобой, чтобы убедиться во впечатлении, которое произвела на тебя их гениальность. К концу собрания голова у меня раскалывалась. Было холодно. Я поднял воротник пальто, чтобы укрыться от пронизывающего ветра со снегом. В этот момент передо мной проскользнул человек. Я обратил внимание на его лицо. Я его уже где-то видел, но где? Треугольное лицо, жидкие усики, глаза голодного волка. Пройдя несколько шагов, я обернулся, но в темноте ничего не увидел. Долго бродил, чтобы прошла головная боль. Надо было снова стать Мидхатом и вернуться домой уже им. Когда я подошел к нашему кварталу, то среди посетителей кафе заметил то же лицо. Человек без особых примет, но таких не забывают. Друг на друга мы даже не посмотрели. Я прошел мимо и не обернулся, зная, что он следит за мной.

Впервые я помедлил, прежде чем начать подниматься по лестнице. Почувствовал страх перед темнотой холодного проема. Вдруг они спрятались там, в темноте? Немного успокоившись, я пошел наверх. В голове крутился вопрос: «Неужели это конец?» Поднялся на две ступеньки и остановился. Дверь Саадийи открыта. Она стоит на пороге и всматривается в темноту. Поднесла к моему лицу лампу. В глазах у нее холод и страх. Прошептала мне на ухо: «Тебя тут парень спрашивал».— «Какой парень?» — «Этот, осведомитель, брат Фатимы». Весь пролет вдруг заполнили глаза раненого волка. «Я боюсь за тебя. Но ты для него один из нас. Клянусь Аллахом, они тебя не тронут». Я не стал ее слушать. Ринулся в свою комнату. На глазах у нее сунул руку в щель за кроватью. Вытащил несколько листков. Стал лихорадочно запоминать имена и адреса, написанные на них. Это резервные явки на случай, если Мидхату придется исчезнуть. Я учил адреса, а она говорила: «Моя племянница живет в районе Баб ал-Бахр, муж у нее в армии. Можешь пожить там, если хочешь». Я попросил у нее спички. Она сунула руку в вырез платья и вынула старую зажигалку. Я сжег бумаги и уже собрался было проститься с ней, как вдруг вспомнил, что в ящике письменного стола сбережения Надийи. (Надийя мечтала о часах. Свои сбережения прятала у меня, чтобы не узнала мать. За несколько месяцев она скопила два фунта с четвертью.) Я попросил Саадийю передать деньги Надийе. «Дома ночевать не буду. Вернусь завтра вечером. Если что, стой у окна. Я пойму». Я говорил как полководец, потерпевший поражение и старающийся выглядеть спокойным. Она прижала меня к груди. «Береги себя». И заплакала. «Если будет трудно, иди к моей племяннице».

Выйдя, я пошел не к кафе, как обычно, а в другую сторону. Шел медленно. Оглянулся. Глаз голодного волка не было. Я чуть было не вернулся. Голова болела нестерпимо. Если вернусь, проведу ночь в объятиях Саадийи. Однако ноги несли меня вперед. «Этот парень, брат Фатимы, осведомитель, спрашивал о тебе». Поняла ли она? А сам-то ты понял?

К вечеру следующего дня все было решено. Мидхат должен исчезнуть. Стакан разбился. Мидхату больше нельзя жить рядом с Саадийей и Надийей, даже если глаза раненого волка больше не появятся. Двух раз вполне достаточно.

По дороге я сочинял объяснение своего внезапного отъезда для тех жильцов, кто ничего не знал. Получил телеграмму. Отец в Танте заболел. Нужно срочно ехать. Стал думать о прощании с Саадийей. Вдруг чья-то рука дотронулась до меня. Я вздрогнул. Вот и конец. Нет, рука мягкая. Это Надийя. Она пряталась на подходах к кварталу, завернувшись в накидку Соны.

«Господин Мидхат. Полицейские спрашивали вас вчера, когда вы уже ушли. Их было очень много. Обыскали комнату. Все вверх дном перевернули. Тетя Саадийя шлет вам большой привет. Сама прийти не смогла, так как ударила этого осведомителя, брата Фатимы, и теперь боится, что он попытается отомстить ей или Лузе. Послала меня. А дядюшка Бринс ждет вас с другой стороны квартала. Все дома шлют вам привет...» Я торопливо шел по направлению к Баб аш-Шаарийе, а она семенила рядом. «Тетя Саадийя просила сказать, чтобы вы не беспокоились о комнате и вещах...». Я молчал. Что я мог сказать? Я боялся вопроса «За что?», вообще любых вопросов. Именно в этот момент у меня не было никаких ответов, никакого объяснения. Вспоминаю адрес новой квартиры, где я буду жить с одним из товарищей, студентом университета, под видом его брата. Повторяю свое новое имя. Надийя все еще бежит рядом. С грустью смотрю на нее. Щеки раскраснелись от напряжения и волнения. Взгляд говорит очень многое. Если бы было можно, я бы обнял и поцеловал ее в глаза. Она смущенно замолкает, почувствовав, что я смотрю на нее.

Мы дошли до площади. Надийе надо возвращаться. Внезапно она умоляюще схватила меня за руку: «Вы любите меня, господин Мидхат?» И, не дожидаясь ответа, сказала: «Если любите, возьмите вот это». И она сунула мне в руку деньги. Я хотел было отказаться, но понял, что мой отказ ранил бы ее. Мне не так уж нужны были эти деньги, но не взять было нельзя. Когда любят — дают. «Два фунта от тети Саадийи, фунт от дяди Бринса и два с половиной от меня». (Все, что ты скопила, Надийя. Теперь уже никакой надежды на часы.)

Обеими руками я сжал руку Надийи. Мы остановились, и на нас стали поглядывать. Я заговорил в первый раз: «Спасибо, Надийя». И услышал, как она сказала мне вслед: «Береги себя ради меня».

Я пошел на новую квартиру. Вот и кончился Мидхат. Нет его больше, но он оставил мне свой долг соседям, который мне никогда не оплатить, сколько бы я ни старался.

Этот долг нельзя вернуть. Он растет и растет, становясь потом и кровью, превращаясь в надежду.

■

---

**ФРОЛОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ** (род. в 1946 г.)

Автор исследований в области арабского языка, культуры и литературы. Кандидат филологических наук. Переводчик с арабского. В его переводе издавались произведения Абу Хайяна ат-Таухиди, Мухаммеда Шакера ас-Саба и др.

# ГРЭМ ГРИН

# *Сила и слава*

РОМАН

*Перевод с английского Н. ВОЛЖИНОЙ*

## *Часть вторая*

### Глава 2

В жаркий, насыщенный электричеством вечер по площади кружили молодые мужчины и девушки; мужчины — в одну сторону, девушки — в другую. Они не заговаривали друг с другом. В северной части неба сверкала молния. Это гулянье чем-то напоминало религиозный обряд, который давно потерял всякий смысл, но тем не менее ради него все наряжались. Иногда к молодежи примыкали женщины постарше, внося в это шествие чуть больше оживления и смеха, точно у них еще сохранилось воспоминание о прежней жизни, о которой теперь и в книгах не прочтешь. Со ступеней казначейства за гуляющими наблюдал полицейский с кобурой на бедре, а у дверей тюрьмы, держа винтовку между колен, сидел маленький, щуплый солдат, и тени пальм тянулись к нему, точно заграждение из сабель. В окне у зубного врача горело электричество, освещая зубоврачебное кресло, ярко-красные плюшевые подушки, стакан для полоскания на низеньком столике и детский шкафчик, набитый инструментами. В жилых домах, за проволочной решеткой окон, среди семейных фотографий, взад и вперед покачивались в качалках старухи. Делать им было нечего, говорить не о чем — сидели и покрывались пóтом под ворохом своих одеяний. Так шла жизнь в главном городе штата.

Человек в поношенной бумажной одежде сидел на скамейке и смотрел на все это. К казармам прошел вооруженный отряд полиции; полицейские шагали не в ногу, держа винтовки кое-как. Площадь освещалась электрическими лампочками — по три на каждом углу; их соединяли между собой безобразно обвисшие провода. От скамьи к скамье ходил нищий, безуспешно клянча милостыню.

Нищий сел рядом с человеком в поношенной одежде и повел какое-то длинное объяснение. Тон у него был вкрадчивый, и в то же время в нем слышалась угроза. Улицы спускались с площади к реке, к порту, к заболоченной равнине. Нищий говорил, что у него жена и куча детей и что последние недели они голодают. Он замолчал и потрогал своего соседа за рукав.

— Сколько же,— спросил он,— такой материал стоит?

— Не поверишь, как дешево, просто гроши.

---

Окончание. Начало см. в № 1.

Часы пробили половину десятого, и лампочки сразу погасли. Нищий сказал:

— Так совсем ум за разум зайдет.— Он повертел головой, провожая взглядом гуляющих, которые уходили вниз по склону. Человек в поношенной одежде поднялся со скамьи, нищий тоже встал и поплелся следом за ним в дальний конец площади. Его босые ноги шлепали по асфальту. Он сказал: — Несколько песо... Что тебе стоит, не разоришься.

— Еще как разорюсь!

Нищий озлился. Он сказал:

— Иной раз готов на что угодно пойти ради нескольких песо.— Теперь, когда огни во всем городе погасли, они стояли, скрытые дружелюбной темнотой. Нищий сказал:— Осуждаешь меня?

— Да нет. И не думаю.

Что бы он ни сказал, все выводило нищего из себя.

— Иной раз, кажется, убить готов...

— Вот это, конечно, очень нехорошо.

— Значит, нехорошо, если я схвачу кого-нибудь за горло?

— Что ж, голодный на все имеет право ради спасения своей жизни.

Нищий смотрел на этого человека с яростью, а тот продолжал говорить, словно обсуждая какой-то отвлеченный вопрос:

— Из-за меня, пожалуй, не стоит идти на такой риск. Пятнадцать песо семьдесят пять сентаво — вот все мое богатство. Я сам двое суток ничего не ел.

— Матерь божия! — сказал нищий.— Да ты что, каменный? Сердце у тебя есть?

Человек в поношенной одежде вдруг хихикнул. Нищий сказал:

— Вранье. Почему же ты ничего не ел, когда у тебя пятнадцать песо в кармане?

— Видишь ли, в чем дело, я хочу купить чего-нибудь выпить.

— А именно?

— Того самого, чего в этом городе чужому не найти.

— Значит, тебе нужно спиртное?

— Да... и вино.

Нищий подошел к нему вплотную, нога к ноге, тронул за руку. Они, как близкие друзья, как братья, стояли вдвоем в темноте. Теперь даже в домах гасили огни, и таксисты, весь день тщетно поджидавшие пассажиров на склоне холма, начали разъезжаться. Вот последняя машина скрылась за углом полицейских казарм, мигнув задними огнями. Нищий сказал:

— Ну, друг, считай, тебе повезло. Сколько ты мне дашь...

— За бутылку?

— За то, что я сведу тебя с человеком, у которого есть бренди — настоящее, из Веракруса.

— С моим горлом,— пояснил человек,— мне можно только вино.

— Пульке, мескаль — у него все есть.

— А вино?

— Айвовое.

— Я отдам все свои деньги,— торжественно сказал человек в поношенной одежде и уточнил: — То есть кроме сентаво... за натуральное виноградное вино.— Где-то внизу, у реки, послышались барабанная дробь и нестройный топот — раз-два, раз-два. Солдаты или полицейские возвращались на ночевку в казармы.

— Сколько? — нетерпеливо повторил нищий.

— Я дам тебе пятнадцать песо, и ты достанешь мне вино. Сколько заплатишь, твое дело.

— Тогда пошли.

Они стали спускаться с холма; на углу, где одна улица вела к аптеке и дальше, к казармам, а другая — к гостинице, набережной и

к складу «Объединенной банановой компании», человек в поношенной одежде остановился. Навстречу, держа винтовки как придется, шагали полицейские.

— Подожди.— Вместе с ними шел какой-то метис; два клыка выступали у него над нижней губой. Человек в поношенной одежде следил за ним из темноты. Метис повернул голову, и взгляды их встретились. Полицейские прошли мимо, поднимаясь на площадь.— Пошли. Быстрее.

Нищий сказал:

— Они нас не задержат. Они за другой дичью охотятся — покрупнее.

— А почему этот человек с ними, как ты думаешь?

— А кто его знает? Может, заложник.

— Заложнику связали бы руки.

— Почем я знаю? — В словах нищего была вызывающая независимость — не редкость в стране, где бедняки имеют право клянчить милостыню. Он спросил: — Так тебе нужно спиртное или нет?

— Мне нужно вино.

— Не знаю, что у него там есть. Бери, что дадут.

Нищий повел своего спутника к реке. Он сказал:

— Может, его и в городе нет.— Жуки вились вокруг них и оседали на асфальт; они щелкали под ногами, как грибы-дождевики, а с реки тянуло зеленой кислятиной. В раскаленном, пыльном скверике белел гипсовый бюст генерала, а на первом этаже единственной в городе гостиницы глухо пульсировал движок. Широкие деревянные ступени, усеянные жуками, вели на второй этаж.— Ну, я постарался ради тебя как мог,— сказал нищий.— Больше никто бы не сделал.

Из номера на втором этаже вышел человек в черных брюках, в плотно облегающей торс фуфайке и с полотенцем через плечо. У него была аристократическая седая бородка, брюки держались на подтяжках и на поясе. Откуда-то из недр гостиницы донеслось урчанье водосточной трубы; жуки с размаху хлопались об электрическую лампочку без абажура. Нищий повел серьезный разговор с человеком в черных брюках, и пока они говорили, свет погас, а потом, мигая, зажегся опять. На верхней площадке лестницы стояли вразброс плетеные качалки, а на большой черной доске были написаны фамилии постояльцев — трое на двадцать номеров.

Нищий повернулся к своему спутнику:

— Того господина,— сказал он,— сейчас нет, хозяин говорит. Ну что, подождем его?

— Мне времени не жалко.

Они вошли в большой пустой номер с плиточным полом. Маленькую черную железную кровать, стоявшую там, словно кто-то забыл при переезде. Они сели на нее рядышком и стали ждать, а жуки влетали в комнату сквозь дырявую москитную сетку.

— Он очень важный человек,— сказал нищий.— Двоюродный брат губернатора. Все достанет, все, что ни пожелаешь. Но свести тебя с ним может только тот, кто пользуется у него доверием.

— А ты пользуешься?

— Я на него работал,— сказал нищий и добавил с полной откровенностью: — Хочешь не хочешь, а приходится доверять.

— И губернатор знает об этом?

— Конечно нет. Губернатор человек крутой.

Водопроводные трубы то и дело громко заглатывали воду.

— Почему же он мне должен довериться?

— Ну, любителя выпить сразу видно. Ты еще не раз к нему придешь. У него товар хороший. Дай-ка мне твои пятнадцать песо.— Он дважды пересчитал монеты.— Получишь бутылку самого хорошего бренди из Веракруса. Помяни мое слово.— Свет погас, и они сидели в

темноте. Когда кто-нибудь из них двигался, кровать под ним скрипела.

Послышался голос:

— Бренди мне не нужно. Во всяком случае, не целую бутылку.

— Так что же тебе нужно?

— Я уже говорил — вино.

— Вино дорого.

— Это неважно. Или вино, или ничего.

— Айвовое?

— Нет, нет. Французское вино.

— У него иногда бывает из Калифорнии.

— Ну что ж, это мне годится.

— Сам-то он, конечно, получает все даром. С таможни.

Движок внизу снова начал тарахтеть, загорелся тусклый свет. Дверь отворилась, и хозяин поманил нищего; последовали длинные переговоры. Человек в поношенной одежде откинулся на кровати. Подбородок у него был порезан в нескольких местах — там, где рука с бритвой дрогнула,— лицо осунувшееся, болезненное; когда-то, вероятно, щеки были круглые, пухлые, но теперь ввалились — ни дать ни взять разорившийся делец.

Нищий вернулся. Он сказал:

— Тот господин сейчас занят, но скоро придет. Хозяин послал за ним мальчишку.

— Где он?

— Ему нельзя мешать. Он играет на бильярде с начальником полиции.— Нищий подошел к кровати, раздавив двух жуков босыми ногами. Он сказал: — Гостиница эта прекрасная. Ты где остановился? Ты ведь не здешний?

— Да, я здесь только проездом.

— Этот господин очень влиятельный человек. Хорошо бы угостить его. Ведь не унесешь же ты все с собой. Выпить можно и здесь.

— Мне бы оставить себе хоть немножко — взять домой.

— Какая разница, где пить. Я считаю, где есть стул и стакан, там и дом.

— Все-таки...— Свет опять погас, а молнии на горизонте взлетали, как занавески. Откуда-то издали сквозь москитную сетку в комнату докатились удары грома, похожие на гул, который доносится с другого конца города во время воскресного боя быков.

Нищий спросил по-дружески:

— А ты чем занимаешься?

— Да так, чем придется.

Они замолчали, прислушиваясь к шагам на деревянной лестнице. Дверь отворилась, но в темноте ничего не было видно. Чей-то голос отпустил ругательство — для порядка — и спросил:

— Кто тут? — Зажженная спичка осветила синеватую тяжелую челюсть и потухла. Движок затарахтел, и свет снова вспыхнул. Вошедший устало проговорил:— А, это ты.

— Это я.

Он был маленький, с широким не по росту, бледным лицом, одет в узкий серый костюм. Под жилетом у него выпячивался револьвер. Он сказал:

— У меня ничего нет. Ровным счетом ничего.

Нищий прошлепал через всю комнату и начал тихо и серьезно говорить что-то. За разговором он осторожно нажал босой ногой на начищенный до блеска ботинок своего собеседника. Тот испустил вздох, раздул щеки и подозрительно оглядел кровать, словно опасаясь, уж не распорядились ли тут посетители без него. Он резко проговорил, обращаясь к человеку в поношенной одежде:

— Значит, тебе нужно бренди? Из Веракруса? Это противозаконно.

— Не бренди. Бренди мне не нужно.

— А пиво, скажешь, плохо? — Поскрипывая ботинками по плиткам, он развязно, начальственно вышел на середину комнаты — губернаторский родственник! — И пригрозил: — Мне ничего не стоит тебя посадить.

Человек в поношенной одежде сказал, как и полагалось, приниженно:

— Конечно, ваше превосходительство...

— Думаешь, только мне и дела что поить каждого попрошайку, который...

— Я бы не стал вас беспокоить, но вот этот человек...

Губернаторский брат сплюнул.

— Но если вашему превосходительству угодно, я уйду!..

Тот резко проговорил:

— Я человек мягкий. Всегда делаю одолжение людям... когда это в моих силах и никому не вредит. Я человек с положением, понимаешь? Спиртное получаю легально.

— Да, конечно.

— И беру за него столько, сколько оно мне самому стоит.

— Конечно, конечно.

— А не брать, так по миру пойдешь.— Ступая осторожно, точно ему жали ботинки, он подошел к кровати и откинул одеяло.— Болтать любишь? — бросил он через плечо.

— Нет, я умею держать язык за зубами.

— Болтать-то болтай, только знай кому.— В тюфяке была большая дыра; он вытащил из нее пук соломы и снова запустил туда пальцы. Человек в поношенной одежде с деланным безразличием устремил взгляд на скверик за окном, на темные глинистые берега и на мачты парусников; позади них вспыхивали молнии, гром стал слышнее.

— Вот,— сказал губернаторский брат.— Это я могу тебе дать. Хорошее бренди.

— Да мне, собственно, не бренди нужно.

— Бери, бери, что дают.

— Тогда, пожалуй, верните мне мои пятнадцать песо.

Губернаторский брат вскричал:

— *Пятнадцать* песо? — Нищий поторопился объяснить, что этот человек хочет купить и немножко вина, и бренди. Сидя на постели, они стали яростно торговаться вполголоса. Губернаторский брат сказал: — Вино трудно достать. Бренди две бутылки я тебе дам.

— Одну бренди, а вторую...

— Это лучшее бренди. Из Веракруса.

— Но я пью вино... Если бы вы знали, как мне хочется вина...

— Вино я получаю по дорогой цене. Сколько ты можешь еще заплатить?

— У меня осталось всего-навсего семьдесят пять сентаво.

— Тогда бери бутылку текилы.

— Нет, нет.

— Ну, давай еще пятьдесят сентаво. Бутылка большая.— Он снова начал копаться в тюфяке, вытаскивая оттуда солому. Нищий подмигнул человеку в поношенной одежде и показал, будто откупоривает бутылку и наливает вина в стакан.

— Вот,— сказал губернаторский брат.— Хочешь — бери, хочешь — нет.

— Возьму, возьму.

Губернаторский брат сразу оставил свой грубый тон. Он потер руки и сказал:

— Вечер какой душный. Дожди в этом году, наверно, рано начнутся.

— Не окажет ли мне ваше превосходительство честь выпить бренди в ознаменование моей покупки?

— Ну что ж... можно.

Нищий отворил дверь и крикнул, чтобы принесли стаканы.

— Давно я не пил вина,— сказал губернаторский брат.— Для тоста оно, пожалуй, больше подходит.

— Конечно,— сказал человек в поношенной одежде.— Как вашему превосходительству будет угодно.— С мучительным беспокойством он смотрел, как бутылку откупоривают. Он сказал:— Если позволите, я лучше выпью бренди,— и заставил себя улыбнуться кривой улыбкой, глядя на убывающее в бутылке вино.

Сидя на кровати, все трое чокнулись; нищий пил бренди.

Губернаторский брат сказал:

— Это вино моя гордость. Прекрасное вино. Самое лучшее — из Калифорнии.— Нищий подмигнул, сделал знак рукой, и человек в поношенной одежде сказал:

— Еще стаканчик, ваше превосходительство, и могу ли я порекомендовать вам... бренди.

— Бренди хорошее, но я все-таки выпью вина.— Они наполнили свои стаканы. Человек в поношенной одежде сказал:

— Я хочу взять вино домой... угощу свою старушку. Она любит пропустить стаканчик.

— И правильно делает,— сказал губернаторский брат, осушая свой стакан.— Значит, у тебя есть старушка?

— У всех у нас есть.

— Ты счастливчик. Моя умерла.— Его рука потянулась к бутылке, схватила ее.— Иной раз тоскую по ней. Я звал свою «дружок».— Он наклонил бутылку над стаканом.— С твоего разрешения?

— Пожалуйста, ваше превосходительство,— уныло проговорил человек в поношенной одежде и сделал большой глоток бренди. Нищий сказал:

— Старушка и у меня есть.

— Ну и что? — оборвал его губернаторский брат. Он откинулся к стене, и кровать под ним скрипнула. Он сказал: — Я всегда говорю, женское влияние благотворнее мужского, женщина склоняет нас к миру, добру, милосердию. В годовщину смерти моей старушки я хожу на ее могилу — с цветами.

Человек в поношенной одежде чуть не икнул, но сдержался из вежливости.

— Если бы я тоже мог...

— Но ты же сказал, что твоя мать жива.

— Я думал, вы говорите о своей бабушке.

— Что я могу о ней сказать? Я ее даже не помню.

— Я тоже нет.

— А я помню,— сказал нищий.

Губернаторский брат сказал:

— Ты слишком много болтаешь.

— Может, послать его, чтобы завернул бутылку? Как бы меня не увидели с ней. Я не хочу подводить ваше превосходительство.

— Подожди, подожди. Куда нам торопиться? Ты здесь желанный гость. Все, что есть в этой комнате, все к твоим услугам. Выпей вина.

— Пожалуй, бренди...

— Тогда с твоего разрешения...— Он наклонил бутылку и пролил немного вина на одеяло.— О чем это мы говорили?

— О наших бабушках.

— Нет, не о них... Я свою даже не помню. Самое первое мое воспоминание...

Дверь отворилась. Хозяин сказал:

— Начальник полиции поднимается по лестнице.

— Прекрасно. Проведите его сюда.

— А это ничего?

— Конечно. Начальник хороший человек.— Он сказал, обращаясь к своим собутыльникам: — Но на бильярде с ним держи ухо востро.

В дверях появился коренастый мужчина в фуфайке, в белых штанах и с револьвером в кобуре. Губернаторский брат сказал:

— Входи, входи. Как твои зубы? Мы тут говорим о наших бабушках.— Он резко сказал нищему: — Подвинься. Уступи место хефе.

Хефе стоял в дверях, вид у него был несколько смущенный. Он сказал:

— Так, так...

— У нас тут небольшая пирушка. Может, присоединишься к нам? Сочтем за честь.

При виде вина лицо у хефе сразу просветлело.

— Ну что ж, стаканчик... *пива* всегда кстати.

— Правильно. Налей хефе пива.— Нищий налил вина в свой стакан и подал его хефе. Тот сел на кровать и выпил, потом сам взял бутылку. Он сказал:

— Хорошее пиво. Очень хорошее. У вас только одна бутылка? — Человек в поношенной одежде смотрел на него, застыв от волнения.

— Увы, только одна.

— Ваше здоровье!

— Так о чем же,— спросил губернаторский брат,— мы говорили?

— О вашем первом воспоминании,— сказал нищий.

— Первое мое воспоминание...— не спеша начал хефе.— Но этот господин ничего не пьет.

— Я выпью бренди — немножко.

— Ваше здоровье!

— Ваше здоровье!

— Первое, что мне запомнилось более или менее ясно, это мое первое причастие. Ах, какой душевный трепет оно вызвало! Я стоял в окружении родителей...

— Сколько же у тебя их было?

— Двое, конечно.

— Тогда они не могли тебя окружать, на это требуется по крайней мере четверо. Ха-ха!

— Ваше здоровье!

— Ваше здоровье!

— И вот какая ирония судьбы. Мой тяжкий долг повелел мне присутствовать при расстреле того старика, священника — от которого я принял первое причастие. Не постыжусь признаться, но у меня лились слезы. Я утешаю себя тем, что он, вероятно, причислен к лику святых и молится за нас. Не каждый заслужил заступническую молитву святого.

— Неисповедимы пути...

— Да, жизнь — это загадка.

— Ваше здоровье!

Человек в поношенной одежде сказал:

— Стаканчик бренди, хефе?

— В этой бутылке так мало осталось, что я лучше...

— Мне очень хочется отнести немножко матери.

— Да тут на самом дне. Ты ее обидишь. Один осадок.— Он опрокинул бутылку над своим стаканом и хмыкнул: — Если у пива бывает осадок.— Потом, задержав руку с бутылкой, удивленно проговорил: — Да ты плачешь, друг? — Все трое, чуть приоткрыв рты, уставились на человека в поношенной одежде. Он сказал:

— Со мной всегда так — от бренди. Простите меня, господа. Я быстро пьянею, и мне начинает видеться...

— Что?

— Сам не знаю. Будто все человеческие надежды угасают.

— Да ты поэт!

Нищий сказал:

— Поэт — душа своей страны.

Окна белым полотнищем осветила молния, где-то над головой у них грянул удар грома. Единственная лампочка под потолком мигнула и погасла.

— Плохи дела у моих полицейских,— сказал хефе, раздавив ногой слишком близко подползшего жука.

— Почему плохи дела?

— Дожди рано начинаются. Они ведь рыщут.

— За тем гринго?..

— Да что там гринго! Губернатору стало известно, что у нас в штате все еще есть священник, а вы знаете, как он к ним относится. Я бы на его месте не трогал беднягу — пусть бродит. Все равно умрет от голода или от лихорадки или сдастся. От него теперь ни добра, ни зла. Да и занялись им всего два-три месяца назад, а до этого никто и не замечал, что он здесь.

— Тогда вам надо поторопиться.

— Да никуда он не денется. Разве только перейдет границу. У нас есть человек, который знает его. Говорил с ним, им пришлось заночевать вместе. Давайте о чем-нибудь другом побеседуем. Полицейским не позавидуешь.

— Где он сейчас, по-твоему?

— Никогда не догадаешься.

— Почему?

— Здесь — то есть у нас в городе. Да, да, мы пришли к такому выводу. В деревнях начали брать заложников, ему деваться некуда. Его отовсюду гонят, не хотят иметь с ним дело. Так что мы пустили того человека, о котором я говорил, как собаку по следу. Не сегодня, так завтра он на него наткнется, а тогда...

Человек в поношенной одежде спросил:

— Многих заложников вам пришлось расстрелять?

— Пока нет. Троих-четверых. Ну-с, приканчиваю пиво.— Он с сожалением опустил стакан.— Теперь, может, попробовать ваш... назовем его сидрал.

— Да, пожалуйста.

— А мы с тобой никогда не встречались? Твое лицо мне...

— По-моему, я не имел чести.

— Вот вам еще одна загадка,— сказал хефе, протягивая свою длинную толстую руку и легонько отталкивая нищего к медным шишечкам кровати.— Иногда тебе кажется, что ты уже видел человека, бывал в каком-то месте... Во сне это было или в прошлой жизни? Один врач говорил, будто вся причина тут в фокусе зрения. Но он американец. Материалист.

— Я помню, как...— сказал губернаторский брат. Молния высветила порт, над гостиничной крышей ударил гром. Так было во всем штате — снаружи гроза, а за стенами разговоры, разговоры и бесконечно повторяющиеся слова «загадка», «душа», «источник жизни». Они сидели на кровати и разговаривали, ибо не было у них ни дел, ни веры, ни других мест получше, куда можно пойти.

Человек в поношенной одежде сказал:

— Ну, мне, пожалуй, пора.

— Куда ты?

— Да... к знакомым,— неопределенно ответил он и, описав руками широкий круг, включил в него все свои несуществующие знакомства.

— Бутылку бери с собой,— сказал губернаторский брат и добавил, признавая очевидный факт: — Ты же за нее заплатил.

— Спасибо, ваше превосходительство.— Он взял бутылку. Бренди в ней было пальца на три. Вина, конечно, совсем не осталось.

— Спрячь ее, спрячь, любезный,— резко проговорил губернаторский брат.

— Да, да, ваше превосходительство. Я поостерегусь.

— Какое он тебе превосходительство? — сказал хефе. Он заржал и столкнул нищего с кровати на пол.

— Да нет, я...— Он бочком вышел из номера, все еще с пятнами слез под красными. воспаленными глазами, и услышал из коридора, как они снова завели свой никуда не ведущий разговор о «загадке», «душе», «тайне».

Жуков на улице больше не было; их, видимо, смыло дождем. Дождевые струи падали отвесно, с каким-то мерным упорством, точно вбивали гвозди в гробовую крышку. Но в воздухе стояла все такая же духота; пот и дождь пропитывали одежду. Священник задержался на минуту в гостиничных дверях, слушая, как позади тарахтит движок, потом пробежал несколько ярдов до другого дома и, юркнув в нишу у входа, поглядел оттуда мимо гипсового генеральского бюста на пришвартованные к причалу парусники и старую баржу с железной трубой. Идти ему было некуда; дождь нарушил все его расчеты: он думал, что как-нибудь перебьется — заночует на скамейке или у реки.

Мимо по улице, отчаянно ругаясь, прошагали к набережной двое солдат. Они шли под дождем, не обращая на него никакого внимания, словно все до того плохо, что есть дождь или нет дождя — это уже неважно... Священник толкнул деревянную дверь, доходившую ему только до колен, и вошел в таверну: штабеля бутылок с минеральной водой, единственный бильярдный стол, над ним нанизанные на веревку кольца — счет очков; трое-четверо мужчин, чья-то кобура, положенная на стойку. Священник торопился спрятаться от ливня и, войдя, нечаянно толкнул под локоть человека, готовившегося к удару кием. Игрок повернулся и яростно крикнул:

— Матерь божия! — Он был в красной рубашке. Неужели нигде, даже на минуту, нельзя почувствовать себя в безопасности?

Священник униженно извинился, попятился к двери и, опять сделав неосторожное движение, задел за стену; бутылка с бренди звякнула у него в кармане. На лицах, обращенных к нему, появилась недобрая усмешка: почему не подшутить над незнакомцем?

— Что это у тебя в кармане? — спросил человек в красной рубашке. Юнец, ему, вероятно, и двадцати лет не было — золотой зуб, насмешливая, самодовольная складка у рта.

— Лимонад,— ответил священник.

— А зачем ты с собой лимонад таскаешь?

— Я принимаю хинин на ночь... запиваю лимонадом.

Краснорубашечник вразвалку подошел к нему и тронул кием его карман.

— Лимонад, говоришь?

— Да, лимонад.

— Ну-ка, дай взглянуть на твой лимонад.— Он горделиво повернулся к своим партнерам и сказал: — За десять шагов контрабандиста чую.— Потом сунул руку священнику в карман и нащупал бутылку с бренди.— Вот,— сказал он.— Что я говорил? — Священник рванулся к двери и выскочил под дождь. Позади кто-то крикнул:

— Держи его! — Веселью их не было конца.

Он побежал к площади, свернул налево, потом направо — на улицах, к счастью, было темно, луну закрывали тучи. Если держаться подальше от освещенных окон, его не разглядят. Он слышал их перекличку вдали. Они не прекращали погони — это было инте-

реснее, чем играть на бильярде; где-то послышался свисток — к ним присоединилась полиция.

И вот в этот-то город он мечтал попасть, получив повышение и оставив в Консепсьоне долги — столько, сколько подобало. Сворачивая с одной улицы на другую, он вспомнил собор, Монтеса и одного знакомого каноника. Что-то, глубоко запрятанное в нем — воля к спасению,— придало на миг чудовищную смехотворность тому, что происходило с ним. Он усмехнулся, перевел дух и снова усмехнулся. В темноте слышались свистки и улюлюканье, а дождь все лил и лил. Дождевые струи приплясывали на ненужных теперь цементных плитах бывшего кафедрального собора (играть в пелоту при такой жаре никому не пришло бы в голову; вдобавок на краю площадки виселицами стояли железные качели). Он снова побежал вниз по склону холма. Его осенила счастливая мысль.

Крики слышались все ближе и ближе, и вот от реки к нему двинулись новые преследователи. Они действовали методически. Он понял это по их размеренной поступи... Полицейские, официальные охотники. Он был между теми и другими — между любителями и профессионалами. Но он знал, где та калитка, которая нужна ему. Он толкнул эту калитку, вбежал во дворик и захлопнул ее за собой.

Тяжело дыша, он стоял в темноте и прислушивался к приближающимся шагам, а дождь все хлестал и хлестал. Потом он почувствовал, что из окна на него кто-то смотрит, увидел маленькое, морщинистое лицо, темное, как те засушенные головы, что покупают туристы. Он подошел к оконной решетке и сказал:

— Падре Хосе?

— Вон туда.— В неровном огоньке свечи в окне появилось еще одно лицо, за ним — третье; лица вырастали, как из-под земли. Он прошлепал по лужам через дворик и стал стучать в дверь, чувствуя, что за ним наблюдают.

Он не сразу узнал падре Хосе; тот стоял в нелепой расходящейся книзу колоколом ночной рубашке, с лампой в руке. Последний раз он видел его на церковном совете — сидит на задней скамейке, кусает ногти, не хочет оказаться на виду. Это было лишнее — деловитое кафедральное духовенство даже не знало его имени. А теперь, как ни странно, падре Хосе завоевал своего рода известность — не им чета.

— Хосе,— тихо проговорил священник из темноты, моргая залитыми дождем глазами.

— Кто вы такой?

— Ты не помнишь меня? Правда, с тех пор прошли годы... Не помнишь церковный совет в соборе?

— О господи! — сказал падре Хосе.

— Меня ищут. Я думал, может, ты приютишь меня... на одну ночь?

— Уходи,— сказал падре Хосе.— Уходи.

— Они не знают, кто я. Думают, контрабандист. Но в полицейском участке все поймут.

— Тише... Моя жена...

— Мне бы только уголок,— прошептал он. Ему снова стало страшно. Опьянение, наверно, уже проходило (в этом влажном и жарком климате быстро трезвеют: алкоголь выступает потом под мышками, каплями стекает со лба), а может быть, к нему снова вернулась жажда жизни, какой бы она ни была.

Лампа освещала полное ненависти лицо падре Хосе. Он сказал:

— Почему ты пришел ко мне? Почему ты думаешь, что... Не уйдешь, я позову полицию. Ты знаешь, что я за человек теперь?

Он умоляюще проговорил:

— Ты хороший человек, Хосе. Я всегда это знал.

— Не уйдешь, я крикну.

Он пытался вспомнить, откуда у Хосе такая ненависть к нему. На улице слышались голоса, пререкания, стук в двери. Что они, обыскивают дом за домом? Он сказал:

— Если я когда-нибудь обидел тебя, Хосе, прости мне. Я был плохой священник — самодовольный, гордый, заносчивый. И всегда знал в глубине души, что ты лучше.

— Уходи! — взвизгнул Хосе.— Уходи! Нечего здесь делать мученикам. Я не священник больше. Оставь меня в покое. Я живу как живется.— Он надулся, собрав всю свою ярость в плевок, и слабо харкнул, метя ему в лицо, но не попал — плевок бессильно шлепнулся на землю. Он сказал: — Уходи и помирай поскорее. Вот что тебе осталось,— и захлопнул дверь. Калитка распахнулась, во дворик вошли полицейские. Он успел увидеть, как Хосе выглядывает из окна, но тут рядом с ним выросла огромная фигура в белой ночной рубашке, обхватила его и оттолкнула прочь, словно ангел-хранитель, ставший между ним и миром, полным губительных страстей и борьбы. Кто-то сказал:

— Попался! — Это был голос молодого краснорубашечника. Священник разжал кулак и уронил у стены дома падре Хосе комочек бумаги. Он сдал последние позиции, порвал последнюю связь с прошлым.

Он знал, что наступило начало конца — после всех этих лет! Бутылку вытащили у него из кармана, а он стоял и читал про себя покаянную молитву, не вникая в ее смысл. Это напоминало формальное предсмертное покаяние; истинное покаяние — плод многих упражнений и дисциплины, одного страха мало. Он заставил себя думать о дочери, стыдясь своего греха, но в нем говорила только изголодавшаяся любовь — что-то ждет ее в жизни? А грех был такой давности, что позор потускнел, точно краски на старой картине, оставив после себя лишь нечто вроде умиления. Краснорубашечник разбил бутылку о камни мощеного дворика, и вокруг запахло спиртным — правда, не очень сильно, потому что бренди в бутылке было на дне.

Потом его повели; теперь, когда он попался, все они держались дружелюбно, подсмеиваясь над его попытками скрыться — все, кроме краснорубашечника, которому он испортил игру. Он терялся, не зная, как отвечать на их шутки; мысль о спасении овладела им как мучительная, навязчивая идея. Когда они поймут, кто он такой на самом деле? Когда он увидит метиса или лейтенанта, который уже допрашивал его? Они кучкой шли по улице, медленно поднимаясь вверх по холму к площади. У входа в полицейский участок послышался стук ружейного приклада о цемент. Возле грязной оштукатуренной стены чадила маленькая лампа, во дворе покачивались гамаки, провисшие под спящими телами, точно сетки, в которых носят кур.

— Садись,— сказал ему полицейский, по-дружески подталкивая его к скамейке. Ну вот и все: за дверью взад и вперед ходил караульный, во дворе от гамаков доносился нескончаемый храп.

Кто-то заговорил с ним; он беспомощно поднял глаза:

— Что? — Между полицейскими и краснорубашечником шел спор — будить или не будить кого-то.

— Он обязан по долгу службы,— твердил краснорубашечник. Передние зубы у него выступали вперед, как у зайца. Он сказал: — Я буду жаловаться губернатору.

Полицейский спросил:

— Ты ведь признаешь себя виновным?

— Да,— ответил священник.

— Ну вот. Чего тебе еще надо? Оштрафуем на пять песо. Зачем беспокоить человека.

— А кому пойдут эти пять песо?

— Это тебя не касается.

Священник вдруг сказал:

— Никому не пойдут.

— Никому?

— У меня всего-навсего двадцать пять сентаво.

Дверь в соседнюю комнату распахнулась, и оттуда вышел лейтенант. Он сказал:

— Что за крик вы тут подняли? — Полицейские неохотно, кое-как отдали ему честь.

— Я задержал человека, у которого обнаружено спиртное,— сказал краснорубашечник.

Священник сидел, опустив глаза.

— ...ибо распяли его... распяли... распяли...— Покаяние беспомощно спотыкалось о заученные слова молитвы. Он ничего не чувствовал, кроме страха.

— Ну и что? — сказал лейтенант.— При чем тут ты? Мы таких десятками задерживаем.

— Ввести его? — спросил полицейский.

Лейтенант взглянул на приниженно поникшую фигуру на скамейке.

— Встать,— сказал он.

Священник встал. Вот сейчас, думал он, сейчас... Он поднял глаза. Но лейтенант смотрел на слонявшегося у входа караульного. На его смуглом, худом лице вспыхнули беспокойство, раздражение.

— Он без денег,— сказал полицейский.

— Матерь божия! — сказал лейтенант.— Когда вы научитесь?..— Он шагнул к караульному и оглянулся: — Обыскать его. Если денег нет, посадить в камеру. Дайте ему какую-нибудь работу.— Он вышел во двор и, размахнувшись, ударил караульного по уху. Он сказал:— Спишь на ходу. А ты должен чеканить шаг горделиво...— И повторил:— Горделиво.— Маленькая ацетиленовая лампа чадила у побеленной стены, со двора несло мочой, и полицейские спокойно спали в провисших гамаках.

— Записать его? — сказал сержант.

— Да, конечно,— не глядя на священника, бросил на ходу лейтенант и быстрой, нервной походкой прошел мимо лампы во двор. Он стал там под дождем, заливавшим его щегольской мундир, и огляделся по сторонам. Мысли его были далеко — точно какая-то тайная страсть нарушила заведенный порядок привычной ему жизни. Он вернулся назад. Он не находил себе места.

Сержант втолкнул священника во внутреннее помещение участка; на облезлой стене висел яркий рекламный календарь — темнокожая метиска в купальном костюме рекламировала минеральную воду, а рядом карандашная надпись, сделанная аккуратным, учительским почерком, гласила, что человеку нечего терять, кроме своих цепей.

— Фамилия? — спросил сержант. Не успев подумать, священник ответил:

— Монтес.

— Где живешь?

Священник назвал наугад какую-то деревню. Он был поглощен созерцанием собственного портрета. Вот он сидит среди первопричастниц в накрахмаленных белых платьях. Кто-то обвел чернилами его лицо, чтобы оно выделялось. На стене был еще один портрет — гринго из Сан-Антонио в штате Техас, которого разыскивали по обвинению в убийстве и ограблении банка.

— Ты, наверно, купил бренди,— осторожно проговорил сержант,— у незнакомого тебе человека...

— Да.

— Которого опознать не сможешь?

— Да.

— Молодец! — одобрительно проговорил сержант; ему явно не хотелось начинать расследование. Он попросту взял священника за локоть и вывел во двор; в другой руке у него был большой ключ вроде тех, что имеют символическое значение в постановках моралите или волшебных сказок.

Спящие завозились в гамаках, через край одного свесилась небритая физиономия, точно часть туши, оставшейся непроданной на прилавке мясника; большое рваное ухо, голое, все в черной шерсти бедро. Скоро появится метис; он, конечно, узнает меня и просияет от радости.

Сержант отпер низкую зарешеченную дверь и оттолкнул ногой что-то валявшееся у входа.

— Люди здесь хорошие, здесь все хорошие,— сказал он, шагая по телам спящих. В воздухе стоял ужасающий смрад, в кромешной тьме кто-то плакал.

Священник задержался на пороге, ничего не видя перед собой. В бугристой темноте что-то двигалось, шевелилось. Он сказал:

— У меня пересохло во рту. Можно выпить воды?

Вонь ударила ему в нос, к горлу подступила тошнота.

— Потерпи до утра,— сказал сержант.— Сегодня ты уже достаточно выпил.— И, дружелюбно положив свою большую руку ему на спину, втолкнул его в камеру и захлопнул дверь. Священник наступил кому-то на руку, на плечо и, припав лицом к решетке, в ужасе пролепетал:

— Здесь стать некуда. Я ничего не вижу. Кто эти люди? — От гамаков донесся хохот сержанта.

— Hombre[1],— сказал он,— hombre, ты что, никогда в тюрьме не сидел?

## Глава 3

Голос, где-то у самых его ног, проговорил:

— Курево есть? — Он дернулся назад и наступил кому-то на руку. Другой голос повелительно сказал:— Воды, скорее! — будто обладатель его думал, что, если новичка застать врасплох, он все даст.

— Курево есть?

— Нет.— Он тихо добавил:— У меня ничего нет,— и ему показалось, что враждебность поднимается снизу, как дым. Он снова двинулся. Кто-то сказал:

— Осторожнее, там параша.— Вот откуда несло вонью. Он замер на месте, дожидаясь, когда к нему вернется зрение. Дождь на улице стихал, припуская лишь на минутку, и гром удалялся. Между вспышками молний и громовыми раскатами уже можно было сосчитать до сорока. На полпути к морю или на полпути к горам. Он стал нащупывать ногой, где бы опуститься на пол, но свободного места не было. При вспышке молнии он увидел гамаки в дальнем конце двора.

— Поесть не найдется? — спросил чей-то голос и, не дождавшись ответа, повторил:— Поесть не найдется?

— Нет.

— Деньги есть? — спросил кто-то другой.

Внезапно футах в пяти от него послышался тоненький визг — женский. Кто-то устало сказал:

— Вы там... нельзя ли потише.— Осторожные движения и снова приглушенные, но не болезненные стоны. Он ужаснулся, поняв, что даже здесь, в тесноте и мраке, кто-то ищет наслаждения. И снова двинул ногой и дюйм за дюймом стал пробираться подальше от зарешеченной двери. Поверх людских голосов, ни на минуту не умолкая, слышался другой звук, точно шум работы маленького движка с при-

[1] Друг *(исп.)*.

водным ремнем. Шум заполнял минуты тишины сильнее человеческого дыхания. Это были москиты.

Священник отошел от решетки футов на шесть, и его глаза уже начали различать головы... Может быть, в небе стало светлее? Головы вырастали вокруг, точно тыквы. Кто-то спросил:

— Ты кто?— Он не ответил, в страхе пробираясь вперед, и вдруг наткнулся на заднюю стену: ладонь уперлась в мокрые камни. Тюрьма была не больше двенадцати футов в глубину. Оказалось, что тут можно втиснуться и сесть, если подобрать под себя ноги. К нему привалился старик; он понял это по легчайшему весу его тела, по слабому, неровному дыханию. То ли старик на пороге смерти, то ли ребенок на пороге жизни — но ребенок вряд ли мог очутиться здесь. Старик вдруг сказал:

— Это ты, Катарина? — и испустил долгий терпеливый вздох, точно он прождал долго-долго и может ждать еще дольше.

Священник сказал:

— Нет. Не Катарина.— Когда он заговорил, все умолкли, вслушиваясь в его слова, точно они несли какую-то важную весть. Потом голоса и движение снова возникли. Но звук собственного голоса и общение с соседом успокоили его.

— Нет, конечно нет,— сказал старик.— Я и не думал, что ты Катарина. Она сюда не придет.

— Это твоя жена?

— Какая жена? У меня нет жены.

— А Катарина?

— Это моя дочь.— Все снова прислушались к ним — все кроме двух невидимок, которые были заняты только своим скрытым темнотой, стесненным в пространстве наслаждением.

— Ее сюда, может, и не пустят.

— Она сама не придет,— с твердой уверенностью, безнадежно произнес старческий голос. Поджатые ноги начали затекать.

Священник сказал:

— Если она тебя любит...— В стороне, среди груды неясных теней, женщина снова вскрикнула — это был завершающий все крик протеста, отрешенности и наслаждения.

— Во всем виноваты священники,— сказал старик.

— Священники?

— Священники.

— Почему священники?

— Священники.

У его колен кто-то тихо сказал:

— Он сумасшедший. Что с ним говорить.

— Это ты, Катарина? — Помолчав, старик добавил: — Я знаю, тебя нет. Я просто так спросил.

— Вот мне есть на что пожаловаться,— продолжал тот же голос.— Человек обязан защищать свою честь. Ты согласен со мной?

— Честь? Я не знаю, что такое честь.

— Я был в таверне, и ко мне подошел один человек и сказал: «Твоя мать шлюха». Что я мог поделать? У него был револьвер. Тогда я решил ждать, больше мне ничего не оставалось. Он пил пиво, много выпил, а я знал, что так оно и будет, и когда он вышел, пошатываясь, я пошел за ним. У меня была бутылка, и я разбил ее об стену. Ведь револьвера со мной не было. Его родные заручились поддержкой хефе, иначе я бы здесь не сидел.

— Убить человека — это страшное дело.

— Ты говоришь как священник.

— Во всем виноваты священники,— сказал старик.— Ты прав.

— О чем это он?

— О чем бы этот старый хрыч ни говорил, слушать его нечего. Я тебе вот еще что расскажу...

Послышался женский голос:

— Священники отобрали у него дочь.

— Почему?

— И правильно сделали. Она незаконнорожденная.

При слове «незаконнорожденная» сердце у него сжалось, как у любовника, когда он услышит из чьих-то уст название цветка, сходное с женским именем. Незаконнорожденная... Это слово пронзало горьким счастьем. Оно приблизило к нему его дочь: вот она, такая незащищенная, сидит под деревом возле мусорной кучи. Он повторил:

— Незаконнорожденная?— словно называя ее по имени с нежностью, скрытой за равнодушием.

— Священники решили, что он не годится в отцы. Но когда они бежали, девочке пришлось вернуться к нему. Куда ей было идти? — Счастливый конец, подумал он, но женщина добавила: — Она, конечно, возненавидела его. Кое-что ей объяснили.— Священник представил себе говорившую: маленький рот, поджатые губы — образованная женщина. Как она попала сюда?

— А почему он в тюрьме?

— У него нашли распятие.

От параши несло все сильнее и сильнее; ночь окружала их точно стеной без всякой вентиляции, и он услышал, как струя мочи ударяет в стенки жестяного ведра. Он сказал:

— Не их это дело...

— Они поступили правильно. Это смертный грех.

— Неправильно учить ребенка ненавидеть отца.

— Они знают, что правильно, что неправильно.

Он сказал:

— Такое могли сделать только плохие священники. Грех остался в прошлом. Их долг учить... учить любви.

— Ты не знаешь, что правильно. А священники знают.

После минутного колебания он отчетливо проговорил:

— Я сам священник.

Это был конец; надеяться больше не на что. Десять лет травли подошли к своему завершению. Вокруг него все смолкло. Тюрьма — как мир: в ней всего было много — и похоти, и преступлений, и несчастной родительской любви. Тюрьма смердела. Но он понял, что в конце концов здесь можно обрести покой, если знаешь, как мало тебе осталось жить.

— Священник? — наконец сказала женщина.

— Да.

— А *они* это знают?

— Нет еще.

Чьи-то пальцы нащупали его рукав. Голос сказал:

— Зачем вы говорите об этом? Отец, кого здесь только нет! И убийцы и...

Голос, поведавший ему о преступлении, сказал:

— Не оскорбляй меня. Я убил человека, но это еще не значит, что...— Повсюду слышался шепот. Тот же голос продолжал с горечью:— Ты думаешь, я доносчик? Только потому, что когда тебе говорят: «Твоя мать шлюха...»

Священник сказал:

— Доносить на меня никому не надо. Это грех. Когда рассветет, они сами все узнают.

— Вас расстреляют, отец,— сказал женский голос.

— Да.

— Вы боитесь?

— Да. Конечно.

Из угла, где те двое наслаждались, до него донесся новый голос — грубый, настойчивый:

— Мужчины этого не боятся.

— Правда? — сказал священник.

— Будет немного больно. Чего ж вы хотите? Так и должно быть.

— И все-таки,— сказал священник,— я боюсь.

— Зубная боль и то хуже.

— Не каждый такой храбрец.

Голос презрительно проговорил:

— Вы, верующие, все на один лад. Христианство делает из вас трусов.

— Да. Может, ты и прав. Видишь ли, в чем суть,— я плохой священник и плохой человек. Кончать жизнь не покаявшись...— Он смущенно хмыкнул.— Тут невольно призадумаешься.

— Вот-вот. Об этом и речь. Вера в бога делает человека трусом.— Голос звучал торжествующе, словно говорившему удалось доказать какую-то истину.

— Как же быть тогда? — сказал священник.

— Лучше не верить — и не будешь трусом.

— Так, понимаю. Значит, если мы поверим, что губернатора не существует и хефе тоже нет, если мы прикинемся, будто тюрьма не тюрьма, а сад, какие из нас выйдут храбрецы!

— Чепуха!

— Но когда мы поймем, что тюрьма — это все-таки тюрьма и что губернатор там, на площади, действительно существует, будет ли иметь значение, если час-два мы были храбрецами?

— Никто не скажет, что эта тюрьма не тюрьма.

— Да? Тебе так кажется? Я вижу, ты мало слушаешь, что говорят политики.— Ноги у него мучительно сводило, в ступнях начались судороги, но он не мог и шевельнуться, чтобы облегчить боль. Полночь еще не наступила, впереди были нескончаемые часы темноты.

Женщина вдруг сказала:

— Подумать только! Среди нас мученик.

Священник тихонько засмеялся; он не мог удержаться от смеха. Он сказал:

— Вряд ли мученики такие, как я.— И вдруг к нему вернулась серьезность; он вспомнил слова Марии. Нехорошо, если из-за него над Церковью будут насмехаться. Он сказал: — Мученики — святые люди. Если человек погиб, это еще не значит, что... Нет. Говорю вам, у меня на душе смертный грех. Я делал такое, о чем даже рассказать вам не посмею. Могу только шепотом поведать о своих грехах в исповедальне.— Его слушали внимательно, как в церкви. Он подумал: ведь здесь обязательно сидит где-нибудь Иуда, но в лесной хижине Иуда был рядом. В сердце его родилась огромная, безрассудная любовь к обитателям этой тюрьмы. И ему вспомнилось: «Господь так возлюбил мир...» Он сказал:— Дети мои, не считайте меня мучеником — они совсем не такие. Вы дали мне прозвище. Я слышал его, часто слышал. Пьющий падре. А здесь я потому, что у меня в кармане нашли бутылку бренди.— Он попытался высвободить из-под себя ноги; их уже не сводило судорогой; они онемели, всякое ощущение пропало. А, пусть! Ему уже не долго пользоваться ими.

Старик бормотал что-то, и мысли священника снова вернулись к Бригитте. Знание жизни было в ней, как понятное хирургу затемнение на рентгеновском снимке. И ему страстно, до боли в груди хотелось одного — спасти ее, но диагноз был поставлен: болезнь неизлечима.

Женщина скорбно проговорила:

— Глоток бренди, отец... Это же простительно.— Он гадал, за что ее посадили в тюрьму,— наверно, держала дома какую-нибудь религиозную картинку. Голос у нее звучал настойчиво, нудно, как у всех набожных женщин. Они с ума сходят из-за этих картинок. Что стоит сжечь их? Разве в картинках дело?.. Он строго сказал:

— И я не только пьяница.— Его всегда беспокоила судьба набожных женщин; они, как и политики, живут иллюзиями; он всегда за них боялся. Сколько таких, не ведающих милосердия, умирало в непоколебимом самодовольстве. Долг каждого отучать их по мере возможности от этих ложных понятий о добре. Он сказал, четко выговаривая каждое слово:— У меня есть ребенок.

Да, это была достойная женщина! Ее скорбный голос не умолкал в темноте. Он недослышал, что она говорит,— что-то про доброго разбойника. Он сказал:

— Дитя мое, разбойник покаялся. А я — нет.— И вспомнил, как девочка вошла в хижину,— злобный, все понимающий взгляд, а за спиной у нее яркое солнце. Он сказал:— Я не умею каяться.— Это была правда — он утратил такую способность. Он не мог сказать: «Ах, если бы я не согрешил тогда», потому что теперь этот грех казался ничтожным и плод его он любил. Ему нужен был исповедник, который медленно протащил бы его по томительным переходам, ведущим к ужасу, горю и раскаянию.

Женщина молчала; он подумал: может, я был слишком суров с ней? Если она укрепится в своей вере, сочтя его мучеником... Но он отверг эту мысль: от правды отступать нельзя. Он чуть передвинул ноги и спросил:

— А когда светает?

— В четыре... в пять,— ответил ему кто-то.— Откуда нам знать, отец? Ведь часов у нас нет.

— Ты давно здесь сидишь?

— Три недели.

— И вас держат тут круглые сутки?

— Нет. Нас всех выводят во двор на уборку.

Он подумал: вот когда меня узнают, а может, и раньше, потому что здесь непременно найдется доносчик. Он замолчал, погрузившись в размышления, потом сказал:

— За меня обещано вознаграждение. То ли пятьсот, то ли шестьсот песо, точно я не знаю.— И снова замолчал. Нельзя склонять на донос — это все равно что толкать человека на совершение греха, но если здесь есть доносчик, зачем ему, несчастному, лишаться награды. Пойти на такое страшное дело, равносильное убийству, и ничего не получить взамен при жизни... Вывод был прост: это несправедливо.

— Кому здесь нужны,— сказал кто-то,— их поганые деньги.

Его сердце снова тронула неизъяснимая любовь. Я такой же преступник, как все они... И он почувствовал близость к этим людям, неведомую ему в прежние годы, когда верующие целовали его черную нитяную перчатку.

Голос набожной женщины истерически воззвал к нему:

— Отец! Это же безрассудство! Зачем признаваться им? Вы же не знаете, кто нас окружает. Воры и убийцы...

— А ты как сюда попала?— спросил чей-то злобный голос.

— У меня были хорошие книги дома,— с непереносимой гордостью заявила она. Ему не удалось поколебать ее самодовольство. Он сказал:

— Они всюду есть. И в тюрьме и на воле.

— Хорошие книги?

Он тихо засмеялся:

— Нет, нет. Воры, убийцы. Если б у тебя было знание жизни, дитя мое, ты бы поняла, что на свете есть вещи и похуже.— Старик уснул, привалившись головой ему к плечу, и сердито бормотал что-то во сне. Видит бог, переменить положение здесь было нелегко, и чем дальше, тем больше немели у него ноги и тем труднее ему становилось. Он не решался двинуть плечом — старик проснется и увидит перед собой еще одну мучительную ночь. Что ж, подумал он, этого старика ограбили мои собратья, и справедливости ради я могу

потерпеть немного. Он молчал, застыв на месте у сырой стены, не чувствуя под собой ног, будто пораженных проказой. Москиты жужжали не переставая; отмахиваться от них было бесполезно — они словно входили в состав тюремного воздуха. Кто-то еще заснул и начал храпеть, и удивительно — в этом храпе чувствовалось удовлетворение, будто человек хорошо выпил и досыта поел за обедом и теперь лег отдохнуть. Священник прикинул — который может быть час? Сколько времени прошло с тех пор, как он повстречал нищего на площади? Наверно, только перевалило за полночь. До рассвета придется терпеть еще долгие-долгие часы.

Конец близок, это несомненно, а в то же время надо быть готовым ко всему, даже к побегу. Если господу угодно спасти его, господь отведет от него ружье в минуту расстрела. Но господь милосерд. Отказать ему в покое — а существует ли покой? — господь может лишь в том случае, если захочет послать своего слугу на спасение еще одной души — его собственной или чужой. Но кого он спасет теперь? Он в бегах; он не смеет зайти ни в одну деревню, ибо за это заплатит жизнью другой человек — может быть, пребывающий в смертном грехе и непокаявшийся. Страшно подумать, сколько душ погибнет только потому, что он упрям, горд и не смиряется с поражением. Ему нельзя даже отслужить мессу — у него нет вина. Оно все ушло в пересохшую глотку начальника полиции. Как это ужасающе сложно! Он боится смерти и будет еще больше бояться, когда наступит утро, но этот исход начинал привлекать его своей простотой.

Набожная женщина зашептала что-то; она, видимо, ухитрилась подвинуться к нему. Она говорила:

— Отец, примите мою исповедь.

— Дитя мое, где — здесь? Это невозможно. Как же сохранить тайну исповеди?

— Я так давно...

— Прочти покаянную молитву. Надо уповать на милосердие божие, дитя мое...

— Я готова страдать.

— Ты уже здесь страдаешь.

— Это ничего. Утром моя сестра принесет деньги и заплатит штраф.

Где-то у дальней стены те двое снова предались наслаждению. Это было ясно: возня, прерывистое дыхание и, наконец, вскрик.

Набожная женщина сказала с яростью, во весь голос:

— Прекратите! Свиньи, скоты!

— Поможет ли тебе покаянная молитва, когда ты в таком гневе?

— Но это безобразие!

— Не надо так говорить. Это опасно. Ибо иной раз нам вдруг открывается вся красота наших грехов.

— Красота! — с отвращением проговорила она.— Здесь. В тюремной камере. Когда вокруг всякий сброд.

— Да, красота! Святые говорят, что в страдании тоже есть красота. Но мы с тобой не святые. На наш взгляд, страдание безобразно. Вонь, теснота и боль. А им, тем, что в углу, все это кажется прекрасным. Многое надо постичь, чтобы смотреть на жизнь глазами святого. У святых такое тонкое чувство красоты, что они могут смотреть сверху вниз на убогие вкусы невежд. Но у нас с тобой нет такого права.

— Это смертный грех.

— Как знать? Может быть. Но я плохой священник. Я по опыту своему знаю, сколько красоты принес в мир Сатана, павший с неба. И кто скажет, что падшие ангелы были безобразны? Нет, они были такие же быстрые, легкие и...

В углу снова раздался вскрик — свидетельство нестерпимого наслаждения. Женщина сказала:

— Остановите их. Это же позор! — Он почувствовал, как ее пальцы впились ему в колено. Он сказал:

— Все мы здесь собратья по плену. Вот мне сейчас хочется пить больше всего на свете, больше, чем почувствовать бога. Это тоже грех.

— Теперь,— сказала женщина,— я вижу, что ты плохой священник. До сих пор мне как-то не верилось. А теперь вижу. Ты заодно с этими скотами. Услышал бы тебя твой епископ!

— А-а, епископ далеко отсюда.

Он подумал об этом старике — живет в столице, в каком-нибудь безобразном, комфортабельном, полном благочестия доме, где всюду изображения святых, стены увешаны божественными картинками, служит по воскресеньям мессу в кафедральном соборе.

— Вот выйду на волю и обязательно напишу...

Он не мог удержаться от смеха: эта женщина не чувствует, как все изменилось вокруг. Он сказал:

— Если епископ получит твое письмо, ему будет интересно узнать, что я еще жив.— И снова к нему вернулась серьезность. Эту женщину труднее пожалеть, чем метиса, который неделю назад тащился за ним по лесу. С ней дело обстоит хуже. Метиса многое оправдывало — нищета, лихорадка, бесчисленные унижения. Он сказал:— Не надо сердиться. Ты бы помолилась за меня.

— Чем скорее ты умрешь, тем лучше.

Он не мог разглядеть ее в темноте, но от прежних лет у него остались воспоминания о лицах, которые подошли бы к такому голосу. Когда внимательно вглядываешься в человека, всегда начинаешь сострадать ему... таково уж свойство образа и подобия божьего... когда замечаешь, какие у человека морщинки в уголках глаз, линия рта и как у него растут волосы, разве его можно ненавидеть? Ненависть говорит об отсутствии воображения. И он снова почувствовал огромную ответственность за эту набожную женщину.

— Что ты, что падре Хосе,— сказала она.— Из-за таких вот люди и начинают насмехаться над истинной религией.— Что ж, в конце концов у нее столько же оправданий, сколько и у метиса. Он представил себе парадную комнату, где она проводит дни в качалке, среди семейных фотографий, и никто у нее не бывает. Он мягко спросил:

— Ты ведь, наверно, незамужняя?

— Зачем тебе это знать?

— И призвания служить господу у тебя не было?

— Мне не поверили,— с горечью сказала она.

Он подумал: несчастная женщина, ничего у нее в жизни нет, ровным счетом ничего. Если бы найти нужное слово... Он в изнеможении откинулся к стене, стараясь не разбудить старика. А нужные слова не приходили ему на ум. И раньше у него было мало общего с такими женщинами, а теперь и подавно. Но в те дни он знал бы, что сказать ей, и, не чувствуя никакой жалости, отделался бы двумятремя избитыми фразами. Теперь проку от него мало: он преступник и говорить может только с преступниками. Вот он опять поступил неправильно, пытаясь сломить ее самодовольство. Пусть бы уж она видела в нем мученика.

Глаза у него закрылись, и ему тут же начал сниться сон. За ним гонятся: он стоит у какой-то двери, колотит в нее кулаками, молит, чтобы его впустили, а дверь все не отворяют. Есть спасительное слово, пароль, который может открыть ему доступ в этот дом, но он забыл его. И он перебирает наугад: сыр, ребенок, Калифорния, ваше превосходительство, молоко, Веракрус. Ноги у него затекли, он опускается на колени перед дверью и понимает, почему ему так нужно

попасть сюда. Никто его не преследует — это ошибка. Рядом с ним, истекая кровью, лежит его дочь, а в доме живет врач. Он снова ударяет в дверь и кричит: «Я забыл то слово, но неужели у вас нет сердца?» Девочка умирает, не сводя с него самодовольного, умудренного опытом взгляда пожилой женщины. Она говорит: «Скотина ты»,— и он просыпается в слезах. Сон продолжался, вероятно, несколько секунд, потому что набожная женщина все еще говорила о том, как монахини не пожелали поверить в ее призвание служить господу. Он сказал:

— Тебя это мучает? Но так мучиться все же лучше, чем стать монахиней, довольной своей жизнью,— и, сказав это, подумал: что за глупости я говорю! Бессмыслица какая-то. Почему нет у меня слов, которые запомнились бы ей? И перестал искать их. В тюрьме, как и всюду в мире: теснота, мерзость, люди хватаются за малейшую возможность урвать наслаждение или потешить свою гордость. На то, что стоит делать, времени нет, и вот они убаюкивают себя мечтой убежать, спастись...

Он не заснул больше; у него опять шел торг с богом. Если он вырвется из тюрьмы, на сей раз это будет окончательно. Он пойдет на север, через границу. Но спасение настолько невероятно, что в случае удачи в нем можно будет усмотреть знак, указание: вред, который он приносит своим примером, больше добра, которое он творит изредка, принимая исповеди. Старик шевельнулся у его плеча, а ночь по-прежнему неподвижно стояла вокруг. Тьма была кромешная, часов нет — ничто не отмеряло уходящего времени. Ночное безмолвие нарушалось только звуками мочи, струящейся в парашу.

Внезапно перед ним выплыло из темноты сначала одно, потом другое лицо. Он уже начал забывать, что когда-нибудь настанет день, так же, как забывают о своей неминуемой смерти. Напоминание налетает внезапно в скрежете тормозов или в свисте, рвущем воздух, и тогда знаешь, что время не стоит на месте, а подходит к концу. Голоса медленно превращались в лица — неожиданностей в этих превращениях не было. Исповедальня учит представлять себе говорящих, угадывать, у кого отвисшая губа, или безвольный подбородок, или фальшь слишком уж прямодушного взгляда. Неподалеку от себя он видел набожную женщину — она спала беспокойным сном, открыв свой жеманный рот с крепкими, как могильные плиты, зубами; увидел старика, задиру в углу и его растрепанную подругу, повалившуюся во сне ему на колени. Теперь, когда день наконец наступил, он один бодрствовал — он да еще мальчик-индеец, который, скрестив ноги, сидел у двери и с радостным изумлением посматривал по сторонам, точно ему никогда не приходилось бывать в такой милой компании. В дальнем конце двора виднелась оштукатуренная стена полицейского участка. Священник начал, как положено, свое прощание с миром, но он не мог отдаться этому всей душой. Близкая смерть казалась ему реальнее его греховности. Одна-то пуля, думал он, почти наверняка попадет прямо в сердце — должен же быть в отряде хоть один меткий стрелок. Жизнь уйдет «за какую-то долю секунды» (так принято считать), но в эту ночь он понял, что время отмечают часы и рождение света. Часов не было, и света не прибывало. Никто ведь по-настоящему не знает, как долго может длиться секунда боли. Может быть, все то время, за которое проходишь чистилище, а может, и вечность. Почему-то ему вспомнился больной раком человек, которого он исповедовал на смертном одре; от разлагающихся внутренностей больного шло такое зловоние, что его родственники стояли, зажав носы платками. Он не святой. Нет ничего безобразнее в жизни, чем смерть.

Во дворе кто-то крикнул:

— Монтес!— Он сидел, поджав под себя омертвевшие ноги, и рассеянно думал: эта одежда уже никуда не годится. Одежда на нем была грязная, изгаженная о пол и пропитанная запахом соседей по камере. А купил он ее с риском для жизни в магазине у реки, выдав себя за мелкого фермера, захотевшего прифрантиться. Но тут он вспомнил, что ему уже недолго ходить в ней — эта мысль сразила его, точно он в последний раз захлопнул за собой дверь своего дома. Голос нетерпеливо повторил:— Монтес!

Священник вспомнил, что сейчас это его имя, и, подняв глаза от своей загубленной одежды, увидел сержанта, ключом открывающего дверь.

— Эй, Монтес!— Он бережно прислонил голову старика к сырой стене и попытался встать, но онемевшие ноги осели под ним, точно они были из теста.— Весь день тут собираешься дрыхнуть? — вспылил сержант. Он явно был не в духе — от вчерашнего благодушия не осталось и следа. Он дал пинка спящему на полу и застучал кулаком в дверь.— Подъем! И все марш во двор.— Послушался его только мальчик-индеец, незаметно выскользнувший из камеры с тем же отрешенно-счастливым выражением лица. Сержант ворчливо сказал:— Грязные псы! Нам, что ли, прикажете умывать вас? Эй, Монтес!— Ноги у священника оживали, сковывая его мучительной болью. Он кое-как добрался до двери.

Во дворе медленно начиналась жизнь. Люди по очереди подходили к единственному водопроводному крану и споласкивали лицо. Солдат в нижней рубашке сидел на земле, держа винтовку между колен.

— Все во двор умываться,— крикнул сержант, но когда священник вышел, он рявкнул на него:— А ты, Монтес, подождешь.

— Подождать?

— Тебе подыщем другое занятие,— сказал сержант.

Священник стоял, пропуская мимо себя обитателей камеры. Они выходили один за другим; он смотрел им не в лицо, а в ноги, стоя на их пути как искушение. Никто не сказал ни слова. Медленно протащилась женщина в стоптанных черных туфлях на низком каблуке. Он прошептал, не глядя на нее:

— Помолись за меня.

— Ты что сказал, Монтес?

Он не смог солгать; за десять лет все его запасы лжи иссякли.

— Что ты сказал?

Туфли остановились. Сержанту ответил женский голос:

— Он клянчит милостыню.— Она безжалостно добавила: — Нашел у кого просить. Ничего он у меня не получит.— И прошла во двор, волоча свои плоские ноги.

— Ну как, Монтес, хорошо поспал?— поддразнил его сержант.

— Нет, не очень.

— А на что ты надеялся?— сказал сержант.— Впредь будешь знать, как лакать бренди.

— Да. — «Сколько же продлится такая подготовка?» — подумал он.

— Ну так вот, если ты тратишься на спиртное, будь любезен отработать здесь свою ночевку. Вынеси параши из камер, да смотри не расплещи. Тут и так вонища, не продохнешь.

— А куда их вылить?

Сержант показал на дверь уборной за водопроводным краном.

— Когда все сделаешь, доложи мне,— сказал он и пошел через двор, покрикивая на арестантов.

Священник нагнулся и поднял ведро; оно было полное до краев и очень тяжелое. Он пошел через двор, сгибаясь под этой тяжестью; пот заливал ему глаза. Он протер их и увидел в очереди к водопроводному крану знакомые лица — это были заложники. Вон Мигель, которого взяли при нем; он вспомнил вопли матери Мигеля, и уста-

лый, раздраженный голос лейтенанта, и восходящее солнце. Они тоже увидели его; он поставил тяжелое ведро на землю и посмотрел на них. Если бы он их не узнал, это было бы похоже на намек, просьбу, мольбу, чтобы они продолжали страдать, а ему дали спастись. Мигеля, видимо, били: под глазом у него подсыхала болячка, мухи вились вокруг нее, как они вьются над ободранным боком мула. Потом очередь продвинулась вперед; глядя в землю, они прошли мимо него; дальше были незнакомые. Он молился про себя. «О господи! Пошли им более достойного человека, за кого можно пострадать!» Он видел в этом дьявольскую насмешку — жертвовать жизнью ради пьющего падре с незаконнорожденным ребенком. Солдат в нижней рубашке сидел, держа винтовку между колен, чистил ногти и обкусывал с пальцев кожицу. И как ни странно, священник почувствовал себя всеми покинутым, потому что никто не подал виду, что знает его.

Уборная оказалась просто выгребной ямой с двумя переброшенными через нее досками, чтобы было где стоять. Священник опростал ведро и пошел через двор к тюремным камерам. Их было шесть. Он по очереди выносил оттуда ведра. Раз ему пришлось остановиться — его вырвало. Плеск-плеск — взад и вперед по двору. Он вошел в последнюю камеру. Там, прислонившись головой к стене, лежал человек; лучи раннего солнца только-только дотянулись до его ног. Вокруг кучи блевотины на полу жужжали мухи. Глаза его открылись и посмотрели на священника, нагнувшегося к ведру; над нижней губой торчали два клыка...

Священник заторопился и расплескал ведро. Метис сказал таким знакомым ворчливым голосом:

— Стой, стой! Здесь нельзя плескать.— И с гордостью пояснил:— Я не арестант. Я гость.— Священник сделал извиняющийся жест (он боялся заговорить) и снова двинулся.— Тебе сказано: стой,— снова скомандовал метис.— Поди сюда.

Священник упрямо стоял у двери вполоборота к нему.

— Поди сюда,— сказал метис.— Ты ведь арестант? А я здесь в гостях — у губернатора. Хочешь, чтобы я крикнул полицейского? А нет, так слушай, что тебе говорят. Поди сюда.

Вот, наконец, воля божия. Священник подошел с ведром к метису и остановился у его плоской босой ноги; метис приглядался к нему из тени, падавшей от стены, и быстро, испуганно проговорил:

— Ты что здесь делаешь?

— Убираю.

— Не понимаешь, о чем я спрашиваю?

— Меня поймали с бутылкой бренди,— сказал священник, стараясь придать грубость голосу.

— Я тебя знаю,— сказал метис.— Сначала глазам своим не поверил, но как только ты заговорил...

— По-моему, мы с тобой не...

— Тот самый священник и голос тот самый,— с отвращением сказал метис. Он был как собака иной породы: не мог, чтобы не ощетиниться. Его толстый большой палец угрожающе задвигался. Священник поставил ведро. Чтобы отделаться от метиса, он вяло сказал:

— Ты пьян.

— Пиво, пиво,— сказал тот.— Одно пиво. Обещали все самое лучшее, да разве им можно верить? Будто я не знаю, что свое бренди хефе держит под замком.

— Мне надо вылить ведро.

— Посмей сделать шаг, я крикну... Столько всего надо обдумать!— горько пожаловался метис. Священник стоял и ждал — что ему еще оставалось делать? Он полагался на милость этого человека.

Какая глупая фраза. Будто его малярийные глаза знают, что такое милосердие. Но по крайней мере не надо будет унижаться, умолять.

— Видишь ли, какое дело,— начал растолковывать ему метис.— Мне здесь неплохо.— Его желтые пальцы блаженно скрючились у кучи блевотины.— Еда хорошая, пиво, компания, и крыша не протекает. Что будет дальше, можешь не говорить — меня вышвырнут как собаку, как собаку.— Голос у него стал резкий, негодующий.— Почему тебя посадили? Вот что я хочу знать. Что-то мне подозрительно. Мое дело или не мое дело поймать тебя? А если ты уже здесь, кто получит вознаграждение? Хефе, конечно, или этот прохвост сержант.— Он хмуро задумался:— Никому теперь верить нельзя.

— Есть еще краснорубашечник,— сказал священник.

— Краснорубашечник?

— Он меня и поймал.

— Матерь божия!— сказал метис.— И губернатор со всеми с ними считается.— Он умоляюще поднял глаза на священника. Он сказал:— Ты образованный человек. Посоветуй мне что-нибудь.

— Это смертный грех, все равно как убийство.

— Я не про то. Я про вознаграждение. Понимаешь, пока они ничего не знают, мне здесь будет хорошо. Надо же человеку отдохнуть две-три недельки. И ведь далеко ты не убежишь? Мне надо поймать тебя где-нибудь в другом месте. Скажем, в городе. Чтобы никто другой не выдал себя за поимщика. Бедняку над стольким приходится ломать голову,— добавил он с досадой.

— По-моему,— сказал священник,— тебе даже здесь кое-что перепадает.

— Кое-что,— сказал метис, усаживаясь у стены поудобнее.— А мне надо все.

— Что здесь происходит?— сказал сержант. Остановившись в дверях на ярком солнце, он заглянул в камеру.

Священник медленно проговорил:

— Он хочет, чтобы я убрал его блевотину, а я говорю, вы велели мне только...

— Он у нас гость,— сказал сержант.— С ним надо повежливее. Раз просит, так убери.

Метис глупо ухмыльнулся. Он сказал:

— А как насчет бутылки пива, сержант?

— Рано тебе еще,— сказал сержант.— Сначала обыщи город.

Священник взял ведро и пошел через двор, а те двое все продолжали препираться. У него было такое ощущение, будто в спину ему нацелена винтовка. Он вошел в уборную, вылил ведро, потом снова вышел на яркий свет — теперь винтовка целилась ему в грудь. Сержант и метис разговаривали, стоя в дверях камеры. Он перешел двор; они не спускали с него глаз. Сержант сказал метису:

— Ты говоришь, у тебя желчь разлилась, и глаза с утра не глядят. Так вот, сам убери свою блевотину. Раз ты от *своего дела* отказываешься...— Метис хитро, но неуверенно подмигнул из-за спины сержанта. Теперь, когда минутный страх прошел, священнику стало жалко себя. Бог принял решение. Он снова должен жить, снова что-то решать, изворачиваться, предпринимать что-то по своему усмотрению...

У него ушло еще полчаса на то, чтобы закончить уборку и вылить на пол каждой камеры по ведру воды. Он видел, как набожная женщина исчезла словно навсегда под аркой ворот, где ее ждала сестра с деньгами для штрафа. Обе они были закутаны в черные шали, как вещи, купленные на рынке,— какие-то твердые, сухие, подержанные. Потом он снова доложился сержанту, тот осмотрел камеры покритиковал его работу, велел вылить еще воды на пол и вдруг, наскучив всем этим, сказал, чтобы он пошел к хефе за разрешением на выход. Ему пришлось просидеть еще час на скамейке у двери хе-

фе, глядя на караульного, который лениво прохаживался взад-вперед под палящим солнцем.

А когда наконец полицейский ввел его в помещение, за столом там сидел не хефе, а лейтенант. Священник остановился неподалеку от своей фотографии на стене и стал ждать. Он пугливо бросил мимолетный взгляд на помятую газетную вырезку и с чувством облегчения подумал: теперь я не очень похож. Какой он, наверно, был несносный в те годы — несносный, но все же более или менее чистый нравственно. Вот еще одна тайна: иногда ему кажется, что грехи простительные — нетерпение, мелкая ложь, гордыня, упущенные возможности творить добро — отрешают от благодати скорее, чем самые тяжкие грехи. Тогда, пребывая в своей чистоте, он никого не любил, а теперь, греховный, развращенный, понял, что...

— Ну,— сказал лейтенант,— убрал он камеры?

Он не поднял глаз от лежавших перед ним бумаг. Он сказал:

— Передай сержанту, что мне нужен отряд в двадцать пять человек и чтобы винтовки у них были вычищены. Даю на это две минуты.— Он рассеянно взглянул на священника и сказал:— Чего ты ждешь?

— Разрешения, ваше превосходительство, на выход.

— Я не превосходительство. Называй вещи своими именами.— Он резко проговорил:— Ты здесь сидел раньше?

— Нет, никогда.

— Твоя фамилия Монтес. За последнее время мне столько этих Монтесов попадалось. Твои родственники?— Он пристально смотрел на священника; память его, видно, начала работать.

Священник торопливо ответил:

— Моего двоюродного брата расстреляли в Консепсьоне.

— Я тут ни при чем.

— Да нет... я хотел сказать, что мы с ним очень похожи. Наши отцы были близнецами. Мой старше всего на полчаса. Я думал, что ваше превосходительство...

— Насколько мне помнится, тот был совсем другой. Высокий, худощавый, узкий в плечах.

Священник торопливо сказал:

— Может, только родные замечали сходство...

— Правда, я видел его всего один раз.— У лейтенанта словно совесть была неспокойна, его смуглые индейские руки теребили бумаги на столе. Он задумался... Потом спросил:— Куда ты пойдешь отсюда?

— Бог весть.

— Все вы на один лад. Не понимаете, что богу ничего не ведомо.— Какая-то крошечная капелька жизни, точно соринка, скользнула по лежавшим на столе бумагам; он прижал ее пальцем.— Заплатить тебе штраф нечем?— И стал следить, как другая соринка выбралась из-под листка бумаги и поползла, ища спасения. В этом зное жизнь не прекращалась ни на секунду.

— Нечем.

— На что же ты будешь жить?

— Может, найду работу...

— Где тебе работать? Ты уже стареешь.— Он вдруг сунул руку в карман и вынул монету в пять песо.— Вот,— сказал он.— Уходи отсюда и больше мне не попадайся. Запомни это.

Священник зажал монету в кулаке — столько стоит заказная месса. Он удивленно проговорил:

— Вы хороший человек.

## Глава 4

Было еще совсем рано, когда он переплыл реку и, мокрый до нитки, выбрался на противоположный берег. Он никого не рассчиты-

вал встретить здесь в такой ранний час. Домик, крытый железом сарай, флагшток. Ему казалось, что на закате все англичане спускают флаг и поют «Боже, храни короля». Он осторожно обогнул угол сарая, и дверь подалась под его рукой. Он очутился в темноте — там, где был и в тот раз. Сколько недель назад? Он не знал. Помнил только, что до начала дождей было еще далеко, а теперь они уже начинаются. Через неделю пересечь горы можно будет только на самолете.

Священник пошарил вокруг себя ногой; ему так хотелось есть, что он был бы рад и двум-трем бананам,— он не ел уже два дня,— но бананов здесь не нашлось, ни одного. Наверно, весь урожай отправили вниз по реке. Он стоял в дверях сарая, стараясь припомнить, что девочка говорила ему — про азбуку Морзе, про свое окно. За мертвой белизной пыльного двора на москитной сетке блестело солнце. Тут все как будто в пустом чулане, подумал он и стал с беспокойством прислушиваться. Нигде ни звука. День здесь еще не начинался — ни первых сонных шлепаний туфель по цементному полу, ни поскребывания когтей потянувшейся собаки, ни стука пальцев в дверь. Здесь никого не было — ни души.

А который час? Сколько прошло с рассвета? Ответить на это было невозможно: время, как резина, оно растягивается до предела. А может, уже не очень рано — шесть, семь?.. Он вдруг понял, какие у него были надежды на эту девочку: она единственная могла помочь ему, не подвергая себя опасности. Если не перейти через горы в ближайшие дни, тогда ему конец. Тогда надо было самому явиться с повинной в полицию. Как пережить сезон дождей: ведь никто не осмелится дать пищу и кров беглецу. Все бы кончилось лучше и быстрее, если бы неделю назад в полицейском участке узнали, кто он такой. И тревог было бы меньше. Он услышал какие-то звуки — царапанье и жалобное повизгивание; надежда несмело возвращалась к нему. Вот это и есть то, что называют рассветом,— заговорила жизнь. Стоя в дверях сарая, он жадно ждал.

И жизнь появилась — это была сука, тащившаяся по двору; уродливая, с опущенными ушами, она, скуля, волочила за собой то ли раненую, то ли перебитую ногу. Что-то неладное было у нее и со спиной. Она еле передвигалась; ребра у нее выступали, как у экспоната в зоологическом музее; она явно не ела много дней — ее бросили.

Но в противоположность ему в ней еще теплилась надежда. Надежда — инстинкт, убить который может только человеческий разум. Животному неведомо отчаяние. Глядя, как она тащится, он понял, что она проделывает это постоянно, может, уже не первую неделю; этим начинается каждый новый день, как пением птиц начинается рассвет в краях более счастливых. Собака подтащилась к веранде и, как-то странно распластавшись на полу, уткнулась носом в дверную щель и стала скрести лапой. Словно принюхивалась к непривычному запаху пустых комнат; потом вдруг нетерпеливо взвизгнула и забила хвостом, будто ей послышалось какое-то движение в доме. И завыла.

Священник не мог больше это вынести; все было ясно, но надо увидеть самому. Он пошел по двору, и собака, с трудом повернувшись,— какая пародия на сторожевого пса!— залаяла на него. Ей не просто кто-нибудь был нужен; ей нужно было привычное; ей нужно было, чтобы вернулся прежний мир.

Священник заглянул в окно — может, это комната девочки? Оттуда все было вынесено — остались только нестоящие или поломанные вещи. Набитая рваной бумагой картонная коробка и маленький стульчик без одной ноги. В оштукатуренной стене торчал большой гвоздь, на котором висело, может быть, зеркало или картина. Валялся сломанный рожок для обуви.

Сука с рычаньем тащилась по веранде. Инстинкт — как чувство долга, очень легко принять его за верность. Чтобы не столкнуться с ней, священник шагнул на солнцепек; она не смогла сразу повернуться и пойти за ним. Он тронул дверь — дверь отворилась, ее даже не потрудились запереть. На стене висела старая шкура аллигатора, неумело снятая и плохо высушенная. Сзади послышалось сопение, и он оглянулся: сука переступила передними лапами через порог, но теперь, когда он утвердился в доме, она не препятствовала ему. Он завладел им, он хозяин, а ее занимали разные запахи. Она перевалилась через порог, принюхиваясь мокрым носом.

Священник отворил дверь налево — это, наверно, спальня: в углу горка пузырьков из-под лекарств; в некоторых остались тоненькие потеки ядовито-яркой жидкости. Тут были средства от мигрени, от боли в желудке, пилюли, которые надо принимать после еды и до еды. Наверно, кто-то здесь тяжело болел, если понадобилось столько лекарств. Вот гребенка, сломанная, и комок вычесанных волос, очень светлых и уже тронутых пыльной сединой. Он с облегчением подумал: это ее мать, конечно, ее мать.

Он зашел в другую комнату, из которой сквозь москитную сетку на окне виднелась медлительная, пустынная река. Это была их гостиная, потому что здесь стоит стол — складной ломберный столик из фанеры, ценой, наверно, в несколько шиллингов; его не стоило увозить с собой, куда бы они ни уехали. Может быть, мать умерла?— подумал он. Может быть, они собрали урожай и перебрались в город, где есть больница. Он зашел еще в одну комнату; вот ее он и видел со двора — это комната девочки. С грустью, но и с любопытством он высыпал на пол содержимое корзины для бумаг. У него было такое чувство, будто он занимается разборкой вещей после чьей-то смерти, решая, что̀ может остаться, не причиняя тебе боли.

Он прочел: «Непосредственным поводом к Американской войне за независимость послужил эпизод, получивший название «Бостонское чаепитие». Это, видимо, был обрывок какой-то ученической работы; буквы были крупные, четкие. «Но истинная суть дела (слово «истинная» было написано неправильно, зачеркнуто и переписано заново) заключалась в том, что несправедливо облагать налогом людей, которые не имеют своего представителя в парламенте». Судя по множеству помарок, это, вероятно, был черновик. Он взял наугад другой клочок бумаги — там про каких-то «вигов и тори»; эти слова были непонятны ему. С крыши во двор упало что-то вроде метелки из перьев — стервятник. Он стал читать дальше: «Если пятерым косцам понадобилось три дня, чтобы скосить луг в пять с четвертью акров, сколько скосят за день двое косцов?» Под задачкой была проведена по линейке ровная черта, потом шли арифметические действия — полная неразбериха цифр, из которых ответа не получалось. В смятой, брошенной в корзину бумаге угадывались жара и раздражение. Он ясно представил себе, как она решительно разделалась с этой задачкой,— четко очерченное лицо и две жидкие косички за спиной,— вспомнил, с какой готовностью она поклялась в вечной ненависти к тем, кто обидит его, вспомнил и свою дочь, которая ластилась к нему у мусорной кучи.

Он плотно прикрыл за собой дверь, словно предотвращая чье-то бегство из этой комнаты. Собака зарычала, и он пошел на ее голос туда, где раньше была кухня. Оскалив свои старые зубы и точно подыхая, собака припала к кости. За москитной сеткой показалось лицо индейца, будто подвешенное там провялиться,— темное, сухое, неприятное. Его глаза с завистью смотрели на кость. Он взглянул на священника и тут же исчез, словно его и не было, и дом снова опустел. Священник тоже посмотрел на кость.

На ней еще было много мяса; возле собачьей морды вились мухи, и теперь, когда индеец исчез, собака уставилась на священника.

Все втроем они посягали на эту кость. Священник сделал шаг и топнул два раза.

— Пшла!— сказал он.— Пшла!— и взмахнул руками, но дворняга продолжала лежать, распластавшись над костью. Воля к жизни, не угасшая в ее желтых глазах, кипела между зубами. Это была сама ненависть на смертном одре. Священник осторожно ступил вперед; он все еще не осознал, что собака не в состоянии прыгнуть на него — собаку всегда представляешь себе в движении, но эта, как всякий калека, могла только думать. Собачьи мысли, рожденные голодом, надеждой и ненавистью, были у нее в зрачках.

Священник протянул руку, и мухи с жужжанием разлетелись; собака настороженно молчала.

— Собачка, собачка,— заискивающе сказал священник; он ласково пошевелил пальцами — она не сводила с него глаз. Тогда священник повернулся и отошел в сторону, будто отказавшись от кости; он тихонько затянул какое-то песнопение из церковной службы; он делал вид, что не интересуется костью. И вдруг крутой поворот — нет, не помогло: собака следила за ним, вывернув шею, чтобы не упустить ни одного его коварного движения.

Он пришел в ярость; эта сука с переломанной спиной завладела единственным, что здесь было съедобного! Он выругался — словами, услышанными где-нибудь у подмостков для оркестра. В другое время его удивило бы, что они так легко сорвались у него с языка. И вдруг рассмеялся: вот оно, человеческое достоинство — спорить с собакой из-за кости. Услышав его смех, собака опасливо прижала дрогнувшие кончиками уши. Но ему не было жалко ее — эта жизнь ничто по сравнению с жизнью человеческого существа. Он поискал глазами, чем бы швырнуть в нее, но в кухне почти ничего не было, кроме кости. Может статься,— кто знает? — кость нарочно оставили здесь для несчастной дворняги. Девочка могла подумать об этом, уезжая отсюда с больной матерью и глупым отцом. У него осталось впечатление, что именно она брала на себя все заботы по дому. Итак, ничего подходящего, кроме дырявой проволочной сетки для овощей, не нашлось.

Он снова подошел к собаке и легонько стукнул ее по морде. Она куснула сетку своими старыми, сточенными зубами, но не двинулась с места. Он ударил ее сильнее, она вцепилась в проволоку — ему пришлось рвануть сетку на себя. Удар следовал за ударом, пока наконец священник не понял, что собаке стоило бы огромных усилий сдвинуться с места. Она не могла ни увернуться от его побоев, ни оставить кость. Ей приходилось терпеть, и она терпела, сверкая на него желтыми, затравленно-злобными глазами.

Тогда он решил действовать по-другому: проволочная сетка стала чем-то вроде намордника, которым он защитился от собачьих зубов, и схватил кость. Одна лапа прижала ее, но тут же отпустила. Он бросил сетку и отскочил назад. Собака попыталась кинуться за ним, но упала на пол. Победа осталась за священником: кость была у него в руке. Собака даже не зарычала.

Священник оторвал зубами кусок и стал жевать сырое мясо. В жизни ему не доводилось есть ничего вкуснее, и теперь, наслаждаясь едой, он пожалел собаку. Он подумал: вот столько съем, а остальное отдам ей. Он сделал мысленную отметку на кости и снова рванул зубами. Тошнота, мучившая его долгие часы, начала исчезать, оставляя после себя просто чувство голода; он ел и ел, а собака следила за ним. Теперь, когда их распря кончилась, она, видимо, смирилась; ее хвост начал вопрошающе, с надеждой постукивать по полу. Священник дошел до своей отметки, но ему показалось, что голод, который он чувствовал до этого, был у него только в воображении, а вот сейчас — настоящий. Человеку нужно больше, чем собаке: он оставит вот этот последний кусочек. Но он сьел и его — в конце

концов у собаки есть зубы, она сгложет и кость. Он бросил ее собаке под нос и вышел из кухни.

Он еще раз обошел пустые комнаты. Сломанный рожок для обуви, пузырьки из-под лекарств, сочинение об Американской войне за независимость — ничто не могло сказать ему, почему они уехали. Он вышел на веранду и сквозь дыру в половице увидел, что на земле между кирпичными столбиками, которые предохраняли дом от муравьев, валяется книга. Как давно он не видал книг! Эта книга, потихоньку плесневевшая под верандой, была как обещание, что все обойдется и прежняя жизнь будет идти своим чередом в городских домах с радиоприемниками и книжными шкафами, с постелями, постланными на ночь, и скатертью на обеденном столе. Он опустился на колени, и достал книгу, и вдруг понял, что, когда эта долгая борьба кончится и он перейдет через горы, через границу штата, жизнь еще может порадовать его.

Книга была английская, но, проучившись несколько лет в американской семинарии, он знал язык настолько, чтобы кое-как прочитать, что тут написано. И даже если он ничего не поймет, все равно, это же книга. Она называлась «Жемчужины английской поэзии», а на форзаце была наклейка с отпечатанным текстом: «В награду...» и от руки чернилами: «Корал Феллоуз за отличные сочинения. Третий класс». Под надписью какой-то герб, кажется с грифоном и дубовым листком, латинский девиз: «Virtus Laudata Crescit»[1], а ниже факсимиле: «Генри Бекли, бакалавр гуманитарных наук, директор курсов «Домашнее обучение».

Священник сел на ступеньки веранды. Кругом была тишина — ни признака жизни на заброшенной банановой плантации, один лишь стервятник, еще не потерявший надежды. Индейца будто и вовсе не было. После обеда, с невеселой улыбкой подумал священник, можно немножко почитать — и наугад открыл книгу. Корал — вот как ее зовут. Магазины Веракруса полны твердых ломких кораллов, которые почему-то принято дарить девочкам после их первого причастия. Он прочел:

Я с горных высей струйкой вьюсь,
Где вяхири и цапли,
И вдруг в сторонку увернусь,
Журча за каплей капля.

Стихотворение было непонятное — слова звучали будто на эсперанто. Он подумал: так вот она, английская поэзия,— какая-то странная. В тех немногих стихах, которые он учил, говорилось о муках, раскаянии и надежде. Эти же кончались на философской ноте: «Приходят люди и уйдут, а я пребуду вечно». Банальность и ложность последних слов «пребуду вечно» резнула его. Такие стихи не для детского чтения. Стервятник — пыльный, бесприютный — ковылял по двору; время от времени он лениво взлетал и, хлопая крыльями, снова садился на землю шагах в пятидесяти от того места, где взлетел. Священник прочитал:

— Вернись, вернись,— молил отец,
Страданий не тая.
— Ты мой птенец, ты мой птенец,
Вернись, о дочь моя!

Эти строки произвели на него большое впечатление, хотя они тоже не годились для детей. В звуках чужого языка ему слышалось неподдельное чувство, и, сидя в одиночестве на залитой солнцем узенькой ступеньке, он повторял про себя последние слова: «О дочь моя! О дочь моя!» Тут было все, что он чувствовал сам,— раскаяние, тоска и несчастная родительская любовь.

[1] Похвалой умножается добродетель *(лат.)*.

Как странно, что после ночи в душной и переполненной до отказа тюремной камере он попал в эти пустынные места — будто успел умереть там, когда голова старика лежала у него на плече, и теперь блуждает в преддверии ада, ибо в нем мало добра, но столь же мало и зла... Жизни больше не было — не только на банановой плантации. Разразилась гроза, и когда он искал, где спрятаться, ему стало ясно, что все кругом мертво.

При вспышке молний хижины ходили ходуном, на миг вырывались из темноты и тут же снова исчезали в грохочущем мраке. Дождь еще не обрушился на них, он шел сплошной пеленой от залива Кампече, захватывая весь штат своей размеренной поступью. Когда раскаты грома затихали, священнику казалось, будто он слышит эту поступь, этот оглушительный шорох, надвигающийся на горы, которые были уже так близко — в каких-нибудь двадцати милях отсюда.

Он добежал до первой хижины; дверь ее стояла нараспашку, и когда молния сверкнула зигзагом, он, как и ожидал, увидел, что там никого нет: только груда кукурузных початков, и метнулось что-то серое — наверно, крыса. Он кинулся к соседней, но там тоже кукуруза — и больше ничего. Жизнь точно отступила перед ним, точно Кто-то решил, что отныне он будет один — совсем один. Пока он стоял там, дождь добрался до просеки, вышел из лесу густым, белым дымом и двинулся дальше. Будто враг выпустил удушливый газ на поле битвы с таким расчетом, чтобы никто не уцелел. Дождь занял все вокруг и лил столько, сколько нужно: враг с хронометром в руке рассчитал до секунды выносливость человеческих легких. Крыша недолго удерживала дождевые потоки и вскоре подалась; сучья прогнулись под тяжестью воды и разъехались в стороны; темные струи хлынули вниз сразу в нескольких местах. Затем ливень прекратился, с крыши уже только капало, гроза ушла дальше, и молнии сверкали по ее флангам, как заградительный огонь. Через несколько минут она дойдет до горной цепи; еще две-три такие грозы, и горы будут непроходимы.

Он очень устал за целый день ходьбы и, найдя сухое место, опустился на пол. При вспышке молний ему была видна просека; вокруг мягко постукивали падающие с деревьев капли. Это было как покой, хоть и не совсем покой. Для того чтобы наслаждаться покоем, рядом нужны люди, а его одиночество таило новые беды. Ему вдруг вспомнилось, неизвестно почему: американская семинария, дождливый день, работает паровое отопление, и окна библиотеки запотели; вокруг высокие шкафы с благочестивыми книгами, и молодой семинарист родом из Таскона выводит пальцем на стекле свои инициалы. Вот тогда был покой. Сейчас он глядит на это со стороны; вряд ли его снова ждет такая жизнь. Он сотворил свой мир сам — и вот он: пустые, развалившиеся хижины, гроза, уходящая вдаль, и опять страх — страх потому, что он все-таки не один здесь.

За дверью слышалось осторожное движение. Шаги то приближались, то останавливались. Священник безвольно ждал, что будет дальше, а позади него капало с крыши. Он представил себе, как метис бродит по городу, выискивая удобный случай, чтобы выдать его. В дверях показалось чье-то лицо и вмиг исчезло — лицо старухи, но кто их знает, этих индейцев, может быть, ей не больше двадцати лет. Он встал и вышел из хижины — женщина в грубой юбке, висевшей на ней мешком, с черными, тяжело раскачивающимися за спиной косами побежала прочь. Его одиночество, видимо, только и будут нарушать такие вот неуловимые существа — какие-то выходцы из каменного века, которые появлялись и тут же исчезали.

В нем загорелась угрюмая злоба — она-то зачем убегает! Шлепая по лужам, он погнался за ней по просеке, но она была ближе его к лесу и преспокойно скрылась среди деревьев. Искать ее там было бесполезно, он вернулся назад и вошел в ближайшую хижину — не

в ту, где прятался от дождя. Здесь тоже было пусто. Куда девались люди? Он знал, что в таких более или менее диких поселках живут неподолгу. Индейцы обрабатывают небольшой участок земли, а когда почва истощится, просто уходят на другое место, не имея понятия о севообороте. Но урожай кукурузы они уносят с собой. Отсюда, похоже, бежали, спасаясь от какой-то опасности или от болезни. Ему приходилось слышать о таких бегствах, когда в поселке разражалась эпидемия, и самое страшное было, конечно, то, что эти люди уносили болезнь с собой, куда бы ни ушли; иногда они впадали в панику и бились, как мухи о стекло, но тайком, пряча свое смятение от чужих глаз. Он снова бросил хмурый взгляд на просеку: индеанка пробиралась к хижине, к той, что укрывала его от дождя. Он крикнул, и она, спотыкаясь, побежала назад к лесу. Неуклюжие движения женщины напоминали ему полет птицы, притворяющейся, будто у нее сломано крыло. Он не стал гнаться за ней, и, не добежав до деревьев, она остановилась и посмотрела на него. Он медленно пошел к ближайшей хижине, обернулся на ходу: женщина следовала за ним, держась на расстоянии, не сводя с него глаз. И ему снова показалось, что в ней есть что-то от испуганного зверя или птицы. Он шел прямо к хижине — где-то далеко впереди сверкнула молния, но грома не было слышно; небо светлело, из-за туч показалась луна. Вдруг сзади раздался какой-то странный крик, и, оглянувшись, он увидел, как женщина побежала к лесу, споткнулась, взмахнула руками и упала на землю — птица приносила себя в жертву.

Тогда он понял, что в этой хижине есть какая-то ценность, может быть, зарытая в кукурузе, и, не обращая внимания на женщину, вошел туда. Молнии вспыхнули теперь далеко, и, ничего не видя в темноте, он ощупью добрался до кукурузы. Шаги, шлепающие по лужам, послышались ближе. Он стал шарить в кукурузе — может, там спрятана какая-нибудь еда,— и сухой шорох листьев смешался со звуком падающих капель и с осторожными шагами за стенкой, точно кто-то тихонько занимался своими делами. И тут рука его коснулась чьего-то лица.

Такое было уже не страшно ему: его пальцы тронули что-то человеческое. Они ощупали все тельце — тельце ребенка, даже не шелохнувшегося у него под рукой. Луна бросала неясный блик на лицо женщины в дверях. Она, вероятно, была едва жива от страха... но по ее лицу судить трудно. Он подумал: надо вынести его отсюда, посмотреть, что с ним.

Это был мальчик лет трех; кожа да кости, круглая голова с лохмами черных волос; без сознания, но еще живой; слабенькое биение в груди. Он опять подумал — не болезнь ли какая, но, отняв руку от тельца, убедился, что на ней не пот, а кровь. Ужас и отвращение охватили его: всюду насилие, придет ли конец насилию? Он резко спросил женщину:

— Что случилось? — Казалось, во всем этом штате один человек полностью зависит от произвола другого человека.

Женщина опустилась на колени в двух-трех шагах от него и смотрела ему на руки. Она, видимо, немного знала по-испански, потому что ответила:

— Americano.— На ребенке была темная рубашонка; священник заголил ее до шеи: три огнестрельные раны. Жизнь медленно уходила из жалкого тельца; теперь ему уже ничем не поможешь, но надо попробовать... Он сказал женщине:

— Воды. Воды.— Но она не поняла и не двинулась с места, глядя ему на руки. Как легко ошибиться, считая, что раз глаза ничего не выражают, значит, нет и горя. Коснувшись ребенка, он увидел, как она подалась вперед, готовая броситься на него, вцепиться в него зубами, если бы ребенок только застонал.

Он заговорил медленно, ласково, не зная, сколько она поймет:

— Надо принести воды. Смыть кровь. Не бойся меня. Я не сделаю ему ничего плохого.— Он снял с себя рубашку и стал рвать ее на полосы. Это было антисанитарно, а что поделаешь? Можно, конечно, прочесть молитву, но жизнь, вот эту жизнь, не вымолишь. Он снова повторил:— Воды.— Женщина, кажется, поняла, что от нее требуется, и растерянно посмотрела на дождевые лужи — больше воды нигде не было. Ну что ж, подумал он, земля не грязнее любого сосуда. Он намочил полосу, оторванную от рубашки, и нагнулся над ребенком. Женщина придвинулась ближе — в этом движении была угроза. Он снова попробовал успокоить ее:— Не бойся меня. Я священник.

Слово «священник» женщина поняла. Она подалась вперед, схватила руку с мокрой тряпицей и поцеловала ее. В тот миг, когда губы женщины прильнули к его руке, по лицу ребенка пробежала судорога, глаза открылись и пристально посмотрели на них, крошечное тельце свело нестерпимой болью, а потом глаза закатились и застыли, как стеклянные шарики в детской игре,— желтые, страшные, мертвые. Женщина отпустила его руку и подползла к луже, сложив пальцы ковшиком, чтобы зачерпнуть воды. Священник сказал:

— Теперь уже не нужно,— и выпрямился, держа в руках мокрые тряпки. Женщина разжала пальцы, и вода вылилась на землю. Она умоляюще проговорила:

— Отец! — И он устало опустился на колени и начал молиться.

Молитвы казались ему теперь бессмысленными, другое дело — причастие: вложить его между губами умирающего — значит вложить ему бога в уста. Это реальность — в ней есть что-то ощутимое, а такая молитва всего лишь благочестивое воздыхание. Почему Кто-то должен услышать е г о молитвы? Грех мешает им вознестись к небу. Ему казалось, что его молитвы непереваренной пищей лежат в нем, и нет им выхода.

Кончив молиться, он поднял тело ребенка и, как вещь, отнес его в хижину. Зря выносили, точно стул, который вытаскиваешь в сад и тащишь обратно, потому что трава мокрая. Женщина покорно пошла за ним — она не дотронулась до своего сына, просто смотрела, как священник кладет его в темноте на ворох кукурузы.

Он сел на земляной пол и медленно проговорил:

— Надо похоронить.

Это она поняла и кивнула головой.

Священник спросил:

— Где твой муж? Он тебе поможет?

Она быстро заговорила — должно быть, на языке камачо; он понял только отдельные испанские слова. Вот опять она сказала «Americano», и ему вспомнился преступник, фотография которого висела в полиции рядом с его собственной. Он спросил:

— Это он убил? — Она замотала головой. Что же случилось?— подумал он. Неужели американец спрятался здесь, и солдаты стреляли по хижинам? Очень может быть. Внезапно он насторожился: женщина назвала ту банановую плантацию. Но там не было умирающих, там не было ни малейших признаков разбоя — разве только тишина и бегство ее хозяев говорили о беде. Он подумал, что заболела мать, но, может, стряслось что-нибудь похуже? Может быть, этот тупица капитан Феллоуз снял ружье со стены и вышел с таким неспорым оружием на человека, главный талант которого заключался в быстроте реакции и в умении стрелять прямо из кармана? А бедная девочка... какую ответственность, может быть, пришлось ей взвалить на себя!

Он отогнал эту мысль и спросил:

— Лопата у тебя есть? — Она не поняла вопроса, и он показал ей, как роют землю. Раздался новый раскат грома; надвигалась вторая гроза, точно враг узнал, что после обстрела кое-кто остался в живых, и теперь намерен добить уцелевших. Опять ему послышалось идущее

издалека могучее дыхание дождя. Он уловил, что женщина говорит про церковь. У нее было в запасе всего несколько испанских слов. Что она хочет сказать? — подумал он. Но тут хлынул дождь. Дождь стеной стал между ним и спасением, обрушился на них глыбой, замкнул их в себе. Луна спряталась, и только вспышки молний освещали темноту.

Такого дождя крыша не могла выдержать, он лил сквозь нее, сухие кукурузные листья, на которых лежал мертвый ребенок, потрескивали, как горящие сучья. Он дрожал от холода — может быть, это начинается лихорадка? Надо уходить отсюда, пока еще у него есть силы. Женщина, невидимая в темноте, снова умоляюще проговорила:

— Iglesia[1].— Наверно, ей хочется похоронить ребенка у церкви или только поднести его к алтарю, чтобы он коснулся ног Христа. Безумная мысль!

При вспышке молнии, озарившей все вокруг голубым светом, он развел руками, показывая ей всю невозможность этого, и сказал:

— Солдаты.— Но она тут же ответила:

— Americano! — Это слово все время возникало в ее речи, будто в нем было много значений, и только интонация позволяла понять, о чем оно говорит,— поясняет, предостерегает, таит угрозу. Может, она хотела сказать, что солдаты заняты поисками преступника? Так или иначе дождь все погубил. До границы как было, так и осталось двадцать миль, но после грозы горные тропы будут, наверно, непроходимы... А церковь? Он не имел ни малейшего понятия, где найти церковь. Уже долгие годы ему не приходилось видеть их. Трудно поверить, что в нескольких днях пути отсюда где-то есть церкви. При вспышке молнии он увидел, что женщина с несокрушимым терпением смотрит на него.

Последние тридцать часов они ели только сахар — большие коричневые куски величиной с детскую голову; никого не видели, не сказали друг другу ни слова. А зачем говорить, когда общий язык их состоял всего лишь из двух слов: «Iglesia» и «Americano»? Женщина шла за ним по пятам с мертвым ребенком, привязанным у нее за спиной. Она, должно быть, не знала, что такое усталость. Через сутки они вышли из болот в предгорье, спать устроились на высоком берегу медленно текущей зеленой реки, найдя среди моря грязи сухое место под выступом скалы. Женщина сидела, подтянув колени, опустив голову; она не проявляла никаких чувств, но труп ребенка лежал у нее за спиной, точно его надо было охранять от мародеров, как всякое имущество. Держась по солнцу, они шли до тех пор, пока поросшая темным лесом горная гряда не указала им, куда должен лежать их путь. Подобно последним оставшимся в живых людям умирающего мира, они несли на себе четкую печать конца.

Иной раз священнику начинало казаться, что он уже в безопасности, но если видимых границ между штатами нет — ни паспортного пункта, ни таможни,— опасность не отстанет и будет брести за тобой, тяжело ступая по твоим следам. Продвигались они медленно: тропа то круто подымалась футов на пятьсот, то снова уходила вниз сплошным месивом грязи. Раз она сделала огромный поворот, так что через три часа они очутились ярдах в ста от того места, где он начинался.

К вечеру второго дня они вышли на широкое плато, заросшее невысокой травой; в вечернем небе чернел причудливый лес крестов, склонившихся под разными углами,— некоторые высотой футов в двадцать, другие не выше восьми. Кресты были похожи на пущенные в рост деревья. Священник остановился, с удивлением глядя на них. Это были первые, открыто стоявшие на виду символы христиан-

[1] Церковь *(исп.)*.

ства, с которыми ему пришлось столкнуться за последние пять лет,— если только на пустынном горном плато они будут у кого-нибудь на виду. Ни один священник не мог иметь отношения к столь странным, примитивным крестам. Это было индейское кладбище, и оно не вызывало в памяти ни опрятных церковных облачений, ни тщательно разработанной символики литургии. Казалось, кресты пришли сюда прямо из темной таинственной глубины веры, из мрака, где разверзаются могилы и пробуждаются мертвые. Он услышал шорох позади и оглянулся.

Женщина упала на колени и медленно ползла по жесткой земле к крестам; мертвый ребенок покачивался у нее за спиной. Добравшись до самого высокого креста, она отвязала ребенка, приложила его к дереву сначала лицом, потом спиной и перекрестилась, но не так, как обычно крестятся католики, а странным, сложным движением, включающим нос и уши. Неужели она ждет чуда? И если ждет, почему не даровать ей это чудо? — подумал священник. Сказано: вера движет горами, а она верит, верит в брение, исцелившее слепого[1], в голос, пробудивший мертвого. В небе зажглась вечерняя звезда; она низко висела над краем плато; до нее, казалось, можно было дотянуться рукой. Подул горячий ветерок. Священник поймал себя на том, что ждет, не шевельнется ли ребенок. Но он не шевельнулся, господь упустил возможность совершить чудо. Женщина села и, вынув из своего узла комок сахара, стала грызть его, а ребенок неподвижно лежал у подножия креста. В конце концов, зачем господу наказывать невинное дитя, воскрешая его к такой жизни?

— Vamos[2],— сказал священник, но женщина будто не слышала его и продолжала грызть сахар своими острыми передними зубами. Он взглянул на небо и увидел, что вечернюю звезду закрыли темные тучи.— Vamos.— Спрятаться от дождя на этом плато было негде.

Женщина не двинулась с места; ее угловатое, коротконосое лицо между двух черных кос было совершенно бесстрастно: она выполнила свой долг и теперь могла вкушать вечный отдых. Священник вздрогнул: боль, будто твердым ободком шляпы весь день сдавливавшая ему лоб, пробралась глубже. Он подумал: надо укрыться где-нибудь — у человека есть долг перед самим собой, этому учит даже Церковь. Небо темнело; кресты торчали, точно уродливые сухие кактусы. Он вышел на край плато и, прежде чем начать спуск, оглянулся; женщина все еще грызла сахар, и он вспомнил, что больше у них из еды ничего не было.

Тропа шла вниз очень круто — так круто, что ему пришлось спускаться по ней задом наперед; справа и слева из серых камней под прямым углом росли деревья, а в пятистах футах тропа снова уходила в гору. Священник вспотел, его мучила нестерпимая жажда. Хлынувший дождь принес ему сначала даже какое-то облегчение. Он прижался спиной к валуну; спрятаться было негде, а тратить силы на то, чтобы добраться до дна ущелья, не стоило. Дрожь теперь почти не прекращалась, но боль была уже не в голове, а где-то снаружи — повсюду: в шуме дождя, в мыслях, в запахах. Все его ощущения смешались. Вот боль стала нудным голосом, втолковывавшим ему, что он идет не по той тропе. Он вспомнил карту двух соседних штатов, которую видел когда-то. Штат, откуда он бежал, был усыпан деревушками — в знойных болотистых местах люди плодились, как москиты, но в соседнем, в северо-западном углу карты, почти ничего не было — чистая, белая бумага. Теперь ты на этой чистой бумаге, сказала ему боль. Но ведь туда ведет тропинка, устало возразил он. Ах, тропинка! — сказала боль. По тропинке ты пройдешь миль пять-

---

[1] Ср. Евангелие от Иоанна, 9, 6: «...Он плюнул на землю, сделал брение... и помазал брением глаза слепому...»

[2] Пойдем *(исп.)*.

десят, пока доберешься куда-нибудь. Тебя же не хватит на такое расстояние. Вокруг только белая бумага, и все.

Потом боль стала лицом. От твердо знал, что американец следит за ним,— кожа у него вся в мелких точечках, как на газетной фотографии. Должно быть, он шел за ними всю дорогу, потому что хотел убить и мать ребенка тоже. Надо что-то делать; дождь висел как занавес, за которым могло случиться все что угодно. Он подумал: нельзя было бросать ее одну, да простит меня бог. Нет у меня чувства ответственности за людей. Да чего же ждать от пьющего падре. И, с трудом поднявшись на ноги, он стал карабкаться назад, к плато. Мысли не давали ему покоя. Дело не только в женщине, отвечай и за американца. Два лица — его и убийцы — висели рядом на стене полицейского участка, точно портреты двух братьев в фамильной портретной галерее. Нельзя подвергать искушению брата своего.

Дрожа, обливаясь потом, насквозь промокший, он вышел на край плато. Там никого не было — мертвый ребенок не в счет, это просто ненужная вещь, брошенная к подножию креста; мать ушла домой. Она сделала все, что хотела сделать. Удивление прогнало лихорадку — прогнало на время, до следующего приступа. Маленький комок сахара — все, что осталось,— лежал у рта ребенка... на случай если чудо произойдет или чтобы покормить отлетевший дух? Со смутным чувством стыда священник нагнулся и взял его; мертвый ребенок не зарычит, как рычала искалеченная собака. Но ему ли отвергать возможность чуда? Он помедлил, стоя под проливным дождем, потом положил сахар в рот. Если господу будет угодно даровать жизнь ребенку, неужели же он не дарует ему и пищу?

Лишь только он начал есть, лихорадка вернулась; сахар застрял у него в горле, и снова появилась мучительная жажда. Нагнувшись, он стал лизать воду с бугристой земли и даже попробовал сосать свои промокшие штаны. Ребенок лежал под дождевыми струями, как темная куча коровьего помета. Священник вернулся к краю плато и стал спускаться вниз по ущелью; он был совсем один теперь — даже лицо исчезло, один тащился по чистой белой бумаге, с каждым шагом уходя все дальше и дальше в пустынную страну.

Где-то там есть, конечно, города, и если идти все дальше и дальше, то дойдешь до побережья, до Тихого океана, до железной дороги в Гватемалу; там будут и шоссе и автомобили. Поезда он не видал уже десять лет. Он представил себе черную линию на карте, бегущую вдоль побережья, видел впереди пятьдесят, сто миль незнакомой страны. Вот по ней он и бредет сейчас; он слишком далеко ушел от людей. Природа убьет его.

И все-таки он шел вперед. Какой смысл возвращаться в опустевшую деревню или на банановую плантацию с издыхающей собакой и рожком для обуви? Оставалось одно: ступать одной ногой, потом другой, сползать вниз, карабкаться вверх. Когда дождь ушел дальше, он выбрался из ущелья и увидел перед собой только огромное неровное пространство, лес, горы и бегущую прочь серую вуаль дождя. Он взглянул в ту сторону и больше не стал смотреть. Это было все равно что вперять глаза в отчаяние.

Прошло часа три, прежде чем подъем кончился; был вечер, вокруг — лес. По деревьям неуклюже и лихо скакали невидимые глазу обезьяны, а вот это, должно быть, змеи, точно зажженные спички, с шипеньем скользят в траве. Он не боялся их: это была хоть какая-то жизнь, и она уходила от него все дальше и дальше. Он расставался не только с людьми, звери и гады и те убегали от него; скоро он останется наедине со своим дыханием.

Он стал читать про себя: «Господи! Возлюбил я великолепие дома твоего».

Запах мокрых, гниющих листьев, душная ночь, темнота... Он в стволе шахты и спускается в глубину земли, чтобы похоронить себя. И скоро обретет могилу.

Когда человек с ружьем подошел к нему, он даже не пошевельнулся. Человек подходил с опаской: в глубине земли не ждешь встреч. Держа ружье наготове, он спросил:

— Ты кто?

Впервые за десять лет священник назвал себя незнакомцу по имени, потому что сил у него не было и жить тоже было незачем.

— Священник? — изумленно переспросил незнакомец.— Откуда вы?

Его снова лихорадило; он плохо понимал, что происходит. Он сказал:

— Не бойся. Я не принесу тебе беды. Я уйду.— Он собрал последние силы и пошел; озадаченное лицо проникло в его лихорадку и снова исчезло.— Заложников больше не будет,— успокоил он себя вслух. Шаги позади не отставали; он опасный человек, и незнакомец выпроваживает его со своего участка, прежде чем вернуться домой. Он громко повторил: — Не бойся. Я здесь не останусь. Мне ничего не надо.

— Отец...— проговорил голос, смиренно, взволнованно.

— Я сейчас уйду.— Он было побежал и вдруг очутился не в лесу, а на длинном, поросшем травой склоне. Внизу были огни, хижины, а здесь, на лесной опушке,— большое, оштукатуренное здание... Казармы? Там солдаты? Он сказал: — Если меня уже увидели, я сдамся. Даю тебе слово, из-за меня никто не пострадает.

— Отец...

Голова у него разламывалась от боли; он оступился и, чтобы не упасть, оперся рукой о стену. Во всем его теле была безмерная усталость. Он спросил:

— Это казармы?

— Отец...— недоумевающе, тревожно сказал голос.— Это наша церковь.

— Церковь? — Священник недоверчиво провел руками по стене, точно слепой, отыскивающий знакомый дом, но усталость ничего не давала ему почувствовать. Он услышал, как человек с ружьем бормочет где-то рядом:

— Такая честь, отец. Надо ударить в колокол...— И вдруг опустился на мокрую от дождя траву, откинул голову к белой стене и уснул, прижавшись лопатками к родимому дому.

Сон его был полон веселых, радостных звуков.

## *Часть третья*

### Глава 1

Пожилая женщина сидела на веранде и штопала носки; она была в пенсне, туфли с ног для удобства сбросила. Ее брат мистер Лер читал нью-йоркский журнал трехнедельной давности, но это особенного значения не имело. Тихая, мирная сценка.

— Пейте воду,— сказала мисс Лер.— Пейте сколько хотите.

В прохладном уголке веранды стоял огромный глиняный кувшин с ковшиком и стаканом.

— А вы не кипятите воду? — спросил священник.

— О нет, у *нас* вода свежая, чистая,— сухо проговорила мисс Лер, как бы не отвечая за то, что делается в других домах.

— Лучшая вода в штате,— сказал ее брат. Глянцевитые журнальные страницы с квадратными, чисто выбритыми, бульдожьими физиономиями сенаторов и конгрессменов похрустывали, когда он переворачивал их. За садовой изгородью, к горному кряжу, шла мягкая волнистая линия луга, а у калитки каждый день покрывалось цветами и каждый день теряло их тюльпанное дерево.

— Сегодня у вас совсем другой вид, отец,— сказала мисс Лер. Английская речь у брата и сестры была гортанная, с легким американским акцентом. Мистер Лер уехал из Германии юнцшей, чтобы не отбывать воинской повинности. Лицо у него было все в хитрых морщинках — лицо идеалиста. В этой стране без хитрости не проживешь, если хочешь сохранить хоть какие-нибудь идеалы; он изворачивался, охраняя свою добропорядочную жизнь.

— О-о,— сказал мистер Лер.— Отдохнуть несколько дней — вот все, что ему было нужно.— Он не проявлял никакого любопытства к этому человеку, которого его управляющий привез три дня назад на муле в полном изнеможении. Он знал о нем только то, что священник сам рассказал. Вот еще один урок, преподанный этой страной: никого ни о чем не расспрашивай и не заглядывай вперед.

— Скоро я смогу уйти от вас,— сказал священник.

— Зачем торопиться? — сказала мисс Лер, вертя в руках носок брата в поисках дырок.

— Здесь так покойно.

— Ну-у! — сказал мистер Лер.— Неприятности нас не миновали.— Он перелистнул страницу журнала и сказал: — Этот сенатор, Хирам Лонг,— его нужно бы одернуть. Оскорбления по адресу других государств до добра не доведут.

— А у вас не пробовали отобрать землю?

Лицо идеалиста повернулось к нему; на нем было написано невинное лукавство.

— Я отдал все, что от меня потребовали,— пятьсот акров пустоши. И сэкономил на налогах. Все равно там ничего не росло.— Он кивнул на подпорки веранды.— Вот то было *настоящей* неприятностью. Видите следы от пуль? Люди Вильи.

Священник снова встал и выпил еще один стакан воды; пить ему не так уж хотелось — приятно было понежиться в роскоши. Он спросил:

— А далеко отсюда до Лас-Касаса?

— Четыре дня пути,— сказал мистер Лер.

— В его-то состоянии! — сказала мисс Лер.— Шесть дней.

— Там мне все покажется таким странным,— сказал священник.— Город, где есть церкви, университет...

— Мы с сестрой лютеране,— сказал мистер Лер.— Мы не одобряем вашей Церкви, отец. Слишком много у вас роскоши, по-моему. А народ голодает.

Мисс Лер сказала:

— Ну что ты, милый! Отец тут ни при чем.

— Роскоши? — сказал священник. Он стоял возле глиняного кувшина со стаканом в руке, пытаясь собраться с мыслями, и глядел на пологие мирные склоны, поросшие травой.— Вы считаете, что...— Может быть, мистер Лер и прав: ведь когда-то ему действительно жилось привольно, и теперь он снова готов погрузиться в праздность.

— В церквах повсюду позолота.

— Чаще всего это просто краска,— умиротворяюще пробормотал священник. Он думал: да, целых три дня, а что я сделал — ничего. Ничего. И посмотрел на свои ноги, обутые в элегантные ботинки мистера Лера, на запасные брюки мистера Лера. Мистер Лер сказал:

— Он не обидится на мою откровенность. Мы здесь все христиане.

— Да, конечно. Мне интересно послушать ваши...

— По-моему, у вас придают слишком большое значение вещам несущественным.

— Да? Вы считаете, что...

— Посты... рыба по пятницам...

Да, он вспомнил, будто из далекого детства, что такое было, когда-то он соблюдал эти правила. Он сказал:

— Ведь вы немец, мистер Лер. Германия — великая военная держава.

— Я никогда не служил в армии. Я не одобряю...

— Да, разумеется. Но вы же понимаете — дисциплина все-таки необходима. В бою муштра, может, и не пригодится, но она вырабатывает характер. А нет дисциплины — тогда... тогда получаются такие, как я.— Он вдруг с ненавистью посмотрел на свои ботинки — они были точно клеймо дезертира.— Такие, как я,— яростно повторил он.

Наступило общее замешательство. Мисс Лер начала было:

— Ну что вы, отец...— Но мистер Лер опередил ее. Он захлопнул журнал, начиненный гладко выбритыми политическими деятелями, и сказал своим германо-американским голосом, гортанно отчеканивая слова:

— Ну-с, пора купаться. Составите мне компанию, отец? — И священник покорно последовал за ним в их общую спальню. Он снял с себя одежду мистера Лера, надел плащ мистера Лера и, босой, пошел за мистером Лером через веранду и через луг. Накануне он опасливо спросил: «А змей здесь нет?» — и, презрительно хмыкнув, мистер Лер ответил, что, будь здесь змеи, они не преминули бы убраться с дороги. Мистер Лер и его сестра дружно отвергали всякую нечисть, просто отказывались верить во что-либо несовместимое с обычным германо-американским бытом. Такое отношение к жизни было по-своему великолепно.

У склона луга по коричневой гальке бежала мелкая речушка. Мистер Лер скинул халат и лег в воду на спину; что-то праведное и идеалистическое чувствовалось даже в этих сухопарых, немолодых ногах с веревками мускулов. Крошечные рыбешки резвились у него на груди и пощипывали за соски. Это был скелет того юноши, который до такой степени не одобрял милитаризма, что решился покинуть родину. Вскоре мистер Лер сел и начал старательно намыливать свои тощие бедра. Потом мыло перешло к священнику, и он последовал его примеру. Он чувствовал, что от него ждут этого, но сам считал такое занятие пустой тратой времени. Пот очищает тело не хуже воды. Но ведь это та нация, что придумала поговорку: чистоплотность — путь к праведности. Именно так: чистоплотность, не чистота.

И все же какое наслаждение лежать в прохладной воде и чувствовать, что солнце идет к закату... Он вспомнил тюремную камеру со стариком и набожной женщиной, метиса, который разлегся поперек двери в лесную хижину, мертвого ребенка и покинутую плантацию. Вспомнил с чувством стыда свою дочь, брошенную на произвол судьбы, вспомнил ее, испорченную и невежественную, там, у свалки мусора. Нет, не имеет он права на такую роскошь.

Мистер Лер сказал:

— Будьте добры — мыло.

Он лег лицом вниз и принялся за свою спину.

Священник сказал:

— Может быть, следует предупредить вас... Завтра утром я служу мессу в деревне. Не лучше ли мне уйти из вашего дома? Я не хочу, чтобы у вас были неприятности из-за меня.

Мистер Лер сосредоточенно бултыхался в воде, смывая мыло. Он сказал:

— Да нет, со мной ничего не сделают. Но вам советую — будьте осторожнее. Вы, конечно, знаете, что это запрещено законом.

— Да,— сказал священник.— Знаю.

— Одного знакомого мне священника оштрафовали на четыреста песо. Уплатить штраф он не мог, и его посадили на неделю в тюрьму. Почему вы улыбаетесь?

— Да потому, что здесь все так... тихо, мирно. Неделя тюрьмы!

— Впрочем, ваш брат всегда свое вернет на пожертвованиях. Дать вам мыло?

— Нет, спасибо. Больше не надо.

— Тогда давайте кончать. Мисс Лер любит купаться до заката.

Идя гуськом к дому, они повстречали мисс Лер, такую грузную в халате. Машинально она бросила на ходу, будто негромко пробили часы:

— Как сегодня вода? — Брат ответил ей, наверно, в тысячный раз:

— Приятно холодит, милая.— И она прошлепала по траве в комнатных туфлях, близоруко наклоняясь вперед.

— Если вы не возражаете,— сказал мистер Лер, затворяя дверь спальни,— давайте побудем здесь, пока мисс Лер не вернется. Понимаете, в чем дело,— речку видно с веранды.— Он стал одеваться — высокий, костлявый и чуть скованный в движениях. Две железные кровати, один-единственный стул и платяной шкаф — как в монастырской келье, только распятия здесь не было — ничего «несущественного», по словам мистера Лера. Но Библия была. В черном коленкоровом переплете она лежала на полу возле одной из кроватей. Кончив одеваться, священник раскрыл ее.

На форзаце была наклейка, которая свидетельствовала, что эта книга предоставлена гостинице Гидеоновским обществом[1]. Далее шло: «Библию в каждый гостиничный номер. Обратим коммерсантов к Христу. Благая весть». Потом следовал перечень текстов. Священник с удивлением прочел:

| | |
|---|---|
| Если вас постигла беда, читайте | Псалом 34. |
| Если дела ваши плохи, | Псалом 37. |
| Если вы процветаете, | Первое Послание к Коринфянам, 10, 2. |
| Если вы в унынии и отпадаете от веры, | Послание Иакова, 1, Книгу пророка Осии, XIV, 4 — 9. |
| Если вас одолевают грехи, | Псалом 50, Евангелие от Луки, XVIII, 9 — 14. |
| Если вы жаждете мира, силы и изобилия, | Евангелие от Иоанна, 14. |
| Если вы одиноки и вам не хватает мужества, | Псалмы 23 и 27. |
| Если вы теряете веру в людей, | Первое Послание к Коринфянам, XIII |
| Если вы жаждете мирных снов, | Псалом 121. |

Священник не мог понять, как эта книжка с ее уродливой небрежной печатью и убогими наставлениями попала сюда, на южномексиканскую асьенду. Отвернувшись от зеркала и держа в руках большую жесткую щетку для волос, мистер Лер пояснил ему:

— Моя сестра раньше держала гостиницу. Для коммивояжеров. Но когда жена у меня скончалась, сестра свою гостиницу продала и переехала сюда. И привезла одну из своих Библий. Вам этого не понять, отец. Вы не любите, когда люди читают Библию[2].— Мистер Лер все время стоял на страже своей веры, словно ощущая некоторое неудобство, как от башмака, который не по ноге.

Священник спросил:

— Ваша жена здесь и похоронена?

— На выгоне,— коротко ответил мистер Лер. Держа щетку в руке, он прислушался к тихим шагам на дорожке.— Это мисс Лер,— сказал он,— возвращается с купания. Теперь можно выйти.

Подъехав к церкви, священник слез со старой лошади мистера Лера и накинул поводья на куст. Это было его первое посещение деревни с того самого вечера, как он свалился у церковной стены. Де-

[1] Одно из обществ по распространению Библии.

[2] Вплоть до недавнего времени католикам не рекомендовалось читать Библию без церковных комментариев.

ревня сбегала вниз по склону; по обе стороны широкой, поросшей травой улицы в сумраке виднелись крытые жестью бунгало и глинобитные хижины. Кое-где уже горели лампы, а по хижинам бедняков носили разжигу. Священник шел медленно, чувствуя себя покойно, в полной безопасности. Первый встретившийся ему человек снял шляпу, опустился на колени и поцеловал ему руку.

— Как тебя зовут? — спросил священник.

— Педро, отец.

— Спокойной ночи, Педро.

— Вы отслужите утром мессу, отец?

— Да. Месса будет.

Он прошел мимо деревенской школы. На ступеньках ее сидел учитель — полный молодой человек с темно-карими глазами, в роговых очках. Увидев священника, он демонстративно отвернулся. Этот был из законопослушных — не пожелал здороваться с преступником. Поучительным, самодовольным тоном он начал выговаривать кому-то, скрытому его спиной. Речь шла о младшем классе. К священнику подошла женщина и поцеловала ему руку. Как странно, что ты опять нужен людям, странно, что ты уже не несешь с собой смерти. Женщина сказала:

— Отец, вы исповедуете нас?

Он сказал:

— Да, да. В конюшне сеньора Лера. До мессы. Я приду туда к пяти часам. Как только рассветет.

— Нас так много, отец.

— Хорошо, тогда сегодня вечером. В восемь.

— А сколько детей надо окрестить, отец. Мы не видели священника уже три года.

— Я пробуду здесь еще два дня.

— А сколько вы с нас возьмете, отец?

— Ну... обычная цена по два песо.— Он подумал: надо будет нанять пару мулов и проводника. Дорога до Лас-Касаса обойдется в пятьдесят песо. Пять песо за мессу — остается собрать еще сорок пять.

— Мы бедные, отец,— робко начала торговаться женщина.— У меня у самой четверо детей. Восемь песо — большие деньги.

— Что-то многовато у тебя детей, коли священника не было здесь уже три года.

Он слышал, как его голос обретает прежнюю властность — точно все последние годы приснились ему и он не расставался с церковными обществами, с «Детьми Девы Марии» и ежедневной службой в церкви. Он резко спросил:

— Сколько здесь детей — некрещеных?

— Человек сто.

Он прикинул: значит, можно будет появиться в Лас-Касасе не жалким нищим, можно будет купить приличный костюм, найти подходящее жилье, устроиться... Он сказал:

— Хорошо, полтора песо с головы.

— Один песо, отец. Мы очень бедные.

— Полтора песо.— Голос из прошлого настойчиво прошептал ему на ухо: они не ценят того, за что не уплачено. Так говорил старый священник, которого он сменил в Консепсьоне. Старик пояснил: эти люди жалуются на бедность, на голод, но у них всегда припасено кое-что про черный день. Священник сказал: — Завтра в два часа дня приносите деньги и приводите детей в конюшню сеньора Лера.

Женщина сказала:

— Хорошо, отец.— Она, видимо, осталась довольна: выторговала пятьдесят сентаво с головы. Священник пошел дальше. Скажем, сто человек детей, подсчитывал он, вместе с завтрашней мессой это будет сто шестьдесят песо. Может, удастся нанять пару мулов с проводником за сорок песо. Сеньор Лер даст мне еды на шесть дней.

Останется сто двадцать песо. Да это целое состояние после всего, что было за последние годы. Встречные отдавали ему дань уважения, мужчины снимали шляпы. Будто снова наступили те дни, когда священников не преследовали. Прежняя жизнь возвращалась, точно забытая привычка, которая заставляла его высоко держать голову, управляла его походкой и даже вкладывала слова в уста. Из харчевни кто-то позвал:

— Отец.

Тучный, с тройным торгашеским подбородком человек в жилетке, несмотря на жару, и при часах на цепочке.

— Да? — сказал священник. Позади этого человека, на уровне его головы, стояли бутылки — минеральная вода, пиво, спиртные напитки... Священник вошел с пыльной улицы под пекло керосиновой лампы.

— Что тебе? — спросил он властным, нетерпеливым тоном, таким новым и таким привычным для него.

— Вам, отец, может, нужно вино для причастия?

— Пожалуй... но только в кредит.

— Священникам кредит у меня всегда широкий. Я человек религиозный. У нас тут все религиозные. Вы, наверно, будете крестить? — Он алчно подался вперед, держась почтительно и в то же время нагловато,— мол, оба мы люди образованные и придерживаемся одного образа мыслей.

— Да, пожалуй...

Хозяин харчевни понимающе улыбнулся. Нам с вами, будто намекал он, незачем вдаваться в подробности, мы и так понимаем друг друга. Он сказал:

— Раньше, когда церковь не была закрыта, меня выбрали казначеем «Общества святого причастия». Я добрый католик, отец. Народ здесь, конечно, невежественный. Не удостоите ли вы меня чести выпить стаканчик бренди? — По-своему он был вполне искренен.

Священник нерешительно проговорил:

— С твоей стороны очень...— Два стакана были уже налиты. Ему вспомнилась его последняя выпивка, когда он сидел в темноте на кровати, слушая начальника полиции, и видел при вспышках электричества, как исчезают остатки вина. Это воспоминание, точно рука, снимало с него доспехи и оставляло его беззащитным. От запаха бренди он почувствовал сухость во рту. Он подумал: какой я комедиант! Мне нечего делать здесь среди хороших людей. Он повертел стакан в руке и вдруг вспомнил и все остальные выпитые им стаканы. Он вспомнил, как зубной врач говорил о своих детях и как Мария вынула из тайника бутылочку, сбереженную для него — для пьющего падре.

Он нехотя пригубил стакан.

— Бренди хорошее, отец,— сказал хозяин харчевни.

— Да. Хорошее бренди.

— Могу уступить вам дюжину бутылок за шестьдесят песо.

— Откуда мне взять шестьдесят песо? — Он подумал: в некоторых отношениях по ту сторону границы было, пожалуй, лучше. Страх и смерть — еще не самое плохое. Жизнь порой тянется впустую.

— Я не хочу наживаться на вас, отец. Пятьдесят песо.

— Пятьдесят, шестьдесят. Какая разница?

— Пейте, отец. Еще стаканчик. Бренди хорошее.— Хозяин угодливо нагнулся над стойкой и сказал:— Ну а полдюжины, отец, за двадцать четыре песо? — И добавил с хитрой улыбкой: — Ведь придется крестить, отец.

Как страшно, что все так быстро забываешь и возвращаешься к прежнему! Он слышал свой голос, свои беседы на улице и эту консепсьонскую интонацию, как будто бы ничего не было — ни смертно-

го греха без покаяния, ни постыдного бегства. Бренди приобрело противный привкус — привкус порока. Господь прощает малодушие и страсти, обуревающие человека, но можно ли простить благочестие, которое всего лишь привычка? Он вспомнил женщину в тюрьме и ее несокрушимое самодовольство. Вот и он такой же. Он проглотил бренди, будто испил проклятие. Метис еще может спастись: спасение молнией ударяет в злые сердца, но благочестие, ставшее привычкой, освобождает тебя от всего, кроме молитвы на сон грядущий, кроме участия в собраниях церковных обществ и прикосновения смиренных губ к твоей руке в черной перчатке.

— Лас-Касас — прекрасный город, отец. Говорят, там каждый день можно слушать мессу.

Вот еще один благочестивец. Таких много. Хозяин харчевни подливал ему бренди в стакан, но аккуратно — так, чтобы не переусердствовать. Он сказал:

— Когда приедете в Лас-Касас, отец, отыщите там моего кума на Гвадалупа-стрит. У него харчевня — ближайшая к церкви. Хороший человек. Казначей «Общества святого причастия»— я ведь тоже был здесь казначеем в прежние добрые времена. Он продаст недорого все, что вам нужно. Ну-с, а несколько бутылок в дорогу возьмете?

Священник пил бренди. А почему не пить? Ведь это вошло у него в привычку так же, как набожность и назидательный тон. Он сказал:

— Три бутылки. За одиннадцать песо. Оставьте их для меня.— Он допил бренди и вышел на улицу. В домах светились огни, и широкая улица расстилалась между освещенными окнами, как прерия. Он оступился, попав ногой в ямку, и почувствовал чью-то руку у себя на локте.— А, Педро! Кажется, так тебя зовут? Спасибо, Педро!

— Рад услужить, отец.

Церковь стояла в темноте глыбой льда; лед подтаивал на жаре. В одном месте крыша у церкви просела, штукатурка над входом осыпалась. Священник покосился на Педро, задерживая дыхание, чтобы Педро не почуял запаха бренди, но разглядел только смутные очертания его лица. Он проговорил вкрадчиво, точно хотел обмануть лихоимца, притаившегося у него в сердце:

— Скажи людям, Педро, что за крещение я возьму только по одному песо...— Ничего, на бренди хватит, хотя, конечно, в Лас-Касас он приедет как нищий. Молчание длилось секунды две, а потом хитрый крестьянский голос затянул:

— Мы бедные, отец. Песо — это большие деньги. Вот у меня, например, трое детей. Нельзя ли, отец, по семьдесят пять сентаво?

Мисс Лер вытянула ноги, обутые в шлепанцы; из темноты на веранду слетались жуки. Она сказала:

— Однажды в Питтсбурге...— Ее брат спал с прошлогодним номером газеты на коленях; в тот день им доставили почту. Священник сочувственно хмыкнул, как в прежние дни, но это был неудачный ход. Мисс Лер замолчала и потянула носом.— Странно! Мне почудилось, будто пахнет спиртным.

Священник затаил дыхание и сел в качалку поглубже. Он подумал: как здесь тихо, как спокойно. А ведь некоторые горожане не могут спать в таких местах из-за тишины; тишина иной раз, как шум, назойливо гудит в ушах.

— О чем это я говорила, отец?

— Однажды в Питтсбурге...

— А, да. В Питтсбурге... Я ждала поезда. Читать мне было нечего — книги ведь очень дороги. Дай, думаю, куплю газету, все равно какую — новости везде одни и те же. Но когда я ее развернула... Называлась она, кажется, «Полис ньюс». Кто бы мог подумать, что та-

кие вещи печатают! Я, конечно, прочла всего несколько строк. Ничего страшнее со мной в жизни не случалось. Это... Это открыло мне глаза.

— Да-а...

— Мистеру Леру я об этом так и не сказала. Если б он узнал, то, наверно, изменил бы мнение обо мне.

— Ведь ничего дурного вы не сделали.

— Да, но знать про такие вещи...

Где-то вдали засвистела птица; лампа на столе начала коптить, мисс Лер нагнулась и убавила фитиль — точно пригасила единственный огонек на мили вокруг. Священник снова почувствовал вкус бренди во рту — так запах эфира напоминает человеку о недавней операции, пока он не привыкнет к тому, что жив. Бренди связывало его совсем с другим существованием. Он еще не свыкся с этим глубоким покоем. Пройдет время, и все наладится, сказал он себе, я подтянусь — ведь заказано всего три бутылки. Больше я пить не стану, там мне это не понадобится. Он знал, что лжет. Мистер Лер вдруг проснулся и сказал:

— Так вот, я говорил...

— Ты ничего не говорил, милый. Ты спал.

— Нет, речь шла о мерзавце Гувере.

— Ошибаешься, милый. Это было задолго...

— Что ж, день сегодня тоже долгий,— сказал мистер Лер.— И отец, наверно, устал... после всех этих исповедей,— добавил он с чуть заметным отвращением.

Поток исповедников тянулся с восьми до десяти — два часа, заполненные всем дурным, что сотворила за три года такая маленькая деревушка. Зла было не так уж много — город мог бы блеснуть и худшим. Впрочем... Человек ограничен в своих поступках. Пьянство, прелюбодеяние, безнравственность. Чувствуя вкус бренди на языке, он сидел в качалке в одном из стойл и не смотрел на тех, кто стоял рядом с ним на коленях. Остальные дожидались своей очереди в соседнем стойле, тоже опустившись на колени. Конюшня мистера Лера уже давно пустовала. У него осталась только одна старая лошадь, которая хрипло отфыркивалась в темноте под покаянный шепот.

— Сколько раз?

— Двенадцать, отец. А может, и больше.— И лошадь фыркнула.

Удивительно, какое простодушие сопутствует греху,— простодушия нет только у закоренелых осторожных преступников да у святых. Эти люди выходили из конюшни чистыми; один он не принес покаяния в грехах, не исповедался, не получил отпущения. Вот этому человеку ему хотелось сказать: «В любви ничего дурного нет, но любовь должна быть счастливой, открытой. Дурно, когда она тайная и не приносит счастья... Что может быть хуже такой любви? Только если теряешь бога. А это и есть потеря бога. Незачем налагать на тебя епитимью, дитя мое, ты и так много страдал». А другому хотелось сказать: «Похоть — это еще не самое дурное. Но вот настанет день, настанет час, и она может перейти в любовь — вот почему мы должны страшиться похоти. А если кто возлюбил свои грехи, тот уже несет на себе проклятие». Но привычная манера исповедника взяла свое: он будто опять сидел в душном, похожем на гроб ящике, где люди хоронят с помощью священника свои пороки. И он говорил:

— Смертный грех... опасно... надо владеть собой,— точно эти слова что-то значили. Он говорил: — Прочитай три раза «Отче наш» и три раза «Богородицу».— Он устало шептал: — Пьянство лишь начало...— И понимал, что ему нечего противопоставить даже этому обычному пороку, когда от него самого несет спиртным по всему стойлу. Он налагал епитимью наспех, сухо, машинально. Человек уйдет от него, не дождавшись ни чуткости, ни поддержки, и скажет: «Плохой священник».

Он говорил:

— Эти законы созданы для людей. Церковь не ждет от нас... если ты не можешь соблюдать пост, тогда ешь, вот и все.— Старуха болтала и болтала без удержу, исповедники рядом в стойле беспокойно переминались с колена на колено, лошадь фыркнула, а старуха все болтала, что постных дней она не соблюдает, что вечернюю молитву не договаривает до конца. И вдруг с чувством острой тоски он вспомнил заложников во дворе тюрьмы, и как они стояли в очереди к водопроводному крану, не глядя на него — на священника. Сколько страданий, сколько мужества по ту сторону гор! Он яростно перебил старуху: — Исповедуйся толком. Мне не важно знать, продается ли в вашей лавке рыба и клонит ли тебя ко сну вечером. Говори о своих настоящих грехах.

— Я хорошая женщина, отец,— удивленно пискнула она.

— Тогда что тебе здесь надо, зачем ты отнимаешь время у плохих людей? — Он сказал: — Любишь ли ты хоть кого-нибудь, кроме самой себя?

— Я люблю господа, отец,— надменно проговорила старуха. Он быстро взглянул на нее и увидел при свете свечи, стоявшей на полу, черствые изюминки старческих глаз под черной шалью. Вот еще одна благочестивая вроде меня.

— Откуда в тебе такая уверенность? Любить господа — это так же, как любить мужчину... или ребенка. Потребность быть с Ним, возле Него.— Он безнадежно махнул рукой.— Потребность защитить Его от самой себя.

Отпустив последнего исповедника, он пошел через двор к дому мистера Лера. На веранде горела лампа, мисс Лер сидела с вязаньем в руках, с пастбища доносился запах травы, смоченной первыми дождями. Вот где можно бы жить счастливо, не будь ты неразрывно связан со страхом и страданиями — уныние так же входит в привычку, как набожность. Может быть, он по долгу своему обязан порвать эту связь, обязан найти покой и мир. Его снедала зависть к тем, кто исповедался и получил отпущение грехов. Через шесть дней, сказал он себе, в Лас-Касасе я тоже... Но ему не верилось, что кому-то дана власть снять тяжесть с его сердца. Даже когда он пьет, любовь не дает ему забыть содеянный грех. От ненависти освободиться легче.

Мисс Лер сказала:

— Садитесь, отец. Вы, наверно, устали. Я, конечно, не верю в исповедь. И мистер Лер тоже не верит.

— Да?

— Не понимаю, как вы можете сидеть там и выслушивать про все эти ужасы... Помню, однажды в Питтсбурге...

Мулов привели накануне вечером, чтобы в путь можно было отправиться сразу же после мессы — второй, которую он служил в конюшне мистера Лера. Проводник — тощий, беспокойный человек — где-то спал, наверно, с мулами; он никогда не бывал в Лас-Касасе и знал дорогу туда только понаслышке. Мисс Лер с вечера заявила, что она разбудит священника, но он проснулся сам еще до рассвета. Лежа на кровати, он услышал треск будильника в соседней комнате, похожий на телефонный звонок. Потом в коридоре послышалось шлеп-шлеп домашних туфель мисс Лер и стук-стук в дверь. Лежа на спине, мистер Лер спал безмятежным сном — плоский, прямой, как статуя епископа на надгробной плите.

Священник не раздевался на ночь, и как только мисс Лер постучала, он сразу же отворил дверь, не дав ей скрыться. Грузная, в сетке для волос, она испуганно вскрикнула, застигнутая врасплох.

— Простите.

— Ничего, ничего. Сколько у вас уйдет времени на мессу, отец?
— Причастников много. Минут сорок пять.
— Я приготовлю вам кофе и сандвичи.
— Спасибо, не стоит.
— Не отпустим же мы вас на голодный желудок.

Она проводила священника до двери и остановилась чуть позади него, так, чтобы кто-нибудь невзначай не увидел ее этим безлюдным, ранним утром. Над лугом клубился серый свет; тюльпанное дерево покрывалось цветами еще на один день. За речкой, где он купался, к конюшне мистера Лера шли прихожане; на таком расстоянии они казались мелкими, будто и не человеческие существа. Он чувствовал, как счастье насторожилось вокруг и ждет, что он окунется в него, точно детвора на киносеансе или на родео. Да, ему было бы хорошо, если б он не оставил позади ничего, кроме тяжелых воспоминаний. Человек должен стоять не за насилие, а за мир, и он уйдет в сторону мира.

— Вы так хорошо меня приняли, мисс Лер.

Странно было почувствовать вначале, что в тебе видят гостя, а не преступника или пьющего падре. Эти люди еретики, но им и в голову не приходило, что он плохой человек; они не лезли ему в душу, подобно его собратьям-католикам.

— Мы были рады вам, отец. Но там вам будет лучше. В Лас-Касасе хорошо. Это прекрасный город — высоконравственный, как любит говорить мистер Лер. Если вы встретитесь там с отцом Кинтаной, передайте ему от нас привет. Он был здесь три года назад.

Ударили в колокол; его сняли с церковной колокольни и повесили около конюшни мистера Лера. Он звонил, как звонят в обычный воскресный день в любом другом месте.

— Иной раз,— сказала мисс Лер,— мне хочется сходить в церковь.

— За чем же дело стало?

— Мистеру Леру это не понравится. Он очень строгий. Но теперь церковные службы бывают так редко — до следующей, наверно, пройдет три года.

— Я вернусь раньше.

— Нет, едва ли,— сказала мисс Лер.— Дорога к нам нелегкая, а Лас-Касас прекрасный город. Там электрические фонари на улицах, две гостиницы. Отец Кинтана тоже обещал вернуться, но ведь христиане есть повсюду, правда? Зачем ему приезжать сюда? Да и мы не так уж в нем нуждаемся.

Мимо калитки прошли небольшой группой индейцы — низкорослые, мосластые, они были как выходцы из каменного века; мужчины в холщовых рубашках по колено держали в руках длинные шесты, а женщины с черными косами и топорными чертами лица несли детей за спиной.

— Индейцы узнали, что вы здесь,— сказала мисс Лер.— Наверно, миль пятьдесят прошли.— Индейцы остановились у калитки и уставились на священника. Когда он посмотрел на них, они пали на колени и стали креститься — странным, мелким крестом, касаясь носа, ушей и подбородка.— Мой брат ужасно сердится,— сказала мисс Лер,— если при нем кто-нибудь становится на колени перед священником, но я не вижу в этом ничего дурного.

За углом дома били копытами мулы — проводник, наверно, привел их туда покормить кукурузой; едоки они медленные, и им требовалось время, чтобы наесться. Пора было начинать мессу и, отслужив ее, отправляться в путь. Священник вдохнул запах раннего утра — мир был еще свеж и зелен; в деревне за пастбищами залаяли собаки. В руках у мисс Лер тикал будильник. Священник сказал:

— Ну, я пойду.— Ему почему-то не хотелось покидать мисс Лер, и этот дом, и мистера Лера, спавшего у себя в комнате. Нежность

и чувство зависимости от нее смешались у него в сердце. Когда человек просыпается после тяжелой операции, ему особенно дорого первое лицо, которое проступает перед ним в редеющем тумане наркоза.

Облачения на нем не было, но месса, что он служил в этой деревушке, больше других за последние восемь лет напоминала ему, как все шло когда-то у него в приходе: он не боялся, что служба будет прервана, не спешил с причастием, не опасался налета полицейских. Из стоящей на замке церкви в конюшню мистера Лера принесли даже алтарный камень. Но, готовясь принять святые тайны в этой тишине, в покое, он еще сильнее чувствовал свою греховность.

— Да не будет мне, недостойному, причастие тела твоего, господь наш, Иисус Христос, в суд и осуждение.— Человек добродетельный почти перестает верить в ад, но он-то носит ад с собой, иногда даже видит его во сне. Domine, non sum dignus... domine, non sum dignus...[1] Зло, как малярия, бежало у него в крови. Он вспомнил один свой сон: большая, поросшая травой арена, по краям ее статуи святых. Но святые были живые, они вращали глазами туда-сюда в ожидании чего-то. Он тоже ждал, страшась и уповая. Бородатые Петры и Павлы, прижимая Библии к груди, следили за входом на арену, а он не видел, что́ у него за спиной: вдруг оттуда выскочит зверь. Потом послышались звуки маримбы, наигрывавшей все один и тот же мотив, в небе вспыхнул фейерверк, и на арену, танцуя, выбежал Христос; он прыгал взад и вперед, взад и вперед, становился в позы. С размалеванным и окровавленным лицом, гримасничая, как проститутка, Христос непристойно улыбался. Он очнулся от сна в глубочайшем отчаянии, будто обнаружив, что его последние деньги — фальшивые.

— ... и мы видели славу его, славу как единородного, от Отца, полную благодати и истины.— Месса подошла к концу.

Через три дня, сказал он себе, я буду в Лас-Касасе. Я исповедуюсь, получу отпущение грехов... и мысль о девочке возле мусорной свалки мучительной любовью обожгла ему сердце. Поможет ли исповедь, если так любишь плод своего преступления?

Люди опускались на колени, когда он шел к выходу из конюшни: вот кучкой стоят индейцы; вот женщины, детей которых он крестил; Педро; хозяин харчевни тоже стоит здесь, преклонив колена, закрыв глаза своими пухлыми руками, а с пальцев у него свисают четки. Вид у этого человека добропорядочный, может, он и на самом деле добропорядочный, может быть, подумал священник, я потерял способность разбираться в людях — может быть, та женщина в тюремной камере была лучше всех... Лошадь, привязанная к дереву, заржала, нарушая тишину раннего часа, и вся утренняя свежесть ворвалась в открытую дверь.

Около мулов его ждали два человека: проводник прилаживал стремя, а рядом с ним, почесывая под мышкой, улыбаясь ему навстречу неверной, настороженной улыбкой, стоял метис. Он был как легкая боль, напоминающая человеку о его недуге, как внезапное воспоминание, которое говорит, что любовь еще жива.

— Вот не ожидал увидеть тебя здесь,— сказал священник.

— Конечно, отец, конечно, не ожидали.— Он поскреб под мышкой и улыбнулся.

— Привел с собой солдат?

— Что это вы говорите, отец! — воскликнул метис и нерешительно хихикнул. У него за спиной, в открытой настежь двери, была видна мисс Лер, которая готовила сандвичи в дорогу; она уже оделась, но сетку с головы так и не сняла. Мисс Лер аккуратно заворачивала сандвичи в пергаментную бумагу, и в ее неторопливых дви-

[1] Недостоин, господи... недостоин, господи... *(лат.)*.

жениях ему почудилось что-то странное, нереальное. Реальностью был метис. Священник сказал:

— Ну, что ты теперь задумал? — Уж не подкупил ли он проводника, чтобы тот увел меня назад, через границу? От этого человека можно ждать всего.

— Не надо так говорить, отец!

Мисс Лер бесшумно, как сон, исчезла у него из виду.

— Не надо?

— Я пришел сюда...— Метис набрал полную грудь воздуха перед тем, как выпалить неожиданно высокопарное заявление: — В поисках милосердия.

Проводник кончил возиться с одним мулом и занялся другим, укорачивая и без того короткие мексиканские стремена. Священник нервно усмехнулся:

— В поисках милосердия?

— Ведь вы, отец, единственный священник по эту сторону от Лас-Касаса, а человек умирает...

— Какой человек?

— Янки...

— Что ты несешь?

— Тот, которого ищет полиция. Он ограбил банк. Вы знаете, о ком я говорю.

— Я ему не нужен,— нетерпеливо сказал священник, вспомнив фотографию на облупившейся стене, взгляд, устремленный на первопричастниц за праздничным столом.

— Он добрый католик, отец.— Метис отвел глаза в сторону, почесывая под мышкой.— Он умирает, а нам с вами не хотелось бы иметь на совести, что этот человек...

— Не было бы у нас на совести чего-нибудь похуже.

— Как вас понимать, отец?

Священник сказал:

— Он только убивал и грабил. Он не предавал.

— Пресвятая матерь божия! Чтобы я...

— Мы оба предатели,— сказал священник. Он повернулся к проводнику: — Все готово?

— Да, отец.

— Тогда едем.— Он совершенно забыл про мисс Лер: тот, другой мир протянул к нему руку через границу, и он снова стал беглецом.

— Куда вы едете? — спросил метис.

— В Лас-Касас.— Священник неловко влез на мула. Метис уцепился за кожаное стремя, и он вспомнил их первую встречу: там тоже были и нытье, и мольба, и оскорбления.

— Хороший же вы священник,— запричитал метис.— Надо, чтобы об этом узнал епископ. Человек умирает, хочет покаяться, а вам вдруг понадобилось в город, и вы...

— Почему ты считаешь меня таким дураком? — сказал священник.— Я понимаю, зачем ты пришел сюда. Кроме тебя, у них никого нет, кто может меня узнать, а в этот штат они за мной не пойдут. Если я спрошу тебя, где этот американец, ты скажешь — знаю, знаю, можешь не говорить,— что он около самой границы по ту сторону.

— Вот и нет, отец. Вы ошибаетесь. Он около самой границы, но по эту сторону.

— Миля-другая не имеет значения. Судиться из-за этого здесь никто не будет.

— Какое это горе, отец,— сказал метис,— когда тебе не верят. И только потому, что один раз я... да, сознаюсь.

Священник тронул мула, они выехали со двора мистера Лера и свернули на юг; метис трусил у его стремени.

— Я помню,— сказал священник,— как ты крикнул, что у тебя хорошая память на лица.

— Да, память на лица у меня хорошая,— торжествующе воскликнул метис.— Иначе я бы сюда не пришел. Слушайте, отец. Я во всем вам покаюсь. Вы не знаете, какое это искушение для бедного человека, когда ему обещают деньги! И я решил: раз он мне не верит, я ему покажу. Но я добрый католик, отец, и если умирающий зовет священника...

Они поднимались на пологие пастбища мистера Лера, которые вели к ближней гряде холмов. В шесть часов утра, на высоте в три тысячи футов, в воздухе чувствовалась свежесть, но им надо взобраться еще на шесть тысяч футов, и ночью там будет очень холодно. Священник хмуро сказал:

— Зачем мне совать голову в *твою* петлю? — Все это было более чем нелепо.

— Посмотрите, отец.— Метис держал в руке клочок бумаги; священник увидел знакомый почерк — крупные буквы, старательно выведенные детской рукой. В эту бумагу, наверно, заворачивали еду: она была просаленная, вся в пятнах. Он прочитал: «Принц Датский размышляет, что ему делать — покончить ли с собой или нет, мучиться ли сомнениями о причине смерти отца или же одним ударом...»

— Нет, не это, отец. На обороте. Это не то.

Священник перевернул бумагу и прочел одну-единственную фразу, написанную по-английски тупым карандашом: «Отец, ради всего святого...» Мул, никем не понукаемый, перешел на тяжелый, медленный шаг; священник и не пытался подгонять его. Этот клочок бумаги не оставлял никаких сомнений. Он чувствовал, что опять попал в ловушку, и на сей раз окончательно.

Он спросил:

— Откуда это у тебя?

— Дело было так, отец. Когда полицейские его подстрелили, я был вместе с ними. Это случилось в деревне по ту сторону границы. Он держал перед собой ребенка как заслон, но полицейские наплевали на это. Ребенок-то был индейский. Попали в обоих, но он убежал.

— Так как же?..

— А вот как, отец.— Метис тараторил без умолку. Оказывается, он боялся лейтенанта — лейтенант негодовал, что священнику удалось скрыться,— и решил улизнуть через границу, подальше от полицейских. Ночью ухитрился убежать, а по пути — то ли в этом штате, то ли в соседнем,— кто их знает, где начинается один, где кончается другой,— наткнулся на этого американца. Пуля попала американцу в живот...

— Тогда как же он мог убежать?

— Ну-у, отец, силы у него сверхчеловеческие.— Американец умирает, ему нужен священник...

— Как же ты его понял?

— Да ведь больше двух слов тут и не нужно.— И чтобы ему поверили, он из последних сил написал записку, и вот... Во всей этой истории дыр было что в решете. Но была записка, и от нее нельзя отмахнуться, как нельзя пройти мимо надгробного камня.

Метис снова вскипел:

— Вы мне не верите, отец!

— Нет,— сказал священник.— Не верю.

— Вы думаете, я лгу.

— Почти все ложь.

Он остановил мула и задумался, сидя в седле лицом к югу. Он был уверен, что это ловушка, поставленная, может быть, по подсказке метиса — ведь метис гнался за деньгами. Но американец умирал, сомневаться в этом не приходилось. Он вспомнил заброшенную банановую плантацию, где что-то случилось, и мертвого индейского ре-

бенка на куче кукурузы. Да, сомнений быть не может, он нужен. Когда у человека столько такого на душе... Странно, но он почувствовал радость: он не верил по-настоящему в этот мир и покой. Покой так часто возникал в его снах по ту сторону границы, что теперь это все казалось не более чем сном. Он стал насвистывать песенку, когда-то где-то услышанную: «Пошла гулять я в поле и розочку нашла». Пора проснуться. И сон был бы дурным — ведь на исповеди в Лас-Касасе ему, кроме всего прочего, пришлось бы покаяться в том, что он отказал в исповеди человеку, умирающему со страшными грехами на совести.

Он спросил:

— Ты думаешь, американец доживет?

— Наверно,— с готовностью ответил метис.

— Далеко это?

— Четыре-пять часов, отец.

— Поедешь на том муле, будешь меняться с проводником.

Священник повернул своего мула назад и окликнул проводника. Тот слез с седла и безучастно выслушал, что ему говорят. Он только сказал метису, ткнув пальцем в седло:

— Осторожнее с вьюком. В нем бутылки падре.

Они медленно поехали назад. Мисс Лер стояла у калитки. Она сказала:

— Вы забыли сандвичи, отец.

— Ах да. Спасибо.— Он быстро оглянулся по сторонам — как все это было далеко от него теперь.— Мистер Лер еще спит?

— Разбудить его?

— Нет, нет. Передайте ему мою благодарность за гостеприимство.

— Хорошо, отец. И может, мы еще увидим вас здесь через несколько лет? Вы сами это обещали.— Она с любопытством посмотрела на метиса, и он ответил ей наглым взглядом своих желтых глаз.

Священник ответил:

— Очень возможно,— и с уклончивой, хитрой улыбкой посмотрел в сторону.

— Ну что ж, прощайте, отец. Вам надо торопиться. Солнце уже высоко.

— Прощайте, дорогая мисс Лер.

Метис раздраженно ударил своего мула и тронулся с места.

— Не туда, любезный,— крикнула ему мисс Лер.

— Мне надо навестить тут одного человека,— пояснил священник и, пустив мула рысцой, затрусил за метисом к деревне. Они проехали мимо белой церкви — она тоже была из области сновидений. В реальной жизни церквей нет. Впереди показалась длинная, грязная деревенская улица. В дверях своего домика стоял учитель; он насмешливо помахал ему рукой, провожая его недобрым взглядом сквозь роговые очки.

— Ну как, отец, увозите свою добычу?

Священник остановил мула. Он сказал метису:

— В самом деле!.. Я и забыл...

— Вы хорошо заработали на крестинах,— сказал учитель.— Стоило подождать несколько лет.

— Поехали, отец,— сказал метис.— Не слушайте его.— И плюнул.— Он плохой человек.

Священик сказал:

— Вы здесь всех хорошо знаете. Если я оставлю вам деньги в дар, купите вы на них что-нибудь такое, от чего не будет никакого вреда людям — еду, одеяла... только не книги?

— Еда здесь нужнее книг.

— Вот тут у меня сорок пять песо...

Метис взмолился:

— Отец! Что вы делаете?..

— Для успокоения совести? — сказал учитель.

— Да.

— Ну что ж, и на том спасибо. Приятно, что есть на свете совестливые священники. Это шаг вперед в человеческой эволюции,— сверкнув стеклами очков на солнце, сказал этот толстенький озлобленный человек, стоявший у своей крытой жестью хибарки — лачуги изгнанника.

Они миновали последние хижины, кладбище и стали подниматься в горы.

— Зачем, отец? Ну зачем? — заныл метис.

— Он неплохой человек, делает все что может. А мне ведь деньги больше не понадобятся? — спросил священник, и некоторое время они ехали молча, а слепящее солнце вышло из-за гор, и мулы напрягали лопатки, взбираясь на крутую каменистую тропу. Священник снова стал насвистывать «Я розочку нашла» — единственную песенку, которую он знал. Метис опять завел свои жалобы:

— Беда в том, отец, что вы..— и, не докончив, тут же увял: ведь жаловаться ему, собственно, было не на что, так как они ехали прямо на север, к границе.

— Проголодался? — наконец спросил его священник.

Метис насмешливо, злобно пробормотал что-то.

— Возьми сандвич,— сказал священник, разворачивая пакет, приготовленный мисс Лер.

## Глава 2

— Ну вот, смотрите,— сказал метис и победоносно хохотнул, точно сбрасывая с себя подозрение во лжи, тяготевшее над ним ни за что ни про что целых семь часов. Он показал на индейские хижины, которые стояли по ту сторону ущелья на склоне, нависшем полуостровом над горным провалом. До хижин было ярдов двести, но чтобы добраться туда, им придется потратить по меньшей мере час — тысяча футов вниз и еще тысяча вверх.

Священник сидел в седле, напряженно вглядываясь вперед: людей он в деревне не видел. Никого не было даже на сторожевой вышке — на небольшой куче хвороста, сложенного повыше хижин. Он сказал:

— По-моему, тут нет ни души.— Опять вокруг него пустота и безлюдье.

— А кого вам надо, кроме американца? — сказал метис.— Он здесь. Скоро сами увидите.

— Где же индейцы?

— Вот опять вы за свое,— заныл метис.— Подозреваете меня. Все время подозреваете. Откуда мне знать, где индейцы? Я ведь вам говорил, что он здесь один.

Священник слез с седла.

— А теперь что вы задумали? — в отчаянии крикнул метис.

— Мулы нам больше не понадобятся. Их можно увести.

— Не понадобятся? А как вы отсюда выберетесь?

— Это уж не моя забота.— Он отсчитал сорок песо и сказал погонщику: — Я нанял тебя до Лас-Касаса. Ну что ж, твое счастье. Получай за шесть дней.

— Я вам больше не нужен, отец?

— Нет. И уходи отсюда поскорее. А это самое... ты знаешь, о чем я... оставь здесь.

Метис заволновался:

— Пешком туда долго идти, отец. А человек умирает.

— Дойдем и на своих копытах, времени на это уйдет не больше. Ну, друг, поворачивай назад.— Метис с тоскливой жадностью смот-

рел вслед мулам, осторожно пробирающимся по узкой каменистой тропе; они исчезли за выступом скалы; постукивание их копыт — цок, цок, цок — замирало, сливаясь с тишиной.

— Ну а теперь,— живо проговорил священник,— задерживаться больше не будем.— И, перебросив через плечо небольшой мешок, пошел вниз по тропе. Он слышал у себя за спиной тяжелое дыхание; к тому же метис непрерывно портил воздух. Наверно, слишком много подносили ему пива в столице, и в приливе какого-то презрительного расположения к этому человеку он подумал: сколько всего случилось с ними обоими с той первой встречи в деревне, названия которой он даже не знал, когда жарким полднем метис покачивался в гамаке, отталкиваясь от земли желтым пальцем босой ноги. Если б он спал в ту минуту, ничего бы этого не было. Как ему не повезло, горемыке, что пришлось взвалить на себя такой чудовищный грех. Священник глянул через плечо и увидел большие пальцы метиса, вылезавшие, точно слизняки, из грязных резиновых туфель; метис осторожно спускался вниз, бормоча что-то себе под нос; непрестанное нытье не мешало ему портить воздух. Бедняга, подумал священник, не такой уж он, наверно, плохой человек. И не такой уж выносливый. К тому времени, когда священник спустился на дно ущелья, метис отстал от него футов на пятьдесят. Священник сел на камень и вытер лоб, и, еще не поравнявшись с ним, метис начал свои жалобы:

— Куда вы торопитесь? — Чем ближе было к предательству, тем больше росла его обида на свою жертву.

— Ты же как будто говорил, что он умирает,— сказал священник.

— Конечно, умирает. Но ему еще долго до конца.

— Чем дольше, тем лучше для всех нас,— сказал священник.— Может, ты прав. Я передохну здесь.

Но метис заартачился, как строптивый ребенок, и захотел идти дальше. Он сказал:

— У вас все через край. Или бежите бегом, или садитесь отдыхать.

— Никак на тебя не угодишь,— поддразнил его священник и тут же спросил — резко, прямо: — Повидаться-то с ним они мне позволят?

— Конечно,— сказал метис, но сразу спохватился: — Они, они! О ком это вы? Сначала жалуетесь, что тут никого нет, а потом говорите «они».— В голосе у него слышались слезы.— Вы, может, хороший человек. Может, даже святой, кто вас знает, но почему не говорить прямо, так, чтоб было понятно? С вами и веру потеряешь.

Священник сказал:

— Вот видишь этот мешок? Дальше мы его не понесем. Он тяжелый. А немножко выпить ни тебе, ни мне не помешает. Ведь нам обоим надо набраться мужества, правда?

— Выпить, отец? — загорелся метис, глядя, как священник вынимает бутылку из мешка. Он не отводил глаз от священника, пока тот пил. Два его клыка жадно подрагивали на нижней губе. Потом и он припал к бутылке.

— Мы, кажется, нарушаем закон, который действует по эту сторону границы,— усмехнулся священник,— если мы по эту сторону.— И, сделав большой глоток, опять отдал бутылку метису; скоро в ней показалось дно, тогда он взял ее и швырнул о камни, так что осколки разлетелись, словно шрапнель. Метис вздрогнул. Он сказал:

— Тише, вы. Подумают, что у вас ружье.

— А остальное,— сказал священник,— нам не понадобится.

— У вас еще есть?

— Еще две бутылки, но в такую жару много пить нельзя. Бросим их здесь.

— Почему же вы не сказали, что вам тяжело нести, отец? Дайте

я понесу. Меня только попроси, я все сделаю. Охотно. Да вы ни за что не попросите.

Они стали подниматься дальше, и бутылки мягко позвякивали в мешке. Солнечные лучи отвесно падали им прямо в темя. На то, чтобы выбраться из ущелья, у них ушло еще около часа. Сторожевая вышка нависла над тропой, точно верхняя челюсть, а выше скал показались крыши хижин. Индейцы не любят горных троп; они селятся в стороне от них и наблюдают сверху, кто к ним идет. Священник подумал: когда же появится полиция? Ловко они прячутся.

— Сюда, отец.— Метис свернул с тропы и пошел первым, карабкаясь вверх по камням к небольшой площадке. Вид у него был встревоженный: что-то, видимо, получилось не так, как он ждал. Десять — двенадцать хижин стояли на фоне мрачного неба, точно могильные памятники. Приближалась гроза.

Лихорадочное нетерпение охватило священника: он ступил в расставленную перед ним ловушку, поскорее бы ее захлопнули и положили конец всему. Может, в него выстрелят из какой-нибудь хижины? Он вышел на самый край отпущенного ему времени: скоро уже не будет ни завтра, ни вчера, будет только вечная жизнь. Жаль, что он мало выпил. Голос у него дрогнул:

— Ну, вот мы и пришли. Где же этот янки?

— Ах да, янки,— сказал метис и передернулся всем телом. Он точно забыл на минуту, под каким предлогом затащил сюда священника. Он стоял, вытаращив глаза на хижины, тоже не зная, что будет дальше.— Когда я уходил, он был вон там.

— Не мог же он переползти куда-нибудь в другое место.

Если б не записка, священник усомнился бы в существовании американца,— записка, да еще, конечно, убитый ребенок. Он пошел к хижине по маленькой затихшей просеке. Может, в него выстрелят, не дав ему даже войти? Будто идешь с завязанными глазами по доске, не зная, когда оступишься и полетишь в пропасть —навеки. Он икнул и переплел пальцы за спиной, стараясь унять дрожь. Все-таки хорошо, что калитка мисс Лер осталась где-то там, далеко — ему ведь не верилось, что можно вернуться к приходским делам, ежедневно служить мессу и неукоснительно соблюдать все внешние проявления благочестия. Тем не менее смерть лучше бы встретить хмельным. Он подошел к двери хижины — ни звука. Потом чей-то голос сказал:

— Отец.

Он оглянулся. Метис стоял на просеке с искаженным от страха лицом; два его клыка подрагивали и дергались на нижней губе.

— Что тебе?

— Ничего, отец.

— Зачем ты меня окликнул?

— Я молчу,— солгал он.

Священник повернулся и вошел в хижину. Да, американец был там. Живой или мертвый — другое дело. Он лежал на соломенной циновке с закрытыми глазами, с открытым ртом, сложив руки ниже груди, точно ребенок, у которого болит живот. Боль меняет лицо; а может быть, его меняют преступления, сошедшие с рук,— так же как политика или благочестие. Трудно было узнать в нем человека с газетной фотографии, висевшей на стене полицейского участка: тот был грубый, наглый, удачливый. А у этого вид самого обыкновенного бродяги. Боль обнажила нервы и придала его лицу обманчивую духовность.

Священник стал на колени и склонился к его губам, стараясь уловить, дышит ли он. В лицо ему ударило тяжелым запахом — смесью блевотины, никотина и винного перегара. Много лилий ушло бы на то, чтобы заглушить этот смрад. Еле слышный голос у самого его уха проговорил по-английски:

— Смывайтесь, отец.— Снаружи, за дверью, в предгрозовом свете, не сводя глаз с хижины, стоял на чуть подрагивающих ногах метис.

— Значит, ты жив? — быстро проговорил священник.— Тогда скорее. Времени у тебя мало.

— Смывайтесь, отец.

— Ты ведь звал меня? Ты католик?

— Смывайтесь, отец,— снова прошептал американец, точно это были единственные слова, оставшиеся у него в памяти от давно забытого урока.

— Говори же,— сказал священник.— Когда ты исповедовался в последний раз? — Веки поднялись, и в него уперся удивленный взгляд. Американец неуверенно проговорил:

— Лет десять назад. А зачем вы здесь?

— Ты же просил священника. Ну, говори. Десять лет — это большой срок.

— Смывайтесь, отец, поскорее,— сказал американец. Давнишний урок опять всплывал у него в памяти. Точно ползучий гад, раздавленный с хвоста, он лежал на циновке, сложив руки на животе, и вся жизнь, оставшаяся в нем, сосредоточилась в одной мысли. Он прошептал сдавленным голосом:— Этот подлец...

Священник сказал с яростью:

— Вот как ты исповедуешься? Я пять часов добирался сюда... и слышу от тебя одну мерзость.— Как это чудовищно несправедливо, что вместе с опасностью к нему вернулась его полная бесполезность,— он ничего не мог сделать для этого человека.

— Слушайте, отец...—сказал американец.

— Я слушаю.

— Смывайтесь отсюда, отец. Я не знал...

— Не за тем я сюда шел, чтобы говорить о себе,— сказал священник.— Чем скорее кончится исповедь, тем скорее я уйду.

— Обо мне не беспокойтесь. Мое дело кончено.

— Значит, проклят навеки? — со злостью сказал священник.

— Ясно. Проклят,— сказал американец, слизывая кровь с губ.

— Слушай, что тебе говорят,— сказал священник, наклоняясь еще ближе к застарелому, тошнотворному запаху.— Я пришел сюда, чтобы выслушать твою исповедь. Ты хочешь исповедоваться?

— Нет.

— А хотел, когда писал ту записку?

— Может, и хотел.

— Я знаю, что ты собираешься сказать. Понимаешь? Знаю. Ладно, не будем об этом. Помни, ты умираешь. Не полагайся слишком-то на милость божию. Господь дарует тебе эту последнюю возможность. Второй, глядишь, и не будет. Как ты жил все эти годы? Теперь твоя жизнь не кажется тебе такой уж роскошной? Ты убивал людей — вот, пожалуй, и все. Любой это может, а потом и его убьют. Как тебя убили. И ничего не осталось, только боль.

— Отец.

— Да? — Священник нетерпеливо вздохнул, наклоняясь еще ближе. У него мелькнула надежда, что американец наконец-то внял ему и выдавит из себя жалкую ниточку скорби.

— Возьмите мой револьвер, отец. Понимаете? Вот тут у меня под боком

— Не надо мне револьвера.

— Нет, надо.— Американец сдвинул одну руку с живота и медленно повел ею к плечу. Это стоило ему неимоверных усилий; зрелище было невыносимым. Священник строго сказал:

— Лежи спокойно. Револьвера там нет.— Он увидел пустую кобуру у американца под мышкой. Это было первое бесспорное доказательство того, что кроме них и метиса здесь есть кто-то еще.

— Скоты,— сказал американец, и его рука устало замерла там, куда она дотянулась,— на сердце. Он был похож на статую женщины в стыдливой позе: одна рука на груди, вторая — на животе. В хижине было очень душно; над ней стоял мрачный свет надвигающейся грозы.

— Слушайте, отец...— Потеряв всякую надежду, священник сидел у ложа американца; теперь уже ничто не обратит этот неистовый мозг к покою и миру. Может быть, раньше, несколько часов назад, когда он писал эту записку... но порыв пришел и ушел. Теперь он шептал про какой-то нож. Среди преступников существует поверье, будто в глазах мертвеца отражается последнее, что они видели; по христианскому верованию, то же происходит и в душе — в последнюю минуту она запечатлевает отпущение грехов и мир, идущий вслед за жизнью, полной самых гнусных преступлений. А случается, что набожный человек умирает скоропостижно в борделе без покаяния и его якобы чистое житие так и уходит в вечность с пятном греха. Ему приходилось слышать, что раскаяние на смертном одре — выдумка: выходит, будто можно мгновенно искоренить в себе привычку к греху. Не верят, что праведная жизнь может кончиться плохо, а порочная — хорошо. Он решил сделать еще одну отчаянную попытку и сказал:

— Ты же верил когда-то. Постарайся понять — это твоя последняя возможность. В последнюю минуту. Как у разбойника [1]. Ты убивал людей... может, даже младенцев,— добавил он, вспомнив маленький темный комок у подножия креста.— Но не это главное. Это касается только земной жизни — каких-нибудь несколько лет, и ей конец. Оставь все здесь, в хижине, и уходи навеки...— Мелькнула смутная мысль, что ему самому эта жизнь недоступна, и он опечалился, затосковал... Мир, слава, любовь — это не для него.

— Отец,— настойчиво прошептал голос.— Оставьте меня. Подумайте о себе. Возьмите мой нож.— Усталая рука снова отправилась в путь — на этот раз к бедру. Колени согнулись в попытке повернуть тело на бок но оно обмякло, силы покинули его, дух отлетел, все кончилось.

Священник стал наспех читать условное отпущение — а вдруг в последнюю секунду, на рубеже между жизнью и смертью, душа раскаялась? Хотя скорее всего и отлетела она, все еще отыскивая нож, чтобы нанести удар чужой рукой. Он молился:

— Боже милостивый ведь он думал обо мне, ведь это ради меня...— Но в словах молитвы не было веры. В лучшем случае один преступник пытался помочь другому. И, как ни посмотреть на это, ни тот, ни другой ничего хорошего не заслужили.

## Глава 3

Чей-то голос проговорил:

— Ну что, кончил?

Священник встал и в испуге сделал утвердительный жест. Он узнал полицейского офицера, который дал ему денег в тюрьме,— его темная щеголеватая фигура появилась в дверном проеме, поблескивая крагами на грозовом свету. Он держал одну руку на кобуре и, взглянув на мертвого бандита, сердито нахмурил брови.

— Не ждал меня? — сказал он.

— Нет, как же,— сказал священник.— Ждал. Я должен поблагодарить вас...

— Поблагодарить? За что?

---

[1] Имеется в виду библейское предание о разбойнике, распятом вместе с Иисусом Христом и искренне раскаявшемся перед смертью. Ср. «И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь во Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Евангелие от Луки, 23, 42—43).

— За то, что вы дали мне побыть с ним наедине.

— Я не варвар,— сказал офицер.— А теперь будь любезен выйти отсюда. И не пытайся убежать. Это бесполезно, сам видишь,— добавил он, когда священник вышел за порог и увидел с десяток вооруженных полицейских, окруживших хижину.

— Хватит с меня бегать,— сказал он. Метиса и след простыл; в небе клубились грозовые тучи; под их навесом горы были как пестрые игрушки. Он вздохнул с нервным смешком: — Какого труда мне стоило перебраться через эти горы, и вот...

— Я никак не думал, что ты вернешься.

— Да ведь знаете, лейтенант, чувство долга есть даже и у труса.— Прохладный, свежий ветер, который поднимается иногда перед грозой, коснулся его щек. Он сказал с плохо разыгранной непринужденностью: — Сейчас меня и расстреляют?

Лейтенант резко повторил:

— Я не варвар. Тебя будут судить... по всем правилам.

— За что?

— За измену.

— Значит, надо проделать весь обратный путь?

— Да. Если не попытаешься бежать.— Он держал руку на кобуре, чтобы священник и шагу не сделал. Он сказал: — Честное слово, я где-то тебя...

— Ну, как же,— сказал священник.— Мы два раза встречались. Когда брали заложника в нашей деревне, вы еще спросили мою дочь: «Кто это?» Она ответила: «Отец», и меня отпустили.— Горный кряж вдруг исчез из виду, будто им плеснули водой в лицо.

— Скорее,— крикнул лейтенант.— Сюда, в хижину.— И приказал одному из полицейских: — Принеси какие-нибудь ящики, чтоб было на что сесть.

Спасаясь от обрушившегося на них ливня, они вдвоем вошли к мертвецу. Солдат, весь промокший, внес в хижину два упаковочных ящика.

— Свечку,— сказал лейтенант. Он сел и вынул револьвер из кобуры. Он сказал: — Садись вон туда, подальше от двери, чтобы мне было видно тебя.— Солдат зажег свечу и, накапав воску на утоптанный земляной пол, приладил ее там, и священник сел на ящик рядом с американцем. Пытаясь достать нож, американец изогнулся и теперь лежал так, будто хотел дотянуться до своего собеседника и сказать ему что-то по секрету. Они были одного поля ягоды: оба грязные, небритые; лейтенант будто принадлежал совсем к иной породе. Он презрительно проговорил: — Так у тебя есть ребенок?

— Да,— сказал священник.

— У тебя — у священника?

— Вы не думайте, что все мы такие.— Он посмотрел на блестящие пуговицы, в которых отражался огонек свечи. Он сказал: — Есть хорошие священники, есть плохие. И я плохой.

— Тогда, может, мы окажем услугу твоей Церкви...

— Да.

Лейтенант быстро взглянул на него, точно заподозрив в этом ответе насмешку. Он сказал:

— Ты говорил, два раза. Будто я видел тебя дважды.

— Да, я сидел в тюрьме. И вы дали мне денег.

— Помню.— Он воскликнул с яростью: — Какое чудовищное издевательство! Держать тебя в руках и выпустить! Да пока мы гоняемся за тобой, у нас погибло двое солдат. Они были бы живы по сей день...— Свеча зашипела под каплями, падающими сквозь крышу.— Этот американец не стоил нам жизней двух солдат. Он ничего особенно плохого не сделал.

Дождь лил и лил. Они сидели молча. И вдруг лейтенант сказал:

— Вынь руку из кармана.

— Я ищу карты. Это поможет нам провести время.

— Я в карты не играю,— отрезал лейтенант.

— Нет, нет. Не играть. Просто мне хочется показать вам два-три фокуса.

— Показывай. Раз хочется.

Мистер Лер подарил ему свою старую колоду. Священник сказал:

— Вот видите — три карты. Туз, король и валет. Теперь,— он разложил их на полу веером,— угадайте, какая из них туз.

— Вот эта, конечно,— ворчливо, не выказывая никакого интереса, ответил лейтенант.

— Ошибаетесь,— сказал священник, открыв карту.— Это валет.

Лейтенант презрительно проговорил:

— Шулерские фокусы или детские.

— А вот еще один,— сказал священник.— Называется «Улетай, валет». Я делю карты на три кучки — вот так. Беру валета червей и кладу его в среднюю кучку — вот так. Теперь я стучу по всем трем.— Он просветлел лицом: давно у него не было карт в руках. Он забыл и грозу, и мертвеца, и упрямое, враждебное лицо человека, сидевшего напротив.— Говорю: «Улетай, валет!» — Он снял половину левой кучки и показал валета.— И вот вам, пожалуйста.

— В колоде два валета, только и всего.

— А вы проверьте.

Лейтенант нехотя наклонился и проверил среднюю кучку. Он сказал:

— Индейцам ты, наверно говоришь, что это чудо господне.

— Зачем же? — Священник усмехнулся.— Индеец меня и научил этому фокусу. Он был самый богатый человек в поселке. И неудивительно — такой ловкач. Нет, я показывал эти фокусы на всех приходских увеселениях, которые мы устраивали для членов церковных обществ.

По лицу лейтенанта пробежала гримаса физического отвращения. Он сказал:

— Помню я эти общества.

— С детских лет?

— У меня хватило ума понять...

— Что?

— ...все ваши надувательства.— Он вышел из себя и схватился за револьвер, будто решив, что лучше уничтожить эту гадину сейчас, не сходя с места, навсегда.— Какое ханжество, какое притворство! Продай все и раздай бедным — этому вы учили? Но сеньора такая-то, жена аптекаря, говорит, что вот та семья не заслуживает помощи, а сеньор такой-то, сякой-то или еще какой-нибудь говорит, что, если они голодают, поделом им, социалистам, а священник — ты — примечает, кто исполнил свой долг на пасху и внес пасхальные пожертвования.— Его голос перешел в крик; в хижину заглянул испуганный полицейский и тут же исчез в потоках дождя.— Церковь бедная, священник бедный, значит, продай все и отдай Церкви.

Священник сказал:

— Как вы правы! — И тут же добавил: — Правы и, конечно, неправы.

— Как же так? — яростно спросил лейтенант.— Я прав? Ты даже не потрудишься защитить свою...

— Когда вы дали мне денег в тюрьме, я сразу почувствовал: вы хороший человек.

Лейтенант сказал:

— Я слушаю твои разглагольствования только потому, что тебе не на что надеяться. Не на что тебе надеяться. Что бы ты ни говорил, это ничему не поможет.

— Да.

Он не хотел раздражать полицейского офицера, но за последние восемь лет ему почти ни с кем не приходилось говорить, кроме крестьян да индейцев. И что-то в его тоне приводило лейтенанта в ярость. Он сказал:

— Ты опасен. Вот почему мы таких уничтожаем. Лично против тебя я ничего не имею.

— Конечно нет. Вы против бога. Таких, как я, вы каждый день сажаете в тюрьму... а потом даете им деньги.

— Нет, с вымыслами я не воюю.

— А со мной разве стоит воевать? Вы сами сказали — лгун, пьяница. Вот тот человек больше заслужил вашу пулю.

— Дело не в тебе, а в твоих идеях.— Лейтенант слегка вспотел в душном, парном воздухе. Он сказал: — Вы народ хитрый. Вспомни лучше, что ты сделал в Мексике для нас? Запретил ли хоть раз помещику избивать пеонов? Да, знаю, знаю, в исповедальне, может, и увещевал его, но твой долг тотчас же забыть об этом. Выходишь из церкви и садишься с ним за обеденный стол, и твой долг обязывает тебя не знать, что он убил крестьянина. И с этим покончено. Он оставил свои грехи в исповедальне.

— Продолжайте, продолжайте,— сказал священник. Он сидел на ящике, сложив руки на коленях и опустив голову; как он ни старался, ему трудно было сосредоточиться на том, что говорил лейтенант. Он думал: до столицы сорок восемь часов. Сегодня воскресенье. В среду я, может, буду уже мертв. Он чувствовал себя предателем, потому что страшился боли от пуль больше того, что ждет его дальше.

— У нас тоже есть идеи,— говорил лейтенант.— Довольно платить за молитвы, довольно давать деньги на строительство зданий, где возносят молитвы. Вместо этого мы обеспечим людей пропитанием, научим их читать, дадим им книги. Мы позаботимся о том, чтобы они не страдали.

— А если они хотят страдать?

— Человек, может, захочет изнасиловать женщину. Что ж, пусть насилует, раз ему хочется? Страдать нельзя.

— А вы страдаете непрестанно,— отметил священник, глядя на угрюмое индейское лицо за огоньком свечи. Он сказал: — Мысль, конечно, прекрасная. Хефе тоже так считает?

— Дурные люди есть и среди нас.

— А что будет потом? Потом, когда все насытятся и будут читать правильные книги — те, что вы разрешите им читать?

— Ничего. Смерть — непреложный факт. Мы не пытаемся изменить факты.

— У нас с вами много общего,— сказал священник, машинально раскладывая карты.— Мы тоже верим фактам и не пытаемся изменить их. А они таковы: все в мире несчастливы, независимо от того, богат человек или беден, разве только он святой, а святых не так уж много. Стоит ли бояться ничтожной боли? У вас и у меня есть одно общее убеждение — через сто лет нас не будет в живых.— Он хотел стасовать, но согнул карты — руки его не слушались.

— А ты все-таки побаиваешься ничтожной боли,— ядовито сказал лейтенант, глядя на его пальцы.

— Но ведь я не святой,— сказал священник.— И даже храбростью не отличаюсь.— Он тревожно поднял голову: тучи уходили, свечка была уже не нужна. Скоро небо совсем расчистится и можно будет начинать долгий путь назад. Ему хотелось говорить и говорить, чтобы хоть на несколько минут оттянуть отъезд. Он сказал: — Есть между нами еще одно различие. Стремиться к вашей цели должны только хорошие люди. В вашей партии они будут не всегда. Вот и вернутся голодная жизнь, побои и корыстолюбие. А то, что я трус и прочее,— это не так уж важно. Все равно я могу причащать и от-

пускать грехи. Это останется за нами, даже если все священники будут такие, как я.

— Вот еще чего я не могу понять,— сказал лейтенант.— Почему ты — именно ты — остался, когда другие бежали?

— Не все бежали,— сказал священник.

— Но почему ты-то остался?

— Однажды,— сказал священник,— я сам задал себе такой вопрос. Дело в том, что не сразу встает перед человеком выбор между двумя путями — вот этот хорош, а этот плох,— поэтому легко запутаться. В первый год мне как-то не верилось, что надо бежать. Ведь церкви сжигали и раньше. Сами знаете, сколько раз это бывало. И я подумал: останусь, ну, скажем, еще на месяц, посмотрю, может, все образуется. Потом... вы и не представляете себе, как быстро летит время! — Стало совсем светло, дождь кончился; жизнь идет своим чередом. Полицейский прошел мимо двери и с любопытством заглянул в хижину.— Знаете, до меня внезапно дошло, что на много миль вокруг нет больше ни одного священника. Закон о вступлении в брак доконал их. Они бежали — и правильно сделали. Был у нас один священник, который всегда осуждал меня. Я, знаете ли, болтун, вечно трепал языком. Он говорил — и правильно говорил,— что я бесхарактерный. Он бежал. Может быть, это смешно, но я почувствовал себя как когда-то в школе. У нас там был великовозрастный задира, который долгие годы наводил на меня страх, в конце концов его выгнали. И мне уже не надо было считаться с чьим-то мнением. Прихожане — те ничего. Прихожане меня любили.— Он улыбнулся, покосившись на скорчившегося янки.

— Ну, дальше? — хмуро сказал лейтенант.

— Та́к вы, пожалуй, все обо мне узнаете,— с нервным смешком сказал священник,— к тому времени, как я... сяду в тюрьму.

— И хорошо. Надо знать своих врагов.

— Тот священник был прав. Как только он скрылся, я совсем сдал. Так и пошло — одно за другим. Я стал пренебрегать своими обязанностями. Стал пить. Мне, наверно, тоже надо было бежать, потому что мною овладела гордыня, а не любовь к богу.— Он, сгорбившись, сидел на ящике — маленький, щуплый, в поношенной одежде мистера Лера. Он сказал: — Гордыня свергла ангелов с небес. Хуже гордыни ничего нет. Мне думалось: вот какой я молодец — остался, когда все другие бежали. А потом я решил, что такому храбрецу можно жить по своим законам. И перестал поститься, перестал служить мессы. Уже забывал читать молитвы. И вот однажды, пьяный, томясь одиночеством... ну, знаете, как это бывает, я зачал ребенка. Всему виной моя гордыня. Я возгордился, потому что не убежал. Проку от меня было мало, но я не убежал. Да, проку было не очень много. До того дошло, что в месяц и сотни причастников не набиралось. Если бы я уехал, я причастил бы в десять раз больше. Вот как человек может ошибаться — думаешь, что если тебе трудно, если грозит опасность...— Он слабо взмахнул руками.

— Ну что ж, мучеником ты станешь, будь спокоен,— злобно сказал лейтенант.

— Нет, мученики не такие. Они не думают: надо выпить побольше бренди, тогда будет не так страшно.

Лейтенант резко сказал полицейскому, появившемуся в дверях:

— Что тебе? Что ты здесь торчишь?

— Гроза прошла, лейтенант. Люди спрашивают, когда мы двинемся.

— Сейчас. Немедленно.

Он встал и сунул револьвер в кобуру. Он сказал:

— Подай лошадь арестованному. И выройте могилу этому янки. Живо!

Священник положил карты в карман и тоже поднялся. Он сказал:

— Вы так терпеливо меня слушали...

— Чужие идеи,— сказал лейтенант,— мне не страшны.

От земли, политой дождем, поднимались испарения; туман доходил им почти до колен; лошади стояли готовые в путь. Священник сел в седло, но не успели они двинуться, как сзади послышался голос — все тот же, знакомый, сердито ноющий:

— Отец!

Это был метис.

— А-а! — сказал священник.— Опять ты?

— Я знаю ваши мысли,— сказал метис.— Нет в вас милосердия, отец. Вы с самого начала думали, что я предатель.

— Уходи,— резко сказал лейтенант.— Ты свое дело сделал.

— Можно мне поговорить с ним, лейтенант? — спросил священник.

— Вы хороший человек,— поспешил сказать метис,— но о людях думаете плохо. Мне нужно ваше благословение, только и всего.

— Ведь благословения не продашь. Зачем оно тебе? — сказал священник.

— Затем, что мы с вами больше не увидимся. А я не хочу, чтобы вы уехали, дурно думая обо мне.

— И суеверный же ты! — сказал священник.— Думаешь, мое благословение будет как шоры на глазах у господа. Он все знает, и я здесь бессилен. Иди лучше домой и молись. А когда сподобишься благодати и почувствуешь свою вину, тогда отдай деньги...

— Какие деньги, отец? — Метис злобно дернул его стремя.— Какие деньги? Вот вы опять...

Священник вздохнул. Испытания опустошили его. Страх может изнурить человека сильнее долгой, утомительной дороги. Он сказал:

— Я помолюсь за тебя,— и подстегнул свою лошадь, чтобы поравняться с лейтенантом.

— Я тоже буду за вас молиться отец,— снисходительно сообщил метис. Только раз, когда лошадь задержалась на уступе, примериваясь к крутому спуску, священник оглянулся. Метис стоял один среди хижин, приоткрыв рот с двумя длинными клыками. Это было как на моментальном снимке: метис то ли жалуется, то ли требует чего-то— может, кричит, что он добрый католик; одна рука скребет под мышкой. Священник помахал ему; у него не осталось враждебного чувства к метису, потому что ничего другого он уже не ждал от природы человеческой — впрочем, одно приносило ему утешение: он не увидит этой желтой предательской физиономии в свой последний час.

— Ты человек образованный,— сказал лейтенант. Он лежал поперек входа в хижину, подложив под голову свернутый плащ, держа руку на револьвере, вынутом из кобуры. Была ночь, но оба они не спали. Священник повернулся и негромко застонал, чувствуя одеревенелость и судорогу в ноге; лейтенант спешил, они сделали остановку только в полночь. Тропа уже спускалась с гор в топкую низину. Скоро весь штат перережут болота. Дожди начались по-настоящему.

— Да нет. Я сын лавочника.

— Но ты был за границей. Говоришь по-английски, как янки. В школе учился.

— Да.

— А мне приходилось до всего доходить своим умом. Но некоторые вещи можно постичь и без школы. Например, что есть богатые и бедные.— Он сказал, понизив голос: — По твоей милости я расстрелял троих заложников. Бедняков. Я возненавидел тебя из-за них.

— Понимаю,— сказал священник и хотел было встать, чтобы

унять судорогу в правом бедре. Лейтенант стремительно сел и схватился за револьвер.— Что ты делаешь?

— Ничего. У меня судорога, вот и все.— Он снова лег со стоном.

Лейтенант сказал:

— Эти расстрелянные. Они же дети моего народа. Я хотел дать им весь мир.

— Как знать? Может, так и вышло.

Лейтенант вдруг злобно сплюнул, будто на язык ему попала какая-то гадость. Он сказал:

— У тебя на все есть ответы — бессмысленные ответы.

— Из книг я мало чему научился,— сказал священник.— Память плохая. Но вот что всегда меня удивляло в таких людях, как вы. К богатым у вас ненависть, а бедных вы любите. Верно?

— Да.

— Так вот, если бы я вас ненавидел, мне бы не хотелось, чтобы мой ребенок вырос таким, как вы. Смысла в этом нет.

— Выворачиваешь все наизнанку.

— Может быть. Я ваших идей никак не пойму. Мы всегда говорили: благословенны нищие, а богатым трудно будет попасть в царство небесное. Так зачем же преграждать нищему путь на небеса? Да, знаю — нас учат: помогай бедным, чтобы они не голодали, ибо голод может так же толкнуть на злодеяния, как и деньги. Но зачем же давать бедному власть? Пусть лучше умрет в грязи и проснется в царстве небесном — лишь бы не толкать его лицом в эту грязь.

— Твои рассуждения мне ненавистны,— сказал лейтенант.— Не нужны мне твои рассуждения. Такие, как ты, видя людские страдания, пускаются рассуждать: «Может быть, страдания — это благо, может быть, человек станет лучше, испытав их». А я хочу отдать людям свое сердце.

— Не выпуская из рук револьвера.

— Да. Не выпуская из рук револьвера.

— Ну что ж, вот доживете до моих лет, может, тогда вам станет ясно, что сердце — ненадежный зверь. И разум тоже, но он хоть не говорит о любви. Любовь. Девушка бросается с головой в воду или душит младенца, а сердце твердит одно: любовь, любовь.

Они надолго замолчали. Священник думал, что лейтенант уснул, но вот он снова заговорил:

— Ясно и понятно ты никогда ничего не скажешь, Мне говоришь одно, а кого-нибудь другого — мужчину или женщину — убеждаешь: «Бог есть любовь». Но ты знаешь, что со мной это не пройдет, и я слышу от тебя совсем иное — то, с чем, по-твоему, я должен согласиться.

— Нет,— сказал священник.— Дело не в этом. Бог воистину есть любовь. Я не говорю, что сердцу совсем неведом вкус любви, но какой это вкус! Маленький стаканчик любви на ведро воды, зачерпнутой из канавы. А ту любовь не всегда распознаешь. Ее можно даже принять за ненависть. Любовь господа! Она вселяет в человека страх. Это она воспламенила куст в пустыне, разверзла могилы и выпустила мертвецов во тьму. Да я убежал бы за милю, спасаясь от такой любви, если бы почувствовал ее с собою рядом.

— Не очень ты доверяешь своему господу. Неблагодарный он у тебя. Если б мне кто-нибудь служил так, как ты служишь своему господу, я бы рекомендовал человека на повышение, выхлопотал бы ему хорошую пенсию... а заболей он раком, пристрелил бы его.

— Слушайте,— проникновенно сказал священник, нагнувшись в темноте к лейтенанту и налегая на затекшую ногу.— Не такой уж я двуличный, как вы думаете. Разве я говорил, что если смерть застанет их врасплох, то им неминуемо суждено проклятие? Я не рассказываю людям сказок, в которые сам не верю. Сила милосердия господня мне неведома, я не знаю, сколь ужасает его сердце человече-

ское. Знаю я только одно: если был когда-нибудь в нашем штате хоть один-единственный человек, заслуживший проклятие, то я заслужил того же.— Он медленно проговорил: — И ничего другого я не хочу. Я хочу только справедливости.



— Приедем на место еще засветло,— сказал лейтенант. Шестеро полицейских ехали впереди, шестеро — сзади. Иногда в лесных зарослях между рукавами реки им приходилось двигаться гуськом. Лейтенант больше помалкивал, и когда двое полицейских затянули песню про толстого лавочника и его любовницу, он грозно приказал им замолчать. Все это мало походило на шествие победителей. На лице священника застыла слабая улыбка. Улыбка была надета, как маска, за которой он мог спокойно думать, не выдавая своих мыслей. А думал он больше всего об ожидающей его боли.

— Ты, наверно, надеешься на чудо,— сказал лейтенант, хмуро глядя на дорогу.

— Простите? Я не расслышал.

— Я говорю: ты, наверно, надеешься на чудо.

— Нет.

— Ты же веришь в чудеса?

— Да. Но со мной чуда не случится. Я уже никому не нужен. Зачем господу сохранять мне жизнь?

— Не понимаю, как ты можешь верить в такую чепуху? Индейцы — ладно. Они увидят в первый раз электрическую лампочку и думают, что это чудо.

— А вы, увидев в первый раз человека, восставшего из мертвых, наверно, тоже так подумаете.— Он неуверенно хохотнул из-за улыбающейся маски.— Смешно, правда? Дело не в том, что чудес не бывает, просто люди по-другому называют их. Представьте себе врачей, которые столпились вокруг умершего. Он уже не дышит, пульса нет, сердце не бьется — умер. Потом кто-нибудь из врачей возвращает его к жизни, и все они — как это принято говорить? — воздерживаются от высказываний. Никто из них не назовет это чудом, ведь такого слова они не признают. Потом то же самое случается еще и еще раз — потому, что господь не оставляет землю,— и врачи говорят: чудес не бывает, просто мы расширили свое представление о жизни. Теперь нам ясно, что можно быть живым и без пульса, без дыхания, без ударов сердца. И они дают новое имя этому состоянию и говорят, что наука еще раз опровергла чудо.— Он снова хохотнул: — Их не проведешь.

Они выехали с лесной тропы на плотно утрамбованную дорогу, лейтенант дал шпоры лошади, и вся кавалькада перешла в галоп. До города было уже недалеко. Лейтенант хмуро сказал:

— Ты неплохой человек. Если я могу что-нибудь сделать для тебя...

— Если бы вы разрешили мне исповедаться....

Впереди показались первые городские строения — спаленные солнцем, разваливающиеся глинобитные домишки. Кое-где классические колонны из алебастра, наляпанного поверх глины. Чумазый ребенок играл среди мусора.

Лейтенант сказал:

— Но ведь священников больше нет.

— Падре Хосе.

— Падре Хосе? — презрительно сказал лейтенант.— Он тебе не годится.

— Ничего, сгодится. Вряд ли я найду в городе святых.

Лейтенант замолчал. Они подъехали к кладбищу с побитыми ангелами и миновали высокую арку, на которой черными буквами было написано «Silencio».

— Хорошо,— наконец сказал лейтенант.— Можешь исповедаться у него.— Проезжая мимо кладбища, он не посмотрел в ту сторону — там, у кладбищенской стены, расстреливали осужденных. Дорога круто пошла вниз к реке; справа, на том месте, где раньше был собор, под жарким солнцем стояли пустые железные качели. Всюду безлюдье — оно чувствовалось в городе сильнее, чем среди гор, потому что когда-то здесь кипела жизнь. Лейтенант думал: ни пульса, ни дыхания, ни ударов сердца, но это все-таки жизнь, надо только найти для нее название. Мальчик, стоявший у дороги, следил за их приближением; он крикнул:

— Лейтенант, вы поймали его? — Лейтенанту смутно помнилось это лицо... площадь, разбитая бутылка... И он попытался улыбнуться мальчику, а получилась странная, хмурая гримаса, в которой не было ни торжества, ни надежды. Их приходилось искать заново.

## Глава 4

Лейтенант дождался темноты и пошел сам. Посылать кого-нибудь было опасно — город мгновенно облетит слух, что падре Хосе разрешили выполнить в тюрьме священнический долг. Даже хефе ничего не должен знать — нельзя доверять начальству, если ты оказался удачливее его. Лейтенанту было известно: хефе недоволен тем, что он привел священника,— с точки зрения хефе, было бы лучше, если бы священник скрылся.

Войдя во дворик, лейтенант почувствовал, что за ним следят несколько пар глаз: дети готовились встретить криками появление падре Хосе. Напрасно он пообещал священнику, но слово надо сдержать, не то этот дряхлый, развращенный, пропитанный богом мир одержит хоть недолгую, но победу.

На его стук никто не ответил; он стоял в темноте двора как проситель. Он снова постучал и услышал голос:

— Сейчас, сейчас.

Падре Хосе приник лицом к прутьям оконной решетки и спросил:

— Кто там? — Он пытался нашарить что-то у себя под ногами.

— Лейтенант полиции.

— Ой! — пискнул он.— Простите. Я брюки... Темно очень.— Он дернул что-то вверх, и послышался треск, будто у него лопнули подтяжки или пояс. В другом конце двора заверещали дети: «Падре Хосе! Падре Хосе!» Он подошел к двери и, не глядя на них, ласково пробормотал: — Вот чертенята!

Лейтенант сказал:

— Пойдешь со мной в полицейский участок.

— Я ни в чем не виноват. Ни в чем. Я ничего такого не делаю.

— Падре Хосе! — верещали дети.

Он умоляюще проговорил:

— Если это из-за похорон, то вас обманули. Я даже молитву отказался прочитать.

— Падре Хосе! Падре Хосе!

Лейтенант повернулся и зашагал через двор. Он яростно крикнул детским лицам, прижавшимся к решетке:

— Тихо! Идите спать. Сию же минуту. Слышите, что вам сказано? — Лица спрятались одно за другим; но стоило лейтенанту повернуться к ним спиной, как они снова появились.

Падре Хосе сказал:

— Никакого сладу с ними нет.

Послышался женский голос:

— Где ты, Хосе?

— Я здесь, милочка. Это из полиции.

Огромных размеров женщина в белой ночной рубашке загородила своей тушей дверной проем. Было только начало восьмого. Мо-

жет, она так и ходит весь день в этой рубашке? — подумал лейтенант. Или весь день проводит в постели? Он сказал:

— Твоего мужа,— с особенным удовольствием выговаривая эти слова,— твоего мужа требуют в полицию.

— Кто это говорит?

— Я говорю.

— Он ничего такого не сделал.

— Вот и я, милочка, тоже...

— Молчи. Говорить буду я.

— Перестаньте тараторить,— сказал лейтенант.— Тебя требуют в полицию повидать одного человека — священника. Он хочет, чтобы ты принял у него исповедь.

— Я?

— Да. Больше некому.

— Несчастный человек,— сказал падре Хосе. Его маленькие красноватые глазки быстро обежали двор.— Несчастный человек.— Он нерешительно потоптался на месте и взглянул украдкой на небо, где созвездия совершали свой круговорот.

— Никуда ты не пойдешь,— сказала женщина.

— Но ведь это, кажется, противозаконно? — спросил падре Хосе.

— Ничего, не беспокойся.

— Ах, не беспокойся! — сказала женщина.— Я вас насквозь вижу. Не хотите оставить моего мужа в покое. Вам лишь бы подвести его. Я знаю, как вы действуете. Подсылаете к нему людей, а они просят — помолись за нас, добрый человек. Но одного не забывайте — он государственный пенсионер.

Лейтенант раздельно проговорил:

— Этот священник многие годы действовал тайно — ради *вашей* Церкви. Мы поймали его и завтра расстреляем. Он неплохой человек, и я разрешил ему повидаться с тобой. Он считает, что это будет для него благом.

— Я знаю этого священника,— перебила лейтенанта женщина.— Он пьяница. Только и всего.

— Несчастный человек,— сказал падре Хосе.— Один раз он пытался спрятаться у нас.

— Обещаю тебе,— сказал лейтенант.— Никто об этом не узнает.

— Ах, никто не узнает? — закудахтала женщина.— По всему городу разнесется. Вон, полюбуйтесь на этих пострелят. Покоя Хосе не дают.— Она продолжала тараторить: — Тогда все захотят исповедоваться, а дойдет до губернатора, и конец пенсии.

— Милочка,— сказал падре Хосе,— может быть, долг велит мне...

— Ты уже не священник,— оборвала его женщина.— Ты мой муж.— Она сказала нехорошее слово.— Вот в чем теперь твой долг.

Лейтенант слушал их с чувством едкого удовлетворения, словно обретая свою былую веру. Он сказал:

— Мне некогда ждать, когда вы кончите свой спор. Пойдешь ты со мной?

— Нет, не заставите,— сказала женщина.

— Милочка, но я... э-э... я священник.

— Священник! — снова закудахтала женщина.— Это ты священник? — Она захохотала, и ее хохот нерешительно подхватили дети за окном. Падре Хосе приложил пальцы к своим красноватым глазам, точно они у него болели. Он сказал:

— Милочка...— а хохот все не умолкал.

— Так идешь?

Падре Хосе беспомощно развел руками, будто говоря: ну, еще одно попущение, но значит ли это что-нибудь в такой жизни, как моя? Он сказал:

— Да нет... нельзя.

— Хорошо,— сказал лейтенант. Он круто повернулся — времени на милосердие у него больше не было — и услышал у себя за спиной умоляющий голос падре Хосе:

— Скажите ему, что я за него помолюсь.— Дети осмелели; кто-то из них крикнул:

— Иди спать, Хосе.— И лейтенант рассмеялся — его смех был пустым, жалким, неубедительным добавлением к общему хохоту. Хохот окружал теперь падре Хосе со всех сторон и уходил ввысь к стройному хору созвездий, названия которых он знал когда-то.

•

Лейтенант отворил дверь в камеру; там было совсем темно. Он аккуратно затворил ее за собой и запер на ключ, держа руку на револьвере. Он сказал:

— Не придет он.

Маленькая, сгорбленная фигурка в темноте — это был священник. Он сидел на полу, как ребенок, занятый игрой. Он сказал:

— Сегодня не придет?

— Нет, вообще не придет.

В камере стало тихо, если можно говорить о тишине, когда москиты непрерывно тянут свое «ж-ж, ж-ж», а жуки хлопаются о стены. Наконец священник сказал:

— Он, наверно, побоялся.

— Жена не пустила.

— Несчастный человек.— Он попробовал рассмеяться, но выдавил из себя только жалкий, сорвавшийся смешок. Его голова свесилась к коленям: он со всем покончил, и с ним все покончили.

Лейтенант сказал:

— Тебе надо знать правду. Тебя судили и признали виновным.

— Разве мне нельзя было присутствовать на собственном суде?

— Это ничего бы не изменило.

— Да.— Он замолчал, готовясь разыграть полное спокойствие. Потом спросил с деланной развязностью: — А разрешите узнать, когда...

— Завтра.— Быстрота и краткость ответа испугали его. Он поник головой и, насколько можно было разглядеть в темноте, стал грызть ногти.

Лейтенант сказал:

— Нехорошо оставаться одному в такую ночь. Если хочешь, я переведу тебя в общую камеру.

— Нет, нет. Я лучше побуду один. Мне столько всего надо успеть.— Голос изменил ему, точно от сильной простуды. Он прохрипел: — О стольком надо подумать.

— Мне хотелось бы что-то сделать для тебя,— сказал лейтенант.— Вот, я принес немножко бренди.

— Вопреки закону?

— Да.

— Вы очень добры.— Он взял маленькую фляжку.— Вам, конечно, ничего такого не понадобилось бы. Но я всю жизнь боялся боли.

— Всем нам придется умереть,— сказал лейтенант.— А когда, это не так уж важно.

— Вы хороший человек. Вам бояться нечего.

— Какие у тебя странные мысли,— посетовал лейтенант.— Иной раз мне кажется, ты просто хочешь внушить мне...

— Внушить? Что?

— Ну, может, чтобы я дал тебе убежать или уверовал в святую католическую церковь, в общение святых... Как там у вас дальше?

— Во оставление грехов.

— Сам-то ты не очень в это веришь?

— Нет, верю,— упрямо сказал маленький человечек.

— Тогда что же тебя тревожит?

— Видите ли, я не такой уж темный. Я всегда разбирался в своих поступках. Но сам отпустить себе грехи не могу.

— А если б падре Хосе к тебе пришел, неужели это настолько изменило бы дело?

Лейтенанту пришлось долго ждать, когда ему ответят, но ответа священника он не понял:

— С другим человеком... легче.

— Больше я ничего не могу для тебя сделать?

— Нет. Ничего.

Лейтенант отпер дверь, по привычке держа руку на револьвере. У него было тяжело на душе. Теперь, когда последний священник сидит под замком, больше ему и делать-то нечего. Пружинка, двигавшая его действиями, лопнула. Хорошее было время, пока шла охота, подумал он, но больше этого не будет. Цель исчезла, жизнь словно вытекла из окружающего его мира. Он сказал с горьким сочувствием (ему трудно было вызвать в себе ненависть к этому маленькому опустошенному человечку):

— Постарайся уснуть.

Он уже затворил за собой дверь, когда сзади послышался испуганный голос:

— Лейтенант.

— Да?

— Вы видели, как расстреливают? Таких, как я.

— Да.

— Боль длится долго?

— Нет, нет. Мгновение, секунду,— грубо сказал он и, захлопнув дверь, побрел по тюремному двору. Он зашел в участок; фотографии священника и бандита все еще висели на стене; он сорвал их — больше они не понадобятся. Потом сел за свой стол, опустил голову на руки и, поддавшись непреодолимой усталости, заснул. Он не мог вспомнить потом, что́ ему снилось,— в памяти остался только хохот, непрерывный хохот и длинный коридор, выхода из которого найти было нельзя.

Священник сидел на полу, держа фляжку в руках. Так прошло несколько минут, потом он отвинтил колпачок и поднес фляжку ко рту. Бренди не оказало на него никакого действия, точно вода.

Он поставил фляжку на пол и начал шепотом перечислять свои грехи. Он сказал:

— Я предался блуду.— Эта формальная фраза ничего не значила, она была как газетный штамп и раскаяния вызвать не могла. Он начал снова: — Я спал с женщиной,— и представил себе, как стал бы расспрашивать его священник: «Сколько раз? Она была замужем?»— «Нет». Бессознательно он снова отхлебнул из фляжки.

Вкус бренди вызвал у него в памяти дочь, вошедшую с яркого, солнечного света в хижину,— ее хитрое, насупленное, недетское лицо. Он сказал:

— О господи, помоги ей. Я заслужил твое проклятие, но она пусть живет вечно.— Вот любовь, которую он должен был чувствовать к каждой человеческой душе, а весь его страх, все его стремления спасти сосредоточились не по справедливости на этом одном ребенке. Он заплакал: девочка словно медленно уходила под воду, а он мог только следить за ней с берега, ибо разучился плавать. Он подумал: вот как я должен бы относиться ко всем людям,— и заставил себя вспомнить метиса, лейтенанта, даже зубного врача, в доме которого побывал, девочку с банановой плантации и множество других людей, и все они требовали его внимания, словно толпились у тяжелой двери, не поддающейся их толчкам. Ибо этим людям тоже грозит

опасность. Он взмолился: — Господи, помоги им! — И лишь только произнес эти слова, как снова вернулся мыслью к своей дочери, сидящей у мусорной кучи, и понял, что молится только за нее. Опять нет ему оправдания.

Помолчав, он снова начал:

— Я бывал пьян, сам не знаю, сколько раз. Нет священнического долга, которым я бы не пренебрегал. Я повинен в гордыне, мне не хватало милосердия...— Эти слова опять были буквой исповеди, лишенной всякого значения. Не было рядом с ним исповедника, который обратил бы его мысли от формулы к действительности.

Он снова приложился к фляжке, встал, превозмогая боль в ноге, подошел к двери и выглянул сквозь решетку на залитый луной тюремный двор. Полицейские спали в гамаках, а один, которому не спалось, лениво покачивался взад и вперед, взад и вперед. Повсюду, даже в других камерах, стояла необычная тишина — будто весь мир тактично повернулся к нему спиной, чтобы не быть свидетелем его предсмертных часов. Он ощупью прошел вдоль стены в дальний угол и сел на пол, зажав фляжку между колен. Он думал: будь от меня хоть какая-нибудь, хоть малейшая польза! Последние восемь лет — тяжелых, безнадежных — показались ему теперь карикатурой на пастырское служение: считанные причастия, считанные исповеди и бесчетное количество дурных примеров. Он подумал — если б я спас хоть одну душу и мог бы сказать: вот, посмотри на мои дела... Люди умерли за него, а им бы надо умереть за святого — и горькая обида за них затуманила ему мысли, ибо бог не послал им святого. Такие, как мы с падре Хосе, такие, как мы! — подумал он и снова хлебнул бренди из фляги. Перед ним предстали холодные лица святых, отвергающих его.

Эта ночь тянулась дольше той — первой в тюрьме, потому что он был один. Лишь бренди, приконченное к двум часам ночи, сморило его. От страха он чувствовал тошноту, в желудке начались боли, во рту после выпитого пересохло. Он стал разговаривать вслух сам с собой, потому что тишина была нестерпима. Он жалобно сетовал:

— Это хорошо для святых...— Потом:— Откуда мне известно, что все кончится в одно мгновение? А сколько оно длится, мгновение? — И заплакал, легонько ударяясь головой об стену. Падре Хосе дали возможность уцелеть, а ему — нет. Может, неправильно его поняли потому, что он так долго был в бегах. Может, решили, что он не пойдет на те условия, которые принял падре Хосе, что он откажется вступить в брак, что он гордец. А если самому предложить такой выход, может, это спасет его? Надежда принесла успокоение, и он заснул, прислонившись головой к стене.

Ему приснился странный сон. Он сидел за столиком в кафе перед высоким соборным алтарем. На столике стояло шесть блюд с кушаньями, и он ел с жадностью. Пахло ладаном, он чувствовал подъем душевных сил. Как всегда во сне, кушанья не имели вкуса, но вот он доест их, и тогда ему подадут самое вкусное. Перед алтарем ходил взад и вперед священник, служивший мессу, но он почти не замечал этого: церковная служба уже не касалась его. Наконец все шесть блюд стояли пустые. Кто-то невидимый глазу позвонил в колокольчик, и священник, служивший мессу, опустился на колени перед тем, как вознести чашу с дарами. Но он сидел и ждал, не глядя на бога над алтарем, точно этот бог был для других людей, а не для него. Потом стакан рядом с тарелкой начал наполняться вином, и, подняв глаза, он увидел, что ему прислуживает девочка с банановой плантации. Она сказала:

— Я взяла вино у отца в комнате.

— Потихоньку?

— Нет, не совсем,— сказала она своим ровным, уверенным голосом.

Он сказал:

— Это очень мило с твоей стороны. Я уже забыл ту азбуку — как ты ее называла?

— Морзе.

— Правильно. Морзе. Три долгих стука и один короткий,— и сразу началось постукивание; постукивал священник у алтаря, в проходах между скамьями постукивали невидимки-молящиеся: три долгих стука и один короткий. Он спросил:

— Что это?

— Весть,— сказала девочка, строго, озабоченно и с интересом глядя на него.

Он проснулся, когда уже рассвело. Он проснулся с великой надеждой, но стоило ему увидеть тюремный двор, как надежда сразу, начисто исчезла. Этим утром его ждет смерть. Он съежился на полу с пустой фляжкой в руках и стал вспоминать покаянную молитву.

— Каюсь, господи, прости мне все мои прегрешения... Я распинал тебя... заслужил твою страшную кару.— Он путал слова, думая о другом. Не о такой смерти возносим мы молитвы. Он увидел свою тень на стене — какую-то недоумевающую и до смешного ничтожную. Как глупо было думать, что у него хватит мужества остаться, когда все другие бежали. Какой я нелепый человек, подумал он, нелепый и никому не нужный. Я ничего не сделал для других. Мог бы и вовсе не появляться на свет. Его родители умерли — скоро о нем даже памяти не останется. Может быть, он и адских мук не стоит. Слезы лились у него по щекам; в эту минуту не проклятие было страшно ему, даже страх перед болью отступил куда-то. Осталось только чувство безмерной тоски, ибо он предстанет перед богом с пустыми руками, так ничего и не свершив. В эту минуту ему казалось, что стать святым было легче легкого. Для этого требовалось только немного воли и мужества. Он словно упустил свое счастье, опоздав на секунду к условленному месту встречи. Теперь он знал, что в конечном счете важно только одно — быть святым.

## *Часть четвертая*

Миссис Феллоуз лежала в душном номере гостиницы, прислушиваясь к звуку пароходной сирены, доносившемуся с реки. Видеть она ничего не могла, потому что лоб и глаза у нее были прикрыты платком, смоченным одеколоном. Она громко позвала:

— Милый! Милый! — но ответа не услышала. Ей казалось, будто ее похоронили заживо в большом железном фамильном склепе и она лежит одна под балдахином, на двух подушках.— Милый! — повторила она еще громче и прислушалась.

— Да, Трикси,— отозвался капитан Феллоуз. Он сказал: — Я заснул, мне что-то снилось.

— Подлей, милый, одеколона на платок. Голова у меня просто разламывается.

— Сейчас, Трикси.

Капитан Феллоуз протянул руку к платку. Он постарел, вид у него был усталый, скучающий, как у человека, лишенного любимого занятия. Он подошел к туалетному столику и смочил платок одеколоном.

— Не усердствуй, милый. Когда еще мы сможем купить другой флакон! — Он промолчал, и она резко сказала:— Ты слышишь, что тебе говорят, милый?

— Да.

— Последнее время ты все молчишь. Знал бы, каково лежать здесь больной в одиночестве.

— Сама понимаешь, мне нелегко,— сказал капитан Феллоуз.

— Но мы же решили, милый,— об этом лучше молчать. Зачем растравлять раны.

— Да.

— Нужно думать о себе.

— Да.

Он подошел к кровати и положил платок жене на лоб. Потом, сев на стул, продел руку под сетку и сжал ее пальцы. Они производили странное впечатление — дети, одни, без взрослых, потерявшиеся в чужом городе.

— Ты взял билеты? — спросила она.

— Да, милая.

— Попозже я встану и уложу вещи. Но голова так болит. Ты сказал, чтобы заехали за багажом?

— Забыл.

— Все-таки тебе не мешало бы об этом позаботиться,— проговорила она слабым, капризным голосом.— Больше ведь некому.— И после этой фразы, которой следовало бы избежать, оба замолчали. Потом он вдруг сказал:

— В городе большое волнение.

— Неужели опять революция?

— Нет, нет. Поймали священника и сегодня утром его, беднягу, расстреляют. Я все думаю: может быть, это тот самый, которого Корал... то есть тот, которого мы спрятали у себя.

— Вряд ли.

— Да.

— Священников много.

Он отпустил ее руку и, подойдя к окну, выглянул на улицу. Парусники на реке, асфальтовый, без единой травинки, скверик с бюстом генерала — и всюду, куда ни глянь, стервятники.

Миссис Феллоуз сказала:

— Хорошо, что мы возвращаемся домой. Мне иногда казалось, что я тут и умру.

— Ну, зачем ты так, милая.

— Умирают же люди.

— Да, умирают,— угрюмо сказал он.

— Вот опять! — резко сказала миссис Феллоуз.— Ты же обещал.— Она протяжно вздохнула: — Бедная моя голова.

Он сказал:

— Дать тебе аспирина?

— Не знаю, куда я его дела. Теперь никогда ничего не найдешь.

— Пойти купить?

— Нет, милый, я не могу оставаться одна.— Она продолжала с наигранной бодростью: — Вот приедем домой, и я выздоровею. Позовем настоящего врача. Мне иногда кажется, что это не просто головная боль. Я говорила тебе, что от Норы пришло письмо?

— Нет.

— Дай мне очки, милый, я тебе прочитаю — то, что касается нас с тобой.

— Они у тебя на кровати.

— Да, правильно.— Один парусник отчалил от берега и пошел вниз по течению широкой ленивой реки к морю. Миссис Феллоуз с удовольствием начала читать: — «Дорогая Трикс! Как ты, наверно, страдаешь. Этот мерзавец...»— Она осеклась: — Ах да... Еще тут вот что: «Вы с Чарльзом поживете, конечно, у нас, пока не подыщете себе что-нибудь подходящее. Если не возражаете против половины дома...

Капитан Феллоуз вдруг резко сказал:

— Я никуда не поеду.

— «Арендная плата всего пятьдесят шесть фунтов в год — не считая других расходов по дому. Для служанки отдельная ванная».

— Я остаюсь здесь.

— «Отопление из кухни». Что ты там несешь, милый?

— Я не поеду.

— Мы столько раз это обсуждали, милый. Ты же знаешь: если я здесь останусь, тогда мне конец.

— Так не оставайся.

— Но не поеду же я одна,— сказала миссис Феллоуз.— Что подумает Нора? И вообще... да нет, это немыслимо.

— Работу здесь человек всегда найдет.

— По сбору бананов? — сказала миссис Феллоуз с холодным смешком.— Не очень-то это у тебя получалось.

Он в ярости повернулся к кровати.

— А ты можешь,— сказал он,— можешь убежать отсюда и оставить *ее*.

— Я не виновата. Если бы ты был дома...— Она заплакала, съежившись под москитной сеткой. Она сказала: — Одна я туда живой не доеду.

Он устало шагнул к кровати и снова взял жену за руку. Нет, бесполезно. Они оба осиротели. Им надо держаться друг друга.

— Ты не бросишь меня одну, милый? — спросила она. В комнате стоял сильный запах одеколона.

— Нет, милая.

— Ты понимаешь, что это немыслимо?

— Да.

Они надолго замолчали, а солнце поднималось все выше и выше, накаляя комнату. Наконец миссис Феллоуз сказала:

— О чем?

— Что?

— О чем ты думаешь, милый?

— Я вспомнил того священника. Странный тип. Он пил. Неужели это тот самый?

— Если тот самый, так поделом ему.

— Но какая она была потом! Вот что мне непонятно. Точно он открыл ей что-то.

— Голубчик,— донесся до него хоть и слабенький, но твердый голос с кровати.— Ты же обещал.

— Да, прости. Я стараюсь как могу, но это получается само собой.

— У тебя есть я, у меня — ты,— сказала миссис Феллоуз, и письмо Норы зашуршало на одеяле, когда она повернула к стене прикрытую платком голову, прячась от безжалостного дневного света.

Нагнувшись над эмалированным тазиком, мистер Тенч мыл руки розовым мылом. Он сказал на своем дурном испанском языке:

— Не надо бояться. Станет больно, сразу же говорите.

Комната хефе временно превратилась в зубоврачебный кабинет, и это стоило немалых затрат, так как доставить в столицу надо было не только самого мистера Тенча, но и шкафчик мистера Тенча, и зубоврачебное кресло, и таинственные упаковочные ящики. В ящиках этих пока что была солома, но обратно они вряд ли вернутся пустыми.

— Я уже несколько месяцев мучаюсь,— сказал хефе.— Вы не представляете себе, какая это боль.

— Надо было сразу ко мне обратиться. Рот у вас в ужасном состоянии. Ваше счастье, что еще не дошло до пиореи.

Он вытер руки и вдруг так и застыл с полотенцем и о чем-то задумался.

— Ну, что же вы? — сказал хефе. Мистер Тенч, вздрогнув, очнулся, подошел к своему шкафчику и стал вынимать и выкладывать в ряд орудия предстоящей пытки. Хефе настороженно наблюдал за ним. Он сказал: — У вас руки сильно дрожат. Как вы себя чувствуете? Может быть...

— Это от несварения желудка,— сказал мистер Тенч.—Иной раз столько черных мух перед глазами, будто в вуали ходишь.— Он вставил бор.— Теперь откройте рот пошире.— Он стал засовывать в рот хефе ватные тампоны. Он сказал: — Первый раз вижу такой запущенный рот, если не считать одного случая.

Хефе пытался что-то сказать. Этот приглушенный, нечленораздельный вопрос мог понять только дантист.

— Он не был моим пациентом. Его, наверно, кто-нибудь другой вылечил. В вашей стране многих вылечивают пулями.

Он начал сверлить зуб, поддерживая беглый огонь разговора; так было принято в Саутенде. Он говорил:

— Перед тем как мне выехать сюда, со мной произошла странная история. Я получил письмо от жены. Ни строчки от нее не было лет... лет двадцать. И вдруг как гром среди ясного неба...— Он наклонился к хефе и посильнее нажал бором. Хефе со стоном замахал руками.— Прополощите,— сказал мистер Тенч и, насупившись, занялся бормашиной. Он сказал: — Так о чем это я? Ах да, о жене. Она, по-видимому, ударилась в религию. Какое-то у них там общество — в Оксфорде. Как ее занесло в Оксфорд? Пишет, что простила меня и хочет оформить наши отношения юридически. Другими словами — требует развода. Она, видите ли, простила меня,— сказал мистер Тенч и, погрузившись в свои мысли и держа в руке наконечник бормашины, обвел глазами маленькую убогую комнату. Он рыгнул и другой рукой коснулся живота, щупая, щупая, стараясь найти точку скрытой боли, которая почти не оставляла его.

Хефе с широко открытым ртом в изнеможении откинулся на спинку кресла.

— То отпустит, то опять прижмет,— сказал мистер Тенч, совершенно потеряв нить своих мыслей.— Это, конечно, пустяки. Просто несварение желудка. Но жизни нет никакой.— Он хмуро уставился хефе в рот, будто там, между кариозными зубами, был запрятан магический хрустальный шар. Потом огромным усилием воли заставил себя наклониться и нажал педаль. Хефе весь окостенел и вцепился в ручки кресла, а нога мистера Тенча ходила вверх-вниз, вверх-вниз. Хефе издавал какие-то странные звуки и взмахивал руками.— Держитесь,— сказал мистер Тенч.— Держитесь. Еще немножко в уголке. Сейчас кончаю. Сейчас, сейчас. Ну вот! — Он снял ногу с педали и сказал: — Господи помилуй! Что это? — Мистер Тенч бросил хефе на кресле, подошел к окну и выглянул вниз во двор. Отряд полицейских поставил винтовки к ноге. Держась за живот, он возмущенно проговорил: — Неужели опять революция?

Хефе выпрямился в кресле и выплюнул вату.

— Да нет,— сказал он.— Человека будут расстреливать.

— За что?

— За измену.

— По-моему,— сказал мистер Тенч,— обычно вы делаете это у кладбища.— Страшное зрелище притягивало его. Ничего подобного ему еще не приходилось видеть. Он и стервятники не сводили глаз с маленького тюремного двора.

— На сей раз это нецелесообразно. Может начаться демонстрация. Народ-то ведь темный.

Из боковой двери вышел какой-то маленький человек; двое полицейских поддерживали его под руки, но он явно старался не сплоховать, только ноги у него подкашивались. Полицейские проволокли этого человека через двор к дальней стене; офицер завязал ему глаза платком. Мистер Тенч подумал: да ведь я его знаю. Боже милостивый, надо что-то сделать. Точно твоего соседа ведут на расстрел.

Хефе сказал:

— Чего вы ждете? В зуб попадет воздух.

Но что можно было сделать? Все шло быстро, по шаблону. Офи-

цер отступил в сторону, полицейские взяли ружья на изготовку, и маленький человек вдруг судорожно взмахнул руками. Он хотел что-то сказать. Что положено говорить в таких случаях? Тоже что-нибудь шаблонное, но у него, наверно, пересохло во рту, и он выговорил единственное слово — кажется, «простите». Ружейный залп потряс мистера Тенча, отозвавшись у него во внутренностях. Он почувствовал дурноту и зажмурился. Потом раздался одиночный выстрел, и, открыв глаза, мистер Тенч увидел, что офицер сует пистолет в кобуру, а маленький человек — опять же по заведенному шаблону — лежит у стены жалкой, бесформенной грудой тряпья, которую надо поскорее убрать. К нему быстро подбежали двое кривоногих полицейских. Была арена, и был мертвый бык, и ждать больше было нечего.

— О-о! — стонал хефе.— Больно же! — Он взмолился: — Скорее! — Но мистер Тенч, уйдя с головой в свои мысли, стоял у окна и машинально мял живот, пытаясь определить, где затаилась боль. Он вспомнил слепящий полдень и как маленький человек с удрученным, безнадежным видом поднялся с качалки у него в комнате и последовал за мальчиком прочь из города; вспомнил зеленую лейку, фотографию своих детей, слепок протеза для волчьей пасти, который он сделал из песка.

— Пломбу! — молил хефе, и мистер Тенч перевел глаза на маленькую кучку золота, лежавшую на стеклянном лотке. Валюта — надо требовать иностранную валюту; теперь уж он уедет отсюда, уедет навсегда. На тюремном дворе все было убрано: полицейский бросал лопатой песок, точно закапывал могилу. Но могилы не было; во дворе ничего не осталось. Страшное чувство одиночества охватило мистера Тенча; он согнулся от боли. Этот маленький человек говорил по-английски и выслушал его рассказ про детей. Теперь он остался один, никого больше нет.

— «И вот...— Голос у женщины торжествующе взлетел вверх, и обе девочки с глазами-бусинками затаили дыхание.— Настал день великого испытания...» — Мальчик и тот заинтересовался. Он стоял у окна и глядел на темную, опустевшую после комендантского часа улицу. Это последняя глава, а в последней главе события всегда разворачиваются стремительно. Может, и в жизни тоже так — нудно, скучно, а под конец героический взлет.

— «Когда начальник полиции вошел в камеру, Хуан молился, преклонив колена. Всю ночь Хуан не сомкнул глаз, готовясь принять мученический венец. Он держался спокойно, весело и, с улыбкой взглянув на начальника полиции, спросил, куда его поведут, уж не на пиршество ли? И явно растрогал этого злодея, погубившего столько невинных душ».

Скорее бы дошло до расстрела, думал мальчик; расстрелы всегда будоражили его, и он всякий раз с волнением дожидался coup de grâce [1].

— «Хуана вывели во двор тюрьмы. Не было необходимости связывать эти руки, перебирающие четки. Шагая к стене, где его должны были расстрелять, оглянулся ли Хуан на те недолгие, те счастливые годы, которые он прожил так доблестно? Вспомнил ли семинарию, ласковые укоры наставников и то, как крепнул его характер, и те веселые деньки, когда он играл Нерона в присутствии старенького епископа? А сейчас Нерон был здесь, рядом с ним, и он выходил на римский амфитеатр».

Голос у матери чуть охрип; она быстро перелистала последние страницы: оставлять на завтра уже не стоило, и она стала читать все быстрее и быстрее:

[1] Последний удар, которым прекращают чьи-либо страдания *(франц.)*.

— «Дойдя до стены, Хуан повернулся и начал молиться — не за себя, а за своих врагов, за несчастных индейских солдат, которые стояли перед ним, и даже за начальника полиции. Он воздел четки с распятием, моля господа: «Прости несчастных, да прозрят они в невежестве своем и, подобно гонителю Савлу, приидут в вечное царство небесное».

— А ружья у них были заряженные? — спросил мальчик.

— То есть как — заряженные?

— Почему же они не выстрелили? Тогда он замолчал бы.

— Потому что господь судил иначе.— Она откашлялась и стала читать дальше: — «Офицер скомандовал: «Готовьсь!» И в этот миг безмерно счастливая, блаженная улыбка озарила лицо Хуана. Он словно увидел руки господни, простертые к нему. Матери и сестрам он всегда говорил: «Я предчувствую, что вознесусь в царство небесное раньше вас». И, со странной улыбкой обращаясь к матери, доброй, хлопотливой хозяйке, повторял: «Я там все приберу к твоему приходу». И вот час его пробил. Офицер скомандовал: «Огонь!» И...» — Она читала торопливо, потому что девочкам давно пора было спать, а тут на нее еще напала икота. — «Огонь!» — повторила она. — И...»

Обе девочки тихо сидели рядом и клевали носом. Эту часть книжки они не очень любили; они терпели ее только потому, что в ней описывались любительские спектакли, и первое причастие, и то, как сестра Хуана ушла в монастырь и трогательно прощалась в третьей главе со своими близкими.

— «Огонь!» — снова сказала мать.— И, воздев руки над головой, Хуан громким голосом отважно крикнул солдатам, направившим на него винтовки: «Слава Христу-Царю!» И тут же упал, сраженный десятью пулями, а офицер, нагнувшись над телом Хуана, поднес пистолет ему к уху и нажал курок».

У окна послышался долгий вздох.

— «Второго выстрела не потребовалось. Душа юного героя уже покинула свое земное обиталище, и, увидев блаженную улыбку на его мертвом лице, даже эти невежественные люди поняли, куда теперь вознесся Хуан. Мужество его так растрогало одного солдата, что он украдкой смочил платок кровью мученика. Этот платок был разрезан на сто кусков, которые ныне хранятся как реликвии во многих благочестивых домах». А теперь,— поспешно сказала мать, хлопнув в ладоши,— пора баиньки.

— А тот,— проговорил мальчик,— которого сегодня расстреляли, он тоже был герой?

— Да.

— Тот, что ночевал у нас?

— Да. Он принял муки за Церковь.

— От него очень странно пахло,— сказала младшая девочка.

— Нельзя так говорить,— сказала мать.— Может быть, он святой.

— Значит, надо ему молиться?

Мать нерешительно помолчала.

— Ничего плохого в этом не будет. Но пока мы еще не знаем, святой он или нет... Надо ждать чудес...

— Он крикнул: «Viva el Cristo Rey»? — спросил мальчик.

— Да. Он был мучеником Церкви.

— А кто-нибудь смочил платок в его крови?

— Думаю, что да...— важно произнесла мать.— Сеньора Хименес мне рассказывала... Если папа даст немножко денег, я достану эту реликвию.

— Разве за нее надо платить?

— А как же иначе? Не всем же эти кусочки достанутся.

— Да.

Мальчик устроился на подоконнике, глядя на улицу, а у него за

спиной тихо возились девочки, укладываясь спать. То, что у них в доме, правда всего лишь сутки, жил герой, перевернуло его мысли. И ведь он последний. Не осталось больше ни священников, ни героев. Мальчик с отвращением прислушался к стуку башмаков по асфальту. Обыденная жизнь наваливалась на него. Он слез с подоконника и взял свечку. Сапата[1], Вилья, Мадеро, а сколько еще других, и вот такие люди, как этот, что идет по улице, убили их. Он чувствовал, что его обманули.

Лейтенант шел по улице, и в его походке было что-то напористое и упрямое, точно каждым своим шагом он говорил: «Что я сделал, то сделал». Он посмотрел на мальчика со свечой, не уверенный, тот ли это, и сказал себе: «Я хочу дать ему и всем остальным больше, гораздо больше. И жизнь у них будет совсем другая, не похожая на мою». Но действенная любовь, заставлявшая его палец нажимать курок, выдохлась и умерла. Любовь вернется, сказал он себе. Она, как любовь к женщине, проходит разные стадии: утром он насытился ею, только и всего. Это пресыщенность. Он страдальчески улыбнулся мальчику в окне и сказал: «Buenos noches»[1]. Мальчик смотрел на его кобуру, и лейтенант вспомнил тот день на площади и как он дал кому-то из ребят потрогать его револьвер — может быть, даже вот этому. Он снова улыбнулся и тоже тронул револьвер в знак того, что помнит, а мальчик сморщился и плюнул сквозь оконную решетку — плюнул точно, так что плевок попал прямо на револьверную рукоятку.

Мальчик пошел через двор — спать. У него была маленькая, темная комнатка с железной кроватью, на которой он спал вместе с отцом. Он ложился к стене, а отец с краю, чтобы не будить сына. Он снял башмаки и, угрюмо хмурясь, стал раздеваться при свете свечи; из соседней комнаты доносился шепот — там молились. Он чувствовал себя обманутым и разочарованным, как будто что-то потерял. Лежа на спине в душной комнате, он смотрел в потолок и думал: ничего больше нет на свете, только их лавка, книжки, которые им читает мать, и глупые игры на площади.

Но вскоре он заснул. Ему снилось, будто священник, расстрелянный утром, в одежде, которую ему дал отец, лежит, окоченевший, в их доме, в ожидании похорон. Сам он сидит рядом, а его мать долго читает про то, как этот священник играл Юлия Цезаря в присутствии епископа. У ее ног стоит корзинка с рыбой, и рыбы, завернутые в материнский платок, все в крови. Ему скучно, и он томится, а в коридоре кто-то забивает гвозди в гроб. И вдруг мертвый священник подмигнул ему, да, конечно, подмигнул: веко чуть дрогнуло...

Он проснулся и услышал стук-стук молотка в наружную дверь. Отца в постели не было, в другой комнате стояла полная тишина. Наверно, прошло уже много часов. Он лежал, прислушиваясь. Ему было страшно, и вдруг после короткого перерыва снова послышался стук, но в доме никто и не шевельнулся. Он нехотя спустил ноги с кровати — должно быть, это пришел отец, а дверь заперта. Он зажег свечу, закутался в одеяло и снова насторожился. Может, мать услышит и пойдет открыть, но он знал твердо, что это *его* долг. Он единственный мужчина в доме.

Он медленно пересек двор и подошел к наружной двери. А вдруг это лейтенант вернулся рассчитаться за плевок?.. Он отпер тяжелую, железную дверь и распахнул ее. На улице стоял какой-то незнакомец — высокий, худой, бледный, с горькой складкой у рта; в руке у него был чемоданчик. Он назвал мать мальчика и спросил, здесь ли

[1] Эмилиано Сапата (1879—1919) — один из руководителей крестьянского движения в Мексиканской революции 1910—1917 гг. Вероломно убит.

[2] Спокойной ночи *(исп.)*.

она живет. Да, сказал мальчик, но она спит. Он потянул на себя дверь, но узконосый ботинок не дал ему затворить ее.

Незнакомец сказал:

— Я только что с парохода. Нельзя ли... Меня направила к сеньоре одна ее хорошая знакомая.

— Она спит,— повторил мальчик.

— Может, ты впустишь меня? — сказал незнакомец со странной, испуганной улыбкой и, понизив голос, шепнул: — Я священник.

— Священник? — воскликнул мальчик.

— Да,— тихо сказал он.— Меня зовут отец...— Но мальчик широко распахнул дверь и припал к его руке, не дав ему назвать себя по имени.

Роман «Сила и слава» появился в 1940 году. Незадолго до этого (1938) писатель побывал в Мексике; то, что он увидел и услышал, потрясло его — так много достоинства и нищеты, жестокости и надежды.

Страна была полна памятью о драматических событиях 20-х— начала 30-х годов, когда антиклерикализм, устремившийся в экстремистское русло, и насчитывавшая несколько веков католическая традиция стояли друг против друга в конфликте, ничем не смягченном и не опосредованном, хотя конфликт этот был только одной из граней мучительной исторической ломки, которую переживала Мексика. (Необходимые справки о реалиях политической истории даны в примечаниях к роману.) Грина интересовала не история классов, общественных групп, партий, а история людей — складывавшаяся в определенных условиях человеческая атмосфера, которая, оставаясь очень конкретной, могла бы в то же время послужить материалом для художнического пересоздания, для творимой им притчи. (Характеризующая роман притчеобразность подчеркнута, в частности, такой внешней чертой, как почти полное отсутствие имен.) Все было обнажено, и все, решительно все было не так, как пожелал бы представить себе человек, никогда не видавший такой жизни.

По собственным признаниям, Грин всегда любил и до сих пор любит искать далеко от Европы образы того, с чем европейцу еще только предстоит столкнуться в собственном опыте. Тогда было именно так: на Европу надвигался фашизм, начиналось время, когда любому убеждению, любой вере и вообще человеческой позиции предстояло практически проверить себя на крепость в экстремальных условиях. И странный роман был написан, чтобы вызывать у читателей и специально у единоверцев католика Грина самые противоречивые реакции (как напомнил недавно писатель в интервью, данном «Литературной газете», его книга была включена в Индекс запрещенных книг при Пии XII, а Павел VI не только снял запрет, но сообщил автору, что это его, папы, любимая книга...).

Подумать только, что всего за тридцать лет до этого, в 1910 году, вышел в свет другой роман, написанный тоже большим английским писателем, тоже католиком — Г. К. Честертоном. Тот, давний, роман назывался «Шар и крест»; в нем благородный католик вызывал на дуэль не менее благородного атеиста, один рвался обнажить шпагу за честь бога, другой — за честь человека, но погрязшее в индифферентном миролюбии общество никак не давало им это сделать. Они изыскивали возможность все-таки сойтись в поединке, а покуда проводили время в том, что спорили, спорили, спорили... До чего же двадцатый век — «не календарный», как сказано в русских стихах,— все изменил. Вот снова перед нами два антагониста, один стоит за бога, освобождающего человека, другой — за человека, освобожденного от бога, и оба — люди не то чтобы «благородные», это старомодное слово тут неуместно, но, во всяком случае, смертельно искренние, идущие в своей убежденности до конца; до чего они, однако, не похожи на честертоновских рыцарей правоверия и вольномыслия! Один — небри-

---

**ВОЛЖИНА НАТАЛЬЯ АЛЬБЕРТОВНА** (1903—1981)

Выдающийся мастер советского художественного перевода. Ею переведены романы «Лавка древностей» Ч. Диккенса, «Овод» Э. Войнич, «По ком звонит колокол» Э. Хемингуэя (совместно с Е. Д. Калашниковой), «Гроздья гнева» Дж. Стейнбека, «Наш человек в Гаване», «Ценой потери», «Комедианты» Г. Грина, произведения М. Твена, Дж. Лондона, Дж. Болдуина и многих других классиков англоязычной литературы и современных писателей.

тый, опустившийся, вконец затравленный бродяга вне закона; священник, но священник на редкость «недостойный», алкоголик, которому случилось в минутном тумане опьянения и тоски нарушить обет целомудрия и зачать ребенка, любимого с безнадежной, неизбывной отцовской нежностью; к перспективе смерти за веру он относится без тени бодрого энтузиазма — и все же один остается в крае, покинутом всем духовенством, остается просто потому, что кому-то нужен. Другой — лейтенант, невесело, но упорно охотящийся за первым, как за вредным насекомым, которое необходимо во что бы то ни стало раздавить, чтобы ликвидировать заразу и дезинфицировать страну для будущих поколений. Вместо дуэли — скучная обыденщина расстрела; вместо шпаги, так и не пущенной в дело,— не раз пущенный в дело револьвер лейтенанта, на который в финале упадет плевок мальчишки (заметим эту деталь). И главное — никакого красноречия, никаких метафизических аргументов, никакого состязания парадоксов и глубокомысленных метафор. Слова стали почти что невозможны. Ну, обругает лейтенант классовую сущность церковной благотворительности, а священник невразумительно отзовется: «Как вы правы!.. И конечно, неправы». Разве это словесный турнир? Да любая фраза из настоящего диспута здесь все испортила бы. Сила бессильного гриновского героя — именно в том, что он не аргументирует, не защищается, не обличает своего «гонителя», а разве что с неуместной доверительностью, как будто своему, открывает ему, этому «гонителю», важные для себя (и для Грина) мысли. Да, еще он сознаётся лейтенанту в самом смешном, самом ребяческом из мотивов своего отказа от бегства: до чего ему было сладко, когда коллега-священник, всегда распекавший его за слабость характера, бежал и тем самым оставил его в покое. Он меньше боится гибели, чем лишней встречи с этой нагнавшей на него страху сильной личностью. Кто же сознается в чем-нибудь подобном, да еще перед лицом своего антагониста? А на расстрел он выйдет с беспомощным «простите». В остальном же — что уж тут говорить? Одно ясно — дело решается не словами.

Вопрос, который читатель сохраняет право задать: почему все-таки писатель доверяет свои святыни герою с болезненно пораженной волей и душой глубокой, но смутной и, так сказать, растрепанной? Разве внутренняя стройность перестала быть благом, и окончательно ли доказано, что она перестала быть возможным благом? Но такой вопрос относится не только к этому роману, а ко всему творчеству писателя, для которого, по-видимому, органичен только один способ утверждать — от противного. Дающие всему смысл «силу» и «славу» он умеет показать лишь через предельное бессилие и бесславие того человека, который вводит их в мир людей. Сила — в немощи; иначе ни Грин, ни читатель, ради которого он пишет, просто не поверят в ее реальность. Немощь должна быть явной до невыносимости.

Когда читаешь Грэма Грина, по контрасту не раз вспоминается сакраментальное слово, которое с такой жадностью и с такой тоской повторял Подросток у Достоевского,—«благообразие». Так вот, специальность Грина—мир, в котором благообразия нет как нет. Это становится еще очевиднее, когда встретится изредка оскорбительная пародия на благообразие — неживая, «безблагодатная» правильность. Люди, несущие в себе этот род правильности, как добродетельная сеньора, умучивающая своих детей набожным чтением, или другая дама в этом же роде, которая, попав в тюремную камеру, так брезгливо косится на менее респектабельных товарищей по несчастью,— хуже всех, да и несчастнее, жальче всех. Хуже всех — потому, что отделили себя от конкретной человечности, жальче всех — потому, что обрекли себя жить в выдуманном мире, мире фикций. А благообразия нет. Спросите чего другого. Мы первый раз видим героя глазами зубного врача, чей профессиональный взгляд выделяет рот, полный гнилых зубов. Последний раз мы его видим теми же глазами под аккомпанемент стонов, несущихся из зубоврачебного кресла. Эпитафией ему звучат повторяющиеся, как рефрен, слова ребенка: «От него очень странно пахло».

Само по себе это ничуть не примечательно: чем, а отсутствием благообразия современного всемирного читателя не удивишь еще с тех давних пор, как за четверть века до романа Грина ему, читателю, было открыто влиятельнейшим законодателем вкуса, что самое подходящее сравнение для вечера, мреющего в небесах,— пациент под хлороформом на столе хирурга (хрестоматийные стихи Т. С. Элиота, напечатанные в 1915 г.). Куда ни глянь — везде антигерои, снижающие подробности, хаотические переживания на фоне тоскливой обстановки,— это все панорама знакомая, даже чересчур знакомая: борьба против условной красивости давно привела к условному безобразию. Однако у Грэма Грина нечто иное, присущее именно ему. Во-первых, он ведет отчет о своем неблагообразном мире в такой интонации, которую трудно определить, но невозможно ни с чем спутать. Скажем для начала, чего в этой интонации нет. В ней нет сарказма и нет истерических взрывов, но нет также нарочитого, неживого спокойствия отстраненности и отчужденности, которые внушали бы читателю мысль, будто рассказывает не человек, а какое-то «дегуманизированное» существо. Во-вторых, Грин определенно любит своих неблагообразных персонажей, любит их, что называется, «черненькими», однако именно любит, а не просто жалеет (и не делает предметами извращенного любования); вообще не глядит на них сверху вниз. Атмосфера человеческого равенства между персонажами, с одной стороны, автором и читателем, с другой стороны,— один из самых симпатичных моментов творческой позиции Грина. Поясняя эту позицию, поэт У. Х. Оден замечал: «Чувствовать сострадание к людям — значит уравнивать себя с ними; жалеть их — значит ставить себя над ними» (перевод В. В. Бибихина),— это сказано к тому, что Грину свойственно первое, а не

второе, и Оден, в общем, прав. Все персонажи романа — люди, дела их — дела человеческие, а потому серьезные, на сколь бы непрезентабельном фоне они ни совершались.

Нет ни малейшей возможности не принимать всерьез ни «пьющего падре» с его неумолимой правдивостью, с его неожиданно тонким умом, развитым выслушиванием исповедей и испытанием собственной совести, а главное — с его жертвенной судьбой, но также с его бессилием и бесславием, служащими той «силе» и той «славе», в которые он так застенчиво и твердо верует, ни его антагониста, мрачного и бескомпромиссного доктринера-народолюбца, фигуру в высшей степени трагическую. Оба они, каждый на свой лад,— люди «не от мира сего», отдающие себя, забывающие себя.

О детях, занимающих в романе исключительно важное место, и говорить нечего — кто же способен не принять всерьез их? Чего стоит невыносимо осуждающий взгляд маленькой Бригитты или плевок подростка в конце романа! Есть в романе, конечно, и люди жалкие — падре Хосе, метис; но именно потому, что оба — такие «презренные», презирать их — дело совершенно несообразное, все равно что бить лежачего или потешаться над слабоумным.

Остается, конечно, вышеназванная безупречная особа, о которой мы только что говорили, что она в перспективе сознания писателя выглядит хуже всех и жальче всех. Так-то оно так, герою куда легче духовно соединиться с разношерстной шпаной, до отказа наполняющей тюремную камеру, смердящей и без всякого стыда развлекающейся по углам на свой манер, чем с этой благородной страдалицей за веру, которая, впрочем, очень легко обрекает в своих мыслях незаконнорожденную дочь на ненависть к родному отцу, а «недостойного» священника — на гибель. (Не так ли Христос, чье дело в сознании собственного недостоинства представляет на земле «пьющий падре», кротко беседовал с пропащими девицами и еще более пропащими сборщиками податей, серьезно отвечал Пилату — представителю безбожной римской власти, однако бывал куда менее доступен для фарисеев — самых что ни на есть безупречных людей своего века?..) И все-таки набожную сеньору тоже приходится принимать всерьез: ей не откажешь в самоуважении, в верности и твердости,— это не христианские добродетели, как она воображает, но это, пожалуй, настоящие языческие доблести. Она не человечна, но она человек, а не карикатура на человека.

Ну, а шпана — можно, конечно, в оторопи спросить, как спрашивает от неожиданности герой: «Кто эти люди?» — получая в ответ насмешливое: «Ты что, никогда в тюрьме не сидел?» В общем, сержант, кажется, сказал правду: «Здесь все хорошие». Не шутка — ведь ни один из этих очень бедных людей, притом вовсе не расположенных к духовным особам («...во всем виноваты священники...»), не хочет польститься на вознаграждение и выдать своего товарища по несчастью. «Кому здесь нужны их поганые деньги?»,— свет этих слов светит и в зловонной, невыносимо жаркой тьме камеры.

Однажды Грэма Грина спросили: «Вы изображаете таких нравственно падших людей, что есть, кажется, основание видеть в вас самого черного пессимиста?» — «Как, это я-то пессимист? — отозвался писатель.— Напротив, я утверждаю, что мне присущ совершенно безудержный оптимизм». Внимательный читатель, надо надеяться, почувствует этот оптимизм в публикуемом ныне по-русски романе, который наконец-то— лучше поздно, чем никогда,— нашел путь к нашему читателю. Возможно, оптимисты правы — также и в том, что касается судеб романов.

**С. АВЕРИНЦЕВ**

■

# Литературное наследие

## ГУСТАВ ФРЁДИНГ

*Со шведского*

Густав Фрёдинг вошел в историю шведской литературы как один из самых значительных поэтов рубежа XIX—XX веков.

Он дебютировал в последнее десятилетие прошлого века. Это был период расцвета шведской поэзии, эпоха «шведского Ренессанса». Эссе Вернера фон Хейденстама «Ренессанс, несколько слов о литературном перевороте» (1889) стало манифестом поэтов-неоромантиков — Оскара Левертина, Эрика Акселя Карлфельдта, выступавших против «унылого, однобокого» натурализма, «бесцветного, фотографического копирования» жизни. В ранней лирике Фрёдинга сказалось влияние неоромантических идей Хейденстама и Левертина, хотя затем пути поэтов разошлись.

Литературная деятельность Фрёдинга началась с газеты — в «Карлстадс-тиднинген» публиковались его краткие ироничные очерки, острые, злободневные фельетоны на самые разные политические и социальные темы. Фрёдинг выступал против засилья клерикализма, ратовал за независимость Норвегии, критиковал обывательские нравы и вкусы буржуазии.

Но вскоре журналистская работа стала ему в тягость, псевдоним, под которым он скрывался — Агуст Каллсон,— стал казаться ему клоунской маской. Занятия философией в Упсальском университете оставили поэта, по его собственному признанию, глубоко равнодушным. Он целиком посвятил себя поэзии, мир которой был близок ему с детства. Вместе с матерью они писали дружеские посвящения, шаржи. Во время учебы Фрёдинг часто восхищал своих друзей мгновенно написанными стихами на случай, студенческими песнями, искрометными, остроумными пародиями.

Первый же его сборник — «Гитара и гармоника»,— в котором Фрёдинг возрождал народно-песенную традицию, имел большой успех у читателей, был тепло встречен критикой, отмечен премией Шведской Академии. Его стихи читали, заучивали наизусть, пели. Датский критик Георг Брандес писал о стихах Фрёдинга: «Они местами так певучи, что, читая их, невольно начинаешь подпевать, а местами столь ребячески отбивают такт, что мы как будто слышим танец крестьян в деревянных башмаках».

Фрёдинг — наследник традиций шведской классической поэзии, прежде всего Карла Микаэля Бельмана, поэта-песенника XVIII века, романтиков — Йохана Людвига Рунеберга и Карла Снойльского. Он очень высоко ценил Бёрнса и много переводил его.

---

**ГУСТАВ ФРЁДИНГ — GUSTAF FRÖDING** (1860—1911). Шведский поэт. Автор поэтических сборников «Гитара и гармоника» («Gitarr och dragharmonika», 1891), «Новые стихотворения» («Nya dikter», 1894), «Брызги и осколки» («Stänk och flickar», 1896), «Новое и старое» («Nytt och gammalt», 1897), «Брызги Грааля» («Gralstänk», 1898). Публикуемые стихи взяты из книги «Стихи и проза» («Dikter och prosa». I urval av Nils P. Sundgren. Albert Bonniers förlag AB Stockholm, 1960) и из антологии «Шведская поэзия. От заклинаний до Бьёрна Хоканссона» («Svensk dikt. Från trollformler till Björn Håkansson». Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1968).

Фрёдинг родился и жил в одной из старинных усадеб живописного Вермланда. И он воздвиг поэтический памятник родному краю, населив его чудаковатыми, добродушными, остроумными и отчаянными смельчаками, озорными выдумщиками. Фольклорный колорит, краски щедрой палитры старинных народных легенд и преданий явственно ощутимы в этом его сборнике, известном русскому читателю по переводам Веры Потаповой (Густав Фрёдинг. Стихотворения. М., «Художественная литература», 1968).

В предлагаемую читателю подборку из сборника «Гитара и гармоника» включены стихи «Зимняя ночь», «Ожидание», «Зеленый лист земной», проникнутые чувством непосредственной радости жизни, единения с природой, а также стихотворение «Решетка», совершенно контрастное по настроению: в нем поэт выразил ощущение границ, пределов человеческих возможностей, «решеток» бытия, внутренних оков.

В сборниках «Новые стихотворения», «Брызги и осколки», «Новое и старое», «Брызги Грааля» зазвучали трагические ноты — одиночества, отчаяния, пронзительной тоски по любви. Нелегкой была судьба поэта: материальные трудности, наследственный душевный недуг, длительные периоды депрессии. Однако он видит в поэзии возможность выразить не только свою, но и чужую боль (см. «Молчание и речь», «Гамлет», «Майская песня»). Поэт, желающий слиться с «бедной толпой» — тема, выстраданная Фрёдингом. Не только личные тяготы, но прежде всего социальные пороки вызывают у поэта «рыдание в горле». Поэт перевоплощается в шекспировского героя, но лицедействует не перед «бедной толпой», которой откровенно сочувствует, а перед теми, кто вынуждает его надеть маску безумца, шута. Щемящая грусть, так и не достигнутый идеал любви — мотивы известного стихотворения «Любовная песня».

Умер Фрёдинг в зените своей славы. Похороны его, по свидетельству современников, превратились во «всенародную манифестацию». Газеты сообщали, что панихиду пришлось перенести в самую большую стокгольмскую церковь — Клара, такое множество людей провожало поэта. Швеция оплакивала своего скальда.

**К. МУРАДЯН**

## *Зимняя ночь*

Торжественно вступаем мы
В дворцовый лабиринт зимы,
Где хоровод деревьев замер,
Где вдохновенный зодчий — лес
Творит и оживляет мрамор
И строит башни до небес.

Где снег раскинул свой шатер
И кроны превратил в собор.
Он царствует в лесу один
В своей роскошной белой тоге.
Забыл беспечный властелин,
Что лето мерзнет на пороге.

И погруженный в краткий сон,
Альков хрустальный невесом.
И ветер песен не поет,
Умолкли птицы до весны.
Снежинок медленный полет
Не нарушает тишины.

И расточительно щедра
Луна в венце из серебра.
Свои алмазные дары
Она роняет в снежный зал,
Чтобы до утренней поры
Мороз узоры рисовал.

Пока не гаснет звездный свет,
Дворца ажурный силуэт
И замка тайные владенья
Огнем объяты голубым.
Как воры, бродят привиденья,
Покуда ночь подвластна им.

*Перевод К. МУРАДЯН*

## *Зеленый лист земной*

До чего ж
зелен и пригож!
Воздух чист —
вот и лист
полон сил,
свеж и мил.
Зелен, чист, красив —
жив!

## *Майская песня*

И снова надежда, и снова весна,
и пение птичье, и грезы...
Но я, как и прежде, стою у окна —
и катятся слезы.

Сады распускаются наперебой,
и зелень плывет по лощинам...
Весь мир этот — чудо, весь мир этот мой,
и я довожусь ему сыном!

Шиповник ли тянется в синь облаков,
лучи завели разговор ли —
весь мир этот молод! Весь мир этот нов!
...Откуда ж рыдание в горле?

О, невыносимо прекрасен рассвет
весенний, и влажен, и звонок —
для тех, кто считал, что не вынесет, нет,
смертельных потемок.

## *На закате*

С горы я решил взглянуть,
как залив светоносен...
Солнце на запад держало путь,
тихо темнела просинь...

Время идет по пятам —
скоро весна, а там
мигом наступит осень!

Новый день расцвел и погас —
скоро ль последний грянет?
Краткого счастья недолог пляс.
Страшно, что жизнь отпрянет.
Замок воздушный нас
светом дарит сейчас,
но, отсверкав, обманет.

Сердце надеждой ослеплено,
а впереди — печали.
В недрах таящееся зерно
станет ростком едва ли...
Будет мороз лют,
и те семена умрут,
которые задремали.

## *Жизнь растений*

Не спал, но дремал на краю бытия,
как будто спасаясь от боли...
Мне чудилось поле... Мне снилось, что я —
земное цветущее поле.

Видение длилось... Я мыслить не мог,
лишь чувствовал нежную сладость,
которую знает рассветный цветок —
дарить и испытывать радость!

Но вскоре нагрянула ребятня —
и стебли жестоко сломали...
Не то чтобы болью пронзило меня,
но весь я поник от печали —
я сохну, я сохну... Какая тоска!
Но гневаться надо едва ли.
Я знал, что короток век цветка,
а в сказке мне рассказали,
как дрема его глубока.

Я сказку видел, покуда спал,—
это бренное тело,
как растение, ослабело,
я, как тростник, завял...
Читая Библию, разум занят
глаголами «был», и «есть», и «станет».

## *Решетка*

Стою и вижу мир через решетку.
О нет! Не оторвусь я от решетки.
Мне тут и жизнь видна, и море слышно...
Бросается волна к моей решетке,
и хор звучит пленительно и пышно,
и чудный смех струится сквозь решетку.

Ольхи мерцанье, дух березняка,
сосновый аромат издалека
врываются ко мне через решетку...
Сверкает бухта, словно самоцвет,
и свежих капель драгоценный свет
меня ласкает, миновав решетку.

А там мелькают корабли и лодки,
а там поют веселые молодки
с парнями, разудалыми на вид,
и духовая музыка гремит.
О, хоть на миг желал бы выйти я,
чтоб уловить дыханье бытия...
Я не могу томиться за решеткой.

Но ни сломать не смог, ни разогнуть я
высокую старинную решетку.
Как ни тряси — неумолимы прутья...
Во мне самом поставлена решетка!
И лишь с моим концом — конец решетке.

*Перевод Т. БЕК*

## *Гамлет*

Играть. Казаться сумасшедшим принцем,
Оберегать страдания печать.
И с маскою безумца примириться,
Молчаньем на насмешки отвечать.

Толпу я потешаю неспроста —
Удел актерства дан судьбою мне.
С тех пор как принц играет роль шута,
Безумие повысилось в цене.

Бессилен я перед стихией зла,
И в суете века проходят мимо.
На свете нет сложнее ремесла,
Чем самого себя играть без грима.

*Перевод К. МУРАДЯН*

## *Молчание и речь*

— Не признавайся, какая
жжет твое сердце обида,
как ты устал от кручины...
Люди посмотрят ехидно:
тех, кто рыдает, не жаль!
Гордый живет, загоняя
слезы в такие глубины,
что никому их не видно...
Скверно, когда неприкрыта
бродит по свету печаль.

Музыка, нужная миру,—
это не слезные пени.
Это под спудом хранимый
и незаметный до срока
звук, что острее клинка.
Надобно много терпенья,
надобно выковать силу,
чтобы без робости мнимой,
вооружившись жестоко,
на люди вышла тоска!

— Да, я согласен, что нужно
муки скрывать. Но спрошу я:
разве таить их в секрете,
разве держать их немыми
истинный должен пиит?
Нет! Он поделится ими

при ослепительном свете
с бедной толпой простодушно
голосом всех, кто, горюя,
тяжко молчит.

## *Любовная песня*

Не с подлинной — живу я
с любовью покупной...
Но все-таки, ликуя,
воспой любовь, воспой!

Мечта моя былая
растаяла... Но знай:
для изгнанных из Рая
остался Раем Рай.

## *Ангельская любовь*

Мучила, терзала,
душу раздирала,
как тигрица злая.
С гневом неустанным
наносила раны,
не подозревая,
что любой укус
и любой удар
на влюбленный вкус —
драгоценный дар!

## *Ожидание*

Мне кажется, что будущее — вал
тяжелой тучи медного отлива...
Как бронза — бор, стоящий сиротливо,
чернилен пруд, а речка как металл.

Слабеет сердце от тоски и страха...
Но ты не раз уже в преддверье краха
отчаянье в сиянье обращал,
тьму разбивая вдребезги с размаха!

*Перевод Т. БЕК*

# Публицистика

ЛОУРЕНС ПИТЕР

# ПОЧЕМУ ДЕЛА ИДУТ ВКРИВЬ И ВКОСЬ, ИЛИ ЕЩЕ РАЗ О ПРИНЦИПЕ ПИТЕРА

Фрагменты книги

*Перевод с английского Л. В. СТЕПАНОВА*

## *Вниманию заинтересованных лиц*

*Самая большая ложь — это неверно понятая правда.*

*УИЛЬЯМ ДЖЕЙМС*

Зоолог, изучающий гиену, объективно описывает ее поведение, хотя, возможно, и сострадает ее жертвам. Иерархиолог, изучающий поведение людей, должен придерживаться столь же научного подхода к делу. Хотя мы знаем, к каким разрушительным последствиям ведет действие Принципа Питера, руководствоваться в своих исследованиях нам надлежит не моралистическими, а научными соображениями. Знать о нежелательных результатах чрезмерного возвышения в должности мало. Надо еще выяснить причины, по которым мы стараемся взобраться на наш уровень некомпетентности.

*Если вы не тот, кто наверху, значит, вы тот, кто внизу.*

*СТИВЕН ПОТТЕР*

Нежелательно, чтобы люди задерживались на своих конечных уровнях, и дело тут даже не в том, что таким образом возрастает их вклад в уже переполненный мировой котел некомпетентности. Следует еще иметь в виду, что если индивидуумы чересчур долго остаются на своих уровнях некомпетентности, то тем самым они подрывают структуру организаций. В глазах окружающих их присутствие означает, что компетентность не есть обязательное условие успеха. Вместе с тем мы видим здесь объяснение, почему в бюрократиях, неважно, расширяются они или сокращаются, темп прироста накладных расходов всегда остается неизменным.

Хотя Принцип Питера точно описывает поведение людей, он не дает ответа на вопрос: «Почему человеческие существа карабкаются к своим уровням некомпетентности?» Самый распространенный ответ гласит: «Агрессивность и соперничество заложены в их природе». Неопровержимый довод насчет того, что поведение человека определяется природой человека, мало помогает пониманию и этого поведения, и этой природы.

Эйбрахам Маслоу, прославленный психолог, провозгласил, что в природе человека заложено продвигаться вперед и выше, поскольку, едва удовлетворяются его потребности определенного уровня, как у него возникают новые потребности — более высокого уровня. У каждого индивидуума есть набор различных потребностей, выстраивающихся в иерархический ряд. Как только удовлетворяются первичные потребности, связанные с поддержанием жизни, на первый план выдвигается потребность безопасности; затем следуют потребности социальные, потребности в утверждении своего престижа или своего «я» и, наконец, потребности самореализации. Потребности социального характера связаны с определением своего положения относительно других людей. Личностные потребности включают в себя заботы о признании и престиже, о самоутверждении и о праве быть лидером, о своем успехе и своей компетентности. Концепция Маслоу принадлежит к наиболее привлекательным из числа тех теорий, которые наше вечное стремление забраться повыше объясняют самой природой человека.

Окончание. Начало см. в № 1.

Агрессивность человека находит себе множество проявлений — от утонченного поиска общественного одобрения до насильственных действий, совершаемых ради утверждения физического господства. То и дело мы стараемся превзойти других в работе, на поле для игры в гольф, в дискуссии или в обретении вожделенного статуса. В иных случаях возвыситься над другими — значит увеличить свои доходы, добиться более крупных премий, призов, наград. Символические битвы по строгим правилам развертываются на шахматной доске и на футбольном поле; бои за символическую корону ведут фехтовальщики, борцы и боксеры. Соперничество без правил оборачивается драками между людьми и войнами между государствами. Жизнь показывает, что род людской обладает большими ресурсами агрессивности, находящей себе выход либо в символических играх, либо в организованном соперничестве, либо в актах насилия.

С другой стороны, даже в нашем современном, зараженном насилием обществе многие люди отличаются неагрессивным, смирным поведением, а некоторые племена, обитающие в относительно удаленных уголках мира, все еще не ведают, что такое соперничество. Традиция эскимосов-кочевников в арктических районах Америки состоит в том, чтобы сообща делить пищу и кров, улаживать свои споры, не прибегая к насилию. В Новой Гвинее люди из племени тангу поровну делят между собой съестные припасы и затевают игры, которые по правилам должны заканчиваться вничью. Крестьяне-семанги в Малайе избегают всех видов насилия. Исторически многие кочевые племена, поддерживавшие свое существование охотой и сбором плодов, не соперничали друг с другом и не беспокоились о защите своей территории. Хотя со временем господствовать в мире стали народы более агрессивные, зараженные духом соперничества и озабоченные сохранением своих территорий, все же существование племен и индивидуумов, которые не проявляли в прошлом и не проявляют сейчас ни агрессивности, ни желания соперничать с кем-либо, заставляет нас поставить под вопрос мнение о том, что эти свойства заложены в природе человека. По крайней мере при тех фактах, которыми мы располагаем нельзя согласиться, что агрессивность и соперничество — это всем присущие обязательные черты человеческой природы

*Мы наслаждаемся своим могуществом не тогда, когда сдвигаем горы и меняем течение рек, а тогда, когда оказываемся способными превращать людей в неодушевленные предметы, делать их роботами, марионетками, автоматами, настоящими животными. Могущество — это сила, позволяющая обесчеловечить человека.*

*ЭРИК ХОФФЕР*

До недавнего времени неврологи представляли себе человеческий мозг в виде компьютера из серой влажной массы, разделенного на две равные части — левое и правое полушарие. Дальнейшие исследования обнаружили, что каждое полушарие имеет особую функцию. Левая часть мозга управляет речью, тогда как правая — пространственными, образными представлениями. Работа левого полушария — это своего рода линейное, аналитическое, дедуктивное мышление, а правой частью мозг схватывает картину в целом, и здесь рождается то, что можно назвать обобщающей, творческой мыслью.

Когда силы обоих полушарий более или менее уравновешены, человек способен мыслить логически, последовательно организовывать свою деятельность, составлять вразумительные инструкции и выполнять прочую работу, зависящую от левой стороны мозга; правая же сторона позволяет ему при этом видеть общую картину, что необходимо для понимания, каков смысл деталей, поставляемых левой частью, и как они увязываются между собой. Если мозг устроен так, что одно полушарие обладает намного большей силой, чем другое, то индивидуум — он или она — будет пользоваться этим более развитым полушарием для решения большинства проблем независимо от того, годится это для дела или нет. Человек с преимущественно развитой правой частью мозга, столкнувшись с проблемой, требующей детального анализа, постарается совладать с ней на основе широких обобщений либо поддастся порыву перескочить через факты к заключению. Индивидуумы, у которых левое полушарие мозга преобладает над правым, займутся разбором деталей, анализом, обязательно начнут выводить правила и закономерности, но так и не составят себе цельного представления о существе дела. Они настолько погружаются в процесс, что никогда не видят и не понимают смысла своей деятельности в рамках ее более широкого контекста.

Именно человек, в мозгу которого господствует левое полушарие, бездумно карабкается вверх по лестнице, описываемой в учении Питера, именно он тяготеет к авторитарности и в конечном счете устанавливает нормы и стандарты для общества. Превосходство левого полушария дает нам объяснение, почему в бюрократических и других строго иерархических организациях некоторые индивидуумы более чем другие склонны обнаруживать методичность, местничество, приверженность ритуалам, то есть те самые черты поведения, которые составляют славу бюрократов.

Из исследований по психологии можно, наконец, получить еще одну полезную информацию. Поведение, рождающее чувство удовлетворения, за которым, в свою очередь, опять следует чувство удовлетворения,— такое поведение скорее всего будет воспроизводиться. Едва мы появляемся на свет, как удовлетворение наших физических потребностей в пище и тепле, а вместе с тем и эмоциональных потребностей в защите становится направляющим началом на-

шего поведения. Младенец улыбается и лепечет, как бы пытаясь заговорить, и скорее всего его обнимут, приласкают, погладят или вступят с ним в разговор, и это вызывает у него чувство удовлетворения. По мере того как ребенок учится ходить, говорить, есть, пользоваться туалетом его успехи каждый раз закрепляются одобрением родителей. В школе хорошие отметки и спортивные успехи вознаграждаются признанием и похвалами со стороны родителей, учителей и товарищей а заодно и поощрениями в виде призов, денег, дипломов. Если лицо, окончившее школу, остается в системе образования и успешно взбирается по существующей здесь иерархической лестнице, то для него или для нее это означает обретение социального статуса, академических степеней и свидетельств, удостоверяющих профессиональное мастерство.

Приступая к трудовой деятельности в иной сфере, человек ставит ногу на низшую ступеньку другой лестницы, где каждый его следующий шаг будет вознаграждаться повышением зарплаты и статуса.

Жизнь наша такова, что нас поощряют за каждый шаг вверх по лестнице научных открытий или академической иерархии, за каждое продвижение по ступеням карьеры. Карабкаться вверх — это поведение, которое последовательно поддерживается и становится прочно утвердившейся нормой. Это — условный рефлекс.

*Ни самые прекрасные, ни самые отвратительные устремления человека не заложены в нем биологически, от природы; они — результат социального процесса.*

*ЭРИХ ФРОММ*

Все мы принадлежим к странному виду живых существ, отдающих свою энергию карабканью вверх по лестнице успеха, чтобы сделать деньги, позволяющие купить ненужные нам вещи, чтобы произвести впечатление на людей, к которым мы не питаем симпатий. Возможно, что-то в человеческой природе заставляет упорно лезть вверх, несмотря на отсутствие разумных для того оснований. Возможно, что здесь находит свое выражение определенный мозговой дисбаланс, при котором левое полушарие настолько господствует в управлении поведением, что для людей, отмеченных подобным отклонением от нормы, взбираться вверх по иерархической лестнице — это единственное решение стоящих перед ними дилемм. Мои исследования показали, что почти все бюрократы и многие администраторы находятся под такой властью левого полушария, что не способны ни на какие более конструктивные действия, чем те, какие подсказывает прямолинейное мышление. Разумеется, именно человек с преимущественно левосторонним развитием мозга неврологически лучше всего вооружен для того, чтобы налаживать свое последовательное возвышение в иерархии. И конечно же, всех нас побуждают карабкаться вверх, так что, подчиняясь условному рефлексу, мы стремимся продвинуться в рамках организации настолько далеко, насколько это позволяют нам время и обстоятельства.

Весьма вероятно, что все эти действующие помимо нашего сознания силы оказывают свое могущественное влияние, но мы стремимся всему находить объяснение и представлять дело так, будто сознаем причины своего поведения. Располагая деньгами или доходами, вполне достаточными для удовлетворения наших действительных потребностей, мы пытаемся обосновать усилия, предпринимаемые нами с целью заполучить еще больше. Мы сетуем на бремя своих обязанностей и все же добиваемся более высокого чина, предполагающего еще большие обязанности. Когда мы можем выполнять порученную нам работу компетентно и без лишнего напряжения, мы говорим, что она не позволяет нам проявить себя, и требуем повышения до уровня, на котором приходят заботы, отчаяние и, что не исключается,— некомпетентность. У многих здесь должно появляться желание найти разумное объяснение столь неразумному поведению.

Мы достигли высокого материального уровня жизни и массу вещей имеем в изобилии. Мы расходуем кругленькие суммы на развлечения и тратим состояния в заботах о здоровье и красоте, в попытках сбавить свой вес. В предъявляемых нам счетах за медицинское обслуживание стоят астрономические цифры. Можно было бы предположить, что все это делает нас счастливыми, здоровыми и довольными.

Мы считаем, что если немного — хорошо, то больше — лучше. Но, имея одни часы, вы знаете, сколько сейчас времени; если же часов у вас двое, вашим сомнениям на сей счет не будет конца. Мы полагаем, что можем спасти себя от проблем, разочарований и приступов отчаяния, продвинувшись или вознесясь на более высокий пост. Но продвижение может привести только к тому, что приказы нам будут отдавать люди лучшего разбора. Мы верим, что больше — это лучше и выше — тоже лучше. Мы исходим из того, что, будучи наделены большей властью, мы сами станем более совершенными. Мы убеждены, что добавки к нашему имуществу, более просторное жилище или второй дом, еще один автомобиль, или еще один телевизор, или катер, или яхта сделают нашу жизнь прекраснее. Мы уверены, что деньги и более высокий статус позволят нам жить лучше. Мы стоим на том, что подняться до уровня некомпетентности — это достижение. Мы считаем, что надо в поте лица своего взбираться вверх по лестнице успеха. Есть ли лучшее средство скорее обеспечить себе сердечную недостаточность?

Эта система убеждений стара, как Люцифер; она существует со времени падения ангелов. Вспомните лестницу из сна Иакова:

«И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и

вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней».

Библия. Бытие, 28.12.

На смену сословному строю пришла новая иерархия статусов, определяемых деньгами. Материальное богатство обладает преимуществом одномерности. Единственно, что здесь требуется,— это количество, так что достаточно иметь больше, чем другие, и твое положение выше. Когда наши предки устанавливали общественный строй в Новом Свете, деньги не только были приняты в качестве простейшей и удобнейшей меры для определения социального статуса человека, но и дали гражданам возможности и стимулы для развития общественной системы и утверждения собственного статуса.

*Прибыль — это вопрос о количестве долларов. Всякому известно, что такое доллар, и все согласны, что это Отличная Штука. Великое ее очарование состоит в том, что она поддается счету. Это — определенность. Простота. Каждый это понимает и ценит. Тут нет места для разнотолков. Американец обожает доллар в силу такой робости мысли, какой, я думаю, не было ни у одного жившего на земле человека. Он чувствует себя неуютно, столкнувшись с чем-либо, чего не может сосчитать, потому что не очень-то владеет другими способами измерений. Он не в состоянии ни определить, ни оценить качество. Поэтому его удел — количество.*

*РОБЕРТ МЕЙНАРД ХАТЧИНС*

Новая система ценностей приравнивает успех к деньгам, так что обладание наличностью есть одновременно и успех, и символ успеха. Тем, чьи достижения не могли быть непосредственно выражены в денежных суммах, отводилось невысокое место в иерархии общественных положений.

Даже добравшись до своих уровней некомпетентности, индивидуумы продолжают напирать, стремясь к дальнейшему продвижению. Среди прочего объяснить такое поведение можно радостным чувством свершения, которое приходит, когда удалось кого-либо превзойти или побить.

*Нам мало добиться успеха. Надо еще, чтобы друзья наши потерпели крах.*

*ЛАРОШФУКО*

Духовный наставник Джея Гулда, финансового заправилы с Уолл-стрита и мультимиллионера, попросил его совета, куда лучше вложить деньги. Тот заставил пастора поклясться, что сохранит совет в тайне, и сказал: «Купите акции Миссури-Тихоокеанской . » Священник так и сделал. В течение нескольких месяцев эти акции росли в цене. Но затем их курс рухнул, и пастор оказался разоренным. В унынии он явился к мистеру Гулду. «Я последовал вашему совету и потерял все свои деньги» «Сожалею,— сказал Гулд.— Чтобы вернуть ваше доверие, я готов дать вам сорок тысяч взамен утраченных вами тридцати тысяч». Гулд выписал чек, и священник не без внутреннего сопротивления взял его.

«Я должен сделать признание,— сказал пастор.— Я не сдержал слова, проговорился нескольким прихожанам».

«О, я знаю,— весело ответил Гулд.— С ними-то я и хотел расправиться».

*Тщеславное желание показать, что тебе доверили тайну, обычно и становится главной причиной ее разглашения.*

*СЭМЮЭЛ ДЖОНСОН*

Стремление произвести впечатление на других превратилось в такую неотвязную заботу, что внешние приметы успеха ценятся больше, чем сам успех. Какой марки ваш автомобиль, где вы живете, как одеваетесь, какой властью обладаете — все это, с точки зрения вашего статуса, гораздо важнее, чем ваш вклад в дела общества. Растущая армия экспертов предлагает свои рекомендации, как работать над образом Успеха, включая советы насчет того, как одеваться, какие заказывать блюда и вина, какие произносить слова. В школе бизнеса при Чикагском университете студентов учат правильному выбору вин в ресторане за обедом с клиентами. «Нью-Йорк таймс» процитировала слова наставника: «Хотя неумение выбрать подходящее вино, возможно, и не погубит сделку, тем не менее правильный выбор вина способен произвести некоторое впечатление на клиента». В других школах бизнеса выбор вин принят сейчас как раздел курса деловой администрации.

Еще на заре нашей истории мы нашли способ общаться между собой — рычаньем и жестами; прошло совсем немного времени, и мы перешли к попыткам произвести впечатление друг на друга изяществом словесных оборотов. По мере поступательного движения цивилизации в каждом обществе складывались иерархические слои, обнаруживавшие себя не в том, **что** они говорили, а в том, **как** они это говорили. Люди, устремлявшиеся вверх по социальной лестнице, старались усвоить обороты речи, выговор и лексикон той сословной группы, в состав которой они мечтали попасть. Сегодня, когда большинство сословных барьеров устранено, создается впечатление, что людьми всех рангов и положений движет иерархический инстинкт, заставляющий их прибегать ко все более внушительному языку. В результате на смену языку как средству общения быстро пришел язык как носитель престижа. Язык престижа постоянно обогащается, законно пополняется словами, нужными для описания новых технологий и открытий, но также и невразумительным жаргоном, словесной абракадаброй, бюрократизмами, употребляемыми преимущественно с целью произвести впечатление.

Всякое жаргонное слово начинает свою жизнь как слово, предназначенное для узкого употребления в пределах определенной группы, чаще всего профессиональной или культовой. Поскольку члены этой группы общаются с по-

сторонними, со временем «их» слово или кодовое выражение утрачивает свое особое значение и включается в общий язык, образуя еще одну ступеньку на лестнице взаимонепонимания. А группа изобретает новое кодовое слово для выражения того же самого понятия, и все повторяется заново.

*Я никогда не мог взять в толк, почему из-за того только, что я выражаюсь невразумительно, никто меня не понимает.*

*МИЛТОН МЕЙЕР*

Я пишу потому, что мне нравится общаться с людьми, и поскольку мне это нравится, я прихожу в отчаяние, если выбранные мною слова не передают другим мою мысль. Подобным же образом меня огорчает, когда другие произносят слова, не позволяющие их понять. Я выступаю за язык, который ясно выражает мысли, сообщает требуемые по делу сведения или передает внятные указания. Я не возражаю против профессиональных выражений, полезных языковых клише, против отступлений от грамматики — лишь бы они способствовали взаимопониманию людей. Но я против языка, который наводит туман, вместо того чтобы вносить ясность.

В последние годы значительно чаще стали пользоваться эвфемизмами, рассчитанными на сокрытие того, что могло бы оскорбить слух. Наших любимых комнатных животных, надоевших или заболевших,— «усыпляют». В похоронных бюро имеются «комнаты сновидений» — вполне невинная вывеска, если только вы не попытаетесь разбудить обитателей этих комнат. Проблема общения и впрямь встает во весь рост, когда с помощью языка действительное положение вещей утаивают от тех, кто вправе его знать. Управление национальными парками не хочет сообщать нам, что оно собирается убивать осликов в Большом Каньоне, и поэтому толкует о «прямом сокращении численности». Документы ЦРУ содержат такие выражения, как «крайне нежелательное завершение» — эвфемизм, означающий «убийство». Подавление мятежей полиция определяет как «преодоление конфронтации»...

Национальный совет преподавателей английского языка ежегодно присуждает «Призы Двоеречи» видным деятелям Америки, а также фирмам и правительственным учреждениям за выдающиеся заслуги в одурачивании граждан, в сбивании их с толку, в запудривании мозгов и навешивании лапши на уши. Тем, кто закрепляет язык грубого обмана, уклончивости, приукрашивания, несообразности и внутренней противоречивости, должное воздается каждый год, начиная с 1974-го.

В 1983 году высший приз достался Рональду Рейгану за тройной вклад: за его определение ракеты «МХ» как «миротворца», за пояснение, что «голосование против производства «МХ» есть голосование против завтрашнего контроля над вооружениями», и за его заявление национальному собранию Коста-Рики, гласившее, что страна, которая «подрывает стабильность своих соседей, предоставляя приют партизанам и экспортируя насилие, сама лишает себя права на тесные и плодотворные отношения с любым народом, воистину любящим мир и свободу».

Второй приз получил полковник Фрэнк Хортон, командир военно-воздушной базы в Гранд-Форксе, Северная Дакота, за его описание ракеты Титан-II с ее рекордно мощной боеголовкой. «Это очень крупная, потенциально сопряженная с опасностью баллистическая система»,— сказал полковник.

В прошлом одним из призеров был Пентагон, отмеченный за его обозначение нейтронной бомбы как «устройства нагнетания радиации». Попутно Совет преподавателей установил, что в министерстве обороны никто не в состоянии дать определение «национальной безопасности».

В Пентагоне война называется «обороной» или «защитной акцией»; оружие именуется «точными устройствами»; когда гибнут люди, которых мы посылаем на смерть,— «мы понесли досадные потери»; пули — это «проникающие носители кинетической энергии»; бомбардировку определяют как «ограниченное воздушное вмешательство» или как «поддержку с воздуха»; отступление называют «тактическим развертыванием», а дефолиацию — «уничтожением враждебной растительности».

Бюрократы затрудняются в оценке своей деятельности, поэтому они гонятся за все новыми словами в расчете и цену себе набить, и задницу прикрыть. В бюрократическом волапюке существительные становятся глаголами, потому что это выражает деятельность как таковую, а не ее смысл, например, оптимизировать, стратегизировать, актуализировать, функционализировать.

И бюрократ, и опытный политик нуждаются каждый в особом языке, но нередко они пользуются одинаковыми словами. Поэтому в следующем ниже кратком лексиконе представлены слова, взятые из обоих языков. Вы заметите, что бюрократический волапюк развивается как путем создания новых слов, так и за счет наполнения привычных слов новым значением. Пример нового словообразования — **маргинализировать**. Бюрократ, который стал получать информационные справки в объеме меньшем обычной его квоты, подвергается **маргинализации**, то есть в иерархии общения его сталкивают вниз. Жертве маргинализации это причиняет большое беспокойство, поскольку здесь усматривается «их» намерение передвинуть его или ее на другую должность, переместить в иную бюрократическую организацию, а то и вовсе уволить. Бюрократический смысл слова **«приемлемый»** показывает, что значит внести новое содержание в старое слово. Для бюрократа «приемлемый» выражает ту мысль, что интересы своих людей обеспечены; например, «приемлемый уровень безработицы» на-

до переводить как «нас на улицу не выкинут», а «приемлемый бюджет» означает, что некоторым людям придется туго, но никак не нам

**Агрессия:** военный термин, означающий вторжение нашего противника на нейтральную территорию Если то же самое делаем мы, предпочтительно говорить о **проникновении.**

**Бла-бла-бла:** название бюрократического языка, употребляемое бюрократами в своем кругу.

**Брать на орла:** взывать к патриотизму в попытке прикрыть грубую оплошность или нечестность. Политический деятель, например, **берет на орла,** когда заявляет: «Я сделал это в интересах нации».

**Информация, неадекватно отражающая факты:** неправда.

**Несработавший вариант:** разоблаченная ложь.

**Неточности:** ложь.

**Нисходящее выравнивание экономики:** депрессия.

**Обездоленные элементы:** бедняки — на языке службы социального обеспечения.

**Оптимизировать:** усложнить дело настолько, чтобы обеспечить высокий уровень своей защищенности. Когда бюрократ говорит об оптимизации форм общения, он или она имеет в виду: пользуйтесь языком, позволяющим запутать, исказить, затемнить суть дела.

**Осесть:** затаиться в попытке занять неуязвимую позицию. Бюрократы **оседают,** используя этот тактический прием для сохранения своих мест в период смены руководства.

**Отдел трудовых ресурсов:** бюро по делам безработных.

**Отработка текста:** искусство сознательного нагнетания неопределенности и затемнения сути дела.

**Паникер:** всякий, кто обнаруживает непорядок.

**Планировать на будущее:** планировать.

**Проделать ретроспективный анализ:** еще раз вернуться к подробной оценке проекта, который дал позитивные результаты, и обнаружить, что ваша роль в его осуществлении была намного больше, чем это считалось ранее: и наоборот, в случае с провалившимся проектом установить, что ваше участие в нем было минимальным.

**Произвести отбор:** уволить.

**Птичкины дружки:** принятое в кругу бюрократов обозначение лиц, обеспокоенных состоянием окружающей среды, и других сознательных граждан.

**Спецканал:** распространение информации в обход закона.

**Спорный:** слово из языка политика, выступающего перед публикой и стремящегося скрыть свою позицию по данному («спорному») вопросу, которая не нравится слушателям и против которой они будут впоследствии голосовать. Бюрократы пользуются этим словом просто для того, чтобы оправдать свою неспособность принимать решения.

**Углубить:** переложить простые понятия на внушительный академический язык.

**Упорядочить документацию:** вложить в папку дополнительные справки и другие документы, позволяющие обезопасить себя и взвалить вину на других; любое иное действие, направленное к той же цели.

**Черпак** (также **двойной черпак**): правительственные служащие, получающие два или более видов дохода за счет налогоплательщика; обычно — отставные военные чины.

**Щепки:** уступки, на которые идут, чтобы протолкнуть законопроект; основа движения дел в сенате и палате представителей.

Занимающаяся вооруженными силами комиссия палаты представителей попросила министерство обороны представить образцы формуляров, используемых в делопроизводстве Пентагона. Она получила 11 116 разновидностей бланков.

Разведслужбы США, вместе взятые, ежедневно избавляются от ста тонн ненужных секретных бумаг.

Закон 1980 года о сокращении объема официальной переписки устанавливает, что издаваемые правительством инструкции должны содержать дополнительный абзац с объяснениями требований этого закона.

Язык — это сила. Он открывает путь или преграждает доступ во многие сферы. Джордж Бернард Шоу писал: «Всякая профессия есть заговор против непосвященного». Стремление к престижу предполагает усвоение языка, придающего силу за счет сокращения возможностей взаимопонимания. Проблема с этим престижным языком состоит в том, что его редко способен понять читающий и лишь приблизительно понимает пишущий, но это не мешает нам все выше и выше громоздить иерархию взаиморазобщения. Взбираясь по ступеням этой языковой иерархии, мы достигаем различных уровней некомпетентности в общении. По мере того как слова утрачивают значение, они лишаются своей ценности, а вместе с тем теряют ценность и представляемые ими идеи. Если так пойдет дальше, граждане перестанут находить общий язык со своими представителями в правительстве. Социальное расслоение и отчуждение возрастут. Утратив возможность взаимного общения, наталкиваясь на барьеры, которые создаются не поддающимися расшифровке профессиональными языками, люди распадутся на изолированные друг от друга группы и каждый станет чужим в своей собственной стране.

# *Военная мудрость*

*Военная мудрость есть понятие, содержащее противоречие в самом себе.*

*ГРУШО МАРКС*

В сфере образования и в военной среде Принцип Питера представлен в наиболее чистом виде потому, что в существующих здесь иерархиях четко определены чины и ранги, соответствующие ступеням карьерной лестницы. У военных служебное продвижение происходит согласно старому присловью: научись исполнять приказы — тогда научишься командовать. Каким образом умение командовать может зависеть от умения подчиняться? С тем же успехом вы могли бы утверждать, что умение плавать зависит от умения тонуть. На протяжении всей человеческой истории выдающиеся деятели отличались неспособностью следовать чьим-либо указаниям.

Сейчас на примере нескольких военных операций мы увидим, что тут происходит с людьми, деньгами и вещами.

## Люди

От решений, принимаемых военными руководителями, в большой степени зависят успехи или неудачи на поле боя, и поэтому их решения нас очень волнуют. Компетентность должна, конечно, проявляться на всех уровнях. Совершенно очевидна непригодность к службе часового, который не узнал, а потому уложил наповал генерала Стоунуолла Джексона, когда тот, после рекогносцировки на местности, возвращался в свой лагерь, чтобы составить план боевых действий для подчиненного ему войска конфедератов.

Уго Мамоло был призван в армию США в 1959 году. «С английским у меня было туговато,— рассказывал этот гражданин итальянского происхождения,— поэтому они назначили меня писарем-машинисткой».

Командиры подразделений в американской армии ежегодно составляют характеристики на подчиненных им офицеров. Вот несколько подлинных извлечений из этих документов:

— Этот офицер обладает талантами, но умело это скрывает.

— Всегда может двумя предложениями выразить любую фразу.

— Спокойный, сдержанный офицер. Изобретательный, упорный, вдумчивый и аккуратный. Ни при каких условиях я не хотел бы видеть его в составе вверенного мне подразделения.

— Обладает остроаналитическим, высокоразвитым умом, который лучше всего было бы использовать в области научных исследований. Здравый смысл ему неведом.

В 1956 году на занятиях в лагере на берегу острова Парис сержант морской пехоты приказал взводу новобранцев двигаться вперед по дну, когда вода уже накрыла их с головой. Шесть человек утонули, поскольку не умели плавать.

При президенте Кеннеди было отдано распоряжение составить план эвакуации на случай ядерного нападения. Без ведома Кеннеди были разработаны два плана. В одном забота была проявлена прежде всего о генералах Пентагона, и его показали Объединенному комитету начальников штабов. Согласно другому, преимуществами пользовались гражданские лица, и его представили кабинету. Поскольку оба плана были сверхсекретными, те, кто ознакомился с одним из них, понятия не имел о другом. Если бы дело действительно дошло до боевой тревоги, неразбериха произошла бы чудовищная. Человек, составлявший планы включил себя одним из первых в оба списка.

*Война — слишком серьезное дело, чтобы доверять его военным.*

*ТАЛЕЙРАН*

## Деньги

На вооружение в мире тратится миллион долларов в минуту. Военные расходы непрерывно растут и представляют собой наиболее существенную среди прочих причину инфляции. Они изымают из общего пользования природные, технические, производственные и людские ресурсы, которые тратятся на непроизводительные, дорогостоящие и в конечном счете разрушительные цели; тем самым сокращается материальное богатство мира, о чем и свидетельствует обесценение денег.

У нас в Америке военные дела поглощают четвертую часть научного таланта и инженерной мысли нации. Это подорвало способность нашей страны конкурировать с Японией и другими промышленными государствами на всех товарных рынках кроме рынка оружия.

Наращивание военных расходов Америки вносит свой вклад в образование бюджетных дефицитов, открывает таким образом двери перед призраком спада и одновременно еще более урезает наши возможности состязаться с конкурентами на мировых рынках.

В стране нет фирмы или организации, равной Пентагону по закупкам товаров и услуг. Обладая гигантскими структурами и средствами, Пентагон властвует над конгрессменами и другими государственными деятелями; они поддерживают высокий уровень военных расходов, потому что от этого зависит их политическое существование. При таких условиях рушится система конституционных ограничений и контроля над деятельностью правительства.

Намеченная нынешней администрацией военная программа обойдется по смете в 1,6 триллиона долларов, то есть каждая американская семья в течение пятилетия заплатит за нее 20 тысяч долларов, но в действительности, может быть, и больше. Раздувание расходов сверх сметы стало для военных тради

ценей, которая проистекает из политики внесения поправок в технические спецификации и... из некомпетентности.

Во что влетает некомпетентность, можно наблюдать на любом уровне. Пентагон признает, что в оценке стоимости сорока четырех новых систем вооружений он просчитался на 114,5 миллиарда долларов.

В закрытой столовой Пентагона обедают 126 адмиралов. Обед стоит 31 доллар на человека, и из этой суммы 26 долларов 98 центов покрывается за счет налогоплательщиков.

По данным шестимесячного обследования, проведенного служащими генеральной инспекции, из приблизительно 15 тысяч различных видов запасных частей военного назначения в период с 1980 по 1982 год треть поднялась в стоимости на 50 процентов, а четыре тысячи изделий подорожали более чем на 500 процентов.

Военно-воздушные силы, занявшись недавно вопросом о головокружительном росте цен на запасные части, установили, что в недалеком будущем ВВС израсходуют сумму, на 4 миллиарда долларов превышающую все их имущество.

На поставку запчастей военно-морские и военно-воздушные силы обычно подписывают контракт, допускающий повышение цены в период между оформлением заказа и его исполнением. Например, за один агрегат, стоимость которого была определена при заказе в 117 долларов 26 центов, фирма «Пратт энд Уитни» при окончательном расчете получила 1308 долларов 8 центов — прибавка свыше 1000 процентов.

Лет сорок назад были созданы две военные комиссии по делам защиты американцев от нацистов. Располагая общим бюджетом в 30 тысяч долларов, комиссии все еще регулярно собираются. Подполковник Джон Чайлд поясняет, что деньги идут на выплату жалованья и на развлечения. «Формальных заседаний мы теперь не проводим. Члены комиссий непринужденно общаются друг с другом в нерабочие часы».

Давно сказано: «Есть три способа делать какое-нибудь дело — способ правильный, способ неправильный и способ армейский». Армия, флот и ВВС по сей день не научились поступать как все люди. Они не могут просто пойти и купить что им нужно, даже если речь идет о самом обычном предмете, который имеется в вашем местном супермаркете или в хозяйственной лавке. Для начала им требуется выработать «военные спецификации». Двадцать четыре страницы идут на изложение спецификаций, которым должна соответствовать майка с короткими рукавами, пятнадцать страниц — когда дело касается жевательной резинки, и семнадцать — в случае с соевым соусом. Спецификации на деревянный зубной стимулятор (зубочистку), на болт или гайку, а также установленное кодовое обозначение предмета приводятся в числе аргументов, с помощью которых объясняют, почему все эти вещи стоят так дорого.

Из журнала «Тайм»: инженер Ралф Апплгейт шесть лет назад был уволен из министерства обороны за разглашение того факта, что военное ведомство платит 1130 долларов за комплект поршневых колец, который гражданским лицам обходится всего в 100 долларов. Все еще ожидаются разъяснения, почему ВМФ уплатил 18 тысяч долларов за диван для офицерской кают-компании на одном эсминце. На вопрос, какие особые качества дивана сделали его столь дорогим, один адмирал ответил, что офицеры «будут пользоваться им долгое время».

Стьюард Сторм, отставной моряк, ныне на государственной службе в Вашингтоне, занялся изучением громадных различий в ценах, которые платят за стандартные изделия соответственно гражданские и военные ведомства. Он обнаружил, что военный потребитель того или иного изделия не имеет никакого представления о его стоимости, поскольку этот потребитель и снабженец, осуществляющий закупку, представляют разные службы и разделены между собой границами департаментов. Такое положение сделало, например, возможным, что корпорация «Сперри» при поставке диодов военному флоту взяла с него по 110 долларов за штуку вместо 4 центов, что составляет действительную цену в условиях оптовой закупки. Чтобы все стало ясно, Сторм отправился в магазинчик, торгующий радиодеталями, и принес оттуда купленный за 99 центов пакет с десятью диодами, каждый из которых ВМФ ценит в 110 долларов.

## Вещи

Оружие и другое военное оборудование также подчиняются тенденции к достижению уровня некомпетентности. Историческая хроника донесла до нас, что в 1628 году было спущено на воду самое большое морское судно своего времени — шведский военный корабль «Васа». Самым большим он был не только по размерам, но и по количеству пушек: шестьдесят четыре орудия на двух палубах. Он затонул немедленно — верхняя его часть перевесила нижнюю.

В 1870 году в битве при Седане Германия одержала победу над Францией благодаря превосходству своих стальных пушек, которые делал Крупп. У французов пушки были бронзовые. Перед войной Крупп в поисках заказов многократно обращался к французским офицерам с письмами-предложениями, на которых неизменно появлялась резолюция: «Оставить без внимания».

Губернатор штата Юта Скотт М. Матесон заявил протест против хранения запасов газа нервно-паралитического действия на армейских складах в Туэле всего в тридцати милях от Солт-Лейк-Сити — запасов, позволяющих, кстати, сорок два раза уничтожить население всего мира. Газ хранится в бетонных

«иглу», расположенных у границы сейсмически опасной зоны. Министерство обороны в 1972 году согласилось, что газ должен быть «обезврежен», но, судя по всему, никаких практических действий за этим не последовало и по-прежнему планируется поступление новых тонн газа в те же хранилища. Газ «Уэтай» обладает такой смертоносной силой, что одной бомбы достаточно для уничтожения всего живого на тысячах квадратных миль вокруг. Он невидим, лишен запаха и вкуса, вызывает смерть в течение четырнадцати секунд. Противоядие неизвестно.

Генерал Чарлз Ф. Куик сообщил на страницах «Уолл-стрит джорнэл», что ему нравится транспортный самолет С-5А. Хотя, признался он, «крылья, отваливающиеся через 8 тысяч летных часов,— это проблема».

Во время второй мировой войны Соединенные Штаты истратили два миллиона долларов на создание бомбы, которую должна была доставлять к цели летучая мышь. Литл С. Адамс, хирург-стоматолог из Пенсильвании, был ведущим мозгом проекта, и по его замыслу бомбу, снабженную часовым механизмом, предполагалось хирургическим путем «вживить» в тело летучей мыши. Летучие мыши, сброшенные с самолета над Японией, должны были в поисках убежища ринуться под крыши и взорваться, распространяя таким образом пожары. Производство целого миллиона бомб намечено было начать в марте 1944 года. Начальник оперативного отдела штаба военно-морских сил отменил программу ввиду «неопределенности» поведения летучих мышей, выпущенных на волю.

Учитывая дополнительную нагрузку на корабль, созданную новейшими радарными установками, ракетами, электронно-вычислительным оборудованием, военно-морское ведомство решило компенсировать ее снижением веса палубных надстроек и заменило стальные конструкции алюминиевыми. Их вес уменьшился на 5 процентов, а производственные затраты — на 2 процента. Беда, однако, в том, что алюминий горит. В 1975 году крейсер «Белнап» столкнулся с авианосцем «Джон Ф. Кеннеди». «Белнап» сгорел до самых шпангоутов, и для его восстановления понадобилось четыре с лишним года.

В течение нескольких ближайших лет военное ведомство собирается истратить 13,4 миллиарда долларов на приобретение 6882 боевых машин типа «Брэдли», хотя каждая из них может быть уничтожена одной-единственной гранатой М-42 стоимостью 2 доллара за штуку. Граната, попавшая в этот алюминиевый танк, превращает его в огненный шар.

В 1970 году армия отвергла представленный тогда более ранний вариант этого танка, объявив его цену — 151 тысяча долларов — слишком высокой. Но в 1977 году «Брэдли» был принят — при цене в 338 тысяч. К 1982 году цена его поднялась до 1 миллиона 940 тысяч за каждую машину.

Примечательные особенности танка составляют: дизельный двигатель мощностью в 500 лошадиных сил с расходом топлива полгаллона на милю; место для водителя, откуда он при правом повороте не может видеть пути движения машины; поплавковый пояс, который на показательных испытаниях в Форт-Ноксе в 1980 году не смог удержать танк на плаву и позволил ему затонуть в реке Огайо; ракетная пусковая установка, на перезарядку которой уходит две с половиной минуты. Высота танка десять футов, что делает его на поле боя хорошо видимой мишенью. Для погрузки в стандартный транспортный самолет С-141 танк надо частично разобрать, а чтобы выпустить свою противотанковую ракету, он должен полностью остановиться.

В 1980 году интегральная полупроводниковая схема величиной с мелкую монету дважды приводила Америку в состояние боевой тревоги. В одном случае прошло три минуты, прежде чем военные сообразили, что никакие бомбы нам не угрожают; но они успели поднять в воздух самолет командно-контрольного назначения. Техническая служба Пентагона заменила эту неисправную интегральную схему другой — стоимостью в 46 центов; с ее помощью компьютер, расположенный у подножия Шайеннских гор в Колорадо, сумел подать ложную информацию на все командные пункты страны.

В очередной раз тревогу в течение шести минут поддерживал тот же компьютер, в который заложили неряшливо составленную программу со сценарием ядерного нападения.

*Основные проблемы, стоящие перед сегодняшним миром, не поддаются военному решению.*

*ДЖОН Ф. КЕННЕДИ*

## *Прямиком наверх*

*Да не устрашит тебя величие: одни рождаются великими, другие достигают величия, третьим его навязывают.*

*УИЛЬЯМ ШЕКСПИР*

Одни рождаются некомпетентными, другие достигают некомпетентности, а бывают такие, кому некомпетентность навязывают. Не исключено, что Мур Лоу, технолог плавильного цеха на заводе компании «Свинцово-оловянные изделия — Акционерное общество «Прелесть», был некомпетентным, в сущности, еще до своего рождения. Мистер и миссис Лоу надеялись, что у них родится дочка, и пожизненные трудности Мура в общении с людьми начались тогда, когда он, оказавшись лицом нежелательного пола, вызвал неудовольствие своих родителей.

Следствие 17: Некомпетентность не знает преград ни во времени, ни в пространстве.

Можно обратить внимание и на существование некоторых врожденных недостатков, со временем приводящих к некомпетентности. Глу Пецц, мастер на заводе фирмы «Прелесть», унаследовал, по-видимому, генетические задатки, стеснявшие его умственное развитие, и поэтому можно сказать, что он родился обреченным на некомпетентность.

*Мир будущего будет миром все более упорной борьбы за устранение барьеров, ограничивающих наш разум.*

*НОРБЕРТ ВИНЕР*

Ис Терик, одаренный художник, обретший свой уровень некомпетентности на административном поприще в роли заведующего рекламным отделом «Прелести», являл собой типичный пример человека, взбирающегося вверх, чтобы стать некомпетентным. Он был преуспевающим студентом в школе искусств, талантливым художником-одиночкой и способным автором иллюстраций, украшавших коммерческие страницы «Экстра-прима-оловянного сплава». Эти достижения и стали причиной его возвышения до уровня некомпетентного администратора.

Вопросы найма и другие проблемы комплектования штатов неотступно преследовали фирму «Прелесть». В попытке навести порядок правление, следуя рекомендации генерального директора Мара О'Зматтика, назначило свежеиспеченного выпускника школы бизнеса Проктора Хуостта начальником отдела кадров. Найденные в его папках копии некоторых входящих и исходящих бумаг показывают, какое развитие событий повлекла за собой эта мера.

**Свинцово-оловянные изделия —**
**А. О. «Прелесть»**

Проктор Хуостт,
начальник отдела кадров,
Мару О'Зматтику,
генеральному директору.

М. О'З., рад слышать, что врачи довольны Вами и что скоро Вы вновь будете с нами здесь, в главной конторе. Диагноз — нервное истощение — не следует воспринимать как пустяк, хотя всем нам приятно было узнать, что у Вас не нашли ничего более серьезного.

Ваше отсутствие заставляет меня яснее, чем когда-либо, осознать, что Вам нужен помощник, способный снять с Вас часть служебных нагрузок. Как Вы помните, я неоднократно высказывал эту мысль в течение года. Уверен, что наступило время предпринять что-либо конкретное на сей счет.

С самыми добрыми пожеланиями,
Про Хуостт.

**Свинцово-оловянные изделия —**
**А. О. «Прелесть»**

Мар О'Зматтик,
генеральный директор,
Проктору Хуостту,
начальнику отдела кадров

Дорогой Про, большое спасибо за Вашу записку. Уверяю Вас, что я очень внимательно отнесся к вопросу о помощнике. Согласен, что он мне нужен. С учетом только что перенесенной мною болезни подтверждаю, что МОМЕНТ настал! Беда в том, что не вижу, кому бы это было по плечу.

Полагаю, нам следовало бы поискать на стороне кого-нибудь, основательно знакомого со свинцово-оловянным производством, но это будет кот в мешке. Скорее я бы взял человека из нашей команды. Ваши предложения?

Генеральный директор
М. О'Зматтик.

**Свинцово-оловянные изделия —**
**А. О. «Прелесть»**

П. Хуостт,
начальник отдела кадров,
Мару О'Зматтику,
генеральному директору.

Так вот, М. О'З., я пытался представить себе, кто заслуживал бы выдвижения на должность помощника генерального директора, но не могу не согласиться с Вами, что в каждом случае возникают какие-нибудь возражения.

Глу Пецц, руководитель плавильного производства, не подходит, если учесть все неприятности, которые он нам доставляет своими способами организовывать — а лучше сказать, разваливать — работу. К тому же он склонен устанавливать панибратские отношения с подчиненными.

Ис Терик, заведующий рекламным отделом. Я знаю, какого Вы мнения о нем! Он и сам признает, что не на месте, и ему бы много больше подошла творческая, а не административная работа.

Мур Лоу, управляющий производством готовых изделий, живет, к сожалению, в мире химических соединений и сплавов и едва ли имеет понятие о том, что творится в других звеньях организации.

Лу Дойед, управляющий отделом сбыта. Конечно, он затмевает всех прочих своей целеустремленностью, но я содрогаюсь при мысли о том, что произойдет, если человек, столь агрессивный и столь склонный помыкать окружающими, получит простор для действий в главной конторе.

Энн Гина, завканцелярией. Я называю ее, чтобы список был полным. Она так поглощена движением бумаг, что все остальное лишено для нее смысла. К тому же надо учесть состояние ее здоровья. И в конце концов, работай она получше, Вы бы не знали нынешних забот.

М. О'З., это действительно трудная проблема, и решения я пока не нахожу.

Про Хуостт.

**Свинцово-оловянные изделия — А. О. «Прелесть»**

М. О'Зматтик,
генеральный директор,
П. Хуостту,
начальнику отдела кадров.

Про, Вы правы в оценках руководителей наших подразделений. Вы еще не упомянули завскладом и коменданта, но боюсь, эти люди не изменили бы общей картины — тоже не тянут.

Меня, Про, не покидает мысль, что в таком же смешном положении пребывают и другие фирмы. Иначе как бы мы могли сохранять конкурентоспособность в нашей отрасли. Талант все же прячется где-то внутри нашей компании, только бы нам вытащить его на свет божий. Вы же начальник отдела кадров, и если не Вы, кто иной укажет нам, как это сделать?

М. О'Зматтик.

**Свинцово-оловянные изделия — А. О. «Прелесть»**

П. Хуостт,
начальник отдела кадров,
М. О'Зматтику,
генеральному директору.

М. О'З., замечательно! Точность Вашего анализа ситуации восхищает. Вы знаете, что мы провели аттестацию всех административных работников фирмы, и у меня под рукой данные о результатах. Все они хороши для должностей невысокого уровня, но мало помогают в решении вопроса о том, кто же способен занять пост, ближайший к Вашему — посту руководителя организации.

Помощником генерального директора должен быть человек, который, побыв Вашей правой рукой, сможет впоследствии надеть и Ваши сапоги. Все мы надеемся, что и следующие три года будем работать под Вашим динамичным руководством, но кто примет на себя заботу о продолжении заложенных Вами великих традиций? Ваш помощник должен обладать приемлемыми д л я В а с личными качествами, а это нечто такое, что в моих досье не регистрируется. Вот что я предлагаю. Конечно, М. О'З., я не собираюсь давить на Вас. Решение должно быть Вашим, и только Вашим. Но, мне кажется, в своем поиске мы чересчур много внимания обращаем на знакомство людей со свинцово-оловянным бизнесом.

Вы лично, М. О'З., поднялись наверх, начав — это правда — с перетаскивания свинцовых болванок, но успех в роли генерального директора Вам принесло в основном Ваше умение работать с л ю д ь м и. Так не лучше ли нам искать человека, наделенного общим пониманием л ю д е й, и оставить в покое знатоков технологии.

Про Хуостт,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ.

**Свинцово-оловянные изделия — А. О. «Прелесть»**

М. О'Зматтик,
генеральный директор,
П. Хуостту,
начальнику отдела кадров.

Дорогой Про, мне кажется, Вы попали в точку. Думаю, мы оба не смогли сразу схватить суть дела. Мне, я считаю, нужен человек, действительно знакомый с проблемами практической работы с кадрами, некто заслуживающий с моей стороны большого доверия. Как это нередко бывает, мы не находим очевидного решения, потому что оно у нас под носом.

Мне сейчас совершенно ясно, что ВЫ, Про, очевиднейшим образом наиболее подходите на пост помощника генерального директора, и я буду рекомендовать Вас правлению. Про, я прошу Вас принять должность моего помощника.

Мар,
генеральный директор.

**Свинцово-оловянные изделия — А. О. «Прелесть»**

П. Хуостт,
начальник отдела кадров,
Мару О'Зматтику,
генеральному директору.

М. О'З., Ваше предложение явилось для меня полной неожиданностью. Вначале я подумал, что Вы шутите. Вдумавшись, я понял ход Ваших мыслей и не могу не согласиться с Вами.

В интересах будущего СОИАОП я полон искреннего желания помогать Вам в полную меру моих сил. Принимаю Ваше предложение. Надеюсь, что оправдаю Ваше доверие, обещаю быть на высоте возлагаемой на меня ответственности и на моем новом посту предоставить к Вашим услугам максимум моих стараний.

Про.

P. S. М. О'З., я бы рекомендовал назначить на пост начальника отдела кадров мистера Т. Уткактутта. Я взял его себе помощником, когда в Ваше отсутствие на мой отдел легло бремя дополнительных нагрузок. Это многообещающий молодой человек.

ПХ.

**Свинцово-оловянные изделия — А. О. «Прелесть»**

Т. Уткактутт,
начальник отдела кадров,
П. Хуостту
помощнику генерального директора

Про, в течение двух лет пребывания на посту помощника генерального директора Вы несли на своих плечах тяжелый груз ответственности. Мне

было приятно узнать, что, по данным пройденного Вами медицинского обследования, Вы сможете продолжать работу в качестве ПГД в условиях, позволяющих Вам несколько расслабиться. Знаю, что могу говорить с Вами откровенно, Про, и, конечно же, к высокому давлению, да еще в сочетании с Вашей язвой, нельзя относиться легкомысленно. На протяжении минувшего года мы, как Вы помните, несколько раз обсуждали идею привлечения кого-нибудь в качестве Вашего помощника, который немного облегчил бы Вашу ношу. Снова сказать об этом — мой долг, вытекающий как из заботы о Вашем здоровье, так и интересов СОИАОП.

Соответственно, я предлагаю, чтобы Энн Гина продолжала выполнять функции завканцелярией, а Вы назначили заместителя помощника генерального директора, который разделил бы с Вами тяжелые обязанности.

Это сбережет Ваше здоровье, это восстановит Ваше душевное равновесие, и это будет содействовать росту эффективности СОИАОП. А о том только, в конце концов, все мы и печемся.

С наилучшими пожеланиями,
Т. Уткактутт,
начальник отдела кадров.

Эти записки показывают, что даже искренние попытки облегчить ношу некомпетентности могут лишь увеличить число уровней некомпетентности. В подобных условиях накопление балласта происходит неизбежно. Если в качестве методов решения проблем используются перемещения по службе и расширение штатов, то это всегда таит в себе опасность, что результаты будут обратными ожидаемым. Типичный пример такого подхода к делу описан в Библии (От Матфея, 25, 21): «хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Тот факт, что добрый и верный раб компетентно справляется с «малым» в пределах своих прежних обязанностей, еще не есть гарантия, что он совладает со «многим» на более высоком посту.

## *Лучшее лекарство*

История мира сплетена из судеб многих видов живых созданий, которые выбрались из первобытных топей и начали карабкаться по ступеням эволюции. Из всех существ, добивающихся компетентности в своем взаимодействии с миром, люди являют собой наиболее интересную разновидность, поскольку они обладают исключительной способностью изменять среду своего обитания. В то время как другие виды довольствовались гнездом или норой, мы покинули пещеры, чтобы понастроить хижин, домов, квартир, небоскребов, общежитий и таких специализированных учреждений, как школы, больницы, конторы и фабрики. Мы организованно разбились на поселки, города, государства и страны, но так и не можем успокоиться, потому что каждый раз, как мы изменяли свою среду обитания, среда изменяла наше поведение, а наше новое поведение требовало заново изменить среду.

Сменив звериную шкуру на натуральное, а потом синтетическое волокно, мы столкнулись с множеством проблем. Мыло, очиститель, годный на все случаи жизни, было в значительной мере вытеснено искусственными моющими средствами и химическими растворителями. Мыло поддавалось биологическому разрушению; новые же моющие средства с их фосфатными и прочими химическими начинками, когда они вторглись в наши озера, реки и океаны, вызвали там бурный рост водорослей, ограбили воду, лишив ее массы кислорода, стали убивать рыбу и прочую живность. С усложнением моечных процессов используемые материалы и оборудование стали более сложными, а последствия для окружающей среды — более серьезными. И так оно происходит во всех сферах, где человек выступает со своим новаторством. Проблемы требуют решений, а решения тоже представляют собой проблемы, требующие решений.

**Принцип Накопления Грязи по Питеру:** чтобы вычистить одно, приходится выпачкать что-нибудь другое; но можно испачкать все что угодно и ничего при этом не вычистить.

### Порочные рецепты

Во многих случаях попытки разрешить проблемы не приносят успеха, и на то есть несколько причин. Энн Келли, жительница Бристоля (Англия), захотела утеплить дом. То, что за сим последовало, дает нам несомненный пример некомпетентности. Прибыли рабочие, которые должны были заполнить стены изоляционным материалом. Для начала они разворотили стену в гостиной; образовалась зияющая дыра. На втором заходе стену они просверлили, но заодно пробуравили и хозяйкин морозильник. Тогда они решили попробовать снаружи и на сей раз угодили в трубу центрального отопления, а также проделали отверстие в кухню. Келли рассказывает, что ей пришлось в оцепенении наблюдать, как закачивали пену в ее кухню. «Это выглядело как нечто космическое»,— говорит она.

В иных случаях предлагаемые решения проваливаются потому, что в ход идут средства, вполне позволяющие справиться с проблемой,— но только не с этой. Либо наоборот.

Меры, принятые для спасения аллигаторов во Флориде, включали в себя установленный для владельцев больших заболоченных территорий запрет убивать этих животных. Лишившись источника дохода, каким было для них разведение аллигаторов, землевладельцы осушили болота, чтобы превратить их в поля для посевов. И аллигаторов пол-

ностью извели там, где имелось в виду их сохранить.

*Любое ваше решение — это ошибка.*

*ЭДУАРД ДАЛБЕРГ*

Бюро оценок техники при конгрессе изучило результаты двух американских эмбарго, введенных, чтобы нанести удар по советской экономике.

В докладе был сделан вывод, что эмбарго на экспорт технологии, связанной с производством труб для нефте- и газопроводов, причинило, по-видимому, больше вреда американской экономике, чем советской. На мировых рынках американцы предстали как ненадежные партнеры, что поставило под угрозу будущие продажи наших товаров и надолго поселило недоброжелательство по отношению к Соединенным Штатам среди их союзников по НАТО, возражавших против санкций. В докладе отмечалось также, что жесткая линия администрации Рейгана вызвала такой вопль в Европе, что наше эмбарго можно считать политическим подарком Советскому Союзу.

*«С нами такого случиться не может»— это фраза номер один в списке знаменитых последних слов.*

*ДЭВИД КРОСБИ*

Один из наиболее действенных способов стимулировать какой-либо вид активности — это наложить на него запрет. Как правило, мы жаждем того, что явно запрещено. Так, жизнь сыграла злую шутку с моралистическим «Обществом бдительных» в Бостоне. Одно время грандиозный сбыт для книги или огромная аудитория для пьесы были гарантированы, если эти произведения удостаивались приговора: «Запретить в Бостоне».

Европейские эксперты по сельскому хозяйству убедили бирманцев, что их урожаи возрастут при более глубокой пахоте. В результате был разрушен твердый подпочвенный слой, удерживавший воду на рисовых полях.

Некоторых крестьян в Турции эксперты уговорили очистить свои земли от камней. Позднее было обнаружено, что на полях, усыпанных камнями, урожаи получаются выше, потому что в засуху камни удерживают влагу.

*Эксперт — это человек, знающий все больше и больше о все меньшем и меньшем.*

*НИКОЛАС МАРРИ БАТЛЕР*

В 1976 году землетрясение в Гватемале предоставило Соединенным Штатам возможность нагрянуть в эту страну со своей помощью. Для облегчения участи пострадавших Америка даровала 27 тысяч тонн зерна. В Гватемале как раз закончилась уборка самого большого за многие годы урожая зерновых. Полученный дар столкнул цены на зерно в бездонную пропасть, так что для людей, которым хотели помочь, он обернулся катастрофой худшей, чем землетрясение.

*Выход из беды найти не столь просто, как попасть в нее.*

*ЭД ХАУ*

## Управленческий миф

Управление — это акт воздействия на индивидуумов, позволяющий направлять течение дел на предприятии или в организации. При хорошем управлении этот акт выполняется таким образом, что достигаются положительные результаты. При плохом управлении результаты оказываются отрицательными — причем для любой организации, будь то фирма, школа, церковь, общественный клуб, спортивная секция, политическое объединение, домохозяйство или семья.

Следствие 20: В иерархии возможности компетентного подчиненного управлять некомпетентным начальником превосходят возможности некомпетентного начальника управлять компетентным подчиненным.

Компетентный управляющий финансирует, подбирает штаты, организует, контролирует, поддерживает контакты с людьми, отделами, другими организациями. Некомпетентный управляющий, делая то же самое, не умеет, увы, внести в свою деятельность руководящей идеи, необходимой для достижения успеха. Случается, что управляющие компаний скрупулезно расписывают задачи, вычерчивают схемы административной подчиненности с четким определением полномочий каждого звена и выполняют все возложенные на них обязанности, но как только внутри страны или за рубежом появляется фирма-конкурент, начинающая действовать в совершенно новом направлении и выбрасывающая на рынок продукцию пооригинальнее или более высокого качества, как все это тщательное управление оказывается никчемным.

Управление не есть замена руководству. Управляя людьми, вы не сможете сделать их ни ответственными, ни компетентными, но не исключено, что вы добьетесь этого, если будете ими руководить. Компетентный руководитель может быть и хорошим управляющим, но компетентному управляющему может недоставать творческого начала, умения вдохновлять — качеств, необходимых подлинному руководителю. Руководитель обладает способностью видеть дальше других, открывать новые направления и вселять в идущих за ним горячее желание браться за неизведанные дела. Многих называют руководителями, потому что они стоят во главе команды или находятся на вершине пирамиды, и это одно из значений слова «руководитель». Но пребыванием впереди или наверху определяется только местоположение, а отнюдь не другие качества, без которых нет руководства. Есть существенная разница между положением облеченного полномочиями и положением руководителя. Руководители отличаются особым свойством руководите-

лей — чем выше они поднимаются, тем дальше видят; чем больше они знают, тем оригинальнее мыслят и тем меньше вероятность, что они станут повторять действия других.

В 1957 году изготовленный в США видеомагнитофон стоил 50 тысяч долларов. Это было громоздкое устройство, годное к использованию разве что в телестудии. Акио Морита, глава японской компании «Сони», разглядел, что, если аппарат сделать меньше и дешевле, он станет популярным домашним развлечением. Деятельность своей компании он связал с достижением долговременной цели — создать компактный, простой в обращении, доступный по цене видеомагнитофон домашнего пользования. В 1965 году «Сони» вышла на рынок с первым в мире домашним катушечным видеомагнитофоном. В 1975 году «Сони» предложила «Бетамакс» — первый в мире кассетный видеомагнитофон.

Инженеры, призванные к выполнению задачи, работали над созданием «Бетамакса» около двадцати лет, но когда видеомагнитофон добрался до рынка, его популярность революционизировала телевидение, расширила диапазон использования домашних телевизоров, положила начало замене домашних кинокамер и кинопроекторов видеосъемочной и видеодемонстрационной аппаратурой и привела к образованию целой новой отрасли, занятой производством, продажей и прокатом видеокассет.

Пусть в американских компаниях, действующих в области телевидения и электроники, и хорошее управление, но Акио Морита, глава «Сони», внес в дело нечто сверх того: долгосрочное планирование и руководство.

Следствие 21: Колледж не может обеспечить компетентность, он может обеспечить диплом.

В последнее время американцы занялись изучением опыта японских компаний в попытке найти секреты их успеха. В большинстве случаев были извлечены уроки, которые Америка зубрила давным-давно, до того, как эксперты по делам бизнеса выступили со своими теориями управления и сотворили новый социальный класс — административную элиту.

*Все теории управления превращаются в заговор против хорошего управления и в основном только прикрывают срам управляющего.*

*Т. ДЖОРДЖ ХАРРИС*

*(редактор журналов — в прошлом «Психологии сегодня», ныне «Американское здоровье»)*

На заре своего существования Америка имела руководителей, умевших взяться за строительство железных дорог, и управляющих, которые обеспечивали их эксплуатацию. Руководство — это видение перспективы, а управлять — значит следить за ходом событий. Бывает, что способности к тому и другому объединяются в одной личности, но нередки случаи, когда с выдвижением компетентного управляющего на пост руководителя мы наблюдаем действие Принципа Питера в кругу высших должностей.

Многие управляющие показывают себя компетентными в оценках ситуации, в отборе рекомендаций консультантов, в коллективной работе по определению ближайших целей, намечаемых с общего согласия. Им, однако, часто не хватает широты взгляда, позволяющей разглядеть новые возможности.

Американские компании-первопроходцы, добившиеся мирового лидерства в изобретениях, нововведениях и производительности, ныне посвящают себя решению краткосрочных задач и получению немедленных прибылей. Изучение рыночной конъюнктуры направляет конвейерную линию. Потребителям оставляют возможность выбора лишь в пределах уже существующей продукции, а «новые, улучшенные» изделия оказываются лишь разновидностями либо чуть подправленными копиями прежних.

Американская автомобилестроительная промышленность была создана изобретателями, чьи машины завоевали мировой рынок. Когда управляющие продвинулись на посты руководителей, эта отрасль занялась производством автомобилей все больших и больших размеров и совершенствованием их конструкции за счет таких причуд, как вытянутые хвостовые плавники, вычурные хромированные решетки и разноцветье в окраске кузовов. Иностранные же производители стали лидерами в производстве качества — компактных, удобных, экономичных машин, так что американским автомобилестроителям пришлось последовать по пути, предложенному дальновидным зарубежным руководством.

*Если в каждой данной ситуации вы усматриваете лишь то, что видит всякий, про вас можно с одинаковым основанием сказать, что вы и представитель своей культуры, и ее жертва.*

*С. И. ХАЯКАВА*

Упадок промышленной Америки мог быть предсказан любым исследователем иерархиологии, знакомым с лестницей руководства. Специалисты по управлению учатся в школах бизнеса. Набираясь стандартных знаний, пассивно усваивая расхожие догмы, преподносимые им устно, в учебниках, на спецкурсах, и соблюдая нормы университетских процедур, они получают здесь ученые степени знатоков делового администрирования. Приходит опыт работы на разных ступенях управления, приходит признание, что они хорошо и преданно следуют политике высших управляющих, и это становится основанием для их выдвижения на посты, где надо быть руководителями. Вся промышленность так и развивалась — подчиняясь потребностям исполнителей, возвысившихся до руководящих должностей. К услугам исполнителей, страшащихся или не умеющих

принимать решения, имеются фирмы-консультанты.

*Творческое мышление, возможно, означает всего-навсего понимание, что нет никакой особой добродетели в том, чтобы вести дела так, как их всегда вели до нас.*

*РУДОЛФ ФЛЕШ*

## Познай самого себя

Люди в большинстве своем упорно стараются добраться до той ступеньки на лестнице успеха, где, как они надеются, их ждут счастье, уважение и достаток. Интервью, взятые мною у лиц, занимающих низкое, среднее и высокое положение в жизни, убедили меня, что к успеху стремятся все. Однако успех этот понимают двояко. В одних случаях как некое свершение — приобретение денег, власти, статуса, собственности. В других — успех видят в том, чтобы чувствовать себя счастливым: наслаждаться жизнью, любовью, здоровьем, иметь возможность самовыражения, располагать досугом, чтобы упиваться красотой этого замечательного мира, и временем для игры.

Те, кому успех представляется достижимым лишь на лестнице свершений, часто оказывались разочарованными и несчастливыми. Поглощенные процессом восхождения, они все свои взоры приковывали к очередной ступеньке и не в состоянии были оценить вид, открывавшийся оттуда, где они уже находились. Чувство удовлетворения, которое они испытывали, взобравшись на новый уровень, длилось недолго, потому что тут же они приступали к борьбе за следующую ступеньку.

Следствие 24. Способности потенциально компетентного человека со временем разрушаются, тогда как потенциально некомпетентная личность поднимается до уровня, где этот ее потенциал реализуется полностью.

Те, кто поднимался до уровня, на котором они обнаруживали возможности для самореализации, и задерживались здесь на длительный срок, а потом двигались дальше за счет лучшего исполнения своей работы, да при этом еще усваивали приносивший им удовлетворение образ жизни, — вот кто среди встречавшихся мне людей добивался успеха в самой полной мере.

*Почему нам надо так отчаянно гнаться за успехом, так отчаянно стараться? Если человек шагает не в ногу со своими спутниками, это, может быть, потому, что он слышит бой другого барабана.*

*ГЕНРИ ДЭВИД ТОРО*

## Смех — лучшее лекарство

Среди причин, побудивших меня писать о Принципе Питера, вовсе не было намерения заклеймить грехи и ошибки, тщеславие и некомпетентность моих собратьев — человеков. Я грешен по меньшей мере так же, как они. Я обнародовал свои наблюдения потому, что хотел поделиться с другими облегчением, которое нашел в смехе — в самом приятном механизме, помогающем справляться с личными злоключениями и всечеловеческими невзгодами, выставляя на обозрение их абсурдность.

*Мой способ шутить — это говорить правду. На свете нет ничего смешнее.*

*ДЖОРДЖ БЕРНАРД ШОУ*

◆

---

**СТЕПАНОВ ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ** (род. в 1929 г.)

Советский востоковед, экономист, публицист. В его переводах публиковались книги английских, американских и индийских авторов по экономике, истории и социологии.

## Союзник, подоспевший ко времени

Шестнадцать лет прошло с той поры, как «Иностранная литература» познакомила советского читателя с «Принципом Питера» — блестящей книгой, написанной Л. Дж. Питером в соавторстве с Р. Халлом. Вслед за «законом Паркинсона» (численность чиновников растет независимо от объема их работы) «принцип Питера» стал достоянием нашей аналитической и критической мысли, немало поспособствовал тому, что мы стали лучше видеть, острее замечать и смешное и горькое в нелепом, но живучем явлении, имя которому Бюрократизм.

Ироничный профессор Питер и его «Принцип» возвращаются теперь к нам в новой книге. Возвращаются как старые друзья — с воспоминаниями, с пересказом уже нам известного, пережитого, но и со множеством свежих наблюдений, с новым опытом, с попытками уловить приметы продвинувшегося вперед времени.

О чем пишет автор? Самый короткий и самый точный (до буквализма) ответ: о бюрократических уродствах современного западного, главным образом американского, общества. Страница за страницей разворачивается картина, которая, надо полагать, поможет пошире раскрыть глаза наивным почитателям Запада, не представляющим себе, насколько бюрократическое засилье пропитывает сегодня жизнь самых что ни на есть развитых стран капитала.

Питер приглашает читателя посмеяться над нелепостями чиновничьих упражнений — не более того. Но ведь это только кажется. В действительности он очень серьезен. А недогадливым напрямую растолковывает, что его манера письма есть «серьезность в содержании и юмор в форме изложения». Так что можно и повеселиться, узнав, что военно-морское ведомство США выступает в образе эдакого простофили, готового платить 110 долларов за диод, красная цена которому 4 цента. Но можно и призадуматься, почему так происходит. И подобными историями, обходясь без многословных пояснений, Питер настойчиво подталкивает читателя к осознанию отнюдь не веселой истины: за абсурдами, рождающимися в бюрократических коридорах Пентагона, стоят очень весомые, старательно оберегаемые и крайне опасные для мира интересы военно-промышленного комплекса.

Впрочем, тут уж Питер порой и сам не выдерживает. Ему становится не до юмора. Появляется иная манера письма — строгая и горькая. «Обладая гигантскими структурами и средствами, Пентагон властвует над конгрессменами и другими государственными деятелями; они поддерживают высокий уровень военных расходов, потому что от этого зависит их политическое существование». Автору нужно проговорить эти слова голосом социолога, чтобы его лучше поняли потом, когда он, снова в роли сатирика, начинает издеваться над несуразностями, из которых складывается способ вести дела по-армейски.

И конечно же, читатель понимает Питера, схватывает гнетуще-тревожный смысл его якобы просто забавных историй. Взять хотя бы результаты полевых испытаний танка «Брэдли». Автор представляет их как сплошную комедию. А рядом — вроде бы еще смешнее — выстраиваются цифры, повествующие о неуемной щедрости, с какой отпускаются средства на создание этой неуклюжей машины. Но читатель не настроен смеяться. Он, как того и добивается автор, негодует, обнаружив, что военные расходы, траты на вооружение — все это растет вне всякой связи с подлинными заботами о безопасности страны. Да к тому же, напоминает Питер, никто в министерстве обороны США не в состоянии даже дать определение «национальной безопасности».

Пусть в книге нет ни слова о «звездных войнах», но в ней достаточно хорошо раскрывается подоплека упрямства, с каким вашингтонская бюрократия во главе с президентом отстаивает «стратегическую оборонную инициативу»: не важно, что дело это бессмысленное, важно, что оно прибыльно для военного бизнеса и его политической агентуры.

Американская экономика и техника имеют на своем счету выдающиеся достижения. Иной раз они завораживают, рождают представления, будто уж где-где, а в производственной сфере, там, где делаются вещи и деньги, Америка никаких чиновничьих глупостей, никаких канцелярских препон не терпит. Питер покушается на развенчание и этого мифа. Покушается, но все-таки останавливается на полпути. И неспроста. Приходится считаться с готовностью и умением большого бизнеса беспощадно расправляться с людьми, отваживающимися выставить его в неприглядном свете. Тут, сетует сатирик, «не остается ничего иного, как скользить по поверхности, потому что если мы нырнем глубже, то уже больше не выплывем».

Все это, стало быть, про Америку, немного про Англию, чуть-чуть про Австралию. Но Питер утверждает, что в его «принципе», как и в «законе Паркинсона», как и в «законе Мэрфи», «содержится некая основополагающая истина, верная для всего мира, независимо от различий в политическом строе, религиозных убеждений или расовой принадлежности. Для этих законов не существует границ, разделяющих нации и культуры». Заявка смелая, в известном смысле вызывающая и в то же время явно не лишенная оснований.

Разве не по «закону Паркинсона» безудержно росла численность бюрократии в Китае при ханьской династии? И разве не в соответствии с «принципом Питера» накапливалась здесь некомпетентность административных верхов, что и привело к распаду Великой империи? А перенесемся во Францию начала прошлого века. Улавливая действие по существу того же «закона» и того же «принципа», Бальзак предсказывает восхождение и расцвет бюрократизма, на засилье которого французы потом будут сетовать все громче и громче. В Англии под пером Диккенса появляется Министерство Околичностей — организация, как бы сознательно согласующая каждый свой шаг с «принципом Питера».

Воплощением самодовольного бюрократизма была самодержавно-чиновничья Россия. И не случайно именно здесь расцвел гений Щедрина — величайшего мастера сатиры, до жестокости бескомпромиссного обличителя тупой казенщины, злого насмешника над пустопорожней канцелярской суетой.

Никто сегодня не согласится, что образы и проницательная критическая мысль Щедрина принадлежат лишь России XIX века. Они живы, они нужны всюду, где бюрократизм набирает силу, где он корчит свои гримасы — и отвратительные и комические. Ну, а «принцип Питера»? Конечно, и за ним надо признать то же универсальное значение.

Да, собственно, для нас книга Питера тем прежде всего и притягательна, тем особенно интересна, что, бичуя пороки чужого общества, она делает нас более зоркими, когда мы направляем взгляд на то, что нас более всего заботит, а именно на положение дел у себя дома. И если многие конкретные явления, над которыми издевается автор, имеют сугубо американскую, западную начинку и окраску, если с нашей жизнью они никаким боком непосредственно не соприкасаются, то, с другой стороны, нельзя не признать, что, развлекаясь открытиями «науки иерархиологии», мы кожей, что называется, чувствуем: это не только про других.

Если же кто все-таки не чувствует, пусть еще раз откроет страницу 187 и, поразмыслив, оценит, какое полезное предостережение скрывается под юмористической оболочкой приведенного там афоризма Дэвида Кросби. И еще более кстати будет вспомнить негодование К. Маркса в адрес филистеров, не умевших понять, к чему обязывает мудрое латинское изречение: «De te fabula narratur» — «И о тебе рассказывает эта история — измени только имя».

И далекое и недавнее наше прошлое, да, к сожалению, все еще и сегодняшняя действительность поставляют сколько угодно материала, которым вполне можно иллюстрировать, подтверждать «принцип Питера».

Из величественных зданий нашего автосервиса машины часто выходят — об этом то и дело пишут в газетах — не в лучшем, а в худшем, чем до ремонта, состоянии. И какой же наш автолюбитель не признает вместе с Питером, что здесь явно достигнут уровень некомпетентности, ибо в противном случае вам должны были бы «вернуть ваш автомобиль работающим лучше, чем прежде, когда вы его доставили в мастерскую».

А взять передряги, выпадающие на долю наших горожан по вине ремонтно-строительных контор и трестов. Как здесь не вспомнить злоключения дамы из Бристоля, а заодно и выведенный Питером принцип «накопления грязи», причем грязи не только в переносном, но и в прямом смысле слова.

В ходе теперь уже вроде отгремевших споров о том, выбрасывать ли миллиарды на поворот сибирских рек на юг, споров, закончившихся, к счастью, победой государственного разума и здравого смысла, стала известна печальная история способного и делового партийного работника, который, возглавив водное ведомство, поплыл по течению интересов его управленческого аппарата. Ведомственное болото засосало сильного человека, а, если сказать языком Питера, подняло (низвело?) на уровень полной некомпетентности.

В свое время в предисловии к «Закону Паркинсона» автор этих строк осторожно обратил внимание на неоправданное и небезвредное увлечение паллиативами: когда обостряется какая-либо проблема, ее иной раз пытаются разрешить чисто административным путем, всего лишь созданием нового ведомства, которое, однако, само по себе не снимает, а усугубляет проблему. И сослался для примера на проблему цен. Сейчас, видимо, можно сказать, что с учреждением соответствующего госкомитета дела в области ценообразования продолжали идти «вкривь и вкось». Но что отрадно: миллионам советских телезрителей были предоставлены возможности самим оценить уровень компетентности (или некомпетентности) руководителя — теперь уже бывшего — этого ведомства, когда он отметал с экрана все нарекания трудящихся, отказывался принимать их резкие, справедливые оценки.

Длительные и бурные экономические дискуссии, настойчивые, порою трудные поиски общественной мысли привели нас к важнейшему выводу о конечном результате как главном, по существу даже единственном критерии, годном для оценки и хозяйственной, и всякой иной деятельности. Для Питера это одна из любимых тем. На нее так или иначе выходят все его рассуждения о границе между компетентностью и некомпетентностью, рассуждения не только юмористические, но и вполне серьезные. И к ним стоит прислушаться.

Стоит, потому что до сих пор забота о процедуре, о ритуале, о «правильности» подхода к делу слишком часто заслоняет для нас само дело, мешает видеть цель, которой мы добиваемся.

Это, в частности, касается трудов иных наших обществоведов — тех, кто склонен живописать идеально организованное, бесперебойно функционирующее общество и выдавать его за реальность, якобы открытую взору каждого из нас — стоит только выглянуть за окно. По опыту недавнего прошлого все мы хорошо знаем, каков был конечный результат подобной «обществоведческой работы». Состоял он в том, что нередко устанавливался запрет на свежую, критическую, новаторскую мысль. Насаждались идеологические табу на перемены, сдвиги, усовершенствования в экономическом механизме, в организации политической, социальной, духовной жизни. Чуть что — жди окрика: это покушение на устои социализма!

Марксист не может не понимать, что пристрастие к сооружению воздушных замков вытекает не только из личных склонностей их архитекторов, но имеет под собой и солидную социальную основу. А ее в наших условиях составляет все тот же бюрократизм. Это на его защиту поднимался облеченный степенями теоретик-экономист, настаивавший, что товар и деньги — категории, чуждые социализму. На стражу его интересов вставал редактор, не допускавший на страницах вверенного издания никаких намеков на возможность устройства нашей жизни по модели, отличной от серого единообразия в духе угрюм-бурчеевских утопий. Ему, бюрократизму, в услужение отдавал свое перо писатель, в чьих книгах все было «выдержано» по содержанию и «оптимизировано», «углублено» (см. у Питера, стр. 180) — по языку, по форме изложения.

После глубокого поворота в нашей общественной жизни — конкретно говоря, после апрельского (1985) Пленума ЦК КПСС и XXVII съезда партии — отношение к нашим бюрократическим болезням коренным образом изменилось. Главное, они в полной мере осознаны, о них говорится с твердым намерением вытравить и сами эти болезни, и их рассадники. Недаром на «закон Паркинсона» ссылаются у нас сейчас с самых высоких трибун. Бюрократизм признан злейшим и опасным врагом предпринимаемых преобразований. А это означает открытое объявление войны всем косным, консервативным силам, войны, в которой не должно быть нейтральных, в которую должен включиться на стороне преобразователей каждый честный человек.

Подспорье нам в такой войне — книга Питера. И самого автора мы вправе приветствовать как союзника, подоспевшего ко времени. Мы воспользуемся его оружием — смехом. Воспользуемся для себя, в интересах нашей перестройки, ради ускорения нашего прогресса.

В том, что касается смеха, сатиры, юмора, мы, конечно, и сами не безоружны. Мы все-таки не сдали в архив Салтыкова-Щедрина. А скоро, надо думать, советский кинозритель поближе познакомится и с сатириком Достоевским, с блестящей экранизацией его «Скверного анекдота», который дополнительно поддержит народное неприятие многих разновидностей чиновничьего барства.

Впрочем, богаты мы не только по наследству. Свое искреннее внимание и поддержку дарит наша общественность таким диагностам и патологам бюрократизма, как Горин и Лиходеев, Высоцкий и Жванецкий. В малых, наглядных формах они выносят на наше обозрение многие казенно-бюрократические уродства.

Питера мы примем особняком. Примем как писателя, стремящегося не только изображать, но и немного философствовать по поводу изображаемого. В этом своем стремлении он предстает как человек, глубоко размышляющий о проблемах общественного бытия, как демократический мыслитель.

Вольно или невольно, сознавая это или не ведая того, но в своих «иерархиологических изысканиях» Лоуренс Питер идет по стопам другого, величайшего мыслителя, который писал в свое время: «Бюрократия считает самое себя конечной целью государства. Так как бюрократия делает свои «формальные» цели своим содержанием, то она всюду вступает в конфликт с «реальными» целями. Она вынуждена поэтому выдавать формальное за содержание, а содержание — за нечто формальное. Государственные задачи превращаются в канцелярские задачи, или канцелярские задачи — в государственные» [1].

Это — Карл Маркс. Он-то и был истинным первооткрывателем законов, управляющих развитием общества, в том числе и порождающих бюрократизм. И он первый показал, что это явление сложное, живучее, отнюдь не готовое исчезнуть само собой даже с падением власти капитала. Нам за семьдесят лет строительства нового общества пришлось убедиться, что так оно и есть. Сколько же раз подтверждались за это время ленинские слова о том, что бюрократическая машина едет не туда, куда ее направляют... едет не совсем так, а очень часто совсем не так, как воображает тот, кто сидит у руля этой машины.

Сейчас наша партия, народ более основательно, чем когда-либо, взялись за то, чтобы покончить с этим самодвижением бюрократии. И хочется выразить надежду, что наступит время, когда, перечитывая «Принцип Питера», советский человек сможет сказать: это про них, но это совсем не про нас.

**Е. АМБАРЦУМОВ**

◆

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, с. 271.

# Советская литература за рубежом

**БОЛГАРИЯ**

Роман ВЕНИАМИНА КАВЕРИНА «Два капитана». Издательство «Народна младеж».
Повесть КОНСТАНТИНА СИМОНОВА «Мы не увидимся с тобой». «Воениздат».
«Избранное» АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ. Издательство «Христо Г. Данов».
Повести и рассказы ГАВРИИЛА ТРОЕПОЛЬСКОГО. «Профиздат».
Книга РАДИЯ ФИША «Джалаледдин Руми». Издательство «Народна култура».
Роман ИЛЬИ ЭРЕНБУРГА «Падение Парижа». То же издательство.

**ВЕНГРИЯ**

Повесть ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «Белый пароход». Издательство «Европа».
Избранные статьи МИХАИЛА БАХТИНА. Издательство «Гондолат».
Роман ЛЬВА КАССИЛЯ «Ход белой королевы». Издательство «Мора».
Повести АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА «Крутые горы. Музыка. Деревянные кони». То же издательство.
Роман БУЛАТА ОКУДЖАВЫ «Свидание с Бонапартом». Издательство «Магветё».

**ГДР**

Сборник статей МИХАИЛА БАХТИНА «Вопросы литературы и эстетики». Издательство «Ауфбау».
Рассказы ВАСИЛИЯ БЕЛОВА. Издательство «Ойленшпигель».
Роман АЛЕКСАНДРА БЕЛЯЕВА «Человек-амфибия». Издательство «Нойес лебен».
Книга ГЕОРГИЯ БЕРДНИКОВА «Чехов». Издательство «Фольк унд виссен».
Повесть АЛЕКСАНДРА ГРИНА «Золотая цепь». Издательство «Нойес лебен».
Роман ЛАЗАРЯ КАРЕЛИНА «Змеелов». Издательство «Фольк унд вельт».
Стихи ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА. То же издательство.
Стихи ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО. Издательство «Реклам».
Книга БУЛАТА ОКУДЖАВЫ «Романс об Арбате» (стихи, песни, интервью). Издательство «Фольк унд вельт».
Повесть КОНСТАНТИНА ПАУСТОВСКОГО «Колхида». Издательство «Ауфбау».
Повесть АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ «Обитаемый остров». Издательство «Нойес Берлин».
Рассказы АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО (1942—1944). Издательство «Ауфбау».
Роман ДМИТРИЯ ФУРМАНОВА «Чапаев». Издательство «Фольк унд вельт».

**ДАНИЯ**

«Блокадная книга» АЛЕКСАНДРА АДАМОВИЧА и ДАНИИЛА ГРАНИНА. Издательство «Спутник».
Роман НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО «Как закалялась сталь». То же издательство.
Повесть ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «Живи и помни». То же издательство.

**ПОЛЬША**

Повесть ГРИГОРИЯ БАКЛАНОВА «Меньший среди братьев» Издательство «ПИВ».
«Избранное» СЕРГЕЯ БАРУЗДИНА. Издательство «Выдавнитство литерацке».
Рассказ КИРА БУЛЫЧЕВА «Не гневи колдуна». Издательство «Искры».
Повесть ВАСИЛИЯ БЫКОВА «Пойти и не вернуться». Издательство «Выдавнитство любельске».
Роман ЭМЭ БЭЭКМАН «Трилогия о Мириам». Издательство «КиВ».
Книга АНАТОЛИЯ ВИНОГРАДОВА «Осуждение Паганини» То же издательство.
Повесть ТИМУРА ЗУЛЬФИКАРОВА «Возвращение Ходжи Насреддина». Издательство «Чительник».
Роман АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО «Петр Первый». Издательство «КиВ».

**США**

Избранные статьи АНДРЕЯ БЕЛОГО. Издательство «Юнивёрсити оф Калифорниа пресс».
Сборник рассказов АНДРЕЯ БИТОВА. Издательство «Ардис».
Рассказы ЮРИЯ НАГИБИНА. То же издательство.

**ФРАНЦИЯ**

Повесть ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «Белый пароход». Издательство «Мессидор».
Книга МИХАИЛА БАХТИНА «Творчество Франсуа Рабле». Издательство «Галлимар».
Повесть ЮЛИАНА СЕМЕНОВА «Петровка, 38». Издательство «Анкр».

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ

# ЛЮДИ И КНИГИ

*Вступление и перевод с польского Н. ПОДОЛЬСКОЙ*

В творческом наследии Ярослава Ивашкевича — крупнейшего польского прозаика, поэта и драматурга — большое место занимают литературно-критические статьи и заметки, эссе, музыковедческие работы, а также путевые очерки. В публицистике Ивашкевича, как в зеркале, отражаются его взгляды, она — ключ к пониманию его творчества, личности, мировоззрения. И в то же время она дает представление о многогранности интересов писателя, об огромной эрудиции Ивашкевича, подлинного художника, гуманиста и патриота.

Эссеистика, литературная критика — неотъемлемая часть его общественной и творческой деятельности. На протяжении почти тридцати лет он регулярно печатал свои заметки и эссе в газете «Жице Варшавы» и в литературном журнале «Твурчость». Газета давала писателю возможность общения с огромной аудиторией. Статьи Ивашкевича печатались в рубрике «Беседы о книгах». «Беседы» предполагали доверительный, задушевный тон. И в самом деле: Ивашкевич — высококвалифицированный читатель, который ненавязчиво, доброжелательно делится с собеседниками впечатлениями о прочитанных книгах, попутно высказывая свои мысли о культуре, памятниках архитектуры и искусства, об охране природы и о многом другом, что его тревожило и радовало.

Сам писатель так охарактеризовал назначение этих своих «Бесед»: «Мое публицистическое перо служит скромной цели: заинтересовать читателя газеты тем, что я прочел, и показать, какие разнообразные мысли и впечатления возникают, когда просматриваешь, читаешь, перелистываешь книги — современные и несовременные, польские и иностранные... Словом, мои статейки должны сохранить форму непринужденной беседы с читателем, где книга порой лишь предлог для того, чтобы поделиться своими мыслями, рассказать о себе, задать вопрос собеседнику или себе самому...»

Заметки, изданные в сборниках «Люди и книги» и «Беседы о книгах», «как отдельные разбросанные островки, образовали — по словам Ивашкевича — материк», удивив его самого своей цельностью. Эту цельность Ивашкевич усматривал в том, что «рассыпанные, точно мозаика, заметки о прочитанных книгах отражают определенное время», «определенное,— как он выразился,— состояние моего ума». И действительно, их объединяют поиски в жизни, в искусстве, литературе гуманитарных ценностей и вера в то, что призвание деятелей культуры — защищать ее богатства.

---

**ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ — JAROSŁAW IWASZKIEWICZ** (1894—1980). Выдающийся польский писатель; лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», Государственных премий ПНР. Советским читателям хорошо знакомо творчество Я. Ивашкевича. На русский язык переведены его трехтомный роман «Хвала и слава», исторический роман «Красные щиты», книга о Шопене, неоднократно выходили сборники его избранной прозы, вышло также восьмитомное собрание сочинений писателя. Прозу и стихи Ярослава Ивашкевича много раз печатала «Иностранная литература».

Публикуемые заметки взяты из книг Я. Ивашкевича «Беседы о книгах» («Rozmowy o książkach». Warszawa, Czytelnik, 1961, 1983), «Люди и книги» («Ludzie i książki». Warszawa, Czytelnik, 1982), «Мои путешествия в Польшу» («Podróże do Polski». Warszawa, PIW, 1977).

Особое место в творческом наследии писателя занимают путевые очерки, вернее, своеобразные эссе, в которых мы находим элементы жанров художественных, документальных и лирико-исповедальных. Ивашкевич называл их «синтезом своего творчества». Это попытка понять себя, свое творчество, Польшу, мир; это «проекция переживаний» автора.

Путевые очерки выходили отдельными изданиями; всего таких книг шесть: «Письма из Латинской Америки», «Книга о Сицилии», «Гнездовье лебедей», «Петербург», «Путешествия в Италию» и «Мои путешествия в Польшу». Эта последняя книга, одну главу которой мы предлагаем вниманию читателей, пронизана любовью к Польше, к ее пейзажу, неброскому, но так много говорящему сердцу писателя, к ее культуре, музыке, в первую очередь к Шопену, к старинным ее городам, хранящим аромат прошлого, к ее народу, в поистине героическом трудовом порыве возродившему из пепла свою столицу.

«Хотя большая часть моей жизни,— писал Ивашкевич,— прошла в Польше, она не стала для меня чем-то привычным, обыденным и неизменно вызывает во мне восхищение... А польская топонимика звучала для меня и, признаться, до сих пор звучит столь же необычно, как топонимика «Рамаяны» или «Одиссеи». И сейчас еще, когда я слышу: Бзура или Пилица, Илжа или Огродзенец, я чувствую, как у меня замирает сердце, хотя ни Париж, ни Оксфорд во мне подобных чувств не пробуждают».

Еще в 1936 году, в мрачную пору истории Польши, Ивашкевич в очерке-главе «Письмо из Сандомира», словно провидя будущее, с надеждой говорил: «Как знать, может, настанет время, и двинутся по этой равнине тракторы, запыхтят жнейки, поднимутся золотые скирды и вокруг, насколько хватает глаз, вырастет лес фабричных труб. И в Сандомире, ныне маленьком провинциальном городке, будут процветать ремесла и искусства... И может, дети наши, укрывшись под сенью потомков вот этих деревьев, узрят перед собой новый, счастливый край — край необозримый, чьи золотистые, тучные пажити раскинутся до самого горизонта...»

Эта любовь к родной земле и постоянный негаснущий интерес к мировой культуре, озабоченность судьбами цивилизации позволили Константину Паустовскому по праву назвать Ивашкевича «большим и скромным патриотом своей страны и патриотом всего человечества».

## Книги о Варшаве

Когда Варшава десять лет назад лежала в развалинах, наряду со смертью людей нас глубоко потрясала смерть предметов неодушевленных—созданные людьми, которые отдали им частицу своего тепла, они имели свою историю и для нас были словно живые.

Такова была смерть разрушенных домов. Мы смотрели в пустые глазницы этих калек, с которыми была связана наша жизнь и от которых теперь веяло могильной тишиной. В повседневной суете все реже вспоминаем мы о том, как еще совсем недавно с шумной улицы, где потоками двигались по мостовой машины, а на тротуарах толпился народ, мы попадали во двор мертвого дома и нас охватывала совершенно особая тишина. Кто хоть однажды испытал воздействие этой мертвящей тишины, распростершей свое леденящее господство рядом с гомоном жизни, тот никогда ее не забудет. Летом, когда в оконных проемах без рам сквозило голубое небо, а зимой в серой пелене снега или дождя тишина эта подавляла нас, и сейчас еще при воспоминании о ней нас охватывает дрожь — дрожь утраты. Но сегодня этой тишине — нашему недругу — уже нанесла сокрушающий удар жизнь возрождающейся столицы.

О самом сокровенном — о жизни и смерти — заставила нас задуматься также смерть Книги. Книги—наши лучшие, самые верные и незаменимые друзья — погибали тихо: сгорали и, обращаясь в пепел, бесследно исчезали.

Тогда мы впервые увидели, как горят книги и какой остается от них пепел. Увы, я своими глазами видел, что сталось с нашим богатейшим собранием книг и рукописей, хранившихся в библиотеке им. Красинских. Углубление на месте сгоревшего здания заполнял белый пепел — летучий и очень мягкий, ноги погружались в него, как в пух. В царившей здесь мертвой тишине нас не покидала мысль о нашей культуре, которую враг хотел уничтожить, как говорится, стереть с лица земли. Недаром свезли сюда все рукописи из других книгохранилищ Варшавы: это было сделано намеренно, чтобы нанести удар в самое сердце нашей культуры.

Но тщетны попытки уничтожить, обратить в прах мысль и самою жизнь человеческую, ибо зерно, зародыш жизни, остается — и жизнь возрождается.

Так возродилась и польская книга, которую преследовали, жгли, уничтожали. И для меня это одно из самых больших чудес нашей действительности.

Одновременно с восстановлением и строительством домов в Варшаве «восстанавливаются» и создаются польские книги и, в частности, книги о Варшаве. И когда мы окидываем взглядом минувшее десятилетие, прежде всего поражает множество построенных домов и множество изданных книг.

Восстановление библиотек и восстановление домов — это только начало. Строительство еще впереди! При восстановлении библиотек, как и в строительстве вообще, было допущено немало ошибок. Но то, что уже сделано, не может не радовать нас.

Сколько издано замечательных книг в связи с десятилетием освобождения Варшавы. Взять хотя бы большой альбом, посвященный шестилетнему плану, с впечатляющими фотографиями. Сопоставление

дорогих нашему сердцу улиц и зданий Варшавы в первые годы шестилетки с тем, как они выглядели в 1944 году,— уже само по себе наглядное свидетельство наших достижений..

Восстанавливаются библиотеки, издаются книги для Варшавы и о Варшаве. Никогда еще не писали и не публиковали столько книг о нашей столице. И в этом нет ничего удивительного: ведь мы едва не лишились ее навсегда. И в том, что мы вновь обрели ее десять лет назад, заслуга советских и польских солдат. Им должны быть посвящены все эти книги о Варшаве.

*1955 г.*

## Письмо из Хиросимы

Недавно я получил письмо из Хиросимы от одной своей знакомой, американской писательницы.

«Тут, в Хиросиме, за окном моей комнаты,— пишет она,— идет дождь. Этот красивый и печальный город полон воды и... слез. Перед памятником тысячам жертв атомного взрыва день и ночь несут вахту семеро мужчин и две женщины в знак протеста против испытаний водородной бомбы. Этим несчастным, обреченным на медленное умирание, кажется невероятным, чудовищным, что на свете есть еще люди, помышляющие об атомной войне. Я познакомилась здесь со многими пострадавшими от атомного взрыва. Как ты, наверное, знаешь, мы сняли небольшой дом, где могут останавливаться больные лучевой болезнью, которые приезжают в Хиросиму лечиться в здешних больницах. Назначение нашего дома (Hiroshima Rest-House[1]): во-первых, оказывать посильную помощь больным, и, во-вторых, он как бы символизирует протест против атомной войны. Дорогой Ярослав, если бы ты видел обожженные, изуродованные лица и особенно глаза — печальные, невыразимо печальные глаза...

Мы пробудем в Хиросиме еще две-три недели. Под нашими окнами протекает речка, и я, как настоящая японка, пишу тебе, сидя на полу: стульев тут нет. За маленьким оконцем, за его прозрачной бумагой, склонилась ветка цветущей вишни. Вокруг такая красота, ужасен только повод, принудивший нас приехать сюда. Человек — чудовище! Всякий раз при виде этих страдальцев во мне закипает ненависть к людям, которые уготовили такую страшную участь своим ближним...»

Взволнованные слова этой женщины, испытывающей естественные человеческие чувства, удивительно созвучны страстным, протестующим голосам, которые в последнее время раздаются в разных концах Земли. Голоса эти, осуждая безрассудное легкомыслие, предостерегают человечество от опасности участившихся испытаний атомного оружия. Эти предостережения слишком серьезны, чтобы можно было ими пренебречь.

С воззванием к людям доброй воли обратился благороднейший представитель современного человечества — профессор Альберт Швейцер, великий гуманист, музыковед, органист, автор замечательной книги о Бахе и одновременно врач, протянувший руку помощи африканцам: он основал для них больницу в Ламбарене, в Африке,— заслуженно награжденный Нобелевской премией мира. Открыто и смело говорит он об опасности ядерного вооружения. Огромные познания позволили профессору Швейцеру убедительно показать, к каким последствиям приведет беспрерывный рост радиоактивности на Земле.

«Нельзя не считаться с последствиями ядерных испытаний, — пишет Альберт Швейцер,— этого безумия, за которое человечество заплатит дорогой ценой. Мы с непростительным легкомыслием уже ступили на этот гибельный путь».

Швейцер обращает наше внимание на грозную опасность генетических изменений. Они могут стать причиной таких болезней, как рак крови, и вообще привести к непредсказуемому в настоящее время вырождению будущих поколений, а страшнее этого ничего не может быть.

Двенадцать английских ученых в опубликованном коммюнике подчеркивают: теперь невозможно предвидеть, какие формы примет процесс вырождения. Наука не располагает на этот счет никакими данными.

Известный шведский ученый Р. М. Сиверт пишет: «Сейчас нам еще трудно сказать, какие именно объекты явятся главными источниками распространения радиации на земле. Надо полагать, впоследствии найдут надежный способ обезвреживать радиоактивные отходы и меры предосторожности при получении и использовании атомной энергии окажутся действенными. Но непредвиденные случаи, аварии могут способствовать постепенному и не поддающемуся контролю накоплению радиоактивных элементов со средним или длительным сроком действия. Радиоактивные вещества неведомыми путями и всевозможными способами, для постижения которых понадобятся годы исследований, будут воздействовать на человека, причиняя ему вред».

Такой же озабоченностью проникнуто и обращение Фредерика Жолио-Кюри.

Эти предостережения звучат достаточно убедительно, и человечество должно понять, что ему грозит смертельная опасность. Здравомыслящие люди должны воспротивиться преступным испытаниям атомного оружия и еще более чудовищным угрозам развязать атомную войну. Заявление восемнадцати ученых из ФРГ, предостерегающих мир от опасности атомной войны, об отказе принимать участие в создании смертоносного оружия — еще одно свидетельство того, что эта наболевшая проблема приобрела первостепенное значение. И отношение к ней *настоящих* ученых нам известно.

Однако, как это ни странно, несмотря на страшную угрозу, нависшую над миром, никто не обмолвился ни словом о тех, по чьей вине создалась эта опасная ситуация, чья научная деятельность поставила под сомнение само существование жизни на земле. Один из таких «ученых», член комиссии по атомной энергии в Вашингтоне, в своем ответе знаменитому Доктору предлагает сравнить «опасность радиации» с опас-

[1] Пансион в Хиросиме *(англ.)*.

ностью, по его мнению, куда более грозной для людей, которым дорога свобода, а именно: с «невозможностью противостоять тоталитаризму, распространяющемуся по всему миру...»

Возмутительное выступление красноречиво свидетельствует о том, что определенная часть ученых мира встала на ложный путь. А ведь они, эти не ведающие чувства жалости ученые, могут стать виновниками чудовищной всемирной катастрофы.

«Надежда на прекращение дальнейших испытаний атомного оружия, как первые рассветные лучи солнца, брезжит над страждущим человечеством». Такими словами заканчивается обращение Альберта Швейцера. Нам близок этот финальный оптимистический аккорд, навеянный Швейцеру музыкой Баха. Ибо борьба со страшным преступлением не может быть проиграна. Слишком большие силы всколыхнула она повсеместно и будет шириться впредь, охватывая народы всего мира. В ней принимают участие всевозможные организации и общества, все здравомыслящие люди на Земле.

Но вслед за учеными и профессорами, которые обладают *знаниями*, должны заявить протест писатели, которые обладают *воображением*, рисующим чудовищные последствия того, на что нас толкают эти безумцы.

Голос писателей имеет большое значение в этом деле в этот критический момент истории.

*1955 г.*

## Прогулка по Днепру

В Советский Союз приезжают с разными целями: одни — воочию убедиться в огромных достижениях науки и техники, другие — отдать себе отчет в политическом и экономическом курсе развития этой великой страны, третьи — познакомиться с поистине невероятным расцветом культуры у некоторых народностей, в недалеком прошлом не имевших даже письменности, а теперь создавших самобытную литературу. И наконец, в последнее время писатели посещают Москву и столицы других республик, чтобы в огне дискуссий, в столкновении мнений выработать новые формы сотрудничества и контактов, новые формы взаимного обогащения культур социалистических стран.

Совсем другой характер носила моя последняя поездка. Хотя я приехал в Москву с официальным визитом по приглашению редакции журнала «Октябрь» с целью обсудить формы сотрудничества между нашей «Твурчостью» и этим журналом, волею судьбы эта поездка стала для меня источником глубоко личных переживаний, которые, однако, позволяют подвести некий не лишенный интереса «баланс».

Сказав «моя поездка», я выразился неточно. Следовало сказать «наша поездка», ибо меня сопровождала жена, и благодаря ей мы как бы совершили путешествие в страну нашей молодости. Ровно сорок лет моя жена не была в Москве, где жила в годы первой мировой войны и в начале революции. Летом 1918 года — когда она уехала из Москвы — я собирался покинуть Киев, где жил и учился с детских лет. И вот сорок лет спустя мы очутились в городах нашей молодости. Жена показывала мне в Москве места, которых я не знал; я показывал ей незнакомый Киев и Украину: она никогда там не бывала и знала о них только по моим рассказам.

Это путешествие вспять, в страну далекого прошлого явилось для нас одновременно открытием вечных, непреходящих ценностей. В изменившихся до неузнаваемости городах и памятных нам местах, над которыми за истекшие сорок лет пронеслись разрушительные ураганы, бури, войны, мы обнаружили нетленную красоту и истину, и это повергло нас, если можно так выразиться, в меланхолически-оптимистическое настроение. Нечто в людях, в природе оказалось стойким, неизменным, в нашем, человеческом понимании — вечным.

Незабываемым переживанием, как бы квинтэссенцией всех впечатлений была поездка по Днепру — величественному, полноводному, волшебному Днепру — чудесным, погожим днем, который сменился теплым вечером; вечер опустился над рекой и садом, благоухающим ароматом лилий, не принеся с собой знобкой ночной прохлады, как это бывает у нас, в Польше, даже в самый разгар лета.

Москва и Киев с их памятными местами были уже позади. Вот здесь, показывала мне жена в Москве, она слушала Третий концерт Рахманинова в исполнении композитора, тут Мечислав Лимановский читал лекцию о противоположных началах в искусстве, восходящих к культу Диониса и Аполлона; в Третьяковской галерее она показала мне свои любимые картины, портреты великих русских писателей: Толстого, Достоевского, Пушкина — кисти известных художников; точно живые, лица на портретах производят неотразимое впечатление. Глаза Толстого и Достоевского навсегда останутся в памяти.

А я показал жене в Киеве дом, где сочинял «Восьмистишия» и «Бегство в Багдад»; дом, где Юрий Миклухо-Маклай рассказывал мне о своем дяде-путешественнике; показывал ей, где помещался театр-студия Станиславы Высоцкой — там ставили мы «Балладину», «Сида» и диккенсовского «Сверчка на печи»; там, рассказывал я, жила актриса Янова, воспетая мной в русских стихах; а там был театр, в котором я видел постановку «Эрос и Психея» на русском языке и замечательного актера Казимежа Каминского в пьесе «Тузы». На другой день мы посмотрели в музее картины Шевченко и Залесского, побывали в костеле, в котором венчался Оноре Бальзак, посетили заброшенное кладбище, где сохранилась могила моего отца; мне хотелось, чтобы жена увидела и пейзаж моего детства, сыгравший в моей жизни не меньшую роль, чем Днепр и город на его берегах.

Мы миновали дорогу в Казимировку — по ней Джозеф Конрад ездил на почту за письмами от своего друга Голсуорси. Ситковцы остались в стороне — там венчались родители Кароля Шимановского и мои. Проезжали мы Немиров, где кончал гимназию мой брат и Станислав Бжозовский. А до

Каменки, где творил Чайковский, отсюда было далеко.

Разве констатация всего того, что нас объединяет, не лучшая форма сотрудничества наших журналов — «Октября» и «Творчости»? Конечно, на многое смотрим мы поразному, нам есть о чем поспорить, и притом серьезно. Но объединяет нас гораздо большее, и прежде всего — наша общая принадлежность к европейской культуре.

Вот о чем размышляли мы в тот чудесный, тихий, пахнущий медом и лилиями вечер, проведенный на Днепре.

1958 г.

## Поэзия борьбы

Один из моих читателей прислал мне подарок, который порадовал меня и пополнил скромный раздел моей библиотеки. Раздел этот составляют публикации военного времени, а подаренная книжечка — собственно тоненькая брошюрка — называется «Из бездны» и имеет подзаголовок: «Стихотворения». Обозначены год и место издания: 1944, Варшава.

Прежний владелец этого уникального издания вписал в содержание фамилии авторов стихотворений... Все стихотворения отмечены печатью трагичности — они говорят об одиночестве поэтов.

По чистой случайности в сборнике «Из бездны» опубликованы стихотворения поэтов, в большинстве своем здравствующих и поныне. Но вероятно, таких сборников было много, и тем, кто «умирал в одиночку», хотелось завещать «человечеству, которое уцелеет», какие-то свои, сокровенные слова. И, мне кажется, долг уцелевшего человечества — сохранить от забвения завещанные ими слова. В заботах и хлопотах, в делах и вседневной суете мы забыли о наших покойниках, и они по-прежнему пребывают в одиночестве.

Во время войны и оккупации погибло много, очень много поэтов. Наша литература истекала кровью, она лишилась живительных соков молодости. Завещанные нам этими поэтами слова подчас, конечно, по-детски наивны. Но их наивность — следствие молодости, политической незрелости; она, эта наивность, как щит, заслоняла их от кошмарной действительности, от призрака смерти, который подстерегал их на каждом шагу, подступая все ближе и ближе.

В первое время после освобождения мир, созданный в их стихах, казался нам ирреальным, не имеющим ничего общего с нашей действительностью. К примеру, рафинированная поэзия Кшиштофа Бачинского была для нас радужным мыльным пузырем посреди развалин. И лишь позднее мы поняли: это был пузырь, но пузырь, наполненный воздухом, и поэт, словно водяной паук, погружался в нем в леденящий поток, чтобы таким образом дышать — и выжить. Это была тоже своего рода борьба.

Теперь, когда столько внимания уделяют молодым поэтам, я думаю, наше отношение к тем, кто был молод пятнадцать лет назад, должно стать иным — тогда, сгоряча, мы судили их слишком сурово и несправедливо.

И юности высокие светила
Сойдут со мною в братскую могилу,
А песня недопетая моя
Взовьется в небеса...—

писал в то время неизвестный поэт.

Чтобы понять эту ненаписанную или недопетую песню, надо бы собрать, сохранить для потомства те крупицы поэзии, которые после них остались. Немного успели они свершить, но дошедшие до нас стихи Кшиштофа Бачинского, Тадеуша Гайцы, Марека Хмуры, Юлиуша Кшижевского, Кароля Липинского, Станислава Ковальчика озарены «юности высокими светилами». Пора воздать им должное и впредь не обрекать на безвестное одиночество, в каком суждено им было умереть. Мы должны осознать: их смерть была ненапрасна.

Быть может, напоминание о павших в борьбе будет поучительно для наших «баловней», которые, увы, похожи подчас на капризных, испорченных детей, к которым слишком благосклонна судьба. Быть может, время от времени полезно напоминать им о трагической судьбе того поколения, которое шло на смерть, оставаясь верным высоким идеалам борьбы и поэзии.

1959 г.

## Два слова

Молодые, начинающие поэты и писатели — разумеется совсем неопытные — часто спрашивают у меня: что им читать? Признаться, такой вопрос ставит меня в тупик, и я не знаю, как на него отвечать. Из соображений, как говорится, «престижных» надо бы рекомендовать им читать исключительно классиков: «Гамлет», дескать, всегда должен лежать на тумбочке возле кровати, а «Красное и черное» — под подушкой. Но с другой стороны, не хочется кривить душой, притворяться, будто сам я ничего, кроме Бальзака или Достоевского, не беру в руки. Такого дотошного «допросчика», я, конечно, не приглашаю к себе в кабинет и не показываю, какие книги лежат у меня на письменном столе. Увы, там часто можно обнаружить Сименона или Агату Кристи. И тогда прощай мой авторитет!

Надо сказать, обычно писатели редко читают романы — плоды творчества своих коллег как давних, так и современных. Впрочем, читатели, следящие за моими «Беседами о книгах», за эти несколько лет, наверное, уже обратили внимание на необычность выбора книг, о которых я пишу. То я делюсь своими мыслями о трагедиях Расина, то внимание мое привлекает книга, предназначенная для архивариусов, в которой речь идет об уникальном архиве короля Станислава Августа Понятовского. Искусство читать состоит в том, чтобы из каждой книги извлечь нечто полезное или интересное; каждая книга дает пищу уму или сердцу.

Книга об архиве Станислава Августа дает представление о трагической судьбе этого просвещенного, но слабовольного монарха, она доносит до нас эхо драматических событий польской истории XVIII века. А книга о нынешнем состоянии Национальной библиотеки свидетельствует о самоотверженном труде «маленького человека» — рядового работника культуры. Но ведь именно благодаря таким вот «маленьким людям»

существует наша культура, от них зависит ее уровень.

Уверяю вас, такие книги читаются с увлечением, с захватывающим интересом; как и в детективных романах Агаты Кристи, там есть свой занимательный сюжет. Мне кажется, чтение — процесс не механический и нельзя уподобляться слуге Чичикова, Петрушке, которому нравилось, «что вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово...»; чтение — особое искусство, требующее длительной и основательной подготовки. И молодым людям, которые этого не знают и не понимают, трудно объяснить это. И скажу вам по секрету: если юноша спрашивает у меня, что ему читать, я ставлю на нем крест. Из него ничего не выйдет...

1958 г.

## Погребение Словацкого

Норвид — вот кому могут позавидовать собратья по перу. В «Черных цветах» он с дивной простотой рассказал о своих последних встречах с нашими корифеями — в простых словах передал атмосферу этих встреч: будничные разговоры, мелкие недоразумения, выражения их глаз, во что они были одеты... И нет ни малейшего сомнения: именно такими они были. И сердце сжимается от боли, что не довелось их узнать, побеседовать с ними... не довелось здороваться, прощаться.

Быть может, потому неповторимое, ни с чем не сравнимое событие моей жизни — участие в церемонии погребения Словацкого, когда я отдавал ему последний долг так глубоко запало в память и в сердце, и сколько бы я потом ни рассказывал и ни писал об этом, оно по-прежнему свежо и памятно мне. «Потом» было столько других событий, столько похорон, свадеб — а те июньские дни тридцать с лишним лет назад вспоминаются так отчетливо, словно произошло это не вчера даже, а вот сейчас за толстым стеклом воспоминаний встает передо мной прошедшее.

Эксгумация и перенесение праха Словацкого, несомненно, имели политическое значение. Недаром делалось это по распоряжению самого Пилсудского и именно в то время. Сейчас это всем ясно. Но в те погожие июньские дни меня это мало трогало, как, впрочем, всех тех, кто устремлялся к берегам Вислы и прямо в одежде входил в воду, чтобы оказаться как можно ближе к ветхому речному суденышку, на палубе которого стоял маленький черный гроб, покрытый государственным флагом.

Маленький черный гроб... А может, коричневый? С блестящей серебряной оковкой? Запомнилась только его тяжесть — он придавливал плечи, словно огромный непостижимый мир налег на них всей своей тяжестью; запомнилась боль в плечах — она была как неустанное напоминание: Словацкого несете, Словацкого, Словацкого...

Думается, мое отношение к Словацкому было иным, чем у вступающих ныне в литературу молодых писателей. У меня перед ними есть одно большое преимущество: мне не вдалбливали в голову: «Юлиуш Словацкий — великий поэт...» Я не учился в польской школе. Для меня Словацкий — это тайком взятые из книжного шкафа томики. Словацкий — это была читанная украдкой «Балладина» и прозаический фрагмент, начинавшийся загадочными, непонятными словами: «Я, Юлия Алпинула, несчастного отца несчастная дочь...» — которые волновали меня сильней всего, что я читал в детстве.

А потом потрясшее меня в юности открытие: «Бенёвский», «Король-дух»! Может, оттого таким тяжелым казался его гроб? И удивительно: мистическая, выспренняя философия «Короля-духа» не затронула меня; я был поистине зачарован лавиной видений, образов, каскадом звуков, его поистине блистательной поэтичностью, которая до сих пор пьянит как вино. В моем отношении к маэстро Юлиушу, вернее, к брату Юлиушу не было ни схоластической бесстрастности, ни робкой почтительности, а было лишь желание упиваться его стихами, желание угнаться за стремительным полетом его строф, которые, воспарив в заоблачные выси, то и дело запутывались в сетях обыденности и скатывались вниз по уступам ритмов.

Сейчас это вряд ли кому-нибудь понятно. Как и то, что означало участие в церемонии погребения Словацкого, особенно для бунтарей-скамандритов. На уцелевших фотографиях траурного шествия запечатлен весь цвет «официальной» литературы. За гробом идут господа в цилиндрах: Макушинский, Лорентович, Здислав Дембицкий и даже Фердинанд Гётель. Они косо посматривают на Вежинского и Ивашкевича, впервые в жизни по этому случаю надевших цилиндры, взятые, кстати, взаймы. Ни Тувима, ни Слонимского не видно в толпе «официальных» литераторов, обступавших гроб. А Лехонь — тот во фраке стоит в почетном карауле у «сиротского гроба», вызывая кое у кого чуть ли не возмущение. Подумаешь, Ян Лехонь?! Да кто он такой, этот молокосос, чтобы удостоиться чести препровождать Словацкого из Парижа аж до привислинской пристани у моста Понятовского.

Не знаю, кому принадлежала идея везти останки Словацкого морем. Впрочем, как и многие замечательные идеи, она была, наверное, продиктована необходимостью. Каким-то образом надо было миновать Германию. Вряд ли немцы поспешили бы благоговейно поклониться праху Словацкого, везти же тайком останки великого поэта через немецкие земли не пристало. А далекий путь по морю на убогой польской канонерке с двумя поэтами на борту, по холодному, неприветливому морю, в чьих безднах рождаются бури и поэзия,— это путь, достойный быть воспетым в эпической поэме. Что-то от баллады, от симфонии было в этом плавании по морскому бездорожью, была в этом какая-то несовременная символика.

Корабль воздушный, плывет он в дали,
Оставив землю, ее печали,
Журчишь ты тщетно, зову я тщетно,
Уж не успеть нам, нет, не успеть нам.

Уже летит он, ширококрылый,
Уж облаков он раскрыл ветрило,
Звездою бледной тает над нами
И исчезает за облаками...[1]

[1] Я. Ивашкевич. Иква и я *(перевод М. Павловой)*.

То было возрождение, апогей характерного для «Молодой Польши» культа Словацкого. Инсценировка безвозвратно канувшей в прошлое эпохи.

Из моря вхожденье в устье Вислы, и тут картина уже совсем иная, сугубо польская. Отмели, перекаты, песчаные полузатопленные островки являют собой другой мир. Он не балладу уже навевает, а безыскусную песенку.

И тут навстречу Словацкому высыпали толпы людей. Они встречали его как доброго, старого знакомого, а не как витающего в заоблачных высях великого поэта. Было ли когда-нибудь что-либо подобное — не знаю. Может, в старину везли хребтом реки королевские останки? Может, по крутому берегу тянули баржи с гробами? Но это было событие из ряда вон выходящее, недаром оно навсегда сохранилось в памяти. Одни представляют его себе по литографиям Фаянса, другие — по патетической прозе Жеромского, достойной оправе для этого перла.

На самом же деле извечным водным путем по нашей матушке-Висле, пыхтя, с трудом преодолевал течение старенький, еще прошлого века, убогий пароходик. На его палубе — невысокий катафалк, на нем — маленький гроб. По обеим сторонам катафалка — два поэта. Один в полковничьем мундире, другой во фраке (возможно, не своем, заемном); он ведь еще очень молод — ему лет двадцать с небольшим,— а уже удостоился такой высокой чести. На берегах видимо-невидимо людей; в Торуни, Вышеграде, Модлине, Плоцке они бросают в воду июньские цветы, норовя докинуть до борта убогого кораблика, охапками бросают белые цветы. Какая расточительная щедрость!

Те же цветы и в Варшаве, в кафедральном соборе св. Яна. До рассвета не уменьшалась растянувшаяся на целый километр очередь. Мы с женой вышли из собора около трех часов ночи, на улице все было окрашено розоватым светом, и душу переполняло радостно-приподнятое чувство. Ибо гроб во храме не вызывал ни грусти, ни скорби, он был символом триумфа и ликования.

В поезде, идущем из Варшавы в Краков, гроб установили в товарном вагоне — самом последнем и без задней стенки. Через этот проем виднелись поля, живописные пейзажи, люди, цепочкой стоящие вдоль железнодорожного полотна.

В каком вагоне гроб — никому не известно: на станциях поезд замедляет ход, но не останавливается. И лишь когда последний вагон удаляется, люди замечают горящие свечи, прочие похоронные аксессуары и бегут за поездом; как листья, сыплются они на рельсы и, как листья, отлетают, остаются позади.

Перед взором тех, кто стоит у гроба, открывается великолепное зрелище. Вагон с останками Словацкого как магнит притягивает людей, цветы, запах полей, где колышется пшеница, как это и должно быть в июне. Какое зрелище!

А потом незабываемый миг прибытия в Краков. Поезд под вечер остановился на железнодорожном мосту над улицей Любич. Чтобы оттуда можно было спуститься на улицу, соорудили специально лестницу. По ней и снесли гроб. Окрестные площади и улицы были запружены людьми, но тишина стояла прямо-таки мертвая. Слышалось только учащенное дыхание несущих гроб, который, точно какое-то чудовищное насекомое, неуклюже сползал вниз, переваливаясь со ступеньки на ступеньку. Сцена потрясающая! И среди мертвой тишины раздался отдаленный колокольный звон: это звонил Сигизмунд. Репродукторов тогда еще не было.

Погода стояла такая же, как в Варшаве, и в тот летний, теплый вечер, казалось, все живое высыпало на улицу. Гроб в ожидании утра стоял во тьме и тиши Мариацкого костела. А Словацкий, никогда не бывавший в Кракове (впрочем, как и Мицкевич), наверное, недоумевал: почему ему суждено остаться тут навеки?

Меня немного раздражает привилегированное положение Кракова. Почему именно там хоронят всех великих людей? Говорят, будто бы собираются перетащить туда и Фридерика... Господи, да разве от этого городу прибудет славы?

Назавтра, в день похорон, шел дождь. Стоя под аркадами, как на старой киноленте, сквозь завесу дождя увидели мы Пилсудского со свитой генералов.

Под дождем был отдан приказ генералам: снести гроб в подземелье Вавельского замка, «ибо он королям был равен».

Разгорелся спор по поводу того, сказал Пилсудский «ибо» или «чтобы». И то и другое было неверно. Конец церемонии все испортил. Поэт предстал в фальшивом свете фейерверков. Из мешка вылезло шило: диктатор с его непомерной манией величия ценил в поэте не поэта, а прежде всего пророка, вождя; «король-дух» — вот что было для него самым важным.

Небольшого роста, щуплый, чернявый чиновник финансового ведомства, умерший в Париже в «скособоченной» комнате на чердаке, не подозревал, что гроб его в подземелье королевского замка понесут генералы.

Когда теперь припоминаешь пышную церемонию похорон Словацкого, видно, насколько была она фальшива, помпезна и чужда самой сути его поэзии. Как море, бескрайняя и, как море, изменчивая поэзия Словацкого сопутствовала народу на всех этапах его истории. Ей, как и породившей ее стихии, свойственны приливы и отливы, она то вызывает восторг, то сомнение, то влечет, то отталкивает. И монументальное величие саркофага в подземелье Вавельского замка не соответствует ее духу.

В свой первый приезд в Париж я поспешил на его могилу на кладбище Монмартр. В чужой земле — на кладбище под эстакадой с оживленным движением и гомоном столицы — увитый плющом камень на его могиле произвел на меня огромное впечатление. Там должно покоиться его праху, его останкам. Мятущийся был человек, неровная, беспощадно разящая нас, поляков, была его поэзия. Погребение Словацкого в Вавельском пантеоне, как бы символизирующее примирение двух «пророков», приятие Словацким посмертной славы — траги-

ческое недоразумение. Еще один диссонанс между Адамом и Юлиушем [1].
1959 г.

## Двадцать лет

В этом году в июле будут проходить конференции, заседания, съезды и слеты, посвященные двадцатилетию Народной Польши. Таким образом народ и правительство отметят эту знаменательную дату. Впрочем, торжества продлятся весь год — год подведения итогов, достигнутых страной за короткий (в исторической перспективе) отрезок времени замечательных успехов. Успехов в области экономики, науки и культуры. И хотя год этот является важной, радостной вехой, его не следует рассматривать как некую остановку, передышку. Он не является завершением наших трудов, не знаменует вступления в новый, отличный от предыдущего период. После торжеств и наряду с ними будет продолжаться наша повседневная работа, своим чередом будут идти будничные дни нашей жизни.

Победные звуки фанфар и литавр, ликующие возгласы и парадные шествия в больших городах почему-то пробудили во мне желание поговорить о повседневном труде. Ведь именно на нем, на миллионах ежедневных кропотливых усилий зиждутся наши славные достижения.

Кому приходится сталкиваться с жизнью нашей провинции, тот знает: там из совместных усилий рождается великий народный подвиг. Кому действительно дорога судьба нашей культуры, тот поистине будет потрясен результатами совместных усилий простых людей — честных, самоотверженных тружеников.

Поездки по нашим деревням и маленьким городкам (конечно, если смотреть без предвзятости) весьма поучительны и производят глубокое, незабываемое впечатление. Словно видишь отдельные кирпичики, из которых возводится величественное здание.

Иной раз мы сетуем на недостатки, нам хочется, чтобы здание нашего будущего сооружалось быстрей и лучше. Но при виде этих отдельных кирпичиков, мелких, казалось бы, дел, огорчений и радостей людей из провинции, мы восхищаемся ими — творцами, строителями отдельных ячеек нашего большого улья.

Стоит взглянуть на молоденькую библиотекаршу, которая на крупном промышленном предприятии приобщает к чтению рабочих — вчерашних выходцев из глухих деревень, стоит увидеть, как стараниями общественности озеленяются и благоустраиваются наши города, наконец, когда на рыночных площадях, где еще совсем недавно валялись в грязи свиньи, видишь клумбы с анютиными глазками, лишь тогда можно по достоинству оценить повседневный, будничный труд. Без громких фраз, без широковещательных лозунгов, он одухотворен единой мыслью: чтобы людям жилось лучше, чтобы вокруг было чище и красивей.

Посмотрите на наши провинциальные города: на жилые кварталы, школы, рынки, памятники, больницы, дома культуры, на мостовые и тротуары. Как много здесь изменилось за прошедшие двадцать лет. Ведь одних проектов и планов еще недостаточно. Надо, чтобы кто-то их осуществил. Чтобы кто-то навел порядок, построил, выровнял, оштукатурил. Научил детей петь, рабочих и крестьян — читать. Приведу небольшой пример.

В конкурсе, объявленном газетой «Дзенник людовы» с целью популяризации современной польской литературы, приняло участие около ста пятнадцати тысяч человек. Разве это было мыслимо двадцать лет назад?

Наши усилия наталкиваются порой на различные препятствия, и вообще того, что делается и уже сделано, явно недостаточно. Потому я и сказал: 1964 год не следует рассматривать как некую остановку, передышку. Оглядываясь на пройденный путь, мы в то же время должны трезво смотреть вперед. Сколько всего еще предстоит совершить: окончить, доделать, выполнить. Хотя бы в области культуры, которую я главным образом тут имею в виду. Сколько еще надо воспитать людей, сколько домов построить!

Поэтому в дни праздников и торжеств я думаю о бесцветной на первый взгляд, а на самом деле такой насыщенной, интересной жизни нашей провинции; думаю обо всех простых людях, работающих в поте лица своего и с надеждой переступающих порог (отнюдь не пышных хором), который отделяет этот год от следующего двадцатилетия.

1964 г.

## Мои путешествия в Польшу

Темень в ольхах темно-синих
и ни блика
мох растет густеют тени
дозревает
ежевика

плавкий битум в небе тает
дальше — больше
и тебя чертовски тянет
в Польшу в Польшу[1].

*Ярослав Ивашкевич. Июль.*

### Долина Мощеницы

Первая моя встреча с Лодзью была не совсем обычной: я познакомился сначала, притом довольно основательно, с ее окрестностями, а потом уже пешком отправился в город.

Окрестности Лодзи очень живописны и не похожи на пригороды Варшавы. Впервые попав в те места, я оказался в долине реки Мощеницы.

Красивая эта, хотя и совершенно плоская долина с тех пор мало изменилась и, как в 1911 году, исполнена очарованья...

Места тут были чудесные. После весеннего половодья на лугах оставались бочаги, тут и там виднелись мельницы, а дальше, на шоссе, уже в Стрыкове, стоял храм мориавитов и большой католический костел — все это запечатлелось у меня в памяти и не раз описано мной. Соответствуют ли эти описания тогдашней действительности, судить не берусь. А теперь и подавно об этом никто не может судить.

[1] Мицкевичем и Словацким.

[1] Перевод А. Эппеля.

Я исходил вдоль и поперек здешние места. В одиночку и со своими учениками, заядлыми охотниками. В сторону Бжезин дорога, верней межа, шла в горку до самого Вавжинца. Так называли кирпичную кладку, на которой в старину на границе поля стояла фигура святого. Дальше дорога вела в деревню по названию Москва — ее тополя и вишневые деревья, точно диадема, венчали горизонт. За Москвой была большая, протянувшаяся в длину деревня Липины, но она находилась уже на шоссе, соединявшем Бжезины с Лодзью. Стоит она там и поныне — все такая же: ни больше не стала, ни меньше.

Если идти дальше краем долины, то и с этой стороны тоже попадаешь в лес. В мое время тут была роща, посреди которой, точно островок, высились огромные «мачтовые» деревья — сюда чаще всего направлялись мы верхом после чая; это называлось ехать в Бучек.

Одно только омрачало идиллическую красоту и очарованье этой долины: северо-западный край ее всегда застилало дымное облако, то густо-черное, то посветлей: там была Лодзь.

С первых дней моего пребывания в тамошних местах черный дым на горизонте не давал мне покоя. Мне не терпелось побывать в Лодзи, над которой, как над неким проклятым библейским городом, нависла туча черного дыма. К тому времени я уже, разумеется, прочел «Землю обетованную»[1].

До Лодзи было сравнительно недалеко. И я отправился туда пешком. Собственно, пошли мы втроем...

Вышли из дома, кажется, рано утром, впрочем точно не помню. Помню только, как я был потрясен, когда с пригорка за Новосольной открылась перед нами панорама Лодзи. Зрелище было чудовищное.

1911 год был годом наивысшего подъема текстильной промышленности, все фабрики в Лодзи работали на полную мощность, выпуская сотни тысяч метров дешевого ситца, который предназначался для нищего населения юга России и Кавказа.

Вид, представший нашему взору, с возвышения на шоссе, был ужасающим. Фабричные трубы — буквально целый лес труб,— и изо всех поднимался густой, черный дым. Знойным июльским днем он, не рассеиваясь, огромной черной тучей неподвижно навис над городом, и город казался серым, точно затянутым густой пеленой.

Приблизившись к городу, мы стали различать кошмарные подробности.

В городе свирепствовала эпидемия какой-то сезонной летней болезни. И навстречу то и дело попадались похоронные дроги, чаще всего с голубыми и розовыми детскими гробиками... До сих пор у меня так и стоят перед глазами эти маленькие цветные гробики.

Но Лодзи присущи были и другие краски. До недавнего времени в городе практически отсутствовали подземные коммуникации — их заменяли сточные канавы. И по ним текли красные, голубые, желтые, зеленые потоки краски из фабричных красилен. Смердящие стоки с их яркой цветовой гаммой были характерной приметой города.

Мы вошли в город со стороны Балут. Тут на косогоре раскинулось зловещее балутское кладбище — оно до сих пор снится мне иногда по ночам. Кладбище — довольно большое, сплошь усеянное желтыми глиняными могильными холмиками. А на могилах — ни деревца, ни кустика, ни цветочка даже, только деревянные или жестяные кресты примерно одинаковой высоты стоят один подле другого. На крестах кое-где — заржавевшие венки из жести.

В солнечном свете знойного полудня кладбище представлялось неким чудовищным, адским городом. Сюда и устремлялись многочисленные катафалки с розовыми и голубыми гробиками.

В Лодзи у нас были знакомые, и, разыскивая их, мы долго плутали по городу, по унылым квадратам его улиц — раскаленных, покрытых серой угольной пылью. Серый налет лежал на листьях редких деревьев. А в пролете улиц, не переставая, дымили гигантские трубы...

Город потряс меня своей индустриальной экзотикой и вопиюще низким уровнем жизни его обитателей, чья нищета бросалась в глаза на каждом шагу на лодзинских улицах...

Этот кошмарный мир предстает со страниц романа Реймонта, но от меня до поры до времени его скрывал идиллически-безмятежный сельский пейзаж. В фильме по роману Реймонта впечатление идиллличности усиливают березовые рощи, но это неверно. Идилличность, очарованье тамошних мест — в волнистых полях золотистого, пряно пахнущего люпина, в полях, перерезанных межами, на которых стоят дикие груши (кстати, только тут, увидев своими глазами очертания и форму этих деревьев, я постиг их исконно польский характер), прелесть этих мест в таких вот одиноких, заброшенных, как Вавжинец в Бышеве, фигурах святых. Среди полей люпина то тут, то там проплешинами проглядывают кучи камней, заросшие ежевикой и царским скипетром.

Удивительно, как в таком городе, в такое время мог появиться на свет и вырасти Артур Рубинштейн — этот «король жизни».

Я с ним не был знаком, когда бродил по окрестным полям. А позже, уже взрослым человеком, бывая в Лодзи, никак не мог представить себе: неужели он — парижанин и американец — родом из этого проклятого богом города?

Другое дело — Тувим; он был порожденьем той атмосферы, того пейзажа: городского кромешного ада и сельской идилличности Иновлодзи с ее живописной речкой и костелом в романском стиле. Рубинштейна, напротив, словно ничто не связывает ни с городом, ни с окрестным пейзажем. В последнюю нашу встречу его жена, рассматривая фотографию, сделанную еще в Тимошовке, спросила: «Как, неужели Артур тоже прямо так купался в пруду?»

Конечно, сейчас трудно представить себе, как этот «король жизни» — Артур запросто купается в пруду или бредет по щербатым мостовым вдоль многоцветных сточных канав.

Но Артур родился в Лодзи — и любил ее. Быть может, не теперешнюю, а прежнюю — убогую, нищую, оглашаемую фальшивыми

[1] Роман Владислава Реймонта (1867—1925).

звуками фортепьяно, с дрогами, влекущими розовые и голубые детские гробики.

■

Потом я много раз бывал в Лодзи. А поскольку улицы города напоминали мне раннюю молодость и свойственное молодости жадное восприятие мира, непохожего на тот, в котором я жил, мне нравилось снова и снова наезжать в Лодзь.

В Лодзи я не думал о Рубинштейне. Но у меня были другие знакомые — уроженцы Лодзи. Виктор Познанский, например, с которым мы познакомились в Париже, и в моем представлении он тоже никак не вяжется с Лодзью. С Тувимом мы сошлись уже в Варшаве. Правда, я бывал потом в Лодзи в доме его родителей — на редкость милых, «тихих» людей. Даже странно, как у них мог родиться такой темпераментный, талантливый сын. У меня навсегда сохранится в памяти их скромный, милый дом с его чуть дремотной, навевающей грусть тишиной; помню я и милейшего отца Тувима, бухгалтера, который с грустной улыбкой говорил мечтательно о Париже, и почему-то казалось, будто он немного не в себе. Дом, надо сказать, был какой-то чудной, но, пожалуй, в таком именно доме и могли (под пуховым крылышком) вырасти Ирэна и Юлек. Но это избитая тема...

С Лодзью, с воспоминаниями о ней связан также Томашев Мазовецкий. Там жили мои знакомые — Ганя и Генек, словно перенесенные туда со страниц английского романа. Их мать, пани Ядвига, была, что называется, гранд-дамой. Но ездил я в Томашев, собственно, ради своего большого друга Олека Ландау...

Голубые родники под Томашевом были точно родные братья бышевских родников. Тут протекала Пилица, там — Мощеница и Бзура; некогда — самые живописные притоки Вислы.

Как посреди безмятежного сельского пейзажа возникла такая вот Лодзь? Просто непостижимо, как это «средоточие зла», этот мерзостный, типичный для XIX века промышленный город мог вырасти в непосредственной близости от несравненных золотистых полей люпина, с проглядывавшими тут и там горками камней.

Я вдоль и поперек исходил эти поля, и на горизонте неизменно маячило облако черного дыма.

Сам я никогда не охотился, но всегда сопровождал Вицека С., когда тот отправлялся на охоту. Молодые люди не любили скитаться так просто, «без дела». Вицек с дробовиком и легавой по кличке Апель тщательно прочесывал клеверища и поля люпина, а я, под стать его псу, резвился на просторе. Ходил я в сандалиях на босу ногу, с непокрытой головой, не подозревая, что это считается верхом неприличия. В конце концов пан Плихта не выдержал и попросил меня надевать хоть что-нибудь на голову. У меня была с собой старая венская «жокейка» брата, которую мы называли фамильной реликвией, и этой выцветшей ветошкой я прикрывал голову. Но главное было не ходить «с непокрытой головой».

Лето в том году выдалось на редкость жаркое. Занимался я со своими учениками по утрам, как можно раньше, а потом до обеда мы бродили по полям, изредка присаживаясь отдохнуть на куче камней, где черные ягоды ежевики росли вперемежку с белыми вьюнками. И мной тоже овладела страсть к охоте: охотился я за бабочками. Они во множестве летали над люпином — маленькие, голубенькие и крупные с красными и черными крапинами. Собирал я и крылья подстреленных Вицеком птиц: серовато-розовые, инкрустированные голубизной, крылышки соек и черные вороньи, хотя сами-то вороны серые! Хорошо было летом в долине Мощеницы!

Во время оккупации от Лодзи отделяла нас усиленно охраняемая граница. Там уже был «рейх». Вот к каким нелепостям приводит иногда извилистая линия границы. Попасть в город легальным путем было невозможно, и я не ездил туда. Зато переправлял друзей, иногда с важными заданиями.

У меня разработан был маршрут, имелись ночевки, конспиративные квартиры в Жирардове, Якторове, Скерневицах, Беднарах и в самой Лодзи. Как я это устраивал, уже не помню. Но случалось отправлять таким образом персон весьма важных. И все сходило благополучно.

Но особое значение Лодзь приобрела для меня после освобождения Варшавы, в январе 1945 года. Поехал я туда в феврале того же года и с тех пор стал часто бывать там. Первая моя поездка очень характерна для того времени; я хотел было сесть на лодзинский поезд на станции в Брвинове, но он был битком набит. Тогда я и два моих спутника примостились на подножке вагона и так проделали этот путь.

Был ясный мартовский вечер с розовым закатом, но по мере приближения к Колюшкам небо затянуло свинцовыми тучами, и пошел снег.

А вечером, когда мы подъезжали к Колюшкам, снег валил уже вовсю. Поднялся ветер, метель, похолодало, и выпавший снег не таял.

Железнодорожная станция в Колюшках издавна пользовалась дурной славой. Типовое здание станции на месте деревянных бараков построили сравнительно недавно. И в тот вечер оба барака были до отказа набиты людьми, как говорится — негде яблоку упасть. Ночью в ожидании поезда на Лодзь я втискивался то в один барак, то в другой или шагал по заснеженному перрону. Метель бушевала всю ночь.

Состав подали только под утро. В выбитые окна залетал снег, и в вагоне мело почти как снаружи, и отовсюду дьявольски дуло.

Простояв все утро в Колюшках, поезд тронулся лишь днем и с грехом пополам дотащился до Лодзи-товарной. Оттуда через весь город я потопал на Бандурскую улицу (теперь улица Мицкевича), где в доме 8, в квартире со всеми удобствами жила Поля Гоявичинская.

Так впервые после войны попал я в Лодзь. И с той поры в продолжение трех лет ездил туда регулярно, а в 1945—1946 годах особенно часто.

С Полей Гоявичинской мы сошлись близко, когда она, выйдя из тюрьмы, во время оккупации жила в нашем доме, и знакомст-

во то служило «острой приправой» к пребыванию в Лодзи.

Я не случайно сказал «острой», ибо дружить с Полей было нелегко. Она имела обыкновение говорить «правду в глаза», а это не всегда приятно, и, главное, «правда» в ее представлении часто таковой не являлась. И вообще самая что ни на есть «правдивая правда» людям часто не по вкусу, и отношений между друзьями она не облегчает...

Поля занимала в Лодзи великолепную квартиру: она заслужила ее за долгие годы скитаний, лишений и тюрьмы. И когда мы с женой и дочками приезжали в Лодзь, то всегда останавливались у нее.

Послевоенная Лодзь, где собралось множество писателей, журналистов, актеров, жила необычной, лихорадочно-оживленной жизнью; она была средоточием культуры, источником всяческих новых начинаний. Здесь помещался филиал уникального издательства «Чительник» во главе с Борейшей, редакция «Газеты польской» или «Речи Посполитой» — не помню, как назывался центральный орган печати,— и, конечно, театры. Среди них выделялся театр на Цегельняной улице.

В то время наибольшим успехом пользовалась «Электра» Жироду в постановке Эдмунда Верцинского.

Дело в том, что этот спектакль имел прямое отношение ко мне и отчасти — к Поле. У меня сохранились письма Верцинского, писанные в Стависко во время оккупации, в которых он уговаривал меня перевести «Электру», ссылаясь при этом на авторитетное мнение Леона Шиллера и Богдана Коженёвского.

Творчество Жироду меня никогда особенно не привлекало. В свое время я даже познакомился с ним в Париже, и он любезно принял меня у себя дома на набережной Орсэ. Это был типичный дипломат.

Верцинский откопал «Электру» на второй год войны в широко известных приложениях к журналу «Иллюстрасьон», где печатались популярные пьесы. И стал настойчиво уговаривать меня перевести ее. После долгих раздумий и колебаний в конце концов я внял его уговорам. И в ночь на новый, 1945 год прочел свой перевод в Стависко, где собралось несколько моих друзей. Времена были тяжелые. Читал я в комнате больной Поли. Читал с подъемом, быть может привнося в драму не свойственный ей пафос.

Последнюю фразу я произнес «со слезой»: «Женщина! Это называется прекрасным словом: рассвет!»

Трудно сказать, предчувствовали мы тогда или знали, что наступает рассвет: первое января знаменательного 1945 года.

А в феврале 1945 года нашу «Электру» уже поставили в Лодзи. Спектакль был бесподобный! Может, мой перевод и режиссура Верцинского придали пьесе большую значительность. Она приобрела глубокий смысл благодаря нам, верней, благодаря тогдашней действительности. То было время, когда с Востока и Запада на родину возвращались друзья, когда, как в ранней молодости, можно было проговорить всю ночь напролет об искусстве, борьбе, будущем.

Называлось это «прекрасным словом: рассвет». И весенняя Лодзь навсегда неразрывно связана в моей памяти с воспоминаниями о новых и старых друзьях, а было их много, много...

1977 г.

# Заметки писателя

САВВА ДАНГУЛОВ

## ДОРОГА, КОТОРУЮ ТОРИЛ ЛУ СИНЬ

### Дневник одного путешествия

Твердый переплет этих тетрадей одет в нежнейший сафьян — не тетрадь, а книга. У бумаги серо-сиреневый отлив — китайский изыск. С той весны пятьдесят седьмого минуло столько лет, но чернила наливной ручки, которой исписаны тетради, сберегли яркость в рисунках, преимущественно контурных, помогающих зримости текста,— кровать с балдахином (не кровать, а трон), ваза с удлиненной шеей, чуть изогнутой, лебединой, бамбуковая циновка, занавесившая окно, с иероглифом, провозглашающим долголетие, многоярусный фонарь, воспринявший формы пагоды, кажется, знаменитой пагоды Диких гусей... К какому городу нашего пути отнести эти предметы: Пекину, Нанкину, Шанхаю, Ханчжоу, Шаосину?

Наверно, имя Шаосина способно обнаружить цель путешествия — отчая земля писателя... Да не о Лу Сине ли идет речь? Похоже, о нем. И своеобразными вехами на нашем пути были не только вереница городов, но и встречи с художниками слова, к которым привел нас Лу Синь... По истечении стольких лет мы смотрим на них из дня нынешнего, они по сути своей масштабны — впрочем, у нас будет возможность в этом убедиться... Каждый город сообщил свои краски портрету Лу Синя, как свои краски были у писателя, прикоснувшегося памятью к Лу Синю... Благодарно эти краски отыскать — Лу Синь, писатель и человек, многое объясняет нам в новой истории Китая.

Мастер современного рассказа, чье постижение этого жанра опиралось на знание китайской народной классики, он был великим реформатором языка, приблизил язык литературы к народу. Художник, понимавший, что призвание литературы—жечь глаголом сердца людей, он вызвал к жизни произведения неумирающей сатирической силы. Влияние на китайского читателя таких книг Лу Синя, как «Записки сумасшедшего» и «Подлинная история А-Кью», тем более значительно, что они всем своим содержанием (кстати, и формой, в которой велик элемент условности) современны. Лу Синь открыл для себя русскую литературу в немалой степени и благодаря тому, что оценил ее сатирический дар — писатель перевел «Мертвые души». Но Гоголь всего лишь помог Лу Синю проторить тропу в мир русской словесности с ее художественными и социальными горизонтами. Постижение русской, а позднее советской литературы заняло значительное место в философском и эстетическом становлении Лу Синя, что было необыкновенно полезно нашему литературному братству.

Моя миссия имеет отношение к этой проблеме. В прямой связи с этой деятельностью Лу Синя я командирован в Китай, чтобы собрать материал для специальной книжки «Иностранной литературы» — она должна дать представление о современном искусстве Китая, в первую очередь, разумеется, о словесности.

Необычна природа памяти. Даже разум

---

**ДАНГУЛОВ САВВА АРТЕМЬЕВИЧ** (род. в 1912 г.)

Советский писатель, драматург. Автор романов «Дипломаты» (1966), «Кузнецкий мост» (кн. 1—3, 1971—1979), «Заутреня в Рапалло» (1980) «Государева почта» (1983), «Братина» (1985), повести в рассказах «Тропа» (1960), книг повестей и рассказов «Учитель словесности» (1974), «Новый посол» (1985), книги поисков «Двенадцать дорог на Эгль» (1975), пьес «Признание» (1970), «Неподкупный Горчаков» (1973), книги литературных портретов «Художники» (1981).

человека не всесилен, если она ему не помогает. По векам, которые обозначила память, легла и наша дорога...

## Запись первая — Лао Шэ

В ряду писательских встреч, которые ожидали меня в Китае, первой была с Лао Шэ. Завидную популярность обрел у нашего читателя его роман «Рикша», рассказ о горькой судьбе рикши-горемыки, в чьей доле отозвалась, как казалось, судьба большого города. Мне были известны и «Философия почтенного Чжана» (1926), и «Записки о кошачьем городе» (1933), но по глубине постижения образа и правдивости картин жизни они, конечно, уступают «Рикше» (1935).

Писатель принимал меня у себя дома: он и его жена, художница Ху Цзецин. Какими мне запомнились хозяева? Лао Шэ гладко острижен, седоват. Говорит по-английски. Время от времени к нашей беседе подключается Ху Цзецин. Хозяин представил жену очень симпатично, дав обозреть ее акварели, украшавшие комнату, где мы беседовали. Я имел неосторожность обратить внимание на акварельный этюд летящего голубя, ярко-белого, чубатого, и тут же был «наказан»: рисунок был снят со стены и подарен. Вернувшись в Москву, я отвел голубю свое место в доме — с тех неблизких времен рисунок звался не иначе, как «Голубь Лао Шэ». За эти годы утекло много воды, а место для «Голубя Лао Шэ» было неколебимо — для меня это прежде всего память о писателе, которого нет...

А разговор между тем коснулся Лу Синя. Лао Шэ заметил, что высоко ценит его образную систему, воздавая должное емкости изобразительных средств писателя, афористичности,— как полагает наш хозяин, язык Лу Синя крылат. По словам Лао Шэ, язык произведений Лу Синя складывался под влиянием двух сил. Первая: древний фольклор, знатоком которого был писатель. Вторая: язык китайской деревни, в частности деревни южной, где Лу Синь жил в детстве.

Возникла мысль: а нельзя ли побывать в этой деревне? Как отметил Лао Шэ, именно из этой деревушки происходила бабушка Лу Синя по матери — самые ранние впечатления, самые ранние, а поэтому и самые памятные, почерпнуты в этой деревне. Правда, она находится далеко даже от Шаосина и добираться туда надо чуть ли не от зари утренней до зари вечерней по древней системе каналов, но поездка туда возможна. Впрочем, есть препятствие, в некотором роде неожиданное. Лао Шэ вдруг залился смехом, который по-своему поняла и его жена, и они наперегонки стали рассказывать, что деревня эта находится так далеко, что обычному переводчику тут не совладать. Супруги Лао Шэ объяснили мне: чтобы китаец-северянин имел возможность разговаривать со своим соотечественником, живущим на юге, между ними должны поместиться по крайней мере два, а то и три толмача: Пекин не без труда понимает Ханчжоу, Ханчжоу не во всем разумеет Шаосин, если же положение оказывается безвыходным, то обращаются к иероглифам — именно иероглифы спасительны, ибо они едины, в то время как произношение окрашено своими красками. Вот так, сообщая тексту беседы интонации, свойственные данной провинции, переводчики как бы совершают у вас на глазах путешествие с далекого китайского Севера на Юг...

Но Лао Шэ, кажется, напряг память — видно, то, что пробудилось в памяти, должно существенно дополнить рассказ. «Язык жив знанием деталей,— говорит Лао Шэ,— и тут впечатления детства способны питать художника всю жизнь». Не иначе Лу Синь часто рассказывал о своем детстве, сберегая детали. Теперь в центре рассказа — шаосинский дом писателя. Лу Синь вошел в этот дом, твой слух улавливает его шумы, ты видишь его обитателей, ухватываешь запахи и краски. Быт дома держится на традициях. Они своеобычны и ярки... Ранним вечером семья сидит под тутовым деревом, дожидаясь, когда взойдет луна. Посреди стола покоится пирог, только что вынутый мамой из печи. Когда луна восходит, дедушка разрезает пирог, такой же круглый и плоский, как она. И все, кто сидят за столом, обращают взгляды к луне.

Кажется, Лао Шэ доставляет удовлетворение припомнить разговор с дедом — передать прямую речь деда.

— Запомни, Синь,— сказал дедушка и поднял руки, указывая на луну,— где бы ты ни был — в горах или в открытом поле,— что бы ты ни делал в вечерний час — собирал плоды или пересекал на лодке неспокойное море,— опусти на минуту весло и взгляни на луну... Знай, что в эту минуту на луну смотрят и мать, и отец, и, может быть, дед, и где-то там ты встретишься с ними так, как встречаешься с ними сейчас за этим столом...

Когда беседа с Лао Шэ подходила к концу, я вручил открытку с анкетой «Иностранной литературы» моему хозяину. Лао Шэ тут же показал ее жене, они сели рядом и, помогая друг другу и чуть-чуть друг над другом подшучивая, принялись сочинять ответ — в редакционных недрах должен быть текст этого ответа, впрочем, он не разминулся и с журналом — я говорю о специальном номере «Иностранной литературы», который увидел свет в сентябре пятьдесят седьмого. Мне в этом ответе Лао Шэ почудились в высшей степени характерные нотки, особенно в ответе на второй вопрос — воспроизвожу его:

«Уже существует очень хорошая основа для культурных связей между Китаем и Советским Союзом. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем мы изучали друг друга более детально, более глубоко. Работники искусства наших стран должны не только постоянно приезжать друг к другу, но и оставаться в стране на более продолжительное время с тем, чтобы обе стороны могли глубже изучать жизнь друзей и создавать произведения о ней».

Перечитывая сейчас текст ответа Лао Шэ, я думаю о том, что он, этот ответ, по-своему точно передает настроение нашей беседы. Впрочем, как я уже сказал, встреча оставила и зримое воспоминание: акварельный набросок белокрылой птицы, в кото-

рой и сегодня мне видится талант и добрая душа дома, столь дорогого мне.

## Запись вторая — Цао Цзинхуа

Новый собеседник был известен мне задолго до поездки в Китай. Правда, известен только по имени. Как отметили мои друзья, Цао Цзинхуа — один из сподвижников Лу Синя, при этом его отношения с писателем представляли для нас тем больший интерес, что именно он, хорошо зная русский язык, нередко выступал советчиком Лу Синя в русских литературных делах. Мы условились встретиться в Союзе писателей. Помню, что столик, за которым происходила беседа, был как бы отмечен вертикальным листом Ци Байши. В живописи Ци Байши, исполненной тушью и красками ясных и свежих тонов, есть простота и легкость восприятия природы, как ее здесь отразил народный вкус. По-моему, первая реплика, с которой началась наша беседа, относилась именно к Ци Байши. Рассматривая лист Ци Байши, я спросил моего собеседника, как себя чувствует художник, которому в ту пору было, по моим расчетам, без малого сто. Цао Цзинхуа сказал, что, судя по работам, которые удалось ему видеть уже в этом году, художник сберег энергию творчества.

— На мой взгляд, лучший Ци Байши — когда в картине есть кусочек живой натуры,— сказал Цао Цзинхуа.

Мой собеседник старается сделать свою русскую речь правильной: подлежащее, сказуемое... Как я приметил, ему это удавалось — русская речь профессора, быть может, чуть-чуть книжна, но верна. Пока он говорит, я наблюдаю его. Невелик, с маленькими руками, которые он предпочитает не выносить на столешницу. Когда говорит о Ци Байши, встает и быстрыми шажками, почти бесшумными, идет через комнату, а потом также бесшумно встает на цыпочки, стараясь дотянуться взглядом до картины и проникнуть в смысл иероглифов, которыми сопроводил свои рисунки Ци Байши. Но, как мне кажется, Цао Цзинхуа это редко удается — не хватает роста... Войдя в комнату, Цао Цзинхуа внес сверток, тщательно упакованный в бумагу лилейной белизны, и осторожно положил его на соседний столик — время от времени он смотрит на сверток, но делает это осторожно, избегая встревожить мое внимание.

— Своими немалыми достоинствами Ци Байши мне напоминает Лу Синя... Какими? — Профессор возвращается к столу, не отнимая взгляда от рисунка художника,— мой собеседник не теряет надежды расшифровать иероглифы.— Он любил молодежь, и его, как большую комету, вечно сопровождал шлейф, как бы это сказать, молодых дарований... Лу Синь постоянно возвращался к беседам с молодыми — он полагал, что это обновляет писателя. Рядом с рукописью, над которой работал Лу Синь, часто можно было видеть тетрадку с новым рассказом юного прозаика... У него было правило, которому он следовал строго: не оставлять писем без ответа... Ни единого письма...

Цао Цзинхуа продолжает рассказ, а я думаю: вот профессор и начал объяснять нам себя — взял за правило не оставлять писем без ответа.

— У меня была единственная возможность: наблюдать, как он работал с авторами. Когда в двадцать пятом был создан журнал «Без имени» с Лу Синем во главе, я стал его сотрудником. Редакция располагалась неподалеку от старого здания Пекинского университета, где Лу Синь тогда преподавал. Рукописи, которые приходились ему по душе, редактировал сам — любил это делать, усадив рядом автора. Русские сказали бы в этом случае: любил колдовать над рукописью... Для Китая это было время во многих отношениях поворотное. Армия освобождения готовилась к Северному походу. Лу Синь хотел, чтобы его как писателя лучше знали в России. Готовился к изданию русский Лу Синь — писатель предпослал изданию своих сочинений на русском языке автобиографию, которая могла прозвучать и как обращение к русскому читателю. Очень хотел постичь русский, но понимал, что для него это не просто. Когда жил в Японии, завел знакомства с русскими, не терял надежды заговорить по-русски, но успехи были скромны. Зато читал по-немецки — некоторые из советских книг перевел с немецкого. Знал японский — читал и писал, говорил свободно...

Мой собеседник вдруг поднялся и все тем же бесшумным шагом пошел к столику, где запеленутый в ярко-белую бумагу лежал сверток. Из бумаги действительно завидной белизны, как из мифической морской пены, возникла гипсовая статуэтка Пушкина. Цао Цзинхуа, не отводя восхищенных глаз, смотрел на статуэтку: Пушкин был изваян в рост.

— Наверно, не у каждого из ваших писателей есть китайский Пушкин, а у вас будет...— произнес профессор и смущенно закрыл глаза.— Китайский Пушкин!

Беседа продолжалась, но теперь третьим ее участником был Пушкин — за окном день близился к закату, и гипсовый Пушкин, стоящий на нашем столике, медленно розовел. Но Пушкин возник перед нами, как я понимаю, не случайно: в беседе, которая набрала порядочную силу, обещало воспрять нечто значительное.

— Случилось так, что, вернувшись из России, я явился в Шанхай. У меня была просьба русских пригласить Лу Синя в Москву. Я разыскал Лу Синя. Как я понял, он мечтал о поездке в революционную Россию, но осуществить эту мечту никак не удавалось — то, что делал в эти дни Лу Синь, было не просто работа писателя, исповедующего принципы революции, это был труд революционера. Помню, что каждая встреча с Лу Синем проходила так, как проходят встречи с человеком, живущим, в сущности, в подполье. Следуя правилам конспирации, я пришел в шанхайскую лавку японской книги и произнес слова, которые могли прозвучать как пароль: «Я — Цао... Приехал из Пекина». Мне указали дорогу к Лу Синю. Для Шанхая это была мрачная пора — все живое ушло в подполье. Одна за другой шли вести, которые, как мне казалось, сумрачное небо Шанхая тех дней сделали черным: схвачен Цюй Цюбо, казнен Цюй Цюбо... Помню, эта

весть потрясла Лу Синя: таким немощным я его никогда не видел. Не время было просить его о предисловии к сборнику, рукопись которого я привез в Шанхай, но я решился — к этому сборнику предисловие мог написать только Лу Синь. Дальше события развивались по дням: 16 октября он все-таки собрался с силами и написал предисловие, 17-го прислал мне письмо и предупредил, что предисловие написано и он его отослал мне — пакет с предисловием идет, он идет; 18-го, как я узнал, Лу Синь уже не встал с постели; 19-го — скончался... Именно 19-го прибежал сосед с номером вечерней газеты: «Умер Лу Синь...» До сих пор на сердце лежит камень этого дня — не могу сдвинуть... Помню, весь день 20 октября ходил по городу, боялся вернуться домой, все думал: «А конверт с рукописью еще идет, как от живого Лу Синя... И наверно, еще будет идти завтра, а может, и послезавтра...» И все произошло раньше, чем можно было предположить. Когда вернулся домой, конверт лежал на столе — по-моему, это была последняя его рукопись...

Мой собеседник умолк, поднял маленькие руки, закрыл ими лицо, но рук не хватало. Молчал, только больше обычного ссутулил плечи; да, не мог отнять рук от лица, долго не мог отнять рук от лица, а когда это удалось сделать, в комнате смерклось. Это было видно и по гипсовой скульптуре Пушкина — точно тень происшедшего пала и на нее.

— В самом начале тридцатых на издание советских книг был наложен запрет. Карался не только их выпуск, каралась связь с Россией. Но Лу Синь был человеком бесстрашным — он задумал выпуск «Железного потока» и специально для этой цели создал издательство, назвав его, как говорят русские, «для отвода глаз», «Издательством трех бездельников» — по-китайски это звучит так: «Сань сянь шу». Забавное название не на шутку развеселило читателей — пока они смеялись, «Железный поток» был раскуплен и, естественно, прочитан... Однако кто были те «бездельники», которых имел в виду писатель, сочиняя название своего издательского дома? Оказывается, все три были в ту пору живыми людьми. Первый — Лу Синь, второй — Цюй Цюбо, третий — Цао Цзинхуа... Как говорят русские, «голь на выдумки хитра». По Шанхаю пошел гулять анекдот: «Если они бездельники, эти трое, то они должны быть не бедными людьми. Если же они, эти бездельники, не так бедны, то не должны быть революционерами. Если же они не революционеры, то по крайней мере недруги революции, а следовательно, должны внушать доверие даже людям богатым...» Вот он истинный секрет названия: «Издательство трех бездельников». А между тем у Серафимовича рука, так сказать, оказалась легкой. Вслед вышли советские пьесы: «Хлеб» Киршона и «Страх» Афиногенова, большая проза — Федин, Алексей Толстой, Лавренев, Сейфуллина, Неверов...

Профессор продолжал рассказ — он включил электричество, сразу дал силу люстре и трем бра, укрепленным так, чтобы высветлить рисунок Ци Байши.

— Как говорят русские, «конец — делу венец», мне хотелось завершить рассказ негромким словом о Цюй Цюбо, вернее, о Цюй Цюбо и Лу Сине — то, что я могу тут рассказать, наверно, могут рассказать не все... В истории китайской революции, больше того, китайской революционной литературы Цюй Цюбо — фигура, как бы это сказать, рыцарственная... Но тут значительно даже не это, а то, как Цюй Цюбо, идейный человек (вот о ком можно сказать: идейный человек!), вошел в мир Лу Синя, расположил его к себе, а возможно, завоевал его сознание... Кто такой Цюй Цюбо?

Может, есть смысл на минуту прервать моего собеседника и действительно обозначить, кто же такой Цюй Цюбо? За пределами Китая его характеристика обычно ограничивается понятием: видный литератор-коммунист. На самом деле эта характеристика неполна. Впрочем, обратимся к вехам биографии. Вот эти вехи. Родился в 1899 году. Пришел к марксистам через знаменитый кружок Ли Дачжао. Вступил в партию в 1922-м. В 1920—1922 годах был корреспондентом газеты «Чэньбао» в Москве. Встречался с Лениным. Выпустил две книги о Советской стране, в которых есть яркие строки о Владимире Ильиче. Был наркомом просвещения Центрального рабоче-крестьянского правительства Китая... Одно время — генеральный секретарь ЦК. Но тут приспело время сказать о литературном таланте Цюй Цюбо, однако пусть об этом расскажет Цао Цзинхуа — он тут, как у нас когда-то говорили, самовидец.

— Лу Синь считал Цюй Цюбо литературно одаренным человеком, писателем по призванию. К сожалению, его поэтический талант, как и талант критика и публициста, в силу жестоких условий жизни не проявился в полной мере. Известно, что он перевел на китайский статьи Ленина о Толстом, представил соотечественникам Луначарского — критика, литературоведа, философа, еще в дни своей учебы в русском институте в Пекине прикоснулся к переводу Толстого.

Он был человеком марксистски образованным. Личное мое мнение: Лу Синь влиял на Цюй Цюбо как художник, а Цюй Цюбо на Лу Синя как марксист — Лу Синю были интересны мысли молодого коммуниста по вопросам искусства, философии, естествознания. Не было сферы, в которой бы Цюй Цюбо не произвел впечатления на Лу Синя глубиной знаний. Существовала область, где взгляд Лу Синя на Цюй Цюбо был особенно пристален — речь идет о профессиональных данных литератора. Что говорил Лу Синь о своем друге? Помню, как однажды, неожиданно прервав беседу, сел за мой письменный стол и, не вставая, написал статью. Написал и тут же передал мне рукопись. Что можно сказать? Убедительно. Статья родилась на глазах... И мысль, явившаяся толчком к статье, и замысел темы, и то, что можно назвать поиском композиции, и сама статья, ее физические формы, ее грани...

Когда я думаю над происшедшим в те дни в Шанхае, над природой происшедшего, над психологией происшедшего, вижу Лу Синя в его сумеречной келье, в которую он ушел, спасаясь от гоминьдановских

собак, и газетный листок на столе с сообщением о казни друга...

Мы простились с Цао Цзинхуа. Я взял своего Пушкина, потуже обернул в бумагу и, распахнув плащ, спрятал. Всю дорогу до гостиницы чувствовал на груди твердый гипс скульптуры.

Уже много позже этой встречи, просматривая том с эпистолярным наследием Лу Синя обнаружил три письма к Цао Цзинхуа. Ну разумеется, письма обращены к главному, что определяло отношения друзей: переводам с русского. Упомянуты имена Горького, Павленко, Шагинян, Серафимовича. Лу Синь пишет Жу Чжэню (псевдоним Цао Цзинхуа), имея в виду чанкайшистский террор в Шанхае: «Журналы трепещут от страха». Тут было и письмо от 17 октября 1936 года, что помянул Цао Цзинхуа. Если учесть, что Лу Синь скончался 19 октября, то это, возможно, последнее, что написано его рукой. Можно только поражаться мужеству писателя, который по существу на смертном ложе мог написать: «Эта болезнь хоть и неизлечима, но в моем возрасте неопасна. В один прекрасный день я почувствую себя здоровым. Главное не беспокойтесь».

## Запись третья — Ай Цин

Моим собеседником теперь был Ай Цин. Незадолго до поездки я читал стихи поэта в русских переводах. Стихи показались мне тем более интересными, что в них китайская традиция соотнеслась с европейской. Позже я понял, что тут есть свое объяснение: поэт жил во Франции, где учился живописи, знал западную поэзию... Ай Цин принимал меня дома. Верно ли отложился портрет Ай Цина в моем сознании? Тридцать лет, минувшие с тех пор,— это тридцать лет. Помню, что я увидел рослого, складного человека, радушного, может быть, даже откровенно улыбчивого, если память мне не изменяет, довольно хорошо изъяснявшегося по-французски. Завершив встречу, Ай Цин вызвался проводить меня, и мы смятенными пекинскими сумерками прошли несколько кварталов вдвоем.

У меня осталось впечатление об этой встрече как об очень открытой — уже теперь, исследуя даты последующей жизни Ай Цина и, естественно, обратив внимание на то, что, как было недавно сказано известным китаистом Л. Черкасским, «в 1957 году поэт внезапно умолк, как птица, подстреленная на лету», я ловлю себя на мысли: ведь это произошло в том самом 1957 году, когда я был у Ай Цина.

Но я, кажется, забежал вперед.

Великое оружие Ай Цина — его поразительная искренность. Его лирика так действенна потому, что в ее первосути именно искренность. Читатель бы остался равнодушным к стихам Ай Цина, если эти стихи лишить искренности, которая сообщает сердцу токи чувства, несет огонь, способный сжечь равнодушие... Бесценное достоинство стихов Ай Цина — их способность сомкнуть два начала: мысль и чувство, которыми живет истинная поэзия.

У Ай Цина это была не просто мысль, несущая нестандартное начало, мысль, в которой глянуло откровение нашего века, мысль, обновляющая, она, эта мысль Ай Цина, несла большее: идеал ратоборца нового мира. Ну разумеется, в китайскую литературу пришел крупный поэт-гражданин, скажу больше, поэт революции. Своеобразным поэтическим и гражданским манифестом Ай Цина явилось его представление о том, как он видит современную поэзию и место поэта в ней.

«Поэзия — полпред свободы. Голос поэзии — голос свободы. Смех поэзии — смех свободы... Поэты, вставайте! Отдадим нашу жизнь мужественной борьбе с мерзостью и тьмой...»

Надо же, чтобы айциновское, одновременно набатное и вещее «Поэты, вставайте! Отдадим нашу жизнь мужественной борьбе с мерзостью и тьмой» предрекло то, что поэт испытал в течение двадцати одного года (двадцати одного!), став в собственной стране гонимым. «...Иногда мне кажется, что я прошел сквозь длинный черный сырой тоннель, сам даже не знаю, как можно жить после этого...» — писал он позднее. И еще: «В 1969 году, уже во время «великой культурной революции»,— вспоминает Ай Цин,— в моем доме учинили погром, много рукописей конфисковали». Проникнув в смысл этих строк, я поймал себя на мысли: «Да не в этом ли доме я был в феврале пятьдесят седьмого года? Если в этом доме, то есть резон спросить себя: могли бы мы тогда подумать, что такое возможно? Нет, не только я. Ай Цин мог ли тогда подумать об этом? А между тем в феврале пятьдесят седьмого я видел его, полного, как мне казалось, сил физических и творческих, во власти всемогущего вдохновения, без которого нет поэта, окрыленного тем всесильным, что делает художника счастливым...

Но вернемся к встрече. Быть может, время размыло ее детали, но помню, что мы сидели за столиком, покрытым необыкновенным китайским лаком, на котором не остается белесых пятен, если столешницы коснуться горячим железом или залить ее крутым кипятком, и я думаю о творческом пути поэта, его постепенном и верном восхождении, его становлении. Я знал поэзию Ай Цина — он у нас широко печатался,— не раз я слышал его знаменитый «Разговор с углем» и его неодолимо скорбное и, конечно, символическое «Снег падает на землю Китая». А как это звучит в чтении поэта? И вот мы сидим за столиком, на полированной поверхности которого отсвет неяркого пекинского февраля, и Ай Цин читает стихи,— кажется, что философский зачин «Разговора с углем» пробуждает саму китайскую древность.

— «Ты где живешь? — В тысячелетних склепах, /Под толщей гор тысячелетних./ — Ты очень стар?/ — Прошедшими веками./ Со мною не сравнится этот камень./— Когда ты смолк?/ — В тот час явилась взору /Медлительная туша динозавра/ И в первый раз развитье знаменуя, /Корежило кору земную./— А ты не мертв?/ — Живее нет меня!/ Но только/ Дайте мне огня!»[1].

Это неожиданное «Но только /Дайте мне огня!» сообщает вековой устойчивости ка-

[1] Здесь и далее стихи даны в позднейших переводах Л. Черкасского.

менных пластов движение, а вместе с тем и неукротимость жизни, точно свидетельствуя: все пронизано дыханием жизни, природе чуждо мертвое.

И конечно же, даже у Ай Цина нет другого стихотворения, которое бы так точно передавало великую стужу времени, объявшую на десятилетия Китай,— поистине ледяное дыхание дней, не пощадивших и поэта.

«Снег падает на землю Китая, /Холод сковывает Китай... /Ветер /Словно измученная старуха, /Вытягивает ледяные пальцы,/ Дергает за полу халата /И бормочет без устали/ Старые как мир слова.../ В эти морозные дни и ночи /Старые матери наши, /Скорчившись, стонут /Где-то в чужих углах, /Далеко их судьба занесла! /Будто они иноземцы.../ Снег падает на землю Китая, /Холод сковывает Китай... /Сигнальным огнем /Сжеваны снежные ночи равнин, /Пахари лишились скота, /И земля у них отнята,—/Сгрудились /В грязном тупике /Безнадежности; /Большая земля неурожайного года/ К темному небу /В мольбе /Протягивает дрожащие руки. /Муки и беды Китая /Огромны и бесконечны, как снежная ночь! /Снег падает на землю Китая, /Холод сковывает Китай...»

И наконец, горестным аккордом звучат заключительные строки:

«Китай, /Написанные в ночи, /Без единого огонька, /Смогут ли слабые строки мои /Хоть немного тебя согреть?»

Ай Цин читал — голос и глаза своеобразно помогали ему донести смысл стихотворения до сознания человека, который китайского не знает, но стихи Ай Цина помнит, и этого достаточно, чтобы они воскресли в сознании вновь.

Вспоминая встречу, вижу, что стол украшал, как мне казалось, не фарфоровый, а фаянсовый чайный сервиз, в ручной росписи которого присутствовали народные мотивы — красота виделась даже не в рисунках, а в красках, в их сочетании. Как мне подумалось, фаянс держал тепло — чай, как в термосе, остывал медленно.

А между тем разговор медленно продвигался к Лу Синю — я был заинтересован в таком развитии диалога и, как мог, этому способствовал. Беседуя с Ай Цином, я еще не знал, что одна из содержательных встреч, которая меня ожидает в Китае, будет посвящена теме: Лу Синь и китайская образованность, Лу Синь и грамотность народа. Я говорю о встрече с Чжэн Чжэньдо, видным исследователем современной китайской словесности, отдавшим немало сил и постижению Лу Синя.

## Запись четвертая — Чжэн Чжэньдо

Короткое отступление: в лусиневском томе, где собрано эпистолярное наследие писателя, напечатано девять писем, адресованных Чжэн Чжэньдо. Первое датировано 5 февраля 1933 года, последнее — 2 июня 1933 года. (Довольно часто Лу Синь писал письма ночью, не отказывая себе в том, чтобы упомянуть об этом рядом с датой. Вот и последнее письмо, посланное Чжэн Чжэньдо, помечено: «Ночь».) Письма касаются великой страсти Лу Синя, которая владела и Чжэн Чжэньдо: искусства гравюры. Лу Синь был знатоком ксилографии, при этом не только китайской. Его суждения об искусстве гравюры на дереве, в частности в письмах к Чжэн Чжэньдо, поражают изысканностью оценок. Чжэн Чжэньдо, чьи профессиональные интересы были в немалой степени обращены к древнему искусству Китая, развивал в своих письмах тему старинной китайской гравюры.

Однако вернемся к встрече с Чжэн Чжэньдо. В феврале пятьдесят седьмого нашему собеседнику не было еще шестидесяти и он был в расцвете творческих сил. Чжэн Чжэньдо слыл у себя на родине знатоком китайской и мировой литературы; он совершенствовал свои познания в мировой словесности вначале во Франции, потом в Германии и Англии. Знание западной литературы и европейских языков Чжэн Чжэньдо обратил на исследование родной словесности, создав четырехтомную историю китайской литературы. Подобно Лу Синю, он сделал своей специальностью изучение истории китайских литературных жанров, включив в круг этих жанров и драматические. Он слыл в Китае одним из тех, кто проник в историю литературных связей с Индией. Он взял на себя значительный труд по составлению и редактированию «Библиотеки мировой литературы». Как удалось понять из предыдущих бесед, именно Чжэн Чжэньдо мог бы помочь проникнуть в творческую лабораторию Лу Синя.

Если говорить о чисто человеческом впечатлении, то Чжэн Чжэньдо являл собой тип университетского профессора, сформировавшегося не столько в веке нынешнем, сколько минувшем — ну разумеется, Чжэн Чжэньдо к минувшему веку не имел отношения, но это время почему-то ощущалось во всем его облике. Давно замечено: профессорская элита из стран Востока, побывавшая на Западе, особенно чувствительна к такого рода «университетской экзотике» — ей подчас хочется выглядеть не только старше, но и старомоднее, чем она есть на самом деле.

— Как это часто бывало с Лу Синем,— начал свой рассказ Чжэн Чжэньдо,— он при очень скромном образе жизни старался сочетать преподавание, дававшее ему некоторые средства к существованию, с учебой, не делая тайны из того, что посещает лекции иных факультетов на положении вольнослушателя. Так было и в Пекинском университете, если память мне не изменяет, в двадцать третьем — двадцать четвертом. Лу Синь преподавал на факультете китайского языка и раз в неделю слушал лекции по теории прозы. Мне казалось неслучайным, что его увлекла именно эта тема: Лу Синь, мастер архитектоники китайской прозы, проник в тайны сюжета и с редким умением подчинял его логике развития образов. Конечно, многое он постиг сам, создав свод законов архитектоники произведения, которому следовал неукоснительно. Но, человек скромный и в высшей степени взыскательный, он не переоценивал своих сил и пошел вольнослушателем на факультет истории китайского романа и рассказа.

Должен признаться, что интересы Лу Синя увлекли и меня,— продолжал собеседник.— «Что надо знать, чтобы писать?— спрашивал я Лу Синя.— Что должно явиться источником?»

Человек деликатный, он щадил мое самолюбие, однако и в этом случае был принципиален: «Не переоценивай того, что написал, найди в себе силы уничтожить, уничтожай безжалостно...» Смягчившись, он говорил: «Конечно, нет рецептов на все случаи жизни, нужно больше читать, учиться видеть, уметь наблюдать...» Но вот что интересно: однажды Лу Синь произнес нечто противоположное тому, что говорил только что. Он сказал: «Конечно, чтение дает очень многое, но нельзя полагаться только на чтение, главное — строй взглядов, мировоззрение. Мировоззрение!» Это был новый Лу Синь... Он хорошо чувствовал краски,— неожиданно произнес мой собеседник.— Как я понимал Лу Синя, литература должна быть особенно расчетлива в умении расходовать краски — художнику нужно уметь остановиться!..

Лу Синь весь в своих произведениях и, конечно же, в себе самом — и одно и другое мало изучено...— продолжал мой собеседник.— Чтобы полнее постичь произведения Лу Синя, надо исследовать его книги, соотнося их с личностью писателя, чертами его характера... Если бы вам удалось наблюдать его близко, вы бы обратили внимание на то, что он был не очень-то веселым человеком, хотя любил говорить о веселых вещах. Ничто так не занимало его, как природа китайского рассказа,— он полагал, что тут неоглядный простор для раздумий. Убежден, что до сих пор мы еще не постигли всех глубин материала, относящегося к этой проблеме. Он принадлежал к тем писателям, которые считали, что нет более ответственного дела, чем писательство. Он единственный, кто мог бы собрать антологию китайского рассказа с древнейших времен, проследив тенденции его развития: образ, мысль, особенности сюжета, характер повествовательного текста и диалога, способы развязки сюжета, эффект нагнетания сюжета, эффект неожиданности... Можно только сожалеть, что работа по исследованию рассказа, в частности рассказа эпохи Хань, начатая Лу Синем, не подхвачена кем-либо из крупных литераторов... Полагаю, что величайшей личной трагедией Лу Синя, которая разрывала ему сердце и которую, хочу думать, он унес в могилу, являлось то, что ему не удалось осмыслить и довести до конца все, что он вынашивал десятилетиями, по поводу истории китайского рассказа... Но Лу Синь не был бы Лу Синем, если бы...

Да, вопрос был поставлен именно так: Лу Синь не был бы Лу Синем...— заметил Чжэн Чжэньдо, продолжая рассказ.— Наверно, тут надо говорить о сложном психологическом конфликте, который перерос в конфликт социальный и оказал решающее влияние на строй взглядов молодого Лу Синя. Семья Лу Синя в том же Шаосине занимала достаточно привилегированное положение, пока не произошло несчастья с его дедом, что до сих пор недостаточно исследовано и лишает меня возможности говорить об этом более подробно. Как бы то ни было, а семья вдруг лишилась всех прав и должна была испить горе полной чашей. Некоторые из биографов писателя называют этот эпизод в жизни Лу Синя катастрофой, другие же полагают, что произошло нечто такое, что катастрофой назвать нельзя и что, по существу, показало Лу Синю жизнь народа в ее истинном свете. Так или иначе, а начало новой биографии Лу Синя помечено этим событием. Тут сыграло роль его пребывание в Японии, куда он уехал на учебу в медицинское училище,— Япония с ее более высокой формой городской жизни и более острой классовой борьбой в какой-то мере открыла ему глаза на положение в мире: он вернулся в Китай, исполненный страстного желания бороться за освобождение... И это не пустая фраза: именно за освобождение Китая...

Рассказ Чжэн Чжэньдо был оборван на патетической ноте. Мой собеседник, на первых порах показавшийся мне настолько старомодным, что его можно было принять за посланца века минувшего, вдруг коснулся проблемы, которая вначале была литературоведческой, потом стала социальной... Да, если говорить об истоках социальных метаморфоз Лу Синя, наверно, надо обратить внимание на начало века, не обойдя и той поры в жизни писателя, когда судьба бросила его в Японию, на какое-то время убедив, что первопричиной всех несчастий являются физические недуги,— в Сендае, что у самого тихоокеанского побережья Японии, Лу Синь изучал медицину... Пройдя едва ли не по всем лусиневским тропам, я не обошел и Сендая... Но об этом впереди.

## Запись пятая — Мао Дунь

Цикл моих встреч был близок к завершению — предстояло увидеться с Мао Дунем. Как я мог догадаться, у него тут были свои замыслы: на правах хозяина (я, в сущности, был его гостем — высокое положение министра культуры он сочетал с обязанностями главы писательского союза) он хотел спросить гостя из СССР, как удалась поездка, а заодно и сказать свое слово о Лу Сине.

Но прежде о Мао Дуне.

У каждой большой литературы есть писатель, на которого возложена труднейшая задача летописца эпохи. Достаточно проникнуть в существо романного творчества Мао Дуня, объявшего более чем переломное двадцатилетие в жизни Китая (1927—1945), чтобы понять, что в лице Мао Дуня мы имеем именно такого писателя. Речь идет, как понимает читатель, о трилогии Мао Дуня, включившей его знаменитые романы «Разочарования», «Колебания», «Поиски», а вслед за этим — о романах «Радуга» и «Перед рассветом». Вместе с тем все той же задаче социального постижения времени посвящены романы «Весенний шелкопряд», «Суровая зима» и «Осенний урожай».

Этот цикл произведений маодуневской большой прозы завершает роман «Разложение», в котором воссоздана картина рас-

пада общественных и нравственных устоев личности, связавшей себя с судьбой уходящего класса,— если быть точным, речь идет о социальной основе предательства... В многосложном мире китайской действительности, потребовавшей от писателя масштабного мышления, поистине потрясает образ юной героини романа «Радуга» — храброй дочери Китая, которой, в ее порыве защитить свободу народа, ничего не страшно. Что мне показалось сильным в этом ряду маодуневской прозы, что действительно проникло в душу, что явилось истинным обретением для самого Мао Дуня-художника? Очень верные наблюдения писателя-интеллектуала, сумевшего с одинаковой глубиной и точностью воссоздать психологию времени и человека.

Мне хотелось сделать это отступление, чтобы дать возможность читателю представить, как много для меня значил сам факт встречи с Мао Дунем, художником и государственным человеком. Среди присутствующих я увидел многих из тех, с кем беседовал в эти дни,— наш разговор, которым с превеликим умением руководил Мао Дунь, существенно уточнил содержание специального номера, уточнил и, пожалуй, обогатил.

Сколько было Мао Дуню лет в тот пасмурный февральский полдень пятьдесят седьмого года, по-пекински тусклый, с сумеречным небом и моросящим дождем? Шестьдесят а может, шестьдесят один. Он был одет в полувоенный костюм цвета густого хаки, столь принятый в ту пору среди китайцев, занимавших официальное положение. Но Мао Дунь производил впечатление человека глубоко штатского: негромок, мягок, терпим — впрочем, если хозяин полагал, что предмет беседы требовал неспешности, то был несомненно прав.

Я попросил Мао Дуня предпослать специальному выпуску журнала свою статью, посвященную китайской литературе, ее прошлому, настоящему, будущему. Немало смутившись, Мао Дунь оглядел присутствующих, будто испрашивая у них согласия, и своим тишайшим голосом пообещал такую статью написать, не лишив себя соблазна заглянуть в записную книжку и тут же уточнив, что сможет выполнить свое обещание не раньше июля,— забегая вперед, могу сказать, что в конце июля статья Мао Дуня была в редакции.

Осталось подступиться к главной теме — Лу Синь.

Точно чувствуя, что эта часть нашего диалога чуть-чуть интимна, гости Мао Дуня оставили нас вдвоем.

— Не находите ли вы, что личность творческая, возникая, должна опереться на другую личность, не менее творческую? — вдруг спросил Мао Дунь.— У колыбели поэта должен быть поэт, можно сказать даже больше: поэт рождает поэта... Не думаете ли вы, что если есть ответ, который надо отыскать, постигая художника, то его, этот ответ, надо искать, например в душе матери, в тайниках этой души?.. В том вечном, что она дала своему чаду, сотворив его характер, личность, его нравственную ипостась. Поэтому, отвечая на ваш вопрос о Лу Сине, я хочу сказать: поезжайте в Шаосин, там сам воздух напоен Лу Синем. Да, да если вы хотите представить Лу Синя воочию, рассмотрев круг людей, которые вызвали его к жизни, вам обязательно надо съездить в Шаосин.

Мао Дунь говорил, а я продолжал наблюдать его. Мой собеседник показался мне много младше своего возраста. Этому в немалой степени способствовали энергия его походки и жестов. Нельзя было не подумать: это свойственно людям, для которых ощущение полноты жизни, а следовательно, радости неотделимо от труда — передо мной был великий труженик. И еще думалось: есть люди, которые, уступая натиску лет, спешат украсить себя атрибутами возраста — почтение внушалось и размерами бороды. «Мушкетерские» усики Мао Дуня, тонкие, как бы четко прорисованные, слишком откровенно игнорировали это правило, сообщая моему собеседнику редкую для его возраста моложавость.

Мао Дунь, как я понял, был осведомлен о моих беседах с писателями. В спектре проблем, возникших в ходе этих бесед, его интересовал вопрос отнюдь не второстепенный: Лу Синь и интеллигенция.

— Все, что делал Лу Синь, было необыкновенно полезно революции,— сказал мне в тот день Мао Дунь.— Многим китайским интеллектуалам именно пример Лу Синя помог выбрать путь...

Вот и Шаосин, а в нем дом писателя, а в этом доме комната матери. Входишь в комнату — и такое ощущение, что женщина только что покинула свое тихое и чистое обиталище. Кто-то вспомнил, что именно здесь она принимала земляков из Пинцяо (так называлась ее родная деревня, в тридцати ли от Шаосина,— мы еще побываем там). Они сидели вот на этой табуретке, укрытой самодельным ковриком, ее земляки, а мать Лу Синя располагалась напротив, слушая, что произошло в деревне с тех пор, как она была там последний раз... Понимала, что не к лицу ей, матери писателя, быть неграмотной, и обучилась грамоте. Шила домашнюю обувь сыну, расшивая ее белой и золотой ниткой. После смерти отца круг тех, кто приходил в дом Лу Синя, заметно сузился, но мать наказала сыну «блюсти достоинство». Тот, кто перестал бывать в доме, перестал бывать в нем вовсе. Но и Лу Синь не лишал себя права советовать матери. Он писал: не следовать нелепым правилам прошлого, не бинтовать ног искусственно их укорачивая, не обрезать волосы... Мать много читала, любила говорить о прочитанных книгах с сыном, не расставалась с книгами и в родной деревне...

Я обхожу комнату еще раз: вещи точно отразили память о матери писателя: шестигранная цветочница, расписанная затейливым узором, медный утюг в виде сковороды, сосуд для меда, полукастрюля-полутермос для хранения пищи, металлический кувшин для чайного листа, сундук для одежды... Мир вещей к которым не прикасались годы мир вещей вдруг воскресивший, казалось бы, навсегда ушедшее время. Наверно, вещи, что обступили нас, не отличаются особой изысканностью, но они, если так можно говорить о вещах, полны

достоинства. Полка книг, большая полка, где книги сына стоят рядом с книгами матери,— что-то в этом символическое, что-то такое, что поистине нерасторжимо...

Помнится, Лао Шэ, а вслед за ним и Мао Дунь, помянул и не только Шаосин, но и Пинцяо, куда Лу Синь уезжал каждое лето и где обрел возможность постигать зримо мир крестьян, ставших позднее его героями,— мир бедного Китая, мир большой крестьянской страны, столь бесценный для народного писателя... Не знаю, был ли бы у Китая его великий сын, художник и гражданин, если бы на юг от Шаосина не было Пинцяо...

На заре, когда здешнее солнце, по мартовской рани оранжевое, встало над Шаосином, я занял место в лодке-плоскодонке, крупной, надежно сколоченной, рассчитанной на долгое плавание. У четырех весел лодки, сбитых из крепкого дерева, заняли места двое гребцов, старик и юноша, по всему — отец и сын. Вопреки разнице лет, как мне показалось, измеряемой многими десятилетиями, их обнаженные по пояс тела были одинаково густо-кофейными, молодыми. Тот, что помоложе, сел ближе к корме лодки, старик — к носу: не иначе у старого гребца была и миссия лоцмана, он лучше знал отмели и глубины канала.

Я сел рядом со стариком.

— Долог путь?..

Старик взглянул на солнце, которое все еще удерживалось над отметиной восхода, потом, не отнимая взгляда от неба, совершил путешествие с востока на запад.

— Когда солнце придет вот туда,— он отхватил едва ли не половину небесного свода,— мы как раз будем в Пинцяо...

Старик налегает на весла — в том, как он это делает, есть свои рассчитанные паузы, свой ритм.

Старый гребец помнит семью Лу Синя, всю семью. Вот и сейчас он потревожил память. Сколько раз вот так же он возил в Пинцяо юного Синя на такой же лодке-плоскодонке? Сколько раз наблюдал трогательный обряд расставания с отчим домом? Именно трогательный...

...Отец не любит, когда жена или сын отлучаются из дому, и уже за несколько дней до отъезда заметно отстраняется от участия в домашних делах, удаляется в кабинет и остается там дольше, чем обычно. Синь, конечно, замечает это, но в нем борются два чувства: ему хочется и побывать в Пинцяо, и не обидеть отца. Как ни увлекательны последние приготовления к поездке, но Синь нет-нет да и прорвется в кабинет к отцу. «Папа, милый папа, не скучай, я приеду, я скоро приеду...» Но отец, как и прежде, сдержан на ласку. В лучшем случае, не отрываясь от книги, он протянет руку и, коснувшись ею упрямого вихра Синя, махнет рукой, будто хочет сказать: «Иди, сынок, я останусь». Сын возвращается тотчас. Мать поднимает на него глаза, будто спрашивает: «Ну как? Сердится?» Сын в подтверждение кивает головой, мать бежит в библиотеку: «Ты же пойми, что и у меня есть мать... Я обещаю тебе не задерживаться... и недели». Но отец неумолим: «Я хочу чтобы все мои были дома...»

Теперь пришел черед сына спрашивать: «Ну как?» Мать не отвечает. Еще с большим усердием и тщательностью она принимается упаковывать многочисленные свертки. Такое впечатление, будто она готовится не в Пинцяо, а в дальнее и тяжелое путешествие за моря и горы. Она берет в поездку все, решительно все, будто едет в место, где ничего нет. Может быть, ей видится, как она приедет в родительский дом и расположится широко, с достатком, как принято человеку, обладающему и семьей и положением, а бабушка взглянет на нее и скажет: «Это хозяйка... Это семья...» Сборы закончены. Синь прислушивается к каждому звуку, доносящемуся из библиотеки. «Неужели отец не выйдет, не проводит их?» Но вот будто захлопнулась книга, отодвинулся стул и тяжелые шаги отца разнеслись по дому. Отец вышел на крыльцо, обнял мать, взлохматил чуб сына: «Только, ради бога, не задерживайтесь и будьте осторожнее...»

Бабушка встречает гостей на пороге фанзы. Она поцеловала дочь, внука. Видно, бабушка была всему дому голова. Ее понимали здесь с полуслова. Она держала дом в строгости необычайной и не баловала детей похвалами, как, впрочем, и взрослых. Даже мама, всегда такая самостоятельная и твердая, будто становилась меньше в присутствии бабушки. Впрочем, с детьми бабушка была много мягче, чем со взрослыми. Когда взрослые отчитывали детей, бабушка осторожно брала ребенка под защиту: «Ничего, ничего, на первый раз мы ему простим, а впредь он будет умнее».

Лодка медленно сдвинулась с места. Видно, канал был рукотворен, построен в незапамятные времена — древняя дорога Китая...

Мы прибыли в Пинцяо, когда мартовское солнце, еще более оранжевое, чем утром, невысоко встало над западной окраиной неба. На пристани нас ждала половина деревни — знак гостеприимства. Вот так ватагой, предводимые стариком-гребцом, пошли к дому Лу Синя. В перспективе деревенской улицы возник дом с бамбуковыми шторами — ярко-желтыми, заметно утратившими цвет свежего бамбука,— за плечами дома маячила тьма лет. Прежде чем взойти на крыльцо, оставалось, как принято здесь, поклониться дому в пояс. Прежде это сделал старик, потом я. Низкий поклон дому, поклон Лу Синю, всему великому и святому, что лежало у первоистоков писателя.

Прав был Мао Дунь: здесь действительно сам воздух напоён Лу Синем...

## В Сендае у Лу Синя

### Вместо эпилога

Вот и заключен рассказ. Но может быть, есть резон в своеобразном эпилоге, как обещал, о Лу Сине в Японии... Весной минувшего года был в этой стране. Не мог не вспомнить: здесь начинал Лу Синь. Не просто начинал, здесь совершился перелом в его взглядах на жизнь и призвание.

Итак, Сендай. Рядом со мной был мой старый спутник по японским дорогам Кусака-сан, показывавший мне страну еще в семидесятом. Романист, чей последний роман печатала «Акахата», Кусака-сан и известный японский русист, одаривший

здешнего читателя многими переводами с русского. В какие-нибудь два с половиной часа новейшая железная дорога, построенная на сваях, перенесла нас на тихоокеанское побережье, к стенам Сендая. Нас встречал человек, который всем своим видом напоминал отца города — так он был почтенен, так седовлас, с таким уважением относились к нему сендайцы. Однако кем был Михару-сан? Истинный сендаец, радеющий о нуждах города, он соединил в своем лице обязанности президента двух ассоциаций Сендая: «Япония — СССР» и «Япония — Китай». Как можно было понять, общественное положение Михару-сан во многом определяло его жизненную позицию: вчера он организовал сбор народных средств на строительство памятника Лу Синю и поставил этот памятник, сегодня он был занят идеей создания памятника русскому писателю Василию Ерошенко, человеку удивительной судьбы, другу Лу Синя, жившему в здешних местах и ратовавшему за дружбу с Россией.

В точном соответствии с позицией своего президента, нас встречали в Сендае активисты двух обществ, среди которых были и молодые профессора, посвятившие себя изучению Лу Синя.

У Михару-сан душа поэта: «Сендай надо смотреть с побережья». Следуя совету президента, выехал на берег океана. И в самом деле, необыкновенно красиво. С чем сравнить? Точно тучи, гонимые ветром, вдоль побережья легли острова, поросшие соснами. Сосны вычернили гряду островов, похожих на тучи-странники... Что-то есть от мятежного этого приморья и в Сендае — в его рощах, пологих скатах холмов. У нас возникла своя тропа, пересекшая и рощи и холмы,— лусиневская. В эти дни мы старались не отклоняться от нее. Куда она привела? В старинную аудиторию, высокую, как ангар, разделенную партами диковинной формы,— здесь в начале века Лу Синь слушал основы терапии. К дому, где жил писатель. Тут все как при Лу Сине: веранда и деревянная лестница, сбегающая к колодцу,— уголок старого города, кажется, что домик охранило в первозданном виде имя Лу Синя... «Отец говорил, что на заходе солнца Лу Синь перебирался со своими книжками на веранду»,— молодой хозяин вдруг улыбнулся — не иначе мы дали ему возможность вспомнить и отца. Однако заповедная тропа пересекла город и вернула нас в училище, в мемориальную комнату, в которой Сендай собрал все, что сегодня можно собрать о Лу Сине. Увиденное здесь, особенно в фотографиях (японская страсть!), в такой мере убедительно воссоздавало сендайскую пору в жизни писателя, что захотелось богатства комнаты сделать и достоянием наших знатоков творчества Лу Синя... И тогда произошло необычное: на стол лег более чем объемистый том: «Лу Синь в Сендае»... Оказывается, лусиневские богатства Сендая собрал этот том — мне оставалось поблагодарить здешних друзей и доставить столь ценную для постижения Лу Синя книгу в Москву...

Приезд советского литератора в Сендай явился для города своего рода сенсацией именно потому, что связывался с именем Лу Синя. Город увидел в этом новый знак в отношениях между СССР и Китаем, что не могло не радовать друзей наших стран, а они в Японии есть. В точном соответствии с происходящим, на другой день после нашего приезда почтенный Михару-сан явился в гостиницу с пакетом, в который была вложена цветная гравюра с панорамой древнего Сендая. «Это вам от здешнего аборигена, пожелавшего остаться неизвестным,— как я понял, ему близка цель вашей миссии в Сендай». Как ни скромен был этот жест, в нем, хочу думать, есть свой немалый смысл.

◆

# Критика

## АРАБСКАЯ ПРОЗА НАШИХ ДНЕЙ

**В последнее время все чаще говорят о взлете арабоязычной прозы — о новом арабском романе. Каковы же его отличительные черты, как связан он с великим наследием арабов — классической прозой, как отразились в нем сложные, нередко трагические судьбы арабских народов, вступивших на путь независимого развития? Эти вопросы — в центре предлагаемой читателю статьи советского литературоведа В. Кирпиченко. Ее дополняет интервью одного из самых известных писателей стран арабского Востока Ат-Тайиба Салиха.**

В. КИРПИЧЕНКО

## НАСЛЕДИЕ И ПОИСКИ НОВОГО

Последняя четверть века отмечена в литературах арабских стран интенсивным развитием жанра романа. Арабские критики, обычно весьма живо откликающиеся на каждое сколько-нибудь значительное новое произведение, признаются, что трудно уследить за потоком романов, издающихся в разных частях арабского мира, от Багдада до Касабланки.

Неизмеримо возросли общественное значение романа и интерес к нему со стороны читающей публики. Еще не так давно традиционным «диваном арабов» считалась поэзия. Из прозаиков общеарабским признанием пользовались преимущественно египтяне — основоположники современной литературы — Таха Хусейн, Тауфик аль-Хаким, «первый романист арабского мира» Нагиб Махфуз. Теперь же появилась целая плеяда писателей общеарабского масштаба. Это и египтяне Гамаль аль-Гитани, Юсуф аль-Куайид, Саналла Ибрагим, и сирийцы Ханна Мина, Хани ар-Рахеб, и палестинцы Гассан Канафани, Эмиль Хабиби, и иракцы Гаиб Туама Фарман. Абд ар-Рахман Маджид ар-Рубэйи, суданец Ат-Тайиб Салих, и алжирцы Ат-Тахир Ваттар и Абд аль-Хамид бен Хадука, и тунисцы Иззэддин аль-Мадани и Мухаммед Ларуси аль-Матви, и марокканец Мухаммед Зафзаф (не говоря уже о магрибинских романистах, пишущих на французском языке), и родившийся в Саудовской Аравии Абдаррахман Муниф, и живущий в Ираке палестинец Джабра Ибрагим Джабра, а также многие другие.

Арабский роман наших дней — прежде всего роман политический, злободневный, обращенный к самым острым и животрепещущим проблемам современной жизни. Хотя нельзя не упомянуть и об известной боязни «идеологизации», «абсолютных оценок» и «готовых идеологических формул», присущих некоторым авторам, принадлежащим к поколению 60-х годов, и более молодым. Эти художники слова исповедуют творческий принцип: «Писать только о том, что хорошо знаешь».

В поисках оригинальных художественных средств и приемов арабские романисты обращаются к разным источникам, круг которых постоянно ширится: это и новейший опыт мировой романистики, и — в последние годы все чаще — художественное наследие средневековой арабской литературы с ее богатой образностью, специфическими жанровыми формами и стилем повествования.

Собственно, связь литературы с наследием никогда не прерывалась, но до 60-х годов главное внимание сосредоточивалось на освоении эстетического опыта западной литературы, преимущественно европейской и американской. С начала второй половины века стали активно расширяться контакты с литературами других стран мира, в том числе — Азии, Африки и Латинской Америки. Взорам арабских литераторов открылось многоцветное полотно современной мировой культуры и литературы, сотканное усилиями разных народов. Это заметно изменило их самосознание. Образ Европы —

**КИРПИЧЕНКО ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВНА**

Советский литературовед и переводчик, кандидат филологических наук. Автор монографий «Юсуф Идрис» (1980), «Современная египетская проза 60—70 гг.» (1986) и статей о современной египетской литературе. Переводила с арабского произведения аль-Харири, Нагиба Махфуза, Юсуфа Идриса, Юсуфа аль-Куайида и др.

«держательницы ключей» мировой культуры — значительно потускнел. Одновременно возрос интерес к собственному прошлому, к художественной традиции.

Внелитературные, социальные истоки феномена «возврата к корням» следует искать в тенденциях «национализации» арабской общественной мысли, выявившихся в период после обретения независимости,— в них нашли отражение поиски самостоятельного, «третьего», пути социально-экономического развития.

Культурное наследие, вплоть до древнейших его пластов,— неисчерпаемая сокровищница образных и поэтических средств, которые могут обрести в современном художественном произведении любое политическое, философское, нравственное содержание, диктуемое потребностями времени и индивидуальным замыслом художника. Наследие выступает в качестве культуроохранительного фактора перед лицом неоколониалистской угрозы, идеологической и политической экспансии империализма. Но заложенные в нем традиционные культурные и нравственные ценности порой служат охранительным барьером и на пути проникновения передовых социально-преобразовательных идей нашей эпохи.

Когда арабская литература развивалась, «нагоняя» ушедшую вперед западную, для нее была характерна переработка сюжетов, мотивов, образов наследия в свете современной, идущей с Запада мысли. Арабской литературе наших дней, вовлеченной в общемировой литературный процесс, но подчеркивающей свое национальное своеобразие в нем, свойственно стремление отображать сегодняшний общественный опыт, осмысливать его с опорой на традиционные представления. Возникает своеобразное, «неотрадиционное» течение, ставящее задачей создание самобытного арабского романа, обладающего ярко выраженным национальным колоритом, «национальной формой».

Но при этом большинство арабских романистов рассматривает обращение к собственному литературному наследию как один из путей обновления романа, обновления, неотделимого от овладения всеми достижениями мировой романной культуры. Их искания находятся в русле исканий современного мирового романа, который, как известно, широко использует мифы, предания, легендарные и фольклорные образы. Поэтому вряд ли можно провести грань между писателями, ориентирующимися на наследие, и теми, кто тяготеет к сугубой современности. Чаще всего речь должна идти о том или ином, строго избирательном, виде синтеза традиционных и современных элементов в одном произведении — словом, обо всем том, что определяется в конечном итоге индивидуальностью автора и его мирочувствованием.

Пожалуй, первым, кто оценил сегодня выразительные возможности арабского средневекового повествовательного наследия, был Нагиб Махфуз, стилизовавший свой философский роман-параболу «Дети нашей улицы» (1959) под средневековую народную сиру — жизнеописание легендарного героя. Нравственно-философское содержание романа определялось размышлениями автора о возможных путях установления социальной справедливости в таком традиционном обществе, как египетское. Он обратился к опыту религиозно-реформаторских движений на Ближнем Востоке, начиная с глубокой древности, и пришел к выводу, объективно отрицающему социально-преобразовательные возможности религии, мессианскую роль легендарных религиозных героев-пророков.

Аналогичную задачу поисков справедливого и отвечающего египетским условиям общественного строя (при еще более решительном отрицании мироустроительной роли божественного откровения) ставил перед собой и Юсуф Идрис в пьесе «Фарфуры» (1964), написанной в духе народного уличного театра «самир». Обосновывая теоретически свой опыт в опубликованной им тогда же серии статей, Идрис отстаивал идею развития современных театральных форм в Египте с учетом «национальных корней», а их он предлагал искать не только в народном театре, но и в религиозно-обрядовых храмовых церемониях эпохи Древнего Египта.

Но поэтика обоих произведений, романа Махфуза и пьесы Идриса, синтезировала элементы традиционного наследия и новейших европейских художественных форм — философского романа-параболы в первом случае и театра абсурда — во втором. То же самое происходит во многих арабских книгах последних лет. Египтянин Гамаль аль-Гитани сочетал в романе «Аз-Зейни Баракят» (1971)[1] повествование в стиле средневековой арабской исторической хроники с приемами современного центростремительного психологического романа. Он же в «Землях аль-Гитани» (1981) облек злободневную политическую сатиру в форму географического «описания земель», а в трилогии «Книга откровений» (1983—1986) использовал стиль и образность суфийских сочинений, в которых, на его взгляд, присутствуют «редкостная способность спонтанного, бессознательного самовыражения» и «новый взгляд на человека»[2].

Во многих произведениях арабских авторов наших дней использованы повествовательные приемы знаменитого свода сказок «Тысяча и одна ночь». Их круговая, или «ящичная», структура — рассказ в рассказе — положена в основу романа сирийца Хайри аз-Захаби «Арабские ночи» (1980) и египтянина Хайри Шалаби «Ловкачи» (1985). «Тысячью и одной ночью» вдохновлялись сириец Хани ар-Рахеб в книге «Тысяча и две ночи» (1977) и глава движения за «арабизацию» романных форм Нагиб Махфуз в «Ночи тысячи ночей» (1982).

Считая, что «арабское содержание» романа уже создано, Махфуз призывает отказаться от подражательности Западу и в формах повествования. Речь идет о том, чтобы арабский прозаик мог самостоятельно, без опоры на западные жанровые стереотипы и в свете собственных историко-культурных и нравственных традиций ос-

[1] Русский перевод Т. Кузьминой. М., «Радуга», 1986. *(Здесь и далее прим. автора статьи.)*

[2] Гамаль аль-Гитани. Деяния праведников. «Аль-Хиляль», 1985, № 6, с. 74.

мыслять диалектику национальной жизни. Однако произведения самого Махфуза свидетельствуют, что его обращение к традиции происходит на базе хорошо освоенного и творчески переработанного мирового романного опыта, и лишний раз подтверждают, что изолированное развитие любой национальной литературы в наше время невозможно. Тем более что, руководствуясь принципом «писать лишь о том, что хорошо знаешь», и стремясь воплотить в романе индивидуальное видение мира, арабские авторы тяготеют и к созданию предельно емких, универсальных романных форм, способных вместить и глубины человеческой души, и политическую злобу дня, и явления исторической действительности. Отсюда — особая важность жизненной позиции художника, широты его кругозора.

Роман арабского прозаика, живущего в Израиле, Эмиля Хабиби «Странные происшествия, связанные с исчезновением Саида Абу ан-Нахса аль-Муташаиля»[3], увидел свет в 1974 году. Сам писатель объясняет замысел и форму книги так: «Верно, что желание использовать и развить наши традиционные национальные художественные формы родилось из условий, в которых мы живем. Но к этому следует добавить, что потребность установить связь с народом, помочь ему понять, что именно я хочу сказать, толкала меня на поиски особых эстетических средств, близких нашему народу». По мнению писателя, «арабский язык — главное достижение арабо-мусульманской культуры. Язык — это сокровище, это море. Наш язык — музыка и живопись одновременно. Моя любовь к арабскому языку многократно возросла благодаря опыту журналистской работы и литературным занятиям. Привязанность к арабскому языку укрепляется необходимостью противостоять опасностям, которым мы постоянно подвергаемся в Израиле».

Хабиби максимально использует экспрессивные возможности языка, образную силу слова — метафоры, сравнения, аллюзии, приемы анекдота, стихотворные и прозаические цитаты из средневековых и современных авторов. Само имя героя — это сочетание противоположных по смыслу понятий. «Саид Абу ан-Нахс аль-Муташаиль» в переводе означает «счастливец, отец несчастья, оптипессимист», что передает и двойственность натуры персонажа, и перипетии его существования — его сомнительную везучесть и несомненные злоключения.

Прием совмещения противоположных качеств — принципиальная черта стиля знаменитого средневекового автора Джахиза, прибегавшего к нему, чтобы осмеять литературных и идеологических противников. Аналогичный прием лежит в основе образности арабских плутовских новелл-макам, созданных в XII веке Абу Мухаммедом аль-Харири. Его герой, красноречивый и находчивый плут Абу Зейд ас-Сероджи, постоянно меняет обличье, представая то богобоязненным проповедником, осуждающим людские прегрешения, то грешником, свою же проповедь нарушающим.

Но разумеется, образность романа, обилие в нем намеков и иносказаний рассчитана и на подцензурные условия издания. Ибо задача художника не ограничивается возрождением и сбережением культурных традиций своего народа. Элементы наследия играют у Эмиля Хабиби важную функциональную роль, психологическую и политическую. Выявляя запечатленные художественным наследием черты национального характера палестинца (такую же задачу ставил перед собой Гамаль аль-Гитани в отношении своих соотечественников-египтян в романе «Аз-Зейни Баракят»), Хабиби хочет объяснить психологию человека, оказавшегося в условиях отчуждения от естественных национальных и гражданских прав, от национального существования. Одновременно он пытается и пробудить, всколыхнуть его сознание.

Писатель помещает своего героя в широкий контекст национальной истории и национальной психологии. В романе упоминаются многие исторические события, в особенности связанные с борьбой арабов против захватчиков и завоевателей.

Исторические факты и анекдоты, цитаты из средневековых авторов и мудрые изречения из Корана вплетены в рассказ о современности. Первый план занимает история злоключений, моральных падений и горьких раскаяний Саида Абу ан-Нахса аль-Муташаиля, человека слабого и малодушного, предавшего свой народ. Поскольку роман написан в форме посланий героя автору, иронический тон повествования оказывается прежде всего самоиронией, горькой насмешкой над собой, над собственной трусостью, над привычкой повиноваться, прислуживать власть имущим. Но существует и другой Саид, несгибаемый и мужественный борец. И о нем также идет речь в книге. Прием противопоставления взаимно исключающих друг друга начал у Эмиля Хабиби откровенно тенденциозен и подчеркивает активно наступательную позицию писателя. Наследие в его романе поставлено на службу национально-освободительной борьбе, зовет к сопротивлению.

Образ палестинца, стоящий в центре книги другого палестинского автора (живущего в Ираке), Джабры Ибрагима Джабры, «Поиски Валида Масуда» (1981), как бы «раздвоен», но в нем противопоставлены не приспособленец и борец, как у Эмиля Хабиби, а два плана — реальный и символический. Символично уже имя героя («Валид Масуд» — значит «рожденный счастливым»). В нем заключена и мысль о счастливом детстве героя на родине, и понимание автором предназначения человека на земле — быть счастливым.

Валид Масуд родился в Палестине, с детства любил книги, музыку, итальянский язык. Получил образование в монастыре (он христианин), готовил себя к духовной карьере и мечтал о перестройке мира на основах христианской любви к ближнему. Но, поняв, что религия не в состоянии переделать мир, он ушел из монастыря. Живя после рокового для Палестины 1947 года вдали от родины, в Багдаде, он работает в банке и одновременно пишет публицистические статьи и философские эссе. Основной труд его жизни — книга «Человек и

[3] См. русский перевод Д. Микульского. М., «Молодая гвардия», 1981.

культура». Его занимают поиски «равновесия», которое он понимает как возможность оставаться человеком в мире, где господствуют ненависть и насилие. В философском плане равновесие означает для него осуществление в человеческой личности синтеза рационального и необходимого с иррациональным, но также необходимым.

Все это мы узнаем из воспоминаний друзей Валида, мужчин и женщин, собирающихся вместе после его неожиданного и загадочного исчезновения. Валид по телефону предупредил своего друга Джавада аль-Хусни, что уезжает и долго не будет подавать о себе вестей. А через несколько дней его автомашину нашли в пустыне, недалеко от сирийско-иракской границы. В кабине осталась лишь кассета с записью «мыслей вслух» Валида, сумбурного, отрывочного разговора, который человек может вести сам с собой в минуты крайнего возбуждения.

Задавшись целью воссоздать по крупицам цельный образ Валида Масуда, Джавад аль-Хусни хочет понять, что же представлял собою этот человек и какое решение он мог принять — ибо ясно, что его он вынашивал всю свою предыдущую жизнь. Странствует ли Валид по столицам мира, сражается ли на оккупированной земле, или, может быть, убит или покончил с собой? Возможен любой вариант судьбы героя.

Будучи реальной личностью, Валид Масуд воплощает в то же время обобщенный образ араба-палестинца: в нем словно соединились прошлое и настоящее арабов, их историко-культурное наследие, трагическая сегодняшняя судьба, а также органически усвоенные черты культуры Запада. «Шекспир — брат аль-Мутанабби [4], и каждый из них — бог слова». В этих словах героя романа выражено авторское понимание единства мировой культуры, которое и обусловило символику образа Валида Масуда и композиционное построение романа. Привлекая для показа становления личности своих персонажей факты и явления средневековой арабской истории и культуры, Джабра особенно настаивает на их общечеловеческом содержании.

Круговая композиция, рассказ в рассказе, наличие обрамляющего повествования (от лица Джавада аль-Хусни) сближают роман с повествовательной традицией «Тысячи и одной ночи». Но вместо прямого столкновения противоположностей, в ходе которого четко определяется авторская позиция (полюсы добра и зла, как у Эмиля Хабиби), Джабра Ибрагим Джабра использует принцип различных точек зрения, из которых не складывается (автор и не ставит себе такой задачи) цельный образ отсутствующего героя. Существование Валида Масуда как бы на двух уровнях, реально-биографическом и символическом (символ палестинской трагедии, совести арабов, вечного искателя и бунтаря), сохраняется на всем протяжении романа.

Но в конце концов главным в нем оказывается философский план — поиски гуманистического начала в человеке, признание принципиальной важности его жизненного выбора. Мы так и не узнаем, какой индивидуальный выбор сделал Валид Масуд, но мы знаем направление его исканий. Оно определяется убеждением, которое заняло в его сознании место утраченной религиозной веры: чтобы переделать мир, надо переделать людей, но чтобы переделать других, надо начать с себя. При всей, казалось бы, ограниченности этого принципа не будем забывать, что автор отнюдь не исключает такой возможности: Валид мог выбрать путь вооруженной борьбы. В общем контексте творчества Джабры Ибрагима Джабры это несомненный шаг к признанию действенной роли человека в мире. Вспомним, что героев его прежних произведений, в частности Вади Асафа (из известного романа «Корабль», 1970), отличали как раз черты пассивной созерцательности и отрешенности. Вылепленный во многом по образцу героя экзистенциалистского романа, он все же был типичным героем палестинской «литературы плача», оплакивания потерянной родины, утраченных «корней», оборванной истории.

Валид Масуд ощущает себя неразрывно связанным с родиной — там умер и похоронен его отец, там погиб сражавшийся в рядах фидаев его сын. Он ощущает себя и наследником богатейшей истории и культуры, сформировавшей его не только как палестинца и араба, но и как человека. Культурное наследие служит источником исторического оптимизма и гуманизма.

Неотрадиционализм как попытка возрождения повествовательного наследия особенно заметно проявил себя в наиболее развитой из арабских литератур — египетской.

По словам Гамаля аль-Гитани, толчком к написанию «Книги откровений» стала для него смерть отца, причинившая ему острую душевную боль и впервые заставившая почувствовать, чем в действительности являлся для него отец. Так возникла автобиографическая, семейная линия романа.

Но вопрос о слишком позднем осознании человеком истинных ценностей и значения другого человека связан для писателя не только с отношением к отцу. Он возник и в связи с переоценкой им политической и национальной роли Гамаля Абд ан-Насера[5], которая также произошла уже после смерти президента, в свете последовавших резких перемен во внутренней и внешней политике египетского руководства.

Аналогии сегодняшнему дню Гитани ищет в истории. Он сопоставляет «измену памяти Абд ан-Насера» со стороны его бывших соратников с предательством, жертвой которого пал в VII веке имам Хусейн, сын последнего из четырех наследовавших пророку Мухаммеду «праведных» халифов. Хусейн — излюбленный художественный образ Гитани, который постоянно фигурирует в его произведениях как олицетворение высшего добра и справедливости, как иде-

[4] Аль-Мутанабби, Абу-т-Тайиб Ахмед ибн аль-Хусейн (915—965) — великий арабский поэт.

[5] Гамаль Абд ан-Насер — правильная форма написания имени (вместо распространенного, но неправильного написания «Абдель Насер»). Определяется семантикой имени — «раб Аллаха». В таких именах имя Аллаха заменяется, как правило, одним из его 99 эпитетов. Абд ан-Насер означает «раб Побеждающего».

ал «совершенного человека», как символ веры и надежды на будущее.

Три жизни самых дорогих автору романа людей, «возлюбленных», как называет их Гитани, пользуясь суфийским словоупотреблением, и составляют предмет размышлений, недоумений и «вопрошаний» повествователя. Задаваясь вопросом, отчего человеческое сознание многие вещи постигает слишком поздно, когда они становятся прошлым и их невозможно вернуть, Гамаль аль-Гитани ставит и философский вопрос о возможности познания мира, о природе происходящих в нем изменений.

В поисках того общего, что объединяет судьбы его «возлюбленных», Гитани опускает конкретно-исторические различия между их эпохами, разделенными столетиями. Ему нужен целостный взгляд на мир, и он пытается найти его в суфийской идее «единства бытия» (вахдат аль-вуджуд), в которую вкладывает, однако, не пантеистическое, а нравственное содержание. Свою старую, воплощенную еще в «Аз-Зейни Баракят» идею «единства человеческого опыта» во все исторические времена Гитани распространяет на широкую сферу нравственных и общественных понятий, отчего сами понятия теряют историческое содержание, абсолютизируются. «Насилие существует на протяжении веков, я стремился осудить его»,— говорит писатель [6]. Так же как и насилие, всегда существовали — и существуют — угнетение и террор, измена и ложь, неблагодарность и короткая память. Судьбы трех главных персонажей «Книги откровений» словно бы в избытке дают писателю подтверждения этой истины. Но они во все времена остаются тождественными самим себе. Поэтому и изменения, смысл которых ищет Гамаль аль-Гитани, перестают по существу быть изменениями, превращаясь в некое круговое движение, вечное повторение одних и тех же явлений.

Огромный и разнородный материал — автобиографический, исторический, легендарный, религиозно-мистический — объединен в романе личностью автора-повествователя, преломляется в его сознании, в воспоминаниях и непосредственных жизненных впечатлениях, излагаемых современным языком дневниковых записей, в его размышлениях о природе мира и человека, облеченных в форму суфийских «состояний» (халат), «путешествий» (асфар), «видений» или «откровений» (таджаллият).

Повествователь переносится в воображении из эпохи в эпоху, из Каира наших дней в Кербелу VII века (место гибели Хусейна), а оттуда на родину отца, в египетскую деревню начала XX века, общается с «возлюбленными», с другими историческими и историко-мифологическими лицами, от египетских солдат и офицеров, погибших в ходе арабо-израильских войн, до святой Зейнаб (канонизированной исламом сестры Хусейна); он задает им множество вопросов, часто звучащих риторически, и получает в большинстве случаев столь же риторические ответы. Приведем отрывок из романа, диалог между повествователем и святой Зейнаб, происходящий в «диване, подобного которому нет в нашем мире, в диване, откуда исходит власть над земным существованием, где определяются линии судеб» [7]:

«Спросила она: Что смущает тебя?

Ответил я: Перемены.

Спросила: И что же?

Сказал я: Что является, что исчезает.

— И что же? — спросила она.

— Не остается уверенности,— ответил я.

— Ну и что же? — спросила она.

— Не сбываются надежды, время истекает прежде, чем они осуществляются.

— Что еще? — спросила она.

— Изменения и превращения. Смущают меня вещи в их разрозненности и совокупности, в их различии и сходстве, угнетение и возмущение, прибыль и потеря, раб и свободный, жизнь и смерть, достижение и минование, день и ночь, прямизна и искривление, суша и море, чет и нечет, здоровье и болезнь, начало и конец, радость и печаль, живая душа и мертвый призрак, земля и небо, соединение и распадение, многое и малое, белое и черное, сон и бессонница, явное и скрытое, движущееся и неподвижное, бесплодное и плодоносное...

Я остановился, выговорившись. После молчания сказала председательница дивана:

— Ты старался и прилагал усилия. Поэтому откроется тебе нечто, но не все. Ибо ты ограничен отведенным тебе сроком, а его недостаточно. Блеснет тебе свет, узришь ты указующие знаки, будет время от времени проводником твоим господин юных, пребывающих в раю *(Хусейн.— В. К.)*. Терпи, ибо терпение прекрасно. А если... попытаешься угнаться за всеми истинами, то онемеет десница твоя и высохнет калам твой, и сузятся цели и горизонты...» [8]

В этом отрывке содержание вопросов и смысл ответов тонет в орнаментальности риторических построений, хотя общий смысл диалога может быть понят как указующий на ограниченность возможностей человеческого познания, однако это не снимает необходимости прилагать усилия в целях познания.

Выражая сегодняшний политический и общественный опыт в языковых структурах средневековья, Гитани тем самым словно бы извлекает этот опыт из его исторического контекста. Он пытается объяснить происходящее сегодня в понятиях средневековой мусульманской мысли, хотя и очищенной от мистики, но ограниченной рамками мышления своего времени, его стереотипами. При этом политическая позиция Гамаля аль-Гитани выражена с предельной ясностью: высокая оценка общественно-политической роли Абд ан-Насера, осуждение Садата, кэмпдэвидских соглашений, допуска в Египет иностранных капиталов.

И тем не менее нерасчлененность исторического времени, совмещение в книге прошлого и настоящего, самый стиль по-

[6] «Адаб ва накд», 1984, № 3, с. 161.

[7] Гамаль аль-Гитани. Книга откровений. Каир, «Дар аль-Мустакбаль аль-арабий», 1983, с. 41 (на арабском языке).

[8] Там же, с. 45.

вествования приводят к тому, что Насер предстает не столько реальным историческим лицом, сколько духовным и религиозным вождем, подобным Хусейну, или сказочным богатырем из народных преданий. Садат также осуждается не как современный политический деятель, а как олицетворение измены, тип злодея, до поры до времени скрывавшего свое истинное лицо под маской верного друга.

Идея «единства бытия» в смысле вечности нравственных понятий успешно выполняет художественную функцию, объединяя в целое обширный и разнохарактерный, исторический и современный, реальный и фантастический материал. Но, становясь едва ли не мировоззренческой концепцией, эта идея не дает писателю возможности ответить на им же поставленный вопрос: почему случилось то, что случилось после смерти Насера? Впрочем, главное ли для Гитани дать ответ на этот вопрос? Не важнее ли для него высказать внутреннее, эмоциональное отношение к происходящему в его стране, излить горестные чувства, выразить надежду и веру (которые, несмотря ни на что, его не оставляют) в конечную победу добра? Ибо, если вечны насилие, измена и угнетение, то так же вечно противостояние им со стороны борцов за правду и справедливость.

В аллегорической сцене битвы сил добра и зла под знаменами Абд ан-Насера собираются герои Кербелы во главе с Хусейном и герои египетской революции 1919 года, а также солдаты и офицеры, погибшие на Синае. Полчища врагов включают и убийц Хусейна, и израильских парашютистов, и наемников неизвестных национальностей, и солдат американских сил быстрого развертывания, и египетских владельцев банков и подрядных компаний, несущих знамена в виде рекламы «двухкамерных холодильников и автомашин, шелковых галабей и военных самолетов, используемых сорока армиями, нового лака для ногтей и последних образцов электробритв» [9].

Гамаль аль-Гитани проделал колоссальную работу по изучению средневековых текстов. Весь этот огромный материал не просто преломляется в сознании автора-повествователя, но глубоко переживается им. Именно острота личного переживания, придающая особый накал поэтическому слову Гитани, и вызывает ответный эмоциональный отклик читателя.

Обращаясь непосредственно к чувству национального достоинства, национальной гордости соотечественников, Гамаль аль-Гитани использует в качестве активного средства воздействия эстетические богатства родного языка. Воскрешение забытых выразительных возможностей арабской речи — одно из главных художественных достоинств этой необычной книги.

Из многих произведений, написанных в неотрадиционном стиле, стоит остановиться еще на одном — романе египтянина Хайри Шалаби «Ловкачи», являющем собой пример отображения того же, что и у Гамаля аль-Гитани, отрезка египетской истории, но в иных жанровых формах — средневекового арабского плутовского повествования. Слово «шатыр», множественное число которого вынесено в название романа, означает «ловкий», «сообразительный». Аш-Шатыр Хасан, герой популярнейшей народной сказки, благодаря природной сметливости и предприимчивости добывает себе в жены прекрасную принцессу. В тексте романа специально оговаривается, что «в наше время этим словом называют жуликов, накопителей и кровососов» [10].

В роли основного рассказчика в романе выступает собака — существо, не пользующееся особым уважением в мусульманской среде. Правда, и общество, о котором ведется рассказ, нельзя назвать порядочным: спекулянты, дельцы черного рынка, торговцы наркотиками, маклеры, сколачивающие миллионы из ничего, «из воздуха». Один из главных героев, владелец пса-рассказчика Кахкух — своего рода артист черного бизнеса, «самородок» аферы. Негодяй и подлец, он в то же время чтец газет, знаток людей, философ и оратор. Кахкух неоднократно обогащался и столько же раз разорялся, чтобы с помощью новых, все более грязных махинаций (их жертвами становятся и его компаньоны, и его жены) опять всплыть наверх.

Собака-повествователь рассказывает историю (она обрамляет роман), в нее вплетается множество других, образующих затейливую вязь. Значительная часть повествования ведется от лица Мамуна, студента университета, юноши чистого, доброго и честного, исполненного презрения к развращающему миру вещей, к «барахлу», за которое большинство окружающих его людей готово платить баснословные деньги. Мамун искренне верит в Аллаха и «самой прекрасной и волнующей сценой, какую только можно лицезреть в этой жизни», считает коллективную молитву, «вселяющую в души истинное благоговение» [11]. «Совершенный человек и совершенный мусульманин» в глазах Мамуна — «тот, кто успешно трудится и усердно выполняет свой долг перед Аллахом» [12].

Все рассказываемые истории так или иначе связаны с историей загадочной жизни и смерти Бусеймы (она же — Раша аль-Хадри и Батия): молодой женщиной пропала она из родной деревни, чтобы вернуться туда много лет спустя в гробу. Под именем Раша аль-Хадри она была известна как модная певица. Под именем Батии торговала наркотиками и стала второй женой Кахкуха. Бусейма — тетка Мамуна, и он стремится восстановить из разрозненных эпизодов всю ее биографию. Как видим, это вполне современный по композиции роман с заметным элементом детектива. Ни одна история не может быть извлечена из повествования без ущерба для целого. Нити тайны сходятся восстановить из разрозненных эпизодов истории, но она, хотя и обладает философским взглядом на вещи и даже читает газеты, не умеет тем не менее говорить.

Именно точка зрения собаки, а вернее человекособаки, или собакочеловека, стано-

[9] Там же, с. 277.

[10] Хайри Шалаби. Ловкачи. Каир, «Аль-Хайя аль-мысрийя аль-амма ли-ль-китаб», 1985, с. 303 (на арабском языке).

[11] Там же, с. 296.

[12] Там же, с. 266.

вится в романе мерой человечности в оценке и героев, и всего общества, всего «племени Бану Азрак», которое живет, как утверждает рассказчик, где-то по соседству с Египтом, «самой передовой, демократической и культурной из близлежащих стран, с которой Бану Азрак во всем берут пример» [13]. Пес-рассказчик стремится преодолеть в себе собачье начало, побуждающее его сохранять верность хозяину Кахкуху, несмотря на всю подлость последнего. «Каждый из нас,— рассуждает рассказчик,— становится человеком, когда начинает протестовать — и изо всех своих сил — против того, что разрушает его человечность, и остается собакой, если превращается в частицу окружающей нелепости. Сколько раз я спрашивал себя, выделился ли во мне человек или, напротив, полностью растворился в собачьем существе. Но я так и не смог дать себе решительного ответа» [14].

Сложить из осколков не только историю своей тетки, но и свое «я», свою личность, родословную, историю — этого добивается и второй основной повествователь и в какой-то степени лирический герой, Мамун. Собрать из свидетельств разных лиц целое, суметь объять его взглядом, возвыситься над ним и заявить протест против всего, что есть в нем порочного и недостойного человека,— так вырисовывается цель, поставленная автором романа. Задача эта трудна, потому что мир, в котором живут персонажи книги, неизбежно воздействует на каждого, как бы ставя на нем свое клеймо. Недаром в гашишекурильне Кахкуха собирается самая разношерстная публика — иностранные туристы и маклеры, жулики и интеллигенты, торговцы и преступники, скрывающиеся от закона.

Мир дельцов-нуворишей, мир роскоши и грязи, единственный владыка которого — деньги, мир, где торгуют всем, включая политику, мир, где невозможна любовь и не живет истинная красота, изображен в романе с эпическим размахом. Он состоит из разительных контрастов и несоответствий видимого скрытому и выставляемого напоказ тщательно скрываемому. Это, так сказать, местный вариант капитализма в лицемерно-патриархальном облике.

Может показаться, что положительный идеал автора воплощен в Мамуне, противопоставляющем обществу дельцов и политических спекулянтов нормы мусульманской нравственности и личной честности. Оба рассказчика, пес и Мамун, искренне привязаны друг к другу, и пес чем может старается помочь Мамуну в его разысканиях. Но дальнейшее развитие их отношений опровергает предположение о том, что Мамун выражает авторскую точку зрения. Именно несостоятельность Мамуна, его неспособность «дойти до истины» приводят пса к решению покинуть его. Ибо в конечном счете торжествует тот же Кахкух, выстраивающий в самом центре столицы Бану Азрак — роскошный отель для иностранных туристов, в подвале которого помещается тайная гашишекурильня. И повествователю — человекособаке, или собакочеловеку,— не остается другого выхода, как броситься в то самое болото, в котором когда-то утонула, спасаясь от людских побоев, его мать-дворняжка: «Не знаю, потянула ли меня туда память о матери или просто запах болота показался мне менее отвратительным, чем запах жизни этих слюнтяев Бану Азрак. Скорее всего последнее» [15].

Упрек в слюнтяйстве бросается всему «племени», в том числе и вызывающему наибольшие авторские симпатии герою Мамуну.

Голос автора «Ловкачей» нигде не звучит самостоятельно, но авторское слово постоянно вплетается в речь повествователей, дополняя, развивая, корректируя их высказывания и оценки, подчеркивая условность стилизации произведения под средневековый плутовской роман, его сугубую злободневность. Свойственный плутовскому повествованию момент любования, восхищения ловкими проделками героя-плута снимается здесь гневно-иронической интонацией автора — она звучит в размышлениях пса-повествователя об истинной человечности и пробивается время от времени в мусульмански-морализаторских рассуждениях Мамуна. В то же время в «Ловкачах», несмотря на его печальный финал, сохраняется присущий плутовскому повествованию дух народной жизнерадостности и неистребимого оптимизма. Ведь поступок пса свидетельствует о том, что в нем окончательно взяло верх человеческое начало.

Как и в «Книге откровений», в «Ловкачах» синтезируются многие уровни и исторические пласты арабского языка, но если в первом произведении преобладает книжная лексика и фразеология, то стиль второго ориентирован на сегодняшнюю живую разговорную речь. Архаизмы в нем редки и несут, помимо стилистической, сатирическую функцию, особенно в соседстве с современными вульгарными диалектизмами. Языковые контрасты так же, как и образные, передают специфику общества, невероятное смешение в стиле его существования, в его психологии несовместимых на первый взгляд начал. Традиционная афористичность, отшлифованные веками крылатые выражения, пословицы, поговорки соседствуют с совсем свежими неологизмами, европеизмами, в том числе арготизмами, возникшими в результате влияния современного западного буржуазного быта на псевдотрадиционную среду. Частое употребление инверсионного построения фразы усиливает впечатление живого устного рассказа.

Итак, из многих романов, коими богата современная литература стран Арабского Востока, мы выбрали и сопоставили четыре. Их авторы так или иначе обращаются к наследию прошлого, чтобы с его помощью осмыслить проблемы современности, демонстрируя и широту спектра используемых исторических, философских и эстетических источников, и разницу индивидуальных подходов к ним, определяющих соотношение и взаимосвязь идущего от традиции и от злобы дня в каждом произведении, и его общее звучание.

[13] Там же, с. 249.
[14] Там же, с. 226.
[15] Там же, с. 490.

В целом же получивший широкое распространение неотрадиционализм в арабской романистике отражает сложные процессы, которые происходят в настоящее время в национальном сознании арабов. Они связаны, с одной стороны, с попытками возродить и законсервировать традиционное религиозное мышление, а с другой — с поисками новых мировоззренческих опор, со стремлением осмыслить место и роль арабских народов в историческом процессе, с вызреванием исторического сознания.

Попытки объяснить происходящее в наши дни исключительно на основе категорий средневекового мировоззрения оказываются неудачными, ибо эти категории отражают исторически ограниченный уровень мышления. При таком подходе национальное сознание как предмет художественного изображения оказывается гораздо более детерминировано историко-культурным кодом, религиозно-нравственными представлениями, нежели сегодняшними социальными условиями.

Между тем социальный психологизм как раз и служит надежной опорой историзма в литературе, убеждая в невозможности реставрации традиционного сознания и открывая путь к дальнейшим поискам подлинно гуманистических ценностей. Об этом свидетельствует и роман Хайри Шалаби, и многие другие произведения египетской прозы последних лет. Это — примета сегодняшнего времени, и любое художественное изображение арабского национального сознания было бы без нее неполным.

## АТ-ТАЙИБ САЛИХ

# «ВЫРАЖАТЬ СЛОЖНЫЕ ИДЕИ, РИСУЯ ОБРАЗЫ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ»

*Вступление, перевод с арабского и комментарии Л. СТЕПАНОВА*

**Широко известный в арабских странах журнал «Аль-Араби» («Араб»), издающийся в Кувейте, опубликовал недавно беседу своего корреспондента, публициста Салаха Хазина, с видным суданским писателем Ат-Тайибом Салихом.**

**Критики не без основания числят Салиха в «первой шеренге» арабских романистов. В ярких и самобытных произведениях он затрагивает проблемы, связанные не только с Суданом, не только с арабскими странами или Африкой, но и проблемы, волнующие человечество в целом. Отсюда такой интерес к творчеству суданского прозаика: его романы и многие рассказы переведены на английский, французский и иные языки, по некоторым из них поставлены кинофильмы и спектакли. На русский язык переведены все крупные произведения (повесть «Свадьба Зейна», романы «Сезон паломничества на Север» и «Бендер шах»), а также ряд рассказов Салиха, а «Сезон паломничества на Север» выдержал в нашей стране четыре издания [1].**

**Ат-Тайиб Салих родился в 1929 году в небольшом городке Ад-Дебба («полугороде-полудеревне», по определению самого писателя), расположенном на берегу Нила в Северной провинции Судана. Окончив среднюю школу и Хартумский университет, он продолжил образование в Англии. В Лондоне Салих изучал международное право, затем возглавлял литературно-драматический отдел арабского вещания на Би-би-си. В этот период была опубликована его первая книга — сборник рассказов «Пальма Вад Хамида» (1960). Несколькими годами позже вышли повесть «Свадьба Зейна» и роман «Сезон паломничества на Север», снискавшие писателю известность в арабских странах и за их пределами. По возвращении на родину Салих руководил работой суданского радио, потом уехал в аравийский эмират Катар, куда его пригласили на должность советника при министерстве информации. В настоящее время Салих — советник Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам арабской литературы. Он по-прежнему живет с семьей в столице Катара городе Доха, однако, по последним сообщениям из Судана, намеревается вернуться на родину.**

**Воспоминания о детстве в глухой суданской провинции, серьезное осмысление северосуданских народных традиций и арабской литературы, с одной стороны, и впечатления от долгого пребывания в Европе, влияние английской литературы — с другой, сплавились в творчестве Ат-Тайиба Салиха в единое целое, придав ему неповторимую оригинальность.**

[1] Впервые советского читателя познакомила с творчеством Ат-Тайиба Салиха «Иностранная литература», опубликовавшая в 1975 году (№ 9, 10) роман «Сезон паломничества на Север». В 1983 году (№ 1) «ИЛ» напечатала его повесть «Свадьба Зейна».

Действие многих произведений Ат-Тайиба Салиха разворачивается в заброшенном северосуданском местечке Вад Хамид, прообразом которого писателю послужил его родной городок Ад-Дебба. (Исключение составляет роман «Сезон паломничества на Север», сюжет которого разворачивается частично в Англии, частично — в Судане.) Рассказы и три крупных произведения Салиха связаны между собой, составляя отдельные части пока еще не завершенного большого эпического полотна о жизни северного Судана.

Исследователи арабской литературы находят в произведениях Салиха глубокий социальный смысл. Главная проблема, которую писатель ставит в романе «Сезон паломничества на Север»,— столкновение между европейской и арабо-африканской культурами. Эту тему арабские прозаики разрабатывают уже многие годы. О «паломничестве» своих героев в Европу рассказывали египтянин Тауфик аль-Хаким в автобиографическом романе «Птичка с Востока», ливанец Сухейль Идрис в повести «Латинский квартал» и некоторые другие. Однако отношение героев этих книг к Западу подернуто флером романтики. Они далеки от критической оценки европейской культуры, испытывая к ней лишь чувство изумления и восхищения. В отличие от них герой «Сезона паломничества на Север» Мустафа Саид бросает открытый вызов европейскому буржуазному обществу. Запад и «третий мир» в романе Салиха находятся в непримиримом противоборстве.

Сам писатель объясняет это тем, что он, в отличие от предшественников, создавал свое произведение в период, когда противоречия между арабскими странами и Западом достигли апогея, когда арабы окончательно утратили иллюзии в отношении западного мира, сполна испытав на себе последствия вероломной политики империалистических держав. Ожесточенный характер конфликта в романе «Сезон паломничества на Север» обусловлен еще и тем, что его герой не просто араб, а темнокожий суданец, вдвойне страдающий от расовых предрассудков и особенно остро чувствующий свою отчужденность в стране «белого человека» — в Англии.

В основе коллизии романа-дилогии «Бендер-шах» («Дауль-Бейт», 1971, и «Марьюд», 1976) — борьба между вековыми традициями и новой, привнесенной извне цивилизацией в странах «третьего мира».

Крестьянам деревни Вад Хамид, с их патриархальным жизненным укладом и полумифическими представлениями об окружающем мире, пытаются насильственно привить чуждый образ жизни, основанный на искаженных представлениях местных властей о демократии и парламентаризме. Это вносит разброд и сумятицу в их сознание, ведет к распаду социальных и семейных связей, воцарению хаоса и анархии. По словам Салиха, «Бендер-шах» — это роман «о цене за цивилизацию», которую приходится платить развивающимся странам.

Творчество Ат-Тайиба Салиха, серьезного и талантливого прозаика, много размышляющего о прошлом и настоящем своего народа и озабоченного его дальнейшей судьбой, несомненно, гуманистично по своей направленности. Увлекательные, написанные простым и в то же время поэтичным языком, его произведения не могут не тронуть умы и сердца тех, кто с ними знакомится.

В интервью, которое перепечатывается здесь с небольшими сокращениями, писатель затронул много интересных и важных проблем литературного творчества.

Вопрос. В ваших романах магия и чудеса переплетаются с буднями деревенской жизни, которая оказала на вас несомненное влияние. Не могли бы вы рассказать нам об истоках своего творчества, о своем становлении как писателя?

Ответ. В ранние годы жизни я многое почерпнул из арабской поэзии и самой суданской действительности. Еще в куттабе, который называется у нас хульвой [2], я читал Коран, и это тоже много дало мне. Его изучение прививает тонкую восприимчивость к языку, музыке слов На меня сильно повлияли и специфические условия местности на севере Судана, где я вырос. В этом районе наследие древнеегипетской цивилизации сочетается с традициями арабской культуры. Особо хочется назвать странствующих поэтов-маддахов, которые мелодичными голосами под звуки тамбурина декламировали прославлявшие пророка и древних героев стихи на классическом арабском языке — пусть они и не владели им в полной мере. После этого я заинтересовался доисламской арабской поэзией, потом современной арабской литературой и ее корифеями, а затем уже перешел к литературе других народов. На меня произвели большое впечатление произведения двух гигантов английской литературы — Шекспира и Джозефа Конрада. Последнего я считаю величайшим учителем для романистов нашего века. Он оказал воздействие и на многих писателей самой Англии, на Грэма Грина, например, в произведениях которого критики отмечают сходство с Конрадом. Однако следы прямого влияния этих писателей в моих книгах обнаружить непросто.

Вопрос. Но те, кто читали ваш роман «Сезон паломничества на Север» и роман «Сердце тьмы» Дж. Конрада, находят немало общих черт между ними. И здесь и там мы являемся свидетелями скитания героев между Европой и Африкой, конфликта, принимающего расовый характер, гибели героя в реке в конце книги; эти произведения также роднят и некоторые художественные особенности, в частности образ рассказчика, излагающего историю необыкновенной личности.

[2] Подобие начальной школы при мечетях в Судане, которая в других арабских странах именуется куттабом.

Ответ. Конечно, «Сердце тьмы» — один из величайших романов века, и, возможно, есть черты сходства с ним в моем романе, особенно в том, что касается путешествия Мустафы Саида из Африки в Европу, которое представляет собой контрапункт путешествию Курца в «сердце тьмы» — Африку. Но между героями есть и существенное различие: Курц у Конрада — прежде всего европеец, он — продукт определенной культурной среды, отличающейся от той, которая сформировала Мустафу Саида. В период работы над «Сезоном паломничества» я находился под влиянием теорий Фрейда. Я прочитал тогда книгу одного из его учеников, Менингера, «Человек против самого себя», и она произвела на меня очень большое впечатление. Поэтому в романе есть некоторые попытки психоанализа. Но писатель, принимаясь писать, неизбежно становится в конце концов самим собой.

Есть среди арабских критиков такие, кто непременно находят какое-нибудь иностранное произведение, чем-то напоминающее арабское, ими анализируемое, и принимаются их сопоставлять. Для меня честь считаться учеником Конрада, но я не думаю, что будет какая-то польза, если мы принесем сюда роман «Сердце тьмы» и начнем искать частные моменты сходства и влияния в моем романе.

Мне иногда приходится читать удивительные вещи, например, о влиянии на меня Колина Уилсона [3], или Д. Г. Лоренса, или Камю. Но в конце концов культурное наследие человечества едино. Я считаю, скажем, что такой писатель, как Габриэль Гарсиа Маркес, почерпнул немало из арабских источников из тех же сказок «Тысячи и одной ночи», которые, будучи переведенными на английский язык, в свое время оказали большое влияние с точки зрения формы на европейскую литературу. То же самое, по-моему, произошло, когда арабская поэзия через посредство прованс альских трубадуров проникла из Андалусии [4] в христианскую Европу.

Вопрос. Кое-кто утверждает, что Мустафа Саид в «Сезоне паломничества» олицетворяет своего рода «расизм наизнанку». В его обращении с белыми проступает жестокость, порожденная веками угнетения и принимающая подчас форму яростной мести.

Ответ. Что касается «расизма наизнанку», то, по моему мнению, поведение личности не всегда диктуется социальными или политическими нормами. Я в этом смысле разделяю точку зрения Франца Фанона [5], автора книги «Проклятьем заклейменные», который говорит, что колониализм — это насилие, даже в сексуальном смысле. Поэтому и стремление Мустафы Саида доказать свою мужественность — это для него форма утверждения личности, а не преднамеренное желание унизить других и не месть.

Вопрос. Во всех ваших произведениях повторяются одни и те же персонажи, которые живут и действуют в строго определенной местности, в средней части северного Судана. Что это? Попытка увековечить образ этой местности с населяющими ее людьми или своеобразный художественный прием, избранный вами в романах?

Ответ. Мне доставляет удовольствие выражать сложные идеи, рисуя образы простых людей. Можно сказать, что воображаемая деревня, о которой я постоянно пишу, это своего рода сцена, на которой действуют герои, созданные моей фантазией. В последних романах, «Дауль-Бейт» и «Марьюд», персонажи повторяются не только в пространстве, но и во времени: одни и те же на протяжении веков, хотя и под другими именами [6]. Пока я не испытываю желания создавать новую сцену: чувствую, что есть еще материал, мною не использованный. Я вскопал только поверхностный слой, но не проник до конца в глубины характеров.

Вопрос. Нет ли опасности, что образы персонажей будут развиваться исключительно вширь? Ведь у героев остаются те же самые черты характера, занятия и места обитания?

Ответ. Моя цель не столько изобретать сюжеты, которые бы поражали читателя, сколько рассказывать о событиях, способствующих духовному совершенствованию героев. Показывая развитие этих героев я стараюсь развивать идеи, которые мне дороги. Образ Марьям в романе «Марьюд» — это в какой-то мере продолжение образа Наамы из «Свадьбы Зейна» и Хасаны из «Сезона паломничества на Север», но в совершенно разных обстоятельствах. Полагаю, вдумчивый, внимательный читатель увидит, что эти образы, несмотря на внешнее сходство, все же различны.

Вопрос. С точки зрения художественной формы ваши романы следуют традиции европейской романистики: для них характерны прочность композиционной структуры, логичное построение сюжета, «экономное» использование языковых средств. С другой стороны, в них силен местный колорит, что свойственно скорее африканскому, а не арабскому роману. Что вы на это скажете?

Ответ. По-видимому, сходство между мною и, к примеру, африканским писателем Чинуа Ачебе в том, что мы оба изучали английский язык и хорошо им владеем. Как известно, для этого языка не характерны риторика и многословие. Возможно, влияние английского языка на писателя

[3] Колин Уилсон (род. в 1931 г.) — известный английский писатель, философ и публицист.

[4] Андалусия («Аль-Андалус») — древнее арабское название Испании, большая часть которой находилась под арабо-мусульманской властью с VIII по XV в. н. э. Ныне это название сохранилось за самой южной исторической областью страны.

[5] Франц Фанон (1925—1961) — алжирский врач-психиатр, социолог и публицист, чьи труды оказали влияние на идеологию национально-освободительного движения, особенно в странах Африки. В них он призывал к борьбе не против белого человека вообще (как то зачастую пытаются представить на Западе), а против европейских колонизаторов.

[6] В этих произведениях одни и те же персонажи выступают в нескольких ипостасях — в роли обитателей современной суданской деревни и в роли мифических, сказочных героев, живущих в далеком прошлом.

отлично от влияния, скажем, языка французского. Вероятно, восприятие произведений писателя, такое влияние испытавшего, будет отличаться от восприятия произведений литератора, не знающего никакого другого языка, кроме арабского. Думаю, мы столкнемся с еще большим разнообразием, если включим в поле своего зрения тех, кто в совершенстве овладел, например, русским или китайским языками. Знание иностранных языков и литератур, несомненно, обогащает арабский язык и словесность. Тем не менее я уверен, что и в самой арабской литературе есть жизненная сила, и горжусь тем, что мои книги составляют часть этой жизнеспособной и богатой литературы. Предполагаю, что некоторые африканские писатели, например Ачебе, Шойинка, Нгуги [7], стали писать в первую очередь из патриотических побуждений, и то, что Нгуги пишет последнее время на местном языке, кикуйю, подтверждает это предположение.

Вопрос. Ваши романы в целом отличаются какой-то особой простотой художественной формы, что сближает их с народными сказаниями, за исключением, возможно, «Сезона паломничества на Север», в котором очень чувствуется рука профессионального литератора. Однако вы не раз говорили, как мучителен для вас процесс создания книги. Чем объяснить это сочетание огромных мук до и во время процесса писания с простотой самого художественного произведения?

Ответ. Не знаю, как ответить на этот вопрос, но мне вспоминаются слова английского критика Хэзлитта [8] о том, что простота — это результат сложной работы. Я не понимаю, что называют в таких случаях «простотой». В «Сезоне паломничества на Север» есть такие слова: «Дерево растет просто, но как сложно дереву стать деревом». Я не люблю без всякой причины усложнять произведение, хотя кое-кто и упрекает меня в излишней сложности таких книг, как «Марьюд» и «Дауль-Бейт». Не стремлюсь я намеренно и к простоте. То, что называют формой и содержанием, в действительности одно целое.

Вопрос. Существует чуть ли не всеобщее убеждение, что арабский роман с начала семидесятых годов проделал большой путь и добился значительных успехов. Какова ваша оценка этого явления?

Ответ. Не вдаваясь в детали, могу сказать, что арабский роман стал ныне важной составной частью арабской литературы. Это заслуга многих писателей, начиная с Нагиба Махфуза [9], который сыграл роль первопроходца на поприще романа, и кончая рядом новых прозаиков Туниса, Марокко, Ирака и других стран. Несомненно, арабский роман смог поставить важные проблемы и предпринял благородные попытки открыть и прояснить горизонты арабской жизни и арабской души в бóльшей степени, чем любой другой жанр литературы. Возможно, здесь были и отдельные неудачи, однако, если говорить о вкладе художественного творчества в целом в духовную жизнь арабского общества, нельзя не признать, что роман сыграл наибольшую роль.

Вопрос. В последние годы все чаще можно было слышать, что литература Латинской Америки превращается в явление всемирного масштаба, в то время как европейская романистика блекнет. Считаете ли вы правомерным говорить о мощном росте литературного древа в Латинской Америке и усыхании древа европейского романа?

Ответ. По моему мнению, литературное творчество в Англии и Франции превратилось в занятие, полностью подчиненное закону спроса и предложения, в механический процесс печатания, публикации и рекламы. Конечно, и там есть литературные светила, например англичанин Грэм Грин. Я считаю, что у латиноамериканской литературы есть общие черты с литературой арабской. Хотя я нигде не читал о влиянии арабской литературы на Гарсиа Маркеса, уверен, как я уже говорил, что он его испытывает. Думаю, такой роман, как «Сто лет одиночества», мог бы написать и арабский романист. Ведь что сделал Гарсиа Маркес? Он разрушил каноны европейского рационалистического письма, основанного на западноевропейской логике. Поведение его героев не укладывается в эти каноны и кажется европейцу иррациональным. По-моему, это то же, что мы видим в «Тысяче и одной ночи», где действуют джинны и ифриты и совершаются чудеса.

Я проделал нечто подобное, когда писал повесть «Свадьба Зейна», кстати, еще до появления «Ста лет одиночества» и, следовательно, независимо от Гарсиа Маркеса.

Не мешало бы, по-моему, западноевропейским критикам начать относиться и к нашей непохожести на европейскую литературу, к нашей своеобычности с таким же уважением, с каким они относятся к своеобразию латиноамериканской литературы, которая, несомненно, является сейчас великой литературой. Хочу особо упомянуть здесь Жоржи Амаду, которого я, например, ценю даже выше, чем Гарсиа Маркеса: он значительно раньше ввел в литературный обиход многочисленные новшества. Немало из них представляются мне «родственными» негро-африканской традиции.

Вопрос. После романа «Марьюд», который был опубликован в 1976 году, нам больше не доводилось читать ваших произведений. Написали ли вы что-нибудь новое?

Ответ. Я сейчас как раз работаю над большим произведением, которое у меня продвигается медленно. Предполагаю, что эта работа займет много времени, если только аллах продлит мои дни.

◆

[7] Творчество этих крупнейших африканских писателей хорошо известно нашим читателям, в частности и по публикациям в «Иностранной литературе».

[8] Уильям Хэзлитт (1778—1830) — английский критик и публицист, теоретик романтизма.

[9] Нагиб Махфуз (род. в 1911 г.) — крупнейший египетский писатель, новеллист и романист, чьи произведения переводились на многие языки мира, в том числе на русский.

# Наши публикации

## К 175-летию со дня рождения ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА

### ТОМАС АДОЛЬФУС ТРОЛЛОП

# ЧТО Я ПОМНЮ

Глава из книги

*Вступление, перевод с английского и примечания М. ТУГУШЕВОЙ*

Когда были опубликованы «Посмертные записки Пиквикского клуба», мистер Джайлс, первый учитель Диккенса, прислал ему в подарок табакерку с надписью: «Неподражаемому Бозу». Мистер Джайлс оказался пророком. Чарльз Диккенс — писатель неподражаемый: неистощимая фантазия сочетается у него с мощным даром реалиста. Редкостная наблюдательность — с исключительным чувством комического. А в основе его гения — нежелание и неумение оставаться равнодушным, бесстрастным созерцателем. Это отмечает и его преданный друг, литератор Томас Адольфус Троллоп, автор интересных мемуаров, фрагмент которых публикуется ниже. Касается ли дело Италии и итальянцев, сражающихся за национальную независимость, политических и общественных неустройств Англии и Ирландии, воспитания детей, здоровья народа, парламентских распрей, вечно живых проблем литературы и искусства — Диккенс во все дела, судьбы и проблемы вовлечен страстно.

Он воздает хвалу прекрасному и доброму. Ненавидит и клеймит несправедливое и злое. Ненавидит и делает все что можно для уничтожения зла — отсюда счастливые, или по крайней мере благополучные, окончания многих его романов.

Разумеется, Диккенс прекрасно знал, как часто не сбываются «большие» и совсем скромные «надежды», как много в действительности неправды, невежества, нищеты, эгоизма, насилия. Поэтому отвратительны Сквирсы и Мэрдстоны, мучающие детей, шантажист и подхалим Урия Хип, зловещий убийца Риго, беспечный эгоист Скимпол, продажный Плут Райдергуд. Злых, подлых, низких Диккенс не прощал и не давал им в мире, созданном его воображением, ни победы, ни пощады.

Но люди сложны и противоречивы, и вот нам является мистер Домби, раздираемый купеческой гордыней и любовью к сыну, беспредельной и убийственной; вот перед нами страшная комическая старуха, мисс Хэвишем, духовно сгоревшая в пламени неутоленной обиды, а физически — в беспощадном огне пожара.

Диккенс любил вот так совмещать смешное и страшное, видимое и сущее. Противостояние этих понятий для него — источник острейшей сатиры, грандиозных метафор социального зла. Министерство Волокиты с присосавшимися к нему «полипами» паразитирующего чиновничества; паучья сеть, раскинутая «старым грешником» Канцлерским Судом; лживый оптимизм «подснепизма», проистекающий из нежелания видеть и знать то, «что есть на самом деле»,— во всех этих фантастических гиперболах уловлена суть явления, правда жизни.

И так велика была художественная сила этой правды, что Маркс назвал Диккенса и трех его замечательных современников — Теккерея, Элизабет Гаскелл и Шарлотту Бронте — «блестящей плеядой» писателей, которые «в ярких и красноречивых книгах раскрыли миру больше политических и социальных истин, чем все профессиональные политики, публицисты и моралисты, вместе взятые» [1].

Ирония и сатира Диккенса были неотделимы от его человеколюбия и природного демократизма. За год до смерти он скажет: «Моя вера в людей, которые правят, в общем ничтожна, моя вера в людей, которыми правят, в общем беспредельна». Диккенс-сатирик судил общество, в котором жил, с позиций демократа и радикала. И в то же время он умел ценить силу духа и постоянство высокой любви в аристократе Лестере Дедлоке. А идеал истинного джентльменства — благородство души,

[1] К. Маркс, Ф. Энгельс. Полн. собр. соч., т. 10, с. 648.

умение трудиться и сохранять в любых обстоятельствах чувство собственного достоинства — нашел в кузнеце Джо Гарджери.

Джон Голсуорси говорил, что у Диккенса было «всеобъемлющее сердце». Да, гуманизм его неистощим — так же, как мир его фантазии. Это — Вселенная, в которой живут созданные творческим гением люди, очень похожие на нас. Отошли в прошлое некоторые черты общественных и личных отношений, а диккенсовские типы бессмертны, потому что их создал писатель, умевший видеть то, чего, по выражению Гоголя, «не зрят равнодушные очи». Но, увидев и узнав сам, он помогает узреть и прозреть другим — сгустив, преувеличив или, как пишет Троллоп, показав нам в «телескоп» наших собственных пекснифов и миссис никльби.

Троллоп был близким Диккенсу человеком. Он женился на родной сестре актрисы Эллен Тернан, сыгравшей такую значительную (и драматическую) роль в жизни и творчестве Диккенса. Кто знает, сколько тайной грусти содержит одно из цитирующихся в этой публикации писем, но какой радостью и теплотой оно дышит. Диккенс умел быть заботливым, внимательным и нежным. И об этом тоже вспоминает Троллоп и, предваряя Голсуорси, называет своего великого друга «самым сердечным» человеком из всех живущих.

Вселенная Диккенса беспредельна еще и потому, что каждый, входя в нее, видит и обретает нечто свое. Может быть, поэтому так много писателей, критиков, людей театра стремились и стремятся проникнуть в тайны его гения.

«Читали ль Вы «Домби и сын»? — писал Белинский незадолго до смерти П. В. Анненкову. — Если нет, спешите прочесть... Это чудо... Это что-то до того превосходное, что боюсь и говорить — у меня голова не на месте от этого романа» [2]. Начиная с Белинского, взгляд наших великих соотечественников был обращен к Диккенсу с любовью и благодарностью. Когда ссыльному Ф. М. Достоевскому разрешили читать «светскую литературу», он попросил прежде всего новый роман Диккенса. Таковым оказался «Дэвид Копперфилд». Л. Н. Толстой считал Диккенса писателем и человеком безошибочного нравственного чутья. Переводился Диккенс у нас в стране бессчетно. Телевидение сделало мистера Пиквика частым гостем в нашем доме. Видели мы на кино- и телеэкранах «Оливера Твиста» и «Домби и сына», «Большие надежды» и «Тайну Эдвина Друда». Для нас драгоценны и свидетельства тех, кто был к нему столь близок, как Томас А. Троллоп. Но все-таки «личного» знакомства с писателем ничто не заменит, по-настоящему мы испытываем это счастье, когда читаем книги Диккенса. Только тогда мы понимаем, что Диккенс, властный так много сказать каждому из нас, есть истинный «наш добрый друг».

---

[2] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XII. М., 1956, с. 442.

...Однажды утром в Каза Берти моя матушка [1] была очень приятно удивлена, когда ей подали визитную карточку, на которой стояло: «Мистер и миссис Чарльз Диккенс». Все мы были восторженными поклонниками Диккенса с самой ранней, пиквикской, поры его славы. С «Очерками Боза» [2] нам познакомиться не довелось. Зато мой дядя Генри Мильтон обычно приходил к нам в Хэдли, нагруженный последними выпусками «Пиквика» [3], и клятвенно заверял, что новый выпуск «пиквикистее» предыдущего. Вот почему мы с необычайным интересом воззрились на возникшего во плоти творца чудесной книги, которая доставила нам столько удовольствия.

Сначала, правда, мы испытали разочарование и даже были склонны предположить, что произошла ошибка. Нет, этот человек, такой щеголеватый и похожий на хорошенького мальчика, никоим образом не мог быть автором «Пиквика». Мне даже показалось, что он из той породы людей, которая любит пускать пыль в глаза.

Вот как описывал его Карлейль [4] примерно в то же время, цитирую по фрудовской «Истории жизни Карлейля в Лондоне»:

«Боз — приятный невысокий человечек, у него умные, кажется светло-голубые, глаза, он забавно вздергивает брови, когда чему-нибудь удивляется, рот у него большой, пухлый, чувственный, физиономия чрезвычайно подвижная: брови, глаза, губы — все это находится в постоянной ажитации и меняется самым причудливым об-

---

[1] Известная писательница и общественная деятельница Фрэнсис Троллоп (1780—1863), автор первого английского романа о противостоянии классов — «Жизнь и приключения Майкла Армстронга, фабричного мальчика» (1839—1840).

[2] Сборник юмористических, нравоописательных очерков о жизни Лондона и его обитателей. Первая книга Ч. Диккенса, опубликованная под псевдонимом «Боз» в феврале 1836 года.

[3] Роман «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1836) печатался отдельными ежемесячными выпусками, но не пользовался большой популярностью, пока на его страницах не появился неунывающий и остроумный Сэм Уэллер. С пятого выпуска началось триумфальное шествие «Двух Сэмюелов» (мистер Пиквик и его слуга — тезки) по Англии.

[4] Томас Карлейль (1795—1881) — историк, философ, публицист. Его концепция французской революции как акта исторического возмездия господствующим классам, разорившим страну и народ, оказала значительное влияние на «Повесть о двух городах» Диккенса.

разом, когда он говорит. Прибавьте длинную шевелюру непримечательного цвета и водрузите все это на маленькую и компактную, очень маленькую фигурку, разодетую слишком á la д'Орсей[5] с точки зрения хорошего вкуса, и вот перед вами «Пиквик». Но вообще это невысокий и спокойный человек, с очень проницательным взглядом, довольно хорошо знающий цену и себе и другим».

Если бы не последнее замечание, можно было бы заподозрить говорящего в тайной недоброжелательности. Следует отметить две погрешности в этом довольно точном описании. Первая: глаза Диккенса были не голубые, но самые настоящие карие, словно у лани, и столь же блестящие. По традиции считается, что такие же были у Шекспира. Вторая: Диккенс действительно был худощав и невысок, но вовсе не очень маленького роста. Думаю, не ниже обычного среднего. Конечно, наше знакомство относится к более позднему времени (а потом мы близко сошлись с ним), но вот что весьма любопытно: если бы меня попросили описать его по первому впечатлению, я тоже, наверное, сказал бы, что он очень маленький... Безусловно, тогда автору «Пиквика» было свойственно изящество почти женственное, и, значит, правдив хорошо известный маклизовский портрет, где он выглядит несколько хрупким.

Впоследствии он совершенно расстался с обличием д'орсеевского щеголя, а лицо его приобрело цвет красной бронзы, как у моряка, пребывающего на воздухе в любую погоду. Более того, повстречайся я с ним несколько позднее в Лондоне, я бы прошел мимо, не узнав, потому что никогда в жизни мне не приходилось видеть человека, так удивительно переменившегося внешне.

Всякое желание набросать верный действительности портрет Диккенса, с тех пор как появилось мастерское и тщательно, до малейшей подробности прослеженное его жизнеописание, принадлежащее Джону Форстеру, может быть воспринято как излишняя, если не самонадеянная попытка. Но, думаю, каждому позволено обнародовать свое впечатление, рассказать о каком-нибудь происшествии или забавном случае, которые остались в памяти, и разрешение на то дал сам великий писатель. В предисловии к «Американским заметкам» (впервые опубликованному в форстеровской «Биографии») он говорит: «Очень многие произведения, имеющие ту же тему и цель, были уже опубликованы, но кажется мне, что и эти два тома не нуждаются в извинении. Интерес, который представляют подобные сочинения, если они вообще его представляют, заключается в разнице впечатлений, производимых одними и теми же непривычными явлениями на умы разных людей, а вовсе не в каких-то открытиях того, что еще неизвестно, или передаче происшествий чрезвычайных».

Будучи во Флоренции, Диккенс совершил паломничество на виллу Лендора[6], владелец которой пребывал тогда в Англии, и сорвал листок плюща во Фьезоле, чтобы преподнести его старейшине поэтов, как рассказывает нам мистер Форстер. В своих описаниях виллы, как она выглядит с фьезоланских холмов, Диккенс точен, словно топограф. Как часто, *ах как часто* и я смотрел с той же самой миниатюрной возвышенности на несравненный пейзаж с роскошными флорентийскими виллами, на все это великолепие, стóящее, по словам Ариосто, двух Римов.

Когда я впервые встретился с Диккенсом, ему было только тридцать три года, то есть он был на два года моложе меня. Я уже рассказал о своем первом впечатлении. Позднее и до конца дней его облик производил настолько сильное впечатление мужественности, насколько это вообще возможно, причем не только внешность, но вся манера держаться. Особенно поражало лучезарное сияние его глаз. При этом, кажется, никто никогда не замечал, что эти необыкновенные глаза, которые видели так много и так проницательно, были чуть-чуть близоруки, но об этом мало кто знал даже из числа самых близких к нему людей, потому что он постоянно упражнял зрение, тщательно рассматривая отдаленные предметы, и это удавалось ему очень хорошо без всяких вспомогательных средств. Вот пример свойственной ему силы воли, которая заставляла человека, от природы несколько деликатного сложения, вести себя подобно атлету. Форстер в своей книге говорит о том же, то есть что «привычки Диккенса пристали бы человеку физически крепкому, но здоровье его таковым не было». Насколько могу судить, замечание совершенно справедливое.

Не в моих силах дать тем, кто никогда не видел Диккенса, хоть малейшее представление о его обаянии. Оно, конечно же, было следствием его гениальности. Ведь Диккенс мог быть еще одним великим писателем, но не согревать окружающую его атмосферу как солнце. А он излучал тепло. Смех его кипел радостью жизни, но в нем слышался какой-то протест, словно, рассказывая о чем-то смешном или внимая чему-то особенно нелепому, Диккенс говорил: «Честное слово, это уж *слишком* смешно! Это переходит все границы» — и вновь разражался хохотом, словно комический смысл услышанного захлестывал его с головой. Этот смех неодолимо завладевал всеми присутствующими. Энтузиазм его был всесилен. Он проникал все его слова и поступки, настолько велика была его творческая сила, богатство мысли и чувства — характерные черты его гения.

Только те, кто совсем не понимает, в чем суть литературного мастерства, могут

---

[5] Д'Орсей, Альфред Гийом Габриэль (1801—1852),— французский граф, законодатель лондонских мод. Ч. Диккенс с ним познакомился в литературно-светском салоне леди Блессингтон, автора «Разговоров с лордом Байроном».

[6] Уолтер Севедж Лендор (1775—1864) — поэт-романтик, публицист, драматург. Автор поэмы «Гебир» (1798), драмы «Граф Джулиан» (1812) и популярных «Воображаемых бесед литераторов с государственными деятелями» (1824—1828). Современный английский писатель Энгус Уилсон в книге «Мир Чарльза Диккенса» (1970) называет Лендора «соединительным звеном» между Шелли и Байроном, с одной стороны, и Диккенсом — с другой.

читать его личные письма и остаться равнодушными к безудержному потоку воображения, юмора, к меткости наблюдений, которые изливаются из-под его пера. В его письмах не было никаких умолчаний или сдержанности, продиктованных желанием произвести выгодное впечатление на адресата или потомков. То же самое можно отнести и к его разговору — любые мысль, причуда, чувство были выражаемы им с величайшей живостью и экспансивностью, с которыми могут сравниться только в чрезвычайной степени присущие ему бережность и деликатность, и они всегда проявлялись, когда в них была нужда.

То, что в его творчестве считается преувеличениями, было продиктовано — нимало в этом не сомневаюсь — особенной, всеозаряющей силой его воображения. Он видел и воплощал такие, например, характеры, как Пексниф или миссис Никльби точно так же, как мы видим в телескоп объекты солнечной системы. Обычно мы видим своих пекснифов и миссис никльби в другом масштабе, но Диккенс, проникая взглядом в суть своих созданий, давал нам с нашими ограниченными способностями возможность столь же острого проникновения. Доказательством может служить и то, что мы не только постоянно цитируем его бессмертных персонажей, но часто приписываем этим вымышленным созданиям новые речения и комические ситуации.

Очень трудно даже тому, кто знал его близко, изобразить Диккенса таким, каков он был; это не менее трудно, чем воздать должное его гению. Постараюсь, однако, немного показать, что он был за человек. Думаю, к нему особенно применим эпитет, который от частого и бессмысленного употребления утратил силу и значительность, но в отношении Диккенса это слово — самое точное. Он был *сердечный* человек, и не было сердца горячее. Наверное, он больше, чем кто-либо, воплощал божественный завет: «Возлюби ближнего, как самого себя». Его благорасположенность, его деятельное, неутомимое желание добра всем земным созданиям и неугомонное, беспокойное стремление к достижению этой цели всегда и везде волновали его сердце.

Но он же обладал, и в достаточной степени, той добродетелью, которая, по моим наблюдениям, осуждена среди нас на медленное вымирание — доблестью нравственного негодования. Люди и их поступки не были в его глазах примером совершенства. Ему совсем не было свойственно безразличие и так называемая философская умеренность, которая при виде негодяя или подлости замечает, что обе стороны по-своему правы. Диккенс ненавидел подлость, ненавидел низменные чувства, и эта ненависть была сродни отвращению, которое мы испытываем при виде чего-то отталкивающего, до чего и дотронуться противно. Он мог быть сердит, и те, на кого он гневался, не скоро о том забывали.

Было еще одно свойство нравственного порядка. Мне о нем напомнило высказывание, которое, по словам Форстера, принадлежит миссис Карлейль[7]: «Казалось, молния ежесекундно освещает каждую черту его лица. Казалось, оно выковано из стали». Первая часть наблюдения вполне правильна и выражена точно, однако сравнение со сталью исключительно неудачно. В выражении и чертах лица Диккенса не было ничего от жестокой бездушности этого металла. Пылкая жизнерадостность, искреннее веселье — вот что видели на его лице те, кто встречался с ним в обществе, но близкие знали также, что его никак не «стальное» лицо могло тонко выразить, и часто выражало, нежность и участливость почти женские.

В последние годы его жизни мы виделись постоянно. Обычно летом я приезжал в Лондон и первым делом наносил визит на Веллингтон-стрит, дом 20. Затем были другие приятные посещения, встречи в Тэвисток-Хаус, в Гейдсхилле, у Верн на Риджент-стрит, где он заботливым хозяином принимал гостей, и прочие адреса.

Вспоминаю, как однажды я встретился в Тэвисток-Хаус с Чэнси Хэйром Таунсендом и он произвел на меня впечатление весьма своеобразное — не то чтобы слишком любезного человека. Помнится также, в тот день обедал у него Эдвин Лэндсир[8]. Впрочем, Лэндсир был другом моей матушки и старым, старым знакомым. Конечно, мы часто и подолгу разговаривали с Диккенсом об Италии[9], и могу сказать, что мы были единодушны в наших мыслях, мнениях и в особенности чувствах касательно этой страны.

Наше согласие относительно английских общественных и политических дел было менее совершенным, однако сдается мне, что, если бы ему было суждено прожить жизнь столь же долгую, как моя, наши точки зрения сблизились бы, и это сближение, наверное, совершалось бы с его стороны, и оно уже намечалось; думаю, со мной согласятся все, кто близко его знал. В вопросах общественной жизни нас разделяло многое. Однако в одной сфере английской жизни, с которой я, очевидно, ближе знаком, чем с любой другой, и которая меня всегда очень интересовала — система публичных школ[10],— наше согласие было полным. Я не могу удержаться, чтобы не процитировать его мнение: оно столь верно, словно и он, подобно мне, проучился восемь лет в такой школе. Цитата, которую я хочу привести, весьма при-

---

[7] Жена Т. Карлейля, Джейн Карлейль, обладала литературным даром и оставила интересные воспоминания о современниках.

[8] Эдвин Лэндсир (1802—1873) — художник, мастер «домашнего жанра». Прославился картинами из викторианского быта.

[9] После Венского конгресса (1814—1815) Италия оказалась разорванной на два королевства, несколько герцогств, Папское государство, Ломбардия и Венеция находились под властью Австрии. Диккенс горячо сочувствовал развернувшейся в Италии в 40—50-х годах революционной борьбе за освобождение от иноземного ига и воссоединение страны.

[10] Публичными школами (public schools) в Англии называются дорогие частные школы-пансионы для мальчиков (например, Итон, Харроу, Винчестер), в которых школьников готовят к поступлению в привилегированные университеты Оксфорд и Кембридж.

мечательна как пример его острой проницательности и сочувствия...

«В июле,— повествует мистер Форстер, имея в виду 1858—1859 годы,— он принимал деятельное участие в начинавшихся тогда хлопотах по закладке Королевского драматического колледжа, во время которой произнес речь в поддержку школ для детей актеров. В этой речи он высказал убеждение, что в Англии нет других столь свободных в общественном смысле учреждений, как ее публичные школы. По всей стране не сыскать такого отсутствия раболепия перед вышестоящими, перед положением и богатством. «К мальчику, обучающемуся в подобной школе (цитирует далее Форстер), относятся как он того заслуживает своими способностями и личными качествами. Мы можем держаться разного мнения о круге преподаваемых предметов и других подобных вещах, но не должно сомневаться, что в наших публичных школах присутствует дух честности, свободы, мужественности и независимости».

У меня сохранилось много писем, полученных от Диккенса. Некоторые, очевидно, могли быть напечатаны в том ценном собрании, которое издали его свояченица и старшая дочь, если бы они получили их вовремя *.

В течение нескольких лет я нередко печатался в «Домашнем чтении» [11]. Мои статьи по большей части были извлечениями из истории Италии, которые являл на свет божий плуг моего рвения. Однажды, помню, такая статья была написана «по заказу». Как-то я обедал у Диккенса, находясь под сильнейшим впечатлением от «Руководства по добыванию признаний», от которого дыбом вставали все волосы, еще сохранившиеся у меня на голове. Это руководство было одобрено высшими церковными властями Тосканы. Я только и мог говорить что об этом предмете, и, наверное, волосы моих слушателей тоже стояли торчком. И тут Диккенс, наставив на меня указательный перст и словно пригвождая к стулу, сказал: «Давайте нам этот материал в «Домашнее чтение» и в том виде, как вы сейчас рассказали», что я и выполнил послушно.

Многие из писем Диккенса так или иначе касались моих публикаций в его журнале, многие другие вряд ли представят интерес для широкой публики, хотя и вышли из-под его пера. Но я могу процитировать из трех-четырех избранные места. Вот, например, отрывок из письма, датированного 3 декабря 1861 года, о котором мое тщеславие не позволяет мне умолчать:

*«...Да, рождественский выпуск журнала и должен стать местом для изъявления дружеских чувств и добрых пожеланий, как соответствующих времени года, так и вообще. Что касается назиданий, там содержащихся, то Вы в них нуждаетесь меньше, чем кто-либо другой из моих знакомых: несмотря на занятия наукой и уединение, Вы стремитесь ко всеобщему благу и сеете зерна истин, которые человечество не слишком ретиво запечатлевает в сердце своем.*

*Да, согласен, рассказ «Двое, рожденных на море» — замечательная вещь и к тому же написана с таким прелестным лукавством. Хвалю не краснея, ибо не я автор. Это сочинил Уилки Коллинз».*

...Я уже говорил, что по итальянским делам наши взгляды совпадали во всем — кроме одного момента. Это был вопрос очень деликатный, как и все, что относится к Ватикану и действиям папской курии. Как хорошо я помню его удивленно взлетевшие брови и смеющиеся глаза, когда я рассказал ему о предложении Гарибальди «истребить под корень всех попов». Думаю, это предложение сильно повысило акции Гарибальди в его глазах.

А затем следует записка-приглашение посетить его «фальстафовский дом в Гейдсхилле» [12].

Вот письмо от 17 февраля 1866 года, которое я даю in extenso *, опять же подкупленный лестными для меня словами о нашей дружбе:

*«Дорогой Троллоп, сердечно рад Вашему письму. Я был так неприятно удивлен, узнав, что Вы уехали* [я тогда собрался в одночасье], *а я в этот Ваш приезд не повидался с Вами, поэтому ни о чем другом и думать не могу. У меня такое ощущение, будто я в чем-то виноват, хотя ума не приложу в чем; что я каким-то образом предал то искреннее и теплое чувство, которое Вы мне внушаете.*

*Стихи Вашей дамы редакцией приняты и скоро появятся в печати* [мне стыдно признаться, но я совсем не помню, о какой даме шла речь]. *Я не совсем здоров и подвергся врачебному осмотру снизу вверх (и сверху вниз).*

*Связано ли мое возбужденное состояние с дискуссиями по поводу самонадеянных действий клерикальной организации, называющей себя Конвокацией* [13], *или с мерцнущей надеждой на благо человечества, которому в 1866 году вдруг стало угрожать средневековье, не знаю.*

*А какой Вы счастливец — занимаетесь устройством своего нового дома. Когда, однако, все хлопоты будут позади и Вы повесите у своего порога яйцо птицы Рох,*

---

* Некоторые письма из нашей с ним корреспонденции, что тогда были при мне, я отослал в Лондон и не помню теперь, какие были опубликованы. Но, думаю, если часть этих писем, теперь приводимых, была уже в печати, то никто из читателей не станет возражать против повторной встречи с ними. *(Здесь и далее сноски, помеченные *, принадлежат Томасу А. Троллопу).*

[11] Ежемесячный журнал «Домашнее чтение» Диккенс издавал с 1850 по 1859 год. С 1859 года журнал стал выходить под названием «Круглый год».

[12] В одном из писем Ч. Диккенс сообщает: «В Гейдсхилле близ Рочестера, графство Кент,— в том самом шекспировском Гейдсхилле, где Фальстаф занимался грабежом, стоит небольшая, причудливая усадьба времен королевы Анны...» Сэр Джон Фальстаф — персонаж исторической пьесы-хроники У. Шекспира «Генрих IV» (части I и II) и комедии «Виндзорские насмешницы» — весельчак, трус и плут, как типичный феодальный рыцарь грабит на проезжей дороге паломников и купцов.

* Пространно *(лат.)*.

[13] В XVI—XVIII веках в периоды «без короля» в Польше созывался церковью так называемый конвокационный сейм, наделенный полномочиями верховной власти. Диккенс, говоря о «Конвокации», имеет в виду любую клерикальную организацию, «самонадеянно» принимающую на себя всю полноту светской власти.

*Вам наверняка захочется отделаться от этого дома и приобрести другой.* [Пророческие слова! Как раз сейчас, переписывая это письмо, я действительно готовлюсь к переселению в иную обитель]. *Корреспондировать с «Дейли ньюс»* [я недолгое время писал в эту газету], *сочинять роман и принимать гостей! Наверное, Вам хочется из-за всех этих занятий удлинить день, а лучше бы саму жизнь... Но я не уверен, что этого надо желать. Похоже, что, чем больше у нас времени, тем меньше мы успеваем сделать...*

*Интересно знать, Вы столь же высокого мнения об искусстве Гибсона*[14], *что и дама, приславшая стихи? Должен признаться, что я нет, в нем, на мой взгляд, есть что-то механическое, ему не хватает воображения. Такое чувство, словно он «меня не достал», как говорят слуги, а просто-напросто осчастливил мраморной глыбой, предоставив мне самому вдохнуть в нее идею и смысл, буде я на это способен.*

*Весьма Вам преданный*
*Чарльз Диккенс».*

Не помню стихов, однако уверен, что дама, приславшая их в редакцию с моей помощью, была очаровательной особой. Что же касается Гибсона, то я не знаю более обоснованной критики. Как человек мне Гибсон очень нравился, я восхищался его характером, но что до его идеальных созданий, тут Диккенс, как говорится, попал в яблочко.

В другом письме, от 25 июля того же года, посвятив страницу редакторским замечаниям, он пишет:

*«Если бы Италия одержала хоть одну блестящую победу на поле брани! Отсутствие таковой вызывает здесь, по-моему, некоторое разочарование, отчего ее нерасторопные друзья делаются еще нерасторопнее, а ее откровенные враги — еще могущественнее... Я отношусь к Италии так, словно сам — природный итальянец...*

*Господин Хоум* [один из его псевдонимов. Когда он гостил у меня, то называл себя Хьюм], *попытавшись выступить на подмостках*[15] *сначала у Фехтера (где я ему сорвал спектакль), а затем в Сент-Джеймском театре под ферулой мисс Херберт (там мое имя дважды значилось в программе и каждый раз таинственно из нее исчезало), был объявлен как главное угощение в маленьком театрике на Динстрит в Сохо «и только на один вечер». Там я играл в прошлый понедельник, но узнал я об этом, разумеется, в субботу из грязного обрывка афишки, приклеенной к окну неприметной лавчонки за Стрэндом. Очень похоже, что это чрезвычайное событие не сошло незамеченным и публика обнаружила, кто есть главный негодяй, и в этой животворящей и укрепляющей дух надежде остаюсь*

*всегда Вам преданным*
*Чарльзом Диккенсом».*

Вот письмо, которое, как легко можно понять, я ценю очень высоко. Оно было написано 2 ноября 1866 года, и я получил его в Бресте *. Это письмо с поздравлением по случаю моего второго брака, и среди множества других, полученных тогда и по той же причине, оно самое теплое!

*«Мой дорогой Троллоп, я, конечно, написал бы сразу же и поздравил бы Вас еще накануне бракосочетания, если бы знал, куда Вам адресоваться.*

*Ни один из Ваших друзей не привязан к Вам сильнее меня. Поздравляю от всего сердца и верю, что Ваш брак займет одно из первых мест в ряду счастливых. Что касается высокой сценической репутации Вашей супруги, то вряд ли это много прибавит к счастью быть Вашей женой, к любви, семейному миру, к тому, чтобы стать для Вас подходящей спутницей,— но я нимало не сомневаюсь в ее способностях стать знаменитой.*

*Вот уж не думал, что из меня выйдет такой устроитель брачных союзов, когда письменно рекомендовал Вашу теперешнюю жену Вашей матушке. Поэтому считайте меня невольным посредником, который способствовал тому, чтобы Ваши нежные чувства достались Вашей драгоценной половине. Это событие — самая высокая награда, которую когда-либо получал церемониймейстер с тех самых пор, как Нэш*[16] *в карете шестеркой промчался по улицам Бата.*

*Преданный Вам*
*Чарльз Диккенс».*

Среди массы других я нашел пригласительную записку от 9 июля 1867 года, в которой он сообщает:

*«В конце этой недели я отправляю в Америку секретаря, ведающего моими чтениями, и обедаю с ним у Верй на Риджентстрит ровно в шесть, дабы напичкать его добрыми пожеланиями. Приглашены только Уиллс*[17], *Уилки Коллинз и м-р Артур Чэппел. Не хотите ли присоединиться? Костюм обычный...»*

Я присоединился, и эта напутственная встреча была очень приятной, но мне больше нравилось пользоваться его обществом безраздельно, что нередко и удавалось. Дело в том, что я, как говаривал

---

[14] Джон Гибсон (1790—1866) — английский скульптор, близкий по манере Канове и Торвальдсену.

[15] Диккенс принимал деятельное участие в постановке любительских спектаклей и сам часто выступал на подмостках. Сборы шли в пользу бедствующих писателей или их семей, оставшихся без средств к существованию. В 1857 году в Манчестере, когда он играл в мелодраме Уилки Коллинза «Ледяная пучина», Диккенс познакомился с молодой актрисой Эллен Тернан. Существует мнение (его высказывали Энгус Уилсон, Чарльз Сноу), что Э. Тернан во многом послужила прототипом героинь поздних романов Диккенса: Эстеллы («Большие надежды», 1861), Беллы Уилфер («Наш общий друг», 1865), Елены Ландлесс («Тайна Эдвина Друда», 1870).

* Имеется в виду порт в Бретани.

[16] Томас Нэш (1567—1601) — прозаик, драматург, автор сатирических памфлетов, за один из которых, «Остров собак» (1597), был подвергнут тюремному заключению. Нэшу принадлежит первый в истории английской литературы авантюрно-плутовской роман «Злосчастный путешественник, или Жизнь Джека Уилтена» (1594).

[17] Уильям Уиллс был помощником Диккенса в журнале «Круглый год», а затем совладельцем журнала.

Джонсон, «не клубельный человек». Во всяком случае, я предпочитаю, по выражению одного ирландца, обедать, «тер-а-тер», независимо от пола сотрапезника и склонен верить поговорке: «Двое — компания, трое — разброд». Но надо учесть и то, что я очень глух, чем тоже, несомненно, объясняется мое предпочтение.

Десятого сентября 1868 года Диккенс пишет:

*«Безумие и универсальное политическое свинство всеобщих выборов как раз под стать атмосфере дней Гая Фокса*[18]*. Мне предложили, на очень лестных условиях, выставить кандидатуру в качестве третьего депутата от Бирмингема, но я ответил уже стереотипной фразой, что «ни при каких обстоятельствах и ничто в мире не заставит меня баллотироваться от какого бы то ни было населенного пункта в палату общин».*

*Вот уж поистине плачевное зрелище представляет собой арена политической жизни. Ее глупость и бесчестность поразительны... Как это удручает, что в области духа или других современных проблем человечество не может начать сызнова, с корня, но стремится начинать с предвзятости и предрассудков...*

*Ну вот, в вдоволь наворчался, и мне стало легче. С добрыми пожеланиями, дорогой Троллоп,*

*преданный Вам*
*Чарльз Диккенс».*

В декабре того же года он опять «ворчит»:

*«Гостиница Кеннеди, Эдинбург*

*Дорогой Троллоп, я занят здесь чтениями и письмо Ваше получил только сегодня утром...*

*Честолюбивые намерения Энтони*[19] [стать кандидатом от Беверли] *для меня непостижимы. Однако к этой цели устремлены желания многих, и чем честнее тот, кто лелеет подобные стремления, тем, полагаю, лучше для всех нас.*

*Всегда сердечно Ваш*
*Чарльз Диккенс».*

А вот еще одно послание, ворчливое по вине одного из шарлатанов той разновидности, которую он, ненавидевший мошенников всех мастей, считал особенно отвратительной,— шарлатана богомольного:

*«Ох, есть тут у нас образчик этой породы! Человек, который велеречиво разглагольствует, а сам не в состоянии правильно построить фразу. При этом он (не будучи в ладах с грамматикой) сумел-таки сговориться с Небом по самым важным делам и теперь уделяет нам часть приватно получаемых сведений с таким идиотским самомнением, что смотреть тошно.*

*По всей вероятности, нас в Англии ждет тяжелая зима. Что будет с Ирландией*[20] *и с правительственной политикой тратить налоги прежде, чем их соберут? Это да еще бродяжничество и тифозная лихорадка делают перспективу очень мрачной...»*

Последнее письмо, полученное от него, датировано десятым ноября 1869 года. Это длинное письмо, но я приведу лишь одну выдержку, которая, увы, особенно печальна и кажется многозначительной теперь, когда знаешь, что уже близка была катастрофа, положившая конец всем его планам и намерениям. Я ему предлагал пешеходную экскурсию через Альпы, и он отвечает:

*«Переход через Альпы? Храни Вас бог, Троллоп, а я уже «ухожу» за альпенштоком и шагаю по горным тропинкам. И еще я «брожу» по Италии, и «поднимаюсь» по Нилу, чем зарабатываю вторую катаракту, и вот я уже «бреду» к Иерусалиму, а потом — в Индию и также — в Австралию. Единственное, что неясно, чего я еще не знаю, так это «к о г д а». Если бы я только знал когда, перспектива прояснилась бы самым чудесным образом. Теперь же я не вижу даже Симплонского перевала, его заслоняют несколько прощальных чтений, а также некая, только что начатая книга*[21]*, они отбрасывают на Симплон свою карликовую тень. Однако, если я когда-нибудь заменю глагол «уходить» на «приходить», я приду с Вами повидаться. С добрыми пожеланиями, дорогой Троллоп.*

*Ваш любящий друг*
*Чарльз Диккенс».*

И это были последние слова, которые он мне сказал.

---

[18] Гай Фокс — участник «порохового заговора». Должен был поджечь порох в подвалах парламента во время тронной речи короля Якова I. По чистой случайности заговор был раскрыт, Гай Фокс казнен. В ознаменование спасения короля и парламента ежегодно 5 ноября в столице и других крупных городах проносили по улицам чучело Гая Фокса, которое затем сжигали.

[19] Известный английский писатель Энтони Троллоп (1815—1882), младший брат Томаса А. Троллопа.

[20] Очевидно, Диккенс имеет в виду последствия недавнего восстания фениев (1867), ирландских мелкобуржуазных революционеров-республиканцев. Отношение к «ирландскому вопросу» у Диккенса осложнялось резким неприятием политики Ватикана, которая в Италии мешала объединению страны, а в Ирландии разжигала религиозные распри.

[21] Неоконченный роман «Тайна Эдвина Друда» (1870). Диккенс успел написать и опубликовать в журнале «Круглый год» шесть из предполагаемых двенадцати выпусков. Посылая королеве Виктории первый выпуск, Диккенс предлагал пересказать содержание романа, но королева не пожелала узнать, «что будет дальше», и «тайну» Эдвина Друда, которую пытается разгадать не одно поколение исследователей, писатель унес с собой. 9 июня 1870 года Чарльз Диккенс умер.

◆

# Наши гости

## Феридун Тонкабони

### Иран

Феридун Тонкабони, чье творчество знакомо советскому читателю[1], принадлежит к тому довольно широкому кругу иранской прогрессивной интеллигенции — писателей, художников, ученых,— патриотов и гуманистов, которые вдали от родины борются за утверждение идеалов равенства и социальной справедливости.

Феридун Тонкабони — поэт, прозаик, эссеист, критик, редактор. Популярность у иранской читающей публики завоевали сборники его новелл: «Пленник земли» (1963), «Пешка» (1966), «Звезды в ночи» (1968), «Записки шумного города» (1972), «Счастливая земля» (1973), «Ходьба по рельсам» (1977), «Между двумя путешествиями» (1978).

Тонкабони приехал в Советский Союз из ФРГ, где вместе с поэтом Сиявошем Кесраи и художником Шахабом Мусави-заде выпускает с конца 1984 года «Ежеквартальный вестник» («Фасл-намэ») Совета писателей и деятелей искусств Ирана.

Мы просим Феридуна Тонкабони рассказать об истории образования Совета и его целях.

— *Совет писателей и деятелей искусств Ирана,*— говорит Тонкабони,— *был создан после народной антиимпериалистической революции в мае 1980 года небольшой группой интеллигенции — приверженцев революции — с целью борьбы за свободу выражения в искусстве и литературе Ирана. За короткий срок Совету удалось привлечь и объединить патриотически настроенных писателей и деятелей искусств и с их помощью познакомить общественность страны с наиболее замечательными произведениями прогрессивной культуры.*

*После введения в Иране жесткой цензуры на все виды изданий,*— продолжает Феридун Тонкабони,— *Совет возобновил свою работу в эмиграции. Издание «Фасл-намэ»— одна из сторон его деятельности.*

*На страницах «Вестника» обычно сообщаются условия вступления в Совет. Мы заинтересованы в привлечении новых членов, так как организация существует только «за счет взносов и добровольной помощи тех, кому дороги литература и искусство». Мы воспроизводим также в каждом номере «Обращение» Совета ко всем друзьям и соратникам с призывом активно участвовать в распространении изданий Совета, и в первую очередь, разумеется, «Вестника». В журнале участвуют многие прогрессивные деятели литературы и искусства Ирана, оказавшиеся в эмиграции.*

*Журнал,*— сказал далее Феридун Тонкабони,— *публикует и статьи иностранных прогрессивных критиков. В одном из номеров, например, напечатана большая работа советского академика М. Храпченко «Мировоззрение, мысль и писательское искусство», статья писателя из ГДР Петера Шютта «Агостиньо Нето: нет места слезам» и другие.*

— А что же публикуется в настоящее время в Иране? Что смотрит иранский зритель в кино и театрах?

— *Лучшие образцы классической и современной персидской литературы, получившие мировое признание, вытеснены беспомощными опусами,*— отвечает Ф. Тонкабони.— *Из программ по литературе в школах и университетах изъяты имена таких писателей, как Хайям (его обвиняют в нарушении предписаний религии), Обейд Закани, Ирадж Мирза, многие другие. Под разными предлогами запрещаются издания их произведений. Ни в одной книге, газете, журнале вы не найдете и намека на творчество Форуга Фаррох-заде или основоположника «новой поэзии» Ирана Нима Юшиджа, других крупнейших современных поэтов. Зато «зеленая улица» открыта доморощенным сочинителям, их имена сопровождаются помпезными титулами: «остад» («мастер»), «выдающийся поэт», «лидер поэтов». Эти сла-*

[1] В русском переводе вышла книга «Новеллы» (М., «Художественная литература», 1979) и «Избранные рассказы» (М., «Радуга», 1985). В журнале «Иностранная литература» печатались его сатирические рассказы «Похвала лености» и «Жизнь» (1985, № 1).

гатели «истинной мусульманской поэзии», проповедующие идеи готовности «умереть за веру», плетут свои вирши, нагромождая одно на другое слова «шахид» (то есть «умерший мученической смертью»), «саван», «обмывание покойника», «священный путь», «жертва», «благоденствие», «чудо», «паломник кровавого пути Хусейна».

— В первом из вышедших в эмиграции номеров журнала «Фасл-намэ» опубликована ваша статья «Исламская проза». Мы бы просили вас сказать о ней несколько слов, подробнее остановившись на тех моментах, которые представляются вам наиболее принципиальными.

— Прежде всего, это нынешнее состояние персидского языка,— отвечает Ф. Тонкабони.— За последние полвека благодаря деятельности писателей и переводчиков персидский язык заметно обогатился. Правда, на исходе правления шаха пришедшие с Запада чуждые персидскому языку слова и обороты — кальки английских и американских выражений стали засорять его. А после революции 1979 года развернулось новое наступление на персидский язык, уже с другой стороны: началось внедрение искусственного, выдуманного ахундами наречия, в котором преобладают арабские слова и выражения в их искаженной, безграмотной форме. В упомянутой статье я привожу примеры из нынешних произведений разных жанров, которые показывают, как часто встречается в них слово «кровь». Это не случайно, сегодня исламская литература — литература крови, лицемерия и обмана.

В так называемых «исламских рассказах»,— продолжает писатель,— в противоположность объективным законам жизни, все формы творческой деятельности человека оцениваются с точки зрения необходимости завершения их смертью, разрушениями, гибелью, горем. Образцовым человеком для авторов такого рода литературы считается тот, чьи чувства, взгляды, устремления, привязанности целиком ограничиваются рамками пропаганды целесообразности продолжения войны любыми средствами. Для них не существует ни истинных мотивов, ни действительных ужасающих результатов этой войны. Они сознательно жонглируют неопределенными общими положениями, фантастическими идеями.

Современные исламские «теоретики» литературы рекомендуют набор тем, не противоречащих законам шариата: «мученическая смерть за веру», «война с неверными», «ислам — защитник обездоленных», «события в Курдистане», «вражда с Советским Союзом»...

А вот пример схемы, предлагаемой молодым писателям для создания произведения на тему «Мученическая смерть за веру»: «Ваш герой — молодожен двадцати лет, ради любви и преданности исламу, имаму и вождю он, презрев личные привязанности и несмотря на то, что у него самый счастливый период в жизни, отказывается от всего и отправляется на фронт, чтобы принять там мученическую смерть за веру...»

Именно на этой основе построена, например, повесть Акбара Халили «Победа побед» — вполне типичное для нынешней иранской прозы произведение. Она написана в форме дневника солдата, в котором рефрен «Хочу умереть, хочу умереть мученической смертью за веру!» повторяется с начала до конца почти на каждой странице. Вот таким образом насаждаются самые примитивные формы фанатизма.

Кровью наивных, оболваненных людей, подобных герою этой повести, торгуют те исламские нувориши, которые набивают мешки золотом, ведут праздный, паразитический образ жизни и при этом призывают молодежь к аскетизму, представляя смертельный яд исламского шовинизма как «шербет мученической смерти за религию». Куда же приведет нашу молодежь такая пропаганда религиозной мелкобуржуазной революционности, не имеющей ничего общего с истинной самоотверженностью и преданностью родине?!

Из теоретических постулатов следует еще одна особенность исламской прозы — схематизм, заданность: персонажи положительны или отрицательны с самого начала и на протяжении всего произведения не выходят из очерченных рамок, никакие изменения для них невозможны. Этот мертвящий гнет схемы, жесткие оковы нормативов декларируются совершенно открыто.

Ф. Тонкабони цитирует рекомендацию молодым авторам:

— «При написании исламского рассказа все творческие помыслы писателя должны быть устремлены на поиск схемы, берущей истоки из благодатного источника ислама. Когда ум занят чем-либо иным, а не духовной мыслью, это неминуемо приводит к разврату и распутству. И таким путем мусульманский писатель никогда не достигнет цели». С помощью начетничества, фанатизма можно достичь многого,— заключает Ф. Тонкабони,— но нельзя создать произведения искусства. Подлинное искусство требует свободомыслия, широты взглядов, воображения и глубоких знаний. Таков вывод, к которому я подвожу читателей статьи.

Я надеюсь, что пусть даже краткий обзор всего лишь одной критической статьи, помещенной на страницах «Фасл-намэ»,— подчеркивает наш иранский гость,— дает представление о том, что журнал и Совет писателей и деятелей искусств Ирана через посредство его стремятся вести активную пропагандистскую работу, способствующую консолидации прогрессивных деятелей культуры Ирана в самой стране и за ее пределами.

**Беседу записал ДЖ. ДОРРИ**

Антирубрика

БРАЙАН ФОСЕТТ

# МОЯ КАРЬЕРА В «ТОРОНТО МЕЙПЛ ЛИВЗ»

Рассказ

*Перевод с английского М. ЗАГОТА*

*Рисунок Л. Коростылева*

Да, мне пришлось играть за «Торонто мейпл ливз» — сейчас объясню, как это получилось. Все вышло на удивление просто, и если вы тоже мечтаете поиграть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), мой рассказ может оказаться для вас полезным. Дело в том, что я поэт и время от времени выступаю с чтением стихов перед зрителями. Однажды меня занесло в Торонто, и, можно сказать, первым делом я заглянул на стадион «Мейпл ливз гарденз». Местные «профи» как раз тренировались.

Я смотрел с трибуны, как эти парни раскатывают по ледяному полю, а потом думаю: а что, если и мне попробовать? Спускаюсь в раздевалку, там человек. Я его вежливо спрашиваю: можно поучаствовать в тренировке? Оказалось, что это тренер.

— Никаких проблем,— отвечает.

Прямо так и ответил, хотите — верьте, хотите — нет.

— А хоккейную форму можно надеть?

— Конечно,— разрешает он.— С каким номером?

— Ну, допустим, с пятнадцатым,— невинно прошу я.

Дело в том, что под этим номером тогда играл Пэт Бутетт, но я знал, что у него травма и на тренировке его наверняка нет. У меня даже взыграло самолюбие — а что, возьму да и оставлю его без работы! Через несколько минут я уже был на льду вместе со славной командой «Торонто мейпл ливз».

Я немного покатался, избегая перепасовки и бросков по воротам — хотел, чтобы мои слабенькие лодыжки привыкли к нагрузке. Разумеется, они начали болеть, тогда я переместился поближе к старшему тренеру, Реду Келли, который властными окриками давал хоккеистам указания. Я небрежно оперся на клюшку — эту позу часто принимает вратарь Кен Драйден, я видел по телевизору,— и посмотрел на свои коньки. Минуты две-три я наблюдал, как парни отрабатывают проход и броски к воротам, боль в лодыжках поутихла, и я подъехал к Келли.

© 1982, Brian Fawcett

**БРАЙАН ФОСЕТТ — BRIAN FAWCETT** (род. в 1944 г.)

Канадский писатель. Автор семи поэтических сборников, последний из них — «Бешеный транспорт» («Aggressive Transport»).

Публикуемый рассказ взят из его одноименного сборника, вышедшего в Ванкувере в 1982 г. («My Career with the Leafs & Other Stories». Vancouver, Talonbooks).

— Я попробую, ладно? — спросил я как можно безразличнее.

— Давай-давай,— отозвался он.— Посмотрим, на что ты способен.

Кто-то подтолкнул мне шайбу, я потянулся к ней, зацепился коньком за конек и растянулся во весь рост. Мои сладкие мечты обернулись кошмаром. Я немного полежал на льду, поглядел на шайбу, будто это она меня зацепила, и подумал: а может, хватит грезить? Сделаю-ка им ручкой, мол, извините, я пошел.

Но отступать было некуда, и делать ручкой я никому не стал. А поднялся, подобрал со льда клюшку и посмотрел Реду Келли прямо в глаза. Ни один мускул не дрогнул на его лице, не промелькнуло и тени улыбки. Тогда я толкнул шайбу вперед и, медленно набирая скорость, покатил в сторону голкипера — кажется, Горда Макрея. Футах в пятнадцати от ворот я переложил шайбу не под правую руку, как это принято, а под левую. Макрей поддался на мою уловку, и я тут же рванулся вправо. Передо мной оказались открытые ворота, и низовым броском я загнал шайбу в сетку.

Бросить в такой ситуации с левой руки — дело невероятно трудное. Почти невозможное, и все, кто был на льду и за бортиком, прекрасно это знали, в том числе и Келли, у которого просто челюсть отвисла. Я же и понятия не имел, как это вышло — вышло и все тут.

— Недурно,— подбодрил меня Келли.— Совсем недурно.

Первая шайба далась мне без труда, но остальная часть тренировки — вовсе нет. Даже в свои лучшие годы я катался на коньках без особой удали, а сейчас вообще был не в форме. С бросками по воротам я управлялся как будто неплохо, можно сказать, забрасывал сколько хотел, а вот с защитой дело обстояло хуже, особенно когда приходилось откатываться назад. Несколько раз я падал, а однажды так вмазался в борт, что Келли подъехал ко мне и успокоил: мол, особенно нервничать не стоит.

Когда тренировка кончилась, он спросил, не зайду ли я после душа к нему в кабинет. Я сказал, что с удовольствием, принял душ (как во сне) и вскоре сидел в уютном красном кресле перед большим столом, по другую сторону которого расположились Ред Келли и Джим Грегори, управляющий директор «Торонто мейпл ливз».

Келли что-то записывал в небольшой блокнот. Разговор повел Грегори.

— У вас нестандартная техника,— сказал он.— Я наблюдал за вами из ложи. Где вы научились так играть в хоккей?

Я решил сказать правду.

— Видите ли,— ответил я,— вообще-то в хоккей как таковой я не играл лет с двенадцати. Но конечно, я всегда смотрю передачу «Хоккейный вечер в Канаде» и, наверное, многое почерпнул из нее.

— Откуда вы родом? — последовал вопрос.

— Так сразу и не скажешь,— уклончиво ответил я, вспоминая детские годы.— Будем считать, что с западного побережья. Даже и не с побережья. Скорее, с севера.

— Как вы оказались в Торонто?

— Я поэт,— ответил я,— приехал выступать перед читателями.

— Нормально,— принял он к сведению. Похоже, мой ответ его впечатлил.

— Вы, наверное, знаете Роту. Он из тех краев.

Я почесал в затылке. Среди пишущей братии человека по фамилии Рота на севере как будто не было. Келли заметил мое замешательство.

— Восходящая звезда,— объяснил он.— Недавно взяли в Чикаго.

— Слышал.— Я пожал плечами.— Но вместе мы никогда не играли. Он на несколько лет моложе меня.

В воздухе повисла тишина, они будто решали, кому говорить дальше. Наконец, Грегори поднялся и прокашлялся.

— Как вы относитесь к предложению поиграть за «Торонто мейпл ливз?»— спросил он.

— Что ж, с большим удовольствием,— быстро ответил я.— Но желательно только здесь, в Торонто. Ненавижу переезды.

Моя просьба несколько озадачила Грегори, но он согласился; возможно, потому, что других условий я не ставил.

— В понедельник вечером играем с «Бостоном»,—сказал Грегори.— Ждем вас на льду в шесть часов.— Он помолчал.— Впрочем, приходите в половине шестого, у вас будут лишние полчаса, чтобы раскататься.

Я поднялся.

— Пожалуй, это не помешает,— с улыбкой сказал я.

Келли что-то буркнул себе под нос, потом ухмыльнулся, следом за ним я вышел из кабинета и по длинным бетонным коридорам «Мейпл ливз гарденз» прошел прямо к служебному выходу. Келли пожал мне руку.

— Рад, что вы теперь с нами,— сказал он, кажется вполне искренне.

— Приятно влиться в фирму, где не боятся идти на риск,— ответил я с не меньшей искренностью.— Торонтцы, я вижу,— народ гостеприимный.

Келли улыбнулся, махнул мне на прощанье, и через открытую дверь я вышел в легкую — зима только начиналась — круговерть метели.

Не успел я толком опомниться, как уже сидел в раздевалке «Торонто мейпл ливз» рядом с Джорджем Фергюсоном и натягивал на себя хоккейные доспехи. Вошел Келли и объявил, какой будет состав.

— В матчах на своем поле за нас будет играть Фосетт,— провозгласил он, указывая в мою сторону.— Поначалу он выйдет на фланг в тройке с Фергюсоном и Хаммерстремом, а дальше поглядим. Вопросы есть?

К моему удивлению, многие игроки знали, кто я такой, некоторые даже читали мои стихи. Краем глаза я заметил, как переглянулись два шведа, Хаммерстрем и Сальминг. Может, они подумали, что, если в команде будет поэт, они смогут хоть как-то перевести дух. Они еще только приживались в лиге, и их здорово донимали — физически и словесно — остолопы и громилы из других команд: иностранцы, видите ли, меняют суть канадского хоккея и вообще лишают их работы. От журналистов шве-

дам доставалось за то, что они якобы уходят от силовой борьбы, особенно Хаммерстрем, у которого, как писали в газетах, на борты аллергия. Лично мне казалось, что человеку, который так катается на коньках, вполне можно простить эти недостатки.

Я еще подумал: почему же Келли поставил меня в одну тройку именно с Хаммерстремом? Потом решил: для компенсации — я-то на коньках держусь не очень. Можно было не сомневаться, что каждая команда лиги всех своих громил выставит против нас. Келли, наверное, считал, что в случае чего Хаммерстрема спасут ноги, а меня — язык.

Впрочем, скоро все станет ясно. Здорово, что и Фергюсон в нашей тройке — по-моему, в лиге уже давно не было такого умного, такого толкового центра. Постараюсь вести себя как подобает новобранцу — не тушеваться и держать рот на замке. Что для поэта, согласитесь, довольно непривычно.

Первый период прошел несколько бесцветно. Моим «сторожем», как и предполагалось, оказался Уэйн Кэшмен, пожалуй самый грубый игрок во всей лиге. Я сновал вдоль борта, в основном ускользая от столкновений — может, потому, что Кэшмен и сам был не бог весть какой конькобежец. Правда, несколько раз он устраивал мне «шлагбаум», но до кровопускания дело не дошло; в конце периода он ткнул меня под ребра концом клюшки, однако и этот выпад я оставил без внимания. Просто подождал, пока восстановится дыхание, и поехал со всеми в раздевалку.

В начале второго периода за взаимную попытку членовредительства на скамью штрафников отправились Ленни Макдональд и Дон Маркотт, и Келли выпустил на площадку меня и Хаммерстрема сражаться в неполном составе. В нападении у «Бостон брюинз» вышли Грег Шеппард и Кэшмен. Вбрасывание в нашей зоне выиграл Хаммерстрем, он откинул шайбу назад Иэну Тернбеллу, а тот рикошетом от борта переправил ее мне. Я сделал вираж и, едва не потеряв равновесие, помчался вперед. Пересек красную линию и увидел, что на меня накатывается Кэшмен и глаза его горят нехорошим огнем. Я поехал на Орра, который поджидал меня у синей линии, сделал ложный выпад влево, будто собирался проскочить между Орром и бортом, и резко рванул вправо. Орр поддался на мой финт, как и Кэшмен, тот оказался у меня за спиной и теперь тыкал меня клюшкой куда-то под печень. Когда я нырнул вправо, Кэшмен врезался в Орра, и оба рухнули на лед. Мы с Хаммерстремом выкатились вдвоем на одного защитника, и я передал шайбу партнеру. Он вытянул Эла Симса на себя, вернул шайбу, и мне осталось лишь разобраться с Чиверсом. Я повторил свой фокус: ложное движение влево, рывок вправо — и швырнул шайбу над поверженным ловилой в правый верхний угол ворот.

Я вскинул вверх руку с клюшкой — не раз видел этот жест по телевизору — и хотел даже пуститься в пляс, но столкнулся с Хаммерстремом, и мы оба упали. Ко мне с поздравлениями подъехал Тернбелл, а Сальминг тем временем вытащил шайбу из ворот. Он протянул ее мне, ухмыльнулся и что-то сказал на неизвестном мне шведском языке. Хаммерстрем, тоже ухмыльнувшись, кивнул в сторону Кэшмена, который с опущенной головой кружил по льду в центре площадки.

Игра шла жесткая, в корпус, к середине третьего периода счет оставался один-ноль. Большего мне в тот вечер добиться не удалось. Я заехал в угол, ожидая пас от Фергюсона, за мной последовал Кэшмен, а выехал из угла уже он один.

Когда я пришел в себя, игра давно закончилась. Торонтцы победили два-ноль. Кэшмена, который меня «вырубил», удалили с поля, и Ситтлер использовал численное преимущество. Так мне по крайней мере сказали.

Назавтра я вышел на тренировку, хотя вечер после игры провел в больнице — там все выясняли, нет ли у меня сотрясения мозга. Поспать как следует не удалось, потому что каждые полчаса ко мне заходили врачи и проверяли, не погрузился ли я в кому.

— Вы не спите? — спрашивали они, поднимали одним пальцем мое веко и подсвечивали маленьким фонариком зрачок. Часа в четыре утра в палату вошел совсем молодой врач. Как выяснилось, хоккейный болельщик.

— Это вы только что пришли в «Ливз?» — спросил он.

— Угу,— выдавил я из себя.

— А шайбу вы забросили классно,— похвалил он.— Где научились такому финту?

— По телевизору,— честно ответил я.

— Говорят, вы и стихи пишете,— сказал он.

В голове у меня гудело, и я поморщился.

— Чего только в жизни не бывает,— удивился он.— С Кэшменом будьте поосторожней.

Он исследовал мои глаза так тщательно, будто искал в них строчки стихов, но в конце концов сказал, что утром меня, скорее всего, отпустят.

На тренировке Фергюсон тоже посоветовал мне быть с Кэшменом поосторожнее.

— Тебе еще повезло,— заметил он.— Кэшмен тебя два периода караулил. Мы знали, чем это кончится, но через такое испытание проходят все, так что и тебе, пожалуй, не вредно.

— Ничего себе испытание,— пожаловался я.— У меня от него до сих пор в голове звенит.

Я еще трижды сыграл на своем поле, в последней встрече с «Рейнджерами» даже забросил шайбу и сделал голевую передачу Фергюсону. Потом команда три матча подряд играла на выезде, а следующие три — дома. Без нее я не терял времени даром: много катался на коньках, кружил и кружил по площадке, пока ноги не становились ватными. Попробовал было ездить без клюшки, но оказалось, что, как и в детстве, мне это не дано. Клюшка требовалась для равновесия, без нее я едва стоял на коньках.

Когда команда вернулась, я признался Фергюсону, что не могу кататься без клюшки.

— Кончай заливать,— не поверил он.

— И не думаю,— возразил я.— Это чистая правда. Коньки мне всегда покупали раз в три года, и в первый год они мне были велики, а на третий — малы.

Фергюсон был человек дотошный.

— Ну а второй год? — спросил он.

— У меня тогда были очень слабые лодыжки,— ответил я.

— Они у тебя и сейчас слабые.

— А клюшка помогает мне держать равновесие,— объяснил я, продолжая кружить по площадке.

Чтобы поддразнить меня, Фергюсон поехал задом наперед.

— Кататься на коньках очень просто.— Он засмеялся.— Для меня это как дышать.

— Я то же самое могу сказать о многом,— заметил я,— но не о катании на коньках.

— Да, непохоже, что тебе сейчас легко дышится,— согласился он.

Когда мы расшнуровывали коньки после тренировки, он робко спросил, каково это — быть писателем.

— Для меня это все равно что дышать,— ответил я.

— А как ты влез в писательство? — с неподдельным любопытством спросил он.

— Мне,— ответил я,— было тогда лет тринадцать. Я как раз бросил играть в хоккей на уровне дворовой лиги.

Мы с Фергюсоном подружились. Он учил меня азам профессионального хоккея, я в свою очередь давал ему книги. Меня в то время интересовали Рильке и американский поэт Джек Спайсер, и Фергюсон заглатывал все, что я ему приносил. В моей спортивной сумке всегда лежали книги, и Фергюсон постоянно в ней рылся, смотрел, что там новенького. Как-то он спросил, уступают ли канадские писатели американским.

— Старая гвардия у нас пишет довольно пресно,— сказал я.— А вот среди тех, кому под сорок, подающие надежды определенно есть.

— Господи! — воскликнул он.— Это сколько времени должно пройти, прежде чем станешь мэтром?

— Обычно лет пятнадцать напряженной работы,— ответил я.— Некоторые становятся мэтрами раньше — либо у них были хорошие учителя, либо благоприятная среда,— продолжал я.— Но это редко. Большинству из нас приходится как следует изучать культурное наследие человечества, а на это уходит много времени. Потом еще надо быть в курсе всех новинок — ведь мир не стоит на месте. Многие писатели, достаточно хоть раз похвалить их в прессе, начинают писать на потребу среднему читателю или, еще хуже, мнят себя гениями и никого не желают слушать. В итоге они повторяются и вообще перестают чувствовать время. В конце концов они спиваются, или превращаются в отшельников, или только и делают, что пытаются ублажить критиков, да клянчат материальную помощь.

Он стал расспрашивать про материальную помощь, и я объяснил, чего в денежном исчислении стоят попытки стать серьезным художником в стране, которая хочет иметь настоящее искусство, но оплачивать писательский труд не рвется.

Он выслушал меня недоверчиво.

— Если не брать финансовую сторону,— сказал он после минутного размышления,— у хоккея с твоим ремеслом много общего. Только хоккеисту получить пинок под зад куда проще, и вообще с нами не церемонятся.

— Это потому, что вы больше на виду,— сказал я.— И денег за хоккей платят больше.

Следующая домашняя серия прошла удачно. Я забросил свою третью шайбу, один раз проассистировал Фергюсону и сделал еще одну голевую передачу из-за ворот Ситтлеру, когда противник играл в меньшинстве. Всего в мою смену мы забросили четыре шайбы, и после семи игр мой личный счет был плюс пять. Потом «Ливз» снова отправились в путь-дорогу на пять игр, а я снова вышел один на один со льдом, катался и катался до одурения и постепенно стал стоять на коньках увереннее. Сначала я кружил по часовой стрелке, потом против. Катиться против часовой стрелки было легче, возможно, потому, что на виражах у углов площадки клюшка почти касалась льда. Зато откатываться задом никак не удавалось, а чтобы резко затормозить, мне требовался борт. Но я научился развивать приличную скорость, когда ехал прямо вперед, и эта высокая скорость плюс неумение вовремя затормозить давали отличные результаты при игре в корпус.

Когда команда прилетела из Лос-Анджелеса, мы с Фергюсоном вечером отправились в город. Он показал мне главные достопримечательности Торонто, потом мы дошли до озера Онтарио и стали бросать камешки в пустые молочные пакеты, плывущие по воде. Стояла оттепель, в воздухе пахло весной — повсюду громоздились потемневшие сугробы, с улиц на буксире вывозили брошенные легковушки, и странное ощущение, будто я попал в некий сказочный мир, начало рассеиваться. Куда ни кинь взгляд — влюбленные, они обсуждали решения парламента, целовались, дурачились, а с озера накатывался туман, который растворялся в подступающих с востока сумерках.

На своем поле нам осталась одна игра — с «Бостон брюинз». По мере ее приближения ребята все чаще отпускали добродушные шуточки насчет того, как мне быть с Кэшменом.

— Прижми его к борту яркой метафорой,— советовал Ситтлер.

— А потом рубани внутренней рифмой,— подхватывал кто-то еще.

Я смеялся над этими подначками, но в душе был обеспокоен. К моему с Кэшменом конфликту прицепилась пресса и всячески развлекалась — главным образом за мой счет. Элан Эйбл из «Глоуб энд мейл» высказался в том смысле, что наконец-то выяснится, какое орудие производства мощнее — клюшка или перо. В интервью какой-то газете Кэшмен разразвонил на весь свет,

что он презирает мой стиль в частности и поэзию в целом. У людей, которые пишут стихи, заявил он, наверняка что-то не в порядке с гормонами. Но это еще не все. Он сказал корреспонденту, что, по его мнению, я вообще личность сомнительная, и обещал болельщикам сделать котлету из меня и моих стихов.

Когда я выкатился на разминку, Кэшмен окинул меня недобрым взглядом, и я решил показать болельщикам, как быстро бегаю на коньках — сделал рывок по центру. Келли — добрый человек — не стал выставлять наше звено против звена Кэшмена, но после второй смены, едва шайбу вбросили в игру, правый крайний бостонцев поехал к своей скамейке, и через борт перелез Кэшмен. Кто-то прижал шайбу ко льду, и мы приготовились к вбрасыванию глубоко в зоне «Бостон брюинз». Кэшмен описал вокруг меня дугу, держа клюшку в четверти дюйма от моего носа.

— Надгробную надпись себе придумал? Надеюсь, в стихах? — Он оскалил зубы.— В тот раз ты посадил меня на задницу, теперь твоя полетит в третий ряд.

Я посмотрел ему прямо в глаза — неужели я, поэт, уступлю ему по части жаргонной лексики?

— А пупок не развяжется? — парировал я.

Вбрасывание выиграли мы, Фергюсон отбросил шайбу Сальмингу, и я покатил к углу ждать пас. Кэшмен, не глядя на шайбу, поехал за мной. Я ускользнул от удара локтем. Локоть Кэшмена, однако, не ускользнул от внимания судьи, потому что я сполз вдоль борта, будто меня рубанули секирой. Под свист трибун Кэшмен был наказан двухминутным штрафом за удар соперника локтем и тут же получил еще две минуты за неспортивное поведение — пытался загнать меня на трибуны. Я, естественно, отъехал от него, и между нами тут же выросли трое наших — спасли меня от верной смерти. Келли оставил меня на площадке, и мы сразу реализовали численное преимущество: Ситтлер вступил в борьбу, шайба отлетела ко мне, и я щелкнул с ходу так, что Жиль Жильбер не успел и глазом моргнуть. Один-ноль.

Когда я вернулся на скамейку, Келли сказал, что после первого периода меня будет интервьюировать Хауи Микер. Была суббота, и матч транслировали на всю страну.

Я даже не сообразил, что речь идет о передаче «Хоккейный вечер в Канаде». В профессионалах становишься таким — забываешь обо всем, без чего нормальные люди и жить не могут. Но за это приходится платить. Мою забывчивость мне предстояло оплатить дорогой, ох, какой дорогой ценой. В моей спортивной сумке не было никаких стихов. Сейчас я буду говорить на аудиторию, какая канадскому поэту и не снилась — а мне даже прочитать нечего.

Через несколько минут я уже сидел перед телевизионными камерами, как полагается, полотенце накинуто на плечи, и смотрел на Хауи Микера, который представлял меня стране. Я понимал: надо сейчас же, немедленно что-то придумать, иначе дело мое гиблое. Голова была пуста, как тыква.

— В эфире «Хоккейный вечер в Канаде». Мы ведем репортаж из «Мейпл ливз гарденз», у нас в гостях левый крайний торонтцев Брайан Фосетт,— провозгласил Микер голосом, который в жизни оказался куда более гнусавым, чем по телевизору.

Микер выгнулся в сторону камер, и я отметил, что он сидит к ним ближе, чем я. Стрижки ежиком я не видел бог знает сколько лет, а такого количества косметики на мужском лице не замечал, кажется, никогда; я просеивал эти новые впечатления, не слушая, что он говорит. К счастью, он, по обыкновению, нес ахинею и не обращал на меня ни малейшего внимания.

— ... Приятно видеть, когда в НХЛ приходит молодой игрок, прекрасно владеющий азами хоккея и играющий в надежный, напористый, позиционный хоккей. Да что там говорить, какую тактическую мудрость вы, еще неоперившийся юнец, проявили, когда не стали связываться с таким игроком, как Уэйн Кэшмен. Я был просто потрясен. И ведь результат налицо, правда же? Не прошло и минуты, как вы вколотили эту красавицу шайбу словно родились с клюшкой в руке и коньками на ногах.

Вопроса он мне не задал, но мысль, похоже, довел до конца.

— Вообще-то говоря, Хауи,— вступил я, до того взвинченный, что был способен только на правду,— я почти не играл в хоккей лет с двенадцати-тринадцати, а сейчас мне тридцать, так что определение «неоперившийся юнец» тут едва ли подходит. Последние годы я главным образом занимался лингвистикой, в частности проблемами членения в поэтической речи. Можно сказать, что я старался постичь крайне сложное ремесло.

По-моему, Микер меня не понял. Возможно, ему показалось, что я говорю по-французски. Так или иначе, от всего сказанного мной он просто отмахнулся и накинулся на меня с новой порцией белиберды:

— Что ж, Брайан, а как вам нравится играть в такой команде, как «Ливз», которая исповедует жесткую, суровую и простую игру и где принято вкалывать до седьмого пота?

— Что ж, Хауи...— Я не был уверен, ясно ли ему, что я понимаю по-английски, но ясно было другое — о том, что я поэт, он и не подозревал.— Я считаю, что суровая простота — это в некотором роде проблема. Несколько лет назад ее создали наши писатели Нортроп Фрай и Маргарет Этвуд, воспев в своих книгах первозданную природу и необжитые края, суровый быт канадских пионеров и тому подобную напыщенную романтику, и теперь многие наши писатели щеголяют в сапогах «а-ля деревня» и без зазрения совести раздают оплеухи. Я, признаться, и сам этим грешил.

Микер неподвижным взором смотрел на меня, челюсть его зависла где-то в области солнечного сплетения. Он молчал, и я решил, что могу продолжать:

— Может быть, насилие и заложено в самой природе, но природа — не самый лучший пример для подражания. В этом смысле ее явно переоценивают.

Я знал, что слишком бурно жестикулирую, что начинаю захлебываться. Я совсем забыл о камерах — мне важно было убедить Хауи Микера. Остановиться я уже не мог.

— Искусство — это порождение цивилизации,— продолжал я,— а вовсе не природы. Природа лишь производит конкретные продукты — сверх всякой меры,— потом пускает в отходы большую часть ею же созданного, а когда эти отходы начинают дурно пахнуть, прибегает к насилию. Когда люди следуют законам природы, появляются такие мерзавцы, как Гитлер.

Меня занесло, и я без промедления перешел ко второй части вопроса Микера:

— Вкалывать, как вы выразились, Хауи, до седьмого пота — крайне важно. Чем больше я постигаю игру, именуемую жизнью, тем больше убеждаюсь: успех приходит к тем, кто умеет вкалывать до седьмого пота. Думаю, к хоккею это тоже относится.

Похоже, Микер по непонятной причине лишился дара речи, и я, не теряя темпа, понесся дальше:

— Если бы вы предупредили меня заранее, я бы захватил кое-какие свои работы, но, судя по всему, такие интервью слишком поверхностны и не рассчитаны на то, чтобы телезрители вникли в суть явлений, тем более им не собираются рассказывать, чем дышит, на каком уровне находится и какие проблемы пытается решить современная канадская литература.

Наконец Микер, что-то забормотав, вернулся к жизни:

— Гм... ххм... Да, ну что же... Что ж, Брайан, желаю вам и вашей команде «Ливз» успеха в предстоящем периоде,— произнес он, с трудом приходя в себя, хотя выражение его лица было не самым подходящим для телекомментатора. — Дейв Ходж, снова переключаемся на вас,— хрипло объявил он.

Пока экран не погас, я продолжал вежливо улыбаться в камеру. Я не раз видел, как парни на экране, думая, что камеры уже отключены, начинали ковырять в носу, а мне хотелось, чтобы зрители мои слова запомнили.

Микер повернулся ко мне:

— Ты что, чокнутый? Что такое ты наплел?

Я начал было объяснять, но он не стал слушать — поднялся и вышел из студии.

Когда я вернулся в раздевалку, там стояла какая-то странная тишина. Я сел рядом с Фергюсоном, стянул с шеи полотенце. Он сидел, упрятав голову в колени, будто его мутило.

— Ты разве не знал насчет Микера? — с сомнением в голосе спросил он.

— Чего не знал? — удивился я, запихивая полотенце в свою спортивную сумку — какникак сувенир.— Когда я заговорил про литературу, его вроде немного покоробило, но зачем он лез с этими идиотскими вопросами? И ни разу, между прочим, меня не прервал.

— Дружище, да это неписаный закон хоккея,— объяснил Фергюсон.— Ты должен строить из себя круглого идиота.

Теперь пришел мой черед засомневаться.

— Дэррил считает, что владельцы клубов насчет этого сговорились,— сказал он.— Когда ты переходишь во взрослую команду из юношеской лиги, тебе дают список того, о чем можно беседовать с прессой. Строишь из себя идиота, что-то несешь насчет командной игры и тому подобную дребедень.

У меня даже в голове загудело. Мальчишкой я думал, что в мире действуют какие-то тайные законы, он кишмя кишит заговорщиками, но ведь я давно вырос, а НХЛ — никакая не выдумка, а самая что ни на есть жизнь. Я не мог поверить своим ушам.

— Несколько лет назад,— продолжал Фергюсон,— когда интервью брали у Кенни Драйдена, он взял и заговорил чисто и грамотно, да еще с хорошим подбором слов — знаешь, какой шум поднялся? Но он тогда учился на юриста, и это ему сошло с рук. Не знаю. Может, до него еще доберутся, скажут: поиграл и будет.

Фергюсон пожал плечами, в голосе появилась какая-то безысходность.

— Есть подозрение,— добавил он,— будто всю эту политику насчет того, что мы остолопы и двух слов связать не можем, проводят власти, будто так распорядились наверху.

Я огляделся: не шутит ли он? Двое-трое кивнули и сразу же отвернулись, остальные буравили меня недовольными взглядами. Келли — тот был просто рассержен.

— Да вы что, в самом-то деле? — обратился я ко всем сразу и ни к кому в отдельности.— Почему вы должны с этим мириться? Мы что — круглые идиоты? Посмотрите, сколько сейчас книг в раздевалке.

Несколько парней взяли лежавшие рядом толстые книги в твердом переплете и убрали их в сумки. Все знали, что Ситтлер зачитывается Генри Джеймсом, Ситтлер нам даже признавался: после чтения этого классика у него налаживается игра в пас. А Тайгер Уильямс еще в юниорах запоем читал Арто [1]. Кретинов в лиге, разумеется, хватало, но если о своих интеллектуальных увлечениях ты особенно не распространялся, тебя никто не трогал. Вот, наверное, почему они на меня рассердились: боялись, что тайное станет явным. У хоккея проблем и так хватает, сказал мне потом Келли.

В раздевалке стоял телевизор, и на экране снова появился Микер — рассказать об основных событиях периода. Моего гола среди них не оказалось. Парни обменялись многозначительными взглядами, все сидели с такими лицами, будто показывали что-то очень грустное.

Когда пошла реклама, я спросил Фергюсона, не умер ли кто.

— Ты умер, балда,— ответил он.

— Перестань,— отмахнулся я.— Да почему? Неужели все так плохо? Ну, взъелся на меня Хауи Микер, и что с того?

— Это гораздо хуже, чем ты думаешь. Они сделают все, чтобы о тебе забыли. Никакой болтовни на радио, никаких ин-

[1] Антонен Арто (1896—1948) — французский писатель. *(Прим. перев.)*.

тервью по телевизору. В газетах о тебе станут писать как можно меньше, по возможности вообще будут молчать. А уж если напишут — только плохое.

— Это ничего,— философски сказал я.— К этому я привык.

В третьем периоде я, привычным способом просочившись сквозь их защиту, забросил победную шайбу, а журналисты даже не выставили мне высшую оценку за матч. Я челноком сновал по своему флангу, сталкивался с Кэшменом, стойко сносил его нападки — многие из них были вопиюще грубы и заслуживали наказания,— раз-другой и сам не остался в долгу. Кэшмен получил за матч высшую оценку, и Микер сказал по телевизору, что он был единственный из «Брюинзов», кто переиграл своего оппонента.

После матча мы с Фергюсоном посидели за пивом. Я пригласил и остальных, но желающих не нашлось.

— Ну, ты и вправду тупица,— весело сказал Фергюсон.— Это хоть тебе известно?

— Откуда я мог знать? — раздраженно огрызнулся я.

Получалось, правила игры знали все, кроме меня.

— Пойми, я не варился в этом котле, как все вы,— сказал я.— Просто смотрел хоккей по ящику, ну, и размышлял о том, что вижу. Откуда я мог знать... то есть вообще-то я не очень верю в то, что показывают по телевизору, но по крайней мере «Хоккейный вечер в Канаде» я принимал за чистую монету.

Фергюсон хмыкнул.

— Правила есть правила,— сказал он.— Никто, кроме тебя, и не думает, что они должны быть справедливыми.

— Хотел бы я знать, что это за правила,— пробормотал я не без горечи.

— В самом деле?

— Впрочем, не знаю,— признался я.— Наверное, куда интереснее посмотреть на боссов, которые их устанавливают.

Мне так и не удалось выяснить, кто эти боссы — ни в тот, ни в другие вечера сезона. Я продолжал играть в свой хоккей, выкладывался, но, как и предупреждали, пресса меня своим вниманием не баловала. За двадцать семь игр я забросил девять шайб, сделал пять голевых передач, и на следующий сезон меня снова пригласили на сборы, хотя к концу турнира я играл все реже и реже.

Когда я собирал свои вещи — пора домой,— ко мне подошли два наших шведа, сказали, что им было очень приятно играть рядом со мной, и пригласили летом приехать к ним в гости, в Швецию.

— Я ведь столько времени не писал,— ответил я.— Придется наверстывать упущенное. Можно сказать, мой сезон только начинается.

Сальминг ухмыльнулся — точно как в день моей первой игры.

— Понятно,— сказал он.— Какой резон ехать в Швецию, если тебя интересуют профи по части английского языка.

— Что-то в этом роде,— согласился я.

Он и Хаммерстрем вышли из раздевалки посмеиваясь. Они вовсе не были похожи на скандинавов, которых я знал по фильмам Ингмара Бергмана. Тут же паковал свои доспехи Фергюсон, и я пошел попрощаться с ним. Его сумка была полна книг, и он никак не мог распихать их среди хоккейного снаряжения. Наконец, он бросил эту затею, взял несколько книг под мышку и зашагал к двери. Потом обернулся.

— Летом тоже попробую что-нибудь написать,— сказал он.— Не против, если я кое-что тебе пришлю?

— Валяй,— согласился я.— Мой адрес у тебя есть?

— А как же.— Он улыбнулся.— Ну, до встречи. Держи форму.

— Ты тоже,— отозвался я.

Но говорил я уже с его тенью. Он исчез.

Лето промелькнуло как один день, и в середине сентября я снова катался на коньках и бросал шайбу с парнями из команды «Торонто мейпл ливз». Начался сезон, к декабрю на моем счету было четыре шайбы, столько же голевых передач, и я считал, что дела мои идут прилично.

А вот у команды дела шли не особенно. В своей подгруппе мы были на четвертом месте, и Боллард негодовал и возмущался так, что было слышно в Буффало.

Перед началом очередной тренировки — команда только что вернулась после удачной игры на выезде — в раздевалку вошел Кинг Кленси и объявил: Келли уволен, тренировать команду будет Джон Маклеллан. Через два дня Фергюсона «продали» в Питсбург «Пингвинам». А еще через день Маклеллан вызвал в свой кабинет меня.

— Брайан,— начал он,— я все обговорил с Джимом, и мы... мы...

Похоже, он не мог подобрать нужных слов.

— Нам кажется, что хоккей для тебя — не главное. Ты не катаешься...

— Я вообще не умею кататься,— вставил я, но он не обратил внимания.

— Мы хотим, чтобы ты повесил коньки на гвоздь.

— Да я, можно сказать, новобранец! — с жаром воскликнул я.

— Тебе тридцать один год,— сказал он,— и лучше играть ты уже не будешь. Микер еще жаждет твоей крови, и все громилы в лиге выходят играть против нас с одной целью — проломить тобой борт. Мы с Джимом прочли летом кое-какие твои стихи. Поверь, стихи ты пишешь лучше, чем играешь в хоккей. И незачем тебе распыляться.

Я повозмущался, покипел, но в конце концов с ним согласился. Сколько лет я еще смогу играть? Два, ну, три. А с поэзией у меня впереди еще лет сорок, и писать я буду не хуже, а только лучше. Да, мне будет недоставать любви болельщиков и внимания журналистов, хотя последним прекрасно удавалось меня не замечать. А вот без Торонто и его баров я как-нибудь проживу. Зато чего в моей жизни будет в избытке, так это рифмованных виршей — на наших университетских кафедрах английской литературы они так же низко-

пробны и конъюнктурны, как на рекламных щитах «Мейпл ливз гарденз», нравится мне это или нет. Ведь многие поэты просто прикидываются, будто им так уж безумно интересны цветы или пустынные земли; играй они в профессиональный хоккей — толку было бы больше. Но стоять перед Маклелланом навытяжку я не собирался.

— Вы правы,— сказал я.— Повешу коньки на гвоздь — сегодня же.

Что и было сделано. Я вышел в ту самую дверь, в которую когда-то вошел, сдал бело-голубой свитер с номером пятнадцать и оказался на унылых улицах Торонто, будто провел как во сне всего один день, а не год.

Через три недели из Атланты пришло письмо от Фергюсона. В нем оказалось стихотворение:

Пронизывает холод до костей
В Чикаго, Филадельфии, Детройте,
И северные ветры по ночам
Метут поземку прямо из Канады.
А на трибунах жаждут нашей крови,
Толпа ревет, кричит: «Давай! Давай!»
Рев этот холодней всего на свете.
А с тренерской скамьи одно и то же:
«Прими его к борту!», «Щелчок!»,
«Бросок!»
Но люди в масках стерегут ворота,
И мне «шлагбаум» ставит их защитник.

Опять сезон, опять коньки и клюшки,
Свистки судей и драки всей командой
Болельщикам на радость — кто кого.
И сердце будто шайба: стынет часто
И часто вне игры

И слишком часто
Его крадет ревущая толпа.

◆

## Советская литература за рубежом

### ФРГ

Научно-фантастические романы ДМИТРИЯ БИЛЕНКИНА. Издательство «Вильгельм Хайне».

Стихи и поэмы АЛЕКСАНДРА БЛОКА. То же издательство.

Повесть БОРИСА ВАСИЛЬЕВА «Не стреляйте в белых лебедей». Издательство «Вайсман».

Роман в письмах ВЕНИАМИНА КАВЕРИНА «Перед зеркалом». Издательство «Лухшерханд».

Роман-мечта АЛЕКСАНДРА КАЗАНЦЕВА «Купол надежды». Издательство «Вильгельм Хайне».

Сборник рассказов ВЛАДИМИРА МАКАНИНА. Издательство «Нойер Маликферлаг».

Повесть ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «Последний срок». Издательство «Фишер».

Повесть АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ «Второе нашествие марсиан». Издательство «Зуркамп».

Книга ВИКТОРА ШКЛОВСКОГО «Лев Толстой». То же издательство.

### ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Роман МАКСИМА ГОРЬКОГО «Мать». Издательство «Лидове накладателстви».

Повесть ДАНИИЛА ГРАНИНА «Обратный билет». Издательство «Одеон».

«Амурские сказки» ДМИТРИЯ НАГИШКИНА. Издательство «Правда».

Роман ГУРАМА ПАНДЖИКИДЗЕ «Год активного солнца». Издательство «Словенски списователь».

Роман ВАРДГЕСА ПЕТРОСЯНА «Крик немой горы». Издательство «Обзор».

Рассказы МИХАИЛА ПРИШВИНА. Издательство «Младе лета».

Роман СЕРГЕЯ САРТАКОВА «Свинцовый монимент». Издательство «Лидовэ накладателстви».

Повесть ГЕОРГИЯ СЕМЕНОВА «К зиме, минуя осень». Издательство «Альбатрос».

Повесть АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ «Пикник на обочине». Издательство «Младе фронта».

Сборник воспоминаний, статей, диалогов ВАСИЛИЯ ШУКШИНА «Вопросы самому себе». Издательство «Смена».

# К нашим иллюстрациям

## Нэцкэ

Нэцкэ, или нэцукэ, миниатюрные скульптуры из слоновой кости или дерева, давно уже стали своеобразным символом японского искусства. В давние времена они являлись непременным атрибутом японской одежды, неким прототипом современных брелоков, без которых невозможно было носить на кимоно, лишенном карманов, разные необходимые мелочи: ключи, кошельки, трубки, коробочки с косметикой или лекарствами. Через пояс кимоно продевался шнур, один конец шнура крепился к нэцкэ, другой — к кошельку или кисету, и «брелок» не давал им выскользнуть при ходьбе. Назначением определялся и размер нэцкэ — они не могли быть ни слишком маленькими, ни чересчур крупными. Для удобства заднюю сторону нэцкэ мастера часто делали плоской.

Как и многие другие формы традиционного японского искусства, нэцкэ восходит к китайской культуре. Резные фигурки, носившиеся у пояса и выполнявшие аналогичные функции, были известны еще в танском Китае. Японских берегов эта мода достигла к началу периода Эдо (1603—1868). Очень скоро нэцкэ из предметов повседневного обихода превратились в подлинные произведения искусства, приобрели неповторимые черты японской народной скульптуры. Ее особенности окончательно определились к середине XVIII столетия. Она имела свои строгие, установившиеся каноны. Так, известны три типа нэцкэ: «мандзю» (плоские и круглые с рельефным рисунком), «кагами-бута» (с металлической крышечкой), «катабори» (резные фигурки). К началу XIX века в Японии существует уже около двух десятков школ нэцкэ, наиболее знамениты из них Эдоская, Киотоская, Осакская, а также школы городов Нагоя и Цу (провинция Исэ). Со временем кроме слоновой кости и дерева в качестве материалов для нэцкэ стали использовать орехи, камни, рога, кораллы, черепаховые панцири. На ранних нэцкэ нет клейма мастера, эта традиция возникла гораздо позднее; иногда художник указывал даже свой возраст и место жительства.

Популярность нэцкэ в Японии пошла на убыль в конце прошлого века с проникновением в страну европейской одежды и западной культуры вообще. Японцы утратили интерес к забавным резным фигуркам, зато европейцы и американцы очень быстро оценили нэцкэ по достоинству, и к нашему времени большая часть произведений этой уникальной национальной скульптуры перекочевала в собрания иностранных коллекционеров.

На первой странице обложки — фотография нэцкэ «Коза», созданной одним из прославленных резчиков школы Цу Минко Танака (1735—1816). Этот мастер изображал почти исключительно животных, причем, как правило, фигурирующих в восточном календаре. Такие нэцкэ служили талисманами для людей, родившихся в соответствующий год двенадцатилетнего цикла.

На третьей странице — «Воробей», весьма распространенный сюжет у мастеров XVIII века. «Фукура-судзумэ», собственно говоря, означает «нахохлившийся воробышек», однако слово «фукура», написанное другими иероглифами, переводится также как «много счастья». Эта игра слов была весьма популярна в период Эдо, «фукура-судзумэ» называлась и женская прическа, и один из узлов на поясе кимоно. Нэцкэ «Воробей» — нечто вроде счастливого амулета. Она создана известным мастером Киотосской школы Масанао, который работал во второй половине XVIII столетия.

Необычайно популярный персонаж японского фольклора Тануки (традиционно этого зверька называют в русских переводах барсуком, хотя на самом деле это енотовидная собака) — тоже одна из традиционных тем нэцкэ. Тануки — создание озорное и коварное. Одна из его любимых шуток, если верить сказаниям,— надуть живот и ночью или в тумане колотить по нему лапами, чтобы одинокий путник испугался и сбился с дороги. Именно такой «Барсучий барабан» («Тануки-цудзуми») и вырезал из дерева мастер Кокэй (четвертая страница обложки). Кокэй, один из учеников знаменитого Минко Танака, работал в городе Цу в конце XVIII века.

Любопытный образец жанровой нэцкэ — «Рыбак с бакланом» (вторая страница обложки). С помощью баклана японские рыбаки в давние времена ловили (а кое-где ловят еще и сейчас) рыбу ночью: рыба подплывала к лодке, привлеченная светом факела или фонаря, и баклан выхватывал ее из воды. На этой работе нет клейма художника, однако по манере резьбы и сюжету можно определить, что нэцкэ создана на рубеже XVIII и XIX веков учеником мастера Киотоской школы Хидэмаса Тингэндо.

Нэцкэ — это целый мир, населенный мифическими персонажами и обыкновенными людьми, животными и растениями — как сказочными, так и реальными, это сочетание простоты и утонченности, практицизма и богатой творческой фантазии. Проникновение в этот мир позволяет лучше понять самую суть японского искусства в целом.

**Г. ЧХАРТИШВИЛИ**

# Среди книг

## Издано в СССР

### ЧТО НА ЗНАМЕНАХ?

**«Называть вещи своими именами: программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX в.» Составление, предисловие, общая редакция Л. Г. Андреева. Москва. «Прогресс». 1986.**

Процесс самосознания словесного творчества издавна идет рядом с процессом сочинительства как такового, но в XX столетии этот процесс приобрел и чрезвычайный размах — программы, лозунги, декларации возникают все в большем количестве — и, главное, появляются в новых формах. Подобно тому, как меняется художественный язык литературы, меняется и сама эстетика литературного манифеста. Утрачивая черты академической сдержанности, он обретает страсть, а иногда и ярость публицистической речи. Это легко почувствовать, обратившись к сборнику программных выступлений мастеров новейшей западноевропейской литературы. Можно рассуждать о мере полноты представленных позиций. Можно, сообразуясь с собственными пристрастиями, предлагать взамен одних документов другие. Можно, наконец, взвешивать достоинства и просчеты обширного справочного аппарата, но все это вопросы специфически профессиональные. А книга, составленная коллективом специалистов под руководством Л. Г. Андреева, имеет, я убежден, интерес для широкого круга читателей, так как отражает драму художественных идей нашего столетия.

С крайне агрессивных позиций выступают представители многочисленных школ модернизма. Ключевое понятие модернистского манифеста — отказ. Раньше чувство связи поколений давалось художнику так же естественно, как талант. У Стендаля в эссе «Шекспир и Расин» Романтик энергично атакует Академика — ревностного хранителя традиций классицистической драмы. Но что, собственно, становится предметом отрицания? — классицизм как норма, даже как догма. А творческая продуктивность века Просвещения остается для Стендаля несомненной. Уж на что непримирим был Золя, однако же и он признавал: «Романтическая драма—это первый шаг к драме натуралистической... Романтическая драма расчистила нам путь, она провозгласила свободу искусства»[1].

Модернисты разрушили психологический и эстетический механизм преемственности:

«Мы стоим на обрыве столетий!.. Так чего же ради оглядываться назад?.. Мы вдребезги разнесем все музеи, библиотеки... Слишком долго Италия была свалкой всякого старья. Надо расчистить ее от бесчисленного музейного хлама — он превращает страну в одно огромное кладбище»,— вот программа футуризма, провозглашенная Филиппо Томмазо Маринетти.

Впрочем, иногда модернисты все-таки оглядываются через плечо, но зачем? — просто затем, чтобы присвоить себе прошлое, деформируя его при этом до неузнаваемости. Так идеолог сюрреализма Андре Бретон находит черты этой системы у Свифта и Гюго, а Сальвадор Дали хочет опереться на Гомера, Фидия, Рафаэля, навязывая им роль провозвестников «антихудожественности».

Раньше в искусстве ценили идеал, видели в нем силу, возвышающую человека,— и потому полагали его ценности бесспорными.

Модернисты отказались от таких представлений. Бунт против традиции обернулся призывом к истреблению искусства как такового.

«Мир кончится не прекрасной книгой, но прекрасной рекламой для небес или для ада» (А. Бретон).

«Не родился еще тот писатель, который в один прекрасный день не испытал бы

[1] Э. Золя. Собр. соч. в 26-ти томах, т. 25. М., 1966, с. 437.

жгучей ненависти к слову» (М. Бонтемпелли, лидер итальянского «новочентизма», провозгласившего поход против психологизма в искусстве).

Раньше в искусстве видели отражение или преображение реальной действительности. «Только романтическая поэзия, подобно эпосу, может быть зеркалом всего окружающего мира, отражением эпохи»[1] (Фр. Шлегель).

Модернисты рвут эти связи, последовательно освобождая искусство от объективного содержания и обязательства перед жизненной правдой.

«Жизнь — это не серия симметрично расположенных светильников, а светящийся ореол, полупрозрачная оболочка, окружающая нас с момента зарождения сознания до его угасания. Не является ли все же задачей романиста передать более верно и точно этот неизвестный, меняющийся и неуловимый дух, каким бы сложным он ни был?» (В. Вулф).

«Я не собираюсь скрывать, что, по моему мнению, самым сильным является тот образ, для которого характерна наивысшая степень произвольности и который труднее всего перевести на практический язык» (А. Бретон).

Можно возразить, правда, что в некоторых своих вариантах модернизм, напротив, стремится к протокольной точности. Но что это за точность, что это за действительность, с которой хотелось бы слиться модернистскому искусству? Она полностью освобождена как от социальных закономерностей, так и от самого человека. «Человеческое, слишком человеческое»,— скептически повторял, вслед за Ницше, испанский философ и эстетик, автор «Дегуманизации искусства» Ортега-и-Гассет. Взамен — безумная скорость гоночного автомобиля, воспетая в манифестах футуризма, «кристальная объективность маленького фотоаппарата» (С. Дали), нагота экспрессионистской конструкции, в которой личности не находится места.

Само собой понятно, манифест — еще не литература, мера ценности того или иного направления в искусстве, того или иного художника — не то, что говорится *по поводу* книг, но сами книги.

Крупным мастерам доктрины тесны, и мастера-модернисты — не исключение. Джойсу была близка модернистская идея бесцельного круговращения истории, более того, он выразил ее с силой, недоступной никому из современников и последователей. Но программный субъективизм различных авангардистских школ был автору «Улисса» чужд, как чужды ему были сюрреалистические сновидения Бретона или «телефон, унитаз с педалью, белый эмалированный холодильник, биде, граммофон» — все то, в чем видел истину нового искусства С. Дали. Главное же — никому из тех, кто сделал имя Джойса своим знаменем, даже не снился масштаб задачи, которую поставил перед собой писатель,— показать «все во всем», то есть создать эпически завершенный образ мира.

Кафка разделял многие положения экспрессионизма, но в его гротесках сохраняется боль за униженного, раздавленного человека, совершенно незнакомая эстетике этой школы в ее канонической форме.

Нельзя, разумеется, отрицать и того, что Джойс и Кафка, Элиот и Паунд существенно обновили повествовательный и поэтический язык литературы XX века. Но ведь модернизм как направление стоит не на именах, не на индивидуальностях, он стоит как раз на программе, тиранически утверждающей свое превосходство. Свобода творческого самовыражения, которую экстатически провозглашали модернисты, то и дело оборачивалась казарменной дисциплиной. Бретон, по многочисленным свидетельствам очевидцев, проявлял совершенную нетерпимость к любым попыткам нарушения сюрреалистического стандарта. Модернисты хотели взорвать всю систему буржуазных ценностей, которые — ощущалось интуитивно — утратили жизненную почву, но били они вслепую, вызывающе отказываясь различать мертвое и живое. «Дадаизм...— по словам одного из его энтузиастов,— рвет на части все понятия этики, культуры и внутренней жизни». В итоге, иронически комментирует Б. Брехт, авангардисты освободились не от капитализма, а только от грамматики.

Но модернистов ждало еще более тяжкое разочарование: многие из вчерашних и сегодняшних бунтарей стали добычей массовой культуры. Субъективно это перерождение парадоксально, в иных случаях трагично; но есть в нем жесткая неизбежность, ибо, отказываясь от исторического взгляда на действительность, накапливая и реализуя лишь энергию разрушения, модернизм вырождается в моду. А мода — центральная опора массовой культуры.

В отличие от модернизма, реалистическое искусство заявляет о себе прежде всего творческими свершениями. Но, конечно, и позиций своих не скрывает, так что смысл противостояния двух направлений в искусстве XX века ясно виден и в соревновании программных выступлений.

Сразу же бросается в глаза, что, в отличие от тоталитарных амбиций модернизма, реализм отстаивает принципы художественной демократии.

«Реализм по самому своему существу совершенно демократичен. Менее всех других методов он позволяет делать из себя пропись для эпигонов»,— пишет Иоганнес Бехер. «Эпический театр» Брехта не отменил традиции Станиславского, «мифотворец» Томас Манн уживается с сугубым «бытовистом» Драйзером, лаконизм Хемингуэя совместим с эпическим размахом Ромена Роллана. Словом, то, что называют реализмом XX века,— это прежде всего чрезвычайное многообразие стилей, безграничный простор для индивидуальных решений. Но, конечно, и система тоже. Система, в основании которой лежит осознанное стремление выразить суть конфликтов эпохи, разумно объяснить ее, духовно выпрямить человека. Система, полагающая слово художника действенной силой преображения мира, согласно законам морали и справедливости. Короче, реализм — искусство гуманистическое, для него абсурдна сама постановка вопроса о *слишком* человеческом, ибо человечность границ не имеет

[1] Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980, с. 56.

В этой точке встречаются художники, различающиеся по политическим воззрениям, общественному темпераменту, не говоря уж об эстетических пристрастиях.

Митель де Унамуно и Петер Вайс — какие разные люди, какие разные писатели! Один — философ-интеллектуал. Другой — боец и общественник. Стихия одного — мягкая акварельная живопись, стихия другого — нервная графика. Однако через барьеры поколений и различий возникает перекличка во взглядах на искусство:

«Книга — хорошая вещь, но она хороша лишь тогда, когда сквозь нее, как сквозь протертую лупу, лучше видишь жизнь, а самое ее даже не замечаешь. А литература ради литературы, библиотечная алхимия, аптекарская тарабарщина школьных рецептов, понятная лишь посвященным,— как все это ничтожно» (М. де Унамуно).

«Писать сегодня книги или пьесы или создавать картины и думать, что можно держаться в стороне от конфликтов, которые разрывают мир,— это не только иллюзии, но намеренная слепота» (П. Вайс).

Такова суть реализма как метода: он непременно измеряет эстетику по шкале самой действительности. Хотя, разумеется, понимание последней порой очень неоднозначно.

Доверие к жизни порождает и доверие к искусству. Модернисты презрительно отворачиваются от традиции. Реалисты, даже самые отчаянные новаторы в их кругу, ее уважают. Неудивительно, что Барбюс видит Золя «не позади, а впереди» — автор «Огня» вырос на уроках классики. Но и Арагон, далеко ушедший как романист от Стендаля и Бальзака, говорит о «непрерывности движения в литературе и искусстве».

Составители сборника манифестов западноевропейской литературы поступили совершенно правильно, открыв его знаменитой горьковской статьей «С кем вы, мастера культуры?». Гражданское самоопределение было для художника важно всегда, а в конце нынешнего столетия оно стремительно возрастает в своем значении. Ибо мир сегодня и слишком ценен, и слишком непрочен, а судьбы его по-прежнему зависят в немалой степени от литературы — совести человечества. Анархическое своеволие модернизма оказалось бессильным ответить на вызов времени. Искусству реалистическому такая задача по плечу: оно уже не раз доказывало это, докажет, можно не сомневаться, и сейчас, в критический момент человеческой истории.

**Н. АНАСТАСЬЕВ**

## ПРИРОДА ЖИЗНЕБОЯЗНИ

**Мари-Луиза Омон. Губка. Дорога. Романы. Перевод с французского. Москва. «Радуга». 1985.**

О Мари-Луизе Омон заговорили во Франции после того, как за свой второй роман «Дорога» она получила в 1976 году литературную премию. Омон — бельгийка, однако с середины 50-х годов она живет во Франции, занимается журналистикой, пишет по вопросам педагогики, любит и Пруста, и «Трех мушкетеров» Дюма, исследует роль телевидения в современном мире, увлекшись уже имеющими почтенную давность теориями Маклюэна. Успех третьего романа «Губка» (1980) упрочил литературную репутацию автора и показал возможности ее творческого развития.

Теперь наш читатель сам может оценить достоинства прозы Омон, тем более что русский перевод «Дороги» и «Губки», выполненный молодыми переводчицами Т. Ворсановой и М. Архангельской, искусно отразил стилистические особенности ее письма. От Пруста Омон позаимствовала распространенный ныне во французской прозе стиль повествования от первого лица, когда позиции повествователя и автора сближаются порою до предела тождественности, свидетельством чему в «Губке» оказывается принципиальная безымянность героини, вязкость взгляда, пристрастного к деталям вещного и психологического мира, мосты воспоминаний, переброшенные к событиям детства. Однако в философском плане связь с Прустом не так уж глубока, мозаика субъективных истин не увлекает писательницу. Почва действительности не колеблется у нее под ногами, а, напротив, укреплена верой в возможность познания мира с помощью социально-психологического анализа, что, безусловно, сближает Омон с традициями реалистического романа.

В прозу Омон нужно вчитаться. Поначалу особенно «Дорога» может показаться довольно скучной и монотонной вещью. Какое, собственно, нам дело до мелких, микроскопических забот героини с ее заурядным благополучием и благомыслием? Самохарактеристика героини представляется вполне исчерпывающей: «Я женщина уважаемая, у меня есть профессия, имя, семья, маленький дом с палисадником». Она не отмечает разве что своей особенной чувствительности, роднящей ее с прустовским повествователем, она способна приходить в смятение по, казалось бы, ничтожному поводу, что раздражает читателя до тех пор, пока он не обнаруживает: чувствительность героини постепенно превращается в романе в необходимый прием остранения, позволяющий писательнице показать обыденный мир своих персонажей в достаточно «свежем» ракурсе.

Вот тогда все и становится на свои места, а точнее, все начинает, напротив, смещаться. Упорядоченность жизни, протекающей у героини в трех разграниченных мирах (автобус, работа, дом) и монотонно повторяющейся изо дня в день, отсутствие друзей и детей, неглубокие отношения с милым, но, по сути дела, никаким мужем — все это не триумф размеренности жизни, но мания дублирования, столь ярко выраженная в смене домашних собак, носящих одно и то же имя; но осмысленно выбранная жизненная позиция, продиктованная, если хотите, глухим отчаянием. Откуда же оно взялось — это глухое отчаяние, когда внешне все так прилично и мило, когда рядом Париж, когда до старости еще далеко и вроде есть еще силы?..

Но сил-то как раз и нет, они все ушли на борьбу с тем несколько странным недугом, которым поражены основные герои Омон и который оказывается их «семейной болезнью». Этот недуг иначе и не назовешь, как ж и з н е б о я з н ь ю.

Жизнебоязнь возникает рано, в юности, когда и героиня «Дороги», и повествователь «Губки», популярный актер, каждый по-своему, но очень отчетливо постигают, что «на свете счастья нет», жизнь полна болезненных превратностей, хрупка и конечна. И вот тогда, постепенно, герои Омон начинают воздвигать вокруг себя настоящие оборонительные сооружения, копать рвы, обособляющие их от людей, способных причинять страдания, прятаться в домашних крепостях за семью замками. Их старания сначала успешны, тем более что это крепости-невидимки, а обособление маскируется формами привычной вежливости, автоматизмом и заданностью жизненной роли. Так, героиня «Дороги» выбирает для себя идею покоя и порядка, а Франсуа Кревкёр из «Губки» — целый калейдоскоп ролей и масок, скрывающих его истинное лицо. Но метаморфозы ролевого сознания оказываются опасны для человеческой личности. Трудно провести границу между стражем порядка, которым желает быть героиня, и рабой порядка, в которую она рискует превратиться. Что же касается Кревкёра, то речь здесь не столько о профессиональной «болезни» актера, который на сцене зачастую оказывается куда более интересным и находчивым, чем в жизни, сколько о растворении самой личности в череде перевоплощений. Вот почему он так боится театральных концепций, требующих самовыражения актера; наученный быть только «губкой», сам по себе он может выразить лишь пустоту.

Жизнебоязнь — это не только болезнь существования, но и социальный недуг, порожденный, в случае с Кревкёром, историческими обстоятельствами еще в юности, когда бомбили родной Льеж. Кревкёр ощутил свою беспомощность как перед бомбами второй мировой войны, так и перед семейными драмами, вызванными беспутством отца, для которого адюльтер стал наваждением, в конечном счете замучившими мать до смерти. Измена мужей, подстерегающая стареющих жен, оказывается и навязчивой темой «Дороги»; несчастные женщины исповедуются перед повествовательницей, их диковинная фанаберия, вызванная семейным разладом, пугает ее, но и феминистский экстремизм показан ею с очевидной иронией. Однако все эти женщины: и феминистки, и брошенные жены, и сама повествовательница буквально трепещут перед собственным начальником из Центра по документации. Машинистке мсье Мартино необходимо отлучиться в клинику в рабочее время — а это очень сложно. Женщины организуют целую операцию «по спасению» отлучившейся. Машинистка не находит в себе сил объясниться с начальником; вместо этого она записывает жалобу на магнитофонную ленту: «Вы стали прислушиваться к моей пишущей машинке и приравняли меня к ней... Но я вам никогда не прощу, что вы заставили меня печатать на машинке в том самом ритме, в котором заставляли работать несчастных рабочих, стоявших у конвейера сто лет назад». Поражает, однако, не столько жалоба, сколько то, что машинистка, которой Мартино как-то преподнес серебряный браслет (а тот звенит, как погремушка, и по этому звуку «вы уже научились... распознавать, в каком месте комнаты я нахожусь и что именно делаю»), как зачарованная носит этот браслет: ее ненависть к шефу переплетается с мазохистской преданностью. Развязка этого производственного конфликта весьма неординарна. Одна из сотрудниц, оставшаяся для читателя темной лошадкой, не вынеся издевательств шефа над машинисткой, стреляет в него. Этот внезапный театральный жест в книге психологически оправдан весьма слабо. Любопытно, впрочем, что серьезно раненный Мартино вызывает немедленное сочувствие женщин, а сама секретарша, придя в себя после обморока, вызванного выстрелом, по мнению повествовательницы, «будет лить горькие слезы над тем, кого отныне станет называть «этот бедный мсье Мартино»...

Выстрел, однако, пробуждает от летаргии саму героиню, которая после него «впервые ощутила потребность быть вместе со своими коллегами и в самом деле чувствовала себя с ними заодно». Правда, в отличие от них она против примирительных жестов, и ее восхищает, что даже после выстрела у стрелявшей «был вид мстительницы». Плодом этого пробуждения и явилось повествование, включившее в себя самоанализ и самооценку героини, постигнувшей и сущность своего эскапизма, и неоправдавшую себя философию порядка. Вопрос лишь в том, понимает ли повествовательница, а вместе с нею и автор, что подобная философия отражает не только частный случай жизнебоязни, но и свидетельствует о сильной инерции социального конформизма, сводящей практически на нет всякие попытки сопротивления. Пройдет «больной день», и порядок возродится: «Мсье Мартино вскоре вернется на свое место к своим обязанностям, а Натали Бертело будет казаться, что печатать всю жизнь по пятьдесят страниц в день — это совсем немного, чтобы искупить поступок Мари».

Кровавой развязкой заканчивается и роман «Губка»; ее смысл аналогичен (идея пробуждения героя), но в психологическом плане эта развязка выглядит, несмотря на всю свою чудовищность, более убедительной. После гибели жены Кревкёр больше не может и не желает «убедительно» умирать на сцене (он был большим специалистом по умиранию). Вместо этого он выступает в символическом моноспектакле, который, в сущности, происходит на метафизическом уровне повествования и значим прежде всего тем, что позволяет герою определить свое отношение к миру. Здесь важно то, что в борьбе с воображаемым быком Кревкёром движет не ненависть, а совершенно противоположное чувство: «Мне не было страшно. Помню, что я прошептал какие-то слова, очень ласковые... это были слова Франциска». Однако обращение к миролюбивым заветам святого вызвало ярость «утонченных, пресыщенных парижан», жаждавших крови: «Повинуясь

чужой воле, я вонзил шпагу в горло быка...»

Это был окончательный крах актера, который, бросая Париж и театр, возвращается в Льеж, где его, собственно, никто и ничто не ждет. Финал невеселый, но необходимый, чтобы обрести собственное лицо, утраченное в бегстве от себя настоящего. Драма эскапизма и стала основным предметом художественного исследования в обоих романах бельгийской писательницы.

**ВИК. ЕРОФЕЕВ**

## *Издано за рубежом*

### АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОШЛОГО

**Gilles Lapouge. La Bataille de Wagram. Paris, 1986.**

**Жиль Лапуж. Ваграмская битва. 1986.**

Историческая тема переживает сейчас во французской художественной литературе настоящий бум, почти как в эпоху романтизма. И, естественно, критики ведут оживленный спор о причинах массового «возвращения» исторического романа. Бертран Пуаро-Дельпеш склонен объяснять это явление стремлением уйти от современной действительности. Жером Гарсен тоже ставит на первое место желание читателей спастись от треволнений современности. Бернар Пиво ищет причины популярности исторического романа в попытках компенсировать тривиальность и негероичность современной эпохи героическими историями прошлого. Жиль Анкетиль видит в историческом романе смесь экзотики с дидактикой.

Однако большинство критиков придерживаются противоположной точки зрения. Так Пьер Гамарра, Клод Прево, Андре Даспр, Пьер Анкель, Марк Бертран и многие другие исследователи, изучавшие этот вопрос, сходятся во мнении, что исторический роман представляет собой в первую очередь определенный способ реконструкции прошлого с целью изучения настоящего и воздействия на процессы, происходящие в современном мире. Одним из аргументов в пользу этого тезиса является и роман Жиля Лапужа.

Думаю, что Жиль Лапуж просто органически не может не говорить о настоящем, даже если и обращается к историческому сюжету. Порукой в том может служить его сорокалетняя практика журналиста, причем журналиста нелицеприятного.

Для писателя Жиля Лапужа с его острым восприятием современности исторический роман становится формой ее осмысления. Это подтверждается, в частности, и его прекрасной книгой «Живущие на экваторе» (1977), рассказывающей о Бразилии, стране, где Лапуж провел три года — с 1950-го по 1953-й в качестве журналиста и которую он посетил вновь в 70-е годы. По мнению ряда критиков, это вообще лучшая книга из всех, когда-либо написанных о Бразилии.

События, описанные в романе «Ваграмская битва», начинаются в 1797 году, а завершаются в 1809-м. Сначала мы знакомимся с профессором естественных наук Шварцбродом, странным, рассеянным, застенчивым человеком, отличающимся нелепой, грубой, почти устрашающей внешностью, которая, однако, скрывает нежную и миролюбивую натуру. Именно с описания внешности профессора роман и начинается. Описание блестящее, исполненное тончайшего, в диккенсовской традиции, юмора.

А чтобы читатель уверился в реальности образа Шварцброда, автор тут же ссылается на мнение о нем маленькой стендалевской графини Пьетранеры, которую читатели знают преимущественно как герцогиню Сансеверину из «Пармской обители». В других эпизодах романа читатели могут встретить еще несколько знакомых лиц, например князя Андрея Болконского, причем вместе с его антагонистом Анатолем Курагиным. Персонажам романа случается рассуждать о Суворове, Кутузове, Наполеоне... Писатель, обладающий помимо острого взгляда еще и культурой страстного библиофила, вводит нас в милый его сердцу мир классики, попутно рисует исторические события, чтобы читатель отчетливо представлял себе общий контекст эпохи, а уже после всего этого выводит на сцену главных героев — студента-ботаника Отто Апфельгрюна и княгиню Клеменцию Саксен-Зальцскую.

Симпатичному, застенчивому и наивному шалопаю, любимцу девушек Отто Апфельгрюну было мало дела до величия Австро-Венгерской монархии, а поскольку он не слишком враждебно относился к Вольтеру и Руссо и порой, особенно после нескольких стаканчиков вина, становился дерзок на язык, то рано или поздно с ним должна была случиться какая-нибудь неприятность. Ведь события происходили в стране, где, по ироническому замечанию Шварцброда, даже музыкальные ноты находились под строгим надзором. Например, до, ре, ми и соль считались благонадежными, относительно фа шли споры, а в отношении диезов и бемолей существовало твердое мнение, что они настроены революционно, а может быть и «проякобински». Однажды Отто имел неосторожность неодобрительно отозваться о наследнике престола. Пришлось посидеть в тюрьме, выйти из которой ему удалось только благодаря обязательству завербоваться в армию.

Так сугубо штатский юноша превратился в лейтенанта кирасирского полка, подаренного Клеменции ее мужем, князем Эрнстом Саксен-Зальцским. Князю, кроме того, принадлежит еще гусарский полк в Саксонии, и поэтому, как шутили злоязыкие, княжеской чете совсем не обязательно устраивать семейные сцены в спальне, все проблемы супружеской жизни решаются путем соперничества на поле боя, где можно манипулировать живыми «деревянными солдатиками».

Порочной привычкой воевать чужими руками в книге Лапужа наделены многие. В первую очередь она, естественно, подобает царствующим особам. Например, Луиза Мекленбургская, королева Пруссии, «мечтала о войне так же страстно, как любящая женщина мечтает о теле возлюбленного». Не чураются военных развлечений и лица духовного звания. Аббат Талер, один из знакомых Отто Апфельгрюна, испытывает необыкновенное наслаждение при виде страшных катастроф и, по словам писателя, для удовлетворения своей войнолюбивой ностальгии предал бы пламени и залил бы потоками крови всю Европу. Ядовито высмеивает писатель шизофрению милитаристов в лице отставного генерала Байтзау. Генерал поражен шпиономанией и истерической способностью в любой опасности, даже во время войны Австрии с Наполеоном, видеть «угрозу с Востока».

Заблуждениям войны, заблуждениям неистинной жизни автор противопоставляет реальную жизнь и вечную мудрость природы. Природа у Лапужа очеловечена. Когда она видит, что на земле наступило временное перемирие, то расцветает весна. А это дает читателю возможность ознакомиться с образцами стиля Лапужа-лирика. «Лес украсился созвездиями глянцевых, смолистых почек, сверкающих, как свечки, при появлении малейшего солнечного луча. В один прекрасный день весь склон горы стал зеленым. От ив исходил запах меда. По полям рассеивали свою желтую, как у мимозы, пыльцу одуванчики. Возле бурлящих потоков начали округлять свои купы белые кусты, похожие на пену, так что хотелось на них подуть».

Несчастье Отто заключалось в том, что слишком многим людям хотелось видеть его «солдатиком» и делать войну его руками: и герцогине Гертруде, и аббату Талеру, и князю Саксен-Зальцскому, а поначалу — пока любовь и сострадание в корне ее не изменили — даже Клеменции. Недолго счастье было их уделом. Узнав об измене жены, князь перевел Отто в свой саксонский гусарский полк, а Саксония в 1806 году превратилась в союзницу Наполеона, и поэтому в Ваграмской битве, которая дала название роману и произошла 6 июля 1809 года, полк голубых саксонских гусар, принадлежавший князю Саксен-Зальцскому, сошелся в смертельной схватке с полком белых австрийских кирасир, принадлежавших ему же. Битва происходила около деревни Дейч-Ваграм, всего в тридцати километрах к северу от Вены, и поэтому австрийский высший свет собрался на одной из загородных вилл и наблюдал за ее ходом в бинокли и подзорные трубы. Таковы привилегии сильных мира сего. Но то, что для них было игрой, для Отто стало смертью. На последних страницах романа описываются его гибель и скорбные блуждания Клеменциии по полю, где накануне шел бой и где она пытается, сама полумертвая от изнеможения, разыскать среди груды трупов убитого возлюбленного.

В основу романа лег реальный исторический факт, зафиксированный в «Мемуарах» французского генерала Марбо. Лапуж лишь слегка изменил имя князя, владельца полков. Роман Лапужа — откровенно антивоенный, его мораль у всех на виду. Бывает, однако, что морализаторство нейтрализует нравственный урок. В этом отношении «Ваграмская битва» — счастливое исключение. Роман предстает как одно из самых нравственных произведений современной французской литературы. И одно из самых актуальных, несмотря на историческую тему.

**В. НИКИТИН**

## НА ПРЕДЕЛЕ ВЫМЫСЛА

**Tom Sharpe. Wilt on High. London, Secker and Warburg, 1984.**

**Том Шарп. Уилт на пределе. 1984.**

Том Шарп — один из ярких представителей сегодняшней сатирической прозы Англии, пишущий в традиции буффонады и гротеска, восходящей к Свифту и Смоллету. Изобретательные и остроумные сюжетные ходы, точность детали, живой диалог, мастерство портрета — всегдашние «козыри» английской сатиры — в полной мере присущи его творческой манере. В гротескной форме писатель высмеивает крайности, нелепости поведения и мышления, уродливые нравы, порождаемые косной реакционностью потомственных английских аристократов, цепляющихся за отжившие идеалы, снобизм, корыстолюбие и ханжество среднего класса, тупость судей, коррупцию и бюрократизм чиновников, махинации политиков.

В рекламных аннотациях, выдержки из которых обычно печатаются на обложках английских изданий романов Шарпа, его называют «самым блистательным после Во юмористом». Именно так можно выразить общее мнение рецензентов по поводу последнего романа «Уилт на пределе» (1984), составившего вместе с другими — «Уилт» (1976) и «Выбор Уилта» (1979) — своего рода трилогию. Сравнение с классиком английской литературы лестно и во многом справедливо, но и опасно, если не ограничиваться пышными эпитетами, а, как призывал Козьма Прутков, смотреть в корень.

В советской критике уже справедливо отмечалось, что в произведениях Шарпа «нет положительных героев», но есть персонажи, которым автор симпатизирует [1]. Именно таков Уилт. Интеллигент, преподающий литературу в колледже, он любит книги и мечтает о затворничестве в сельской глуши, но все получается иначе. Обывательские, преступные и политические страсти, кипящие в провинциальном городке, где живет Уилт, нарушают его покой. В предыдущих романах носителями этих страстей были полицейские, давно считающие Уилта закоренелым и дьявольски хитрым преступником, ускользнувшим от правосудия, и террористы международного масштаба, квартировавшие в его доме, где они устроили склад оружия. На сей раз Уилта подозревают в распространении наркотиков, от злоупотребления которыми в колледже умерла одна из его учениц, дочь местного лорда. Инспектор Ходж организует за Уилтом не-

[1] См.: «Современная художественная литература за рубежом», 1980, № 1.

отступную слежку, в результате чего происходят совершенно невероятные события.

Шарп — мастер занимательного сюжета, под его пером возникает невообразимая, трагикомическая ситуация, раскрывающая, однако, вполне реальные, типичные пороки общества: взаимное недоверие, подозрительность, отчужденность и патологическая шпиономания. Ее жертвой и оказывается Уилт. Желая подработать, он читает лекции по литературе служащим американской военной базы. Полиция, следящая за Уилтом, устанавливает в его машине скрытый передатчик и магнитофон. Американцы обнаруживают их с помощью приборов на контрольно-пропускном пункте базы и полагают, что Уилт — советский шпион. Майор Глосхоф, отвечающий за безопасность на территории базы, начинает операцию по обезвреживанию «вражеского агента». Бредовые идеи майора порождают столь же бредовые поступки как его самого, так и его подчиненных; в результате часть военнослужащих базы, жена одного из генералов и Уилт подвергаются газовой атаке, после которой у них мало шансов выжить. Но Уилт остается жив и тут же попадает на допрос к Глосхофу. Тот прямо грозит пустить ему пулю в лоб, если не узнает, на кого Уилт работает, а затем решает выудить из него информацию с помощью своей помешанной на сексе жены-алкоголички.

Эта часть романа написана явно в духе «армейских» фарсов Ивлина Во (трилогия «Меч почета»), хотя в целом творчество Шарпа дает мало оснований говорить о прямом влиянии классика. У Во «дубиноголовое» британское командование, военная бюрократия не способны вести боевые действия против фашистов: бесцельно перемещая войска по всей стране для якобы новых секретных операций, они фактически лишают их возможности воевать. Страдают они и шпиономанией — так, агенты британской контрразведки умудряются заподозрить в главном герое, Краучбеке, шпиона, неверно истолковав подслушанный ими телефонный разговор. Американские вояки Шарпа столь же «дубиноголовы», но сегодня иные времена — у подобных людей, ослепленных бредовыми идеями, дает понять автор, в руках смертоносное оружие, которое они готовы пустить в ход по любому поводу.

Сопоставление выявляет и различие в художественном уровне творчества двух писателей. Оно прежде всего в силе и глубине сатирического обличения и обобщения. Во изображает гротескные типы, порожденные британской армией и имперским духом завоевания (таков, например, генерал Ритчи-Хук); Шарп же, хотя это уже одиннадцатый по счету его роман, не поднялся пока, как представляется нам, выше уровня язвительной карикатуры, рисуя то недалеких полицейских, то озлобленных обывателей или маньяков из американских спецслужб. Надо признать все же, что этим приемом писатель владеет блестяще и добивается вполне убедительного сатирического эффекта.

Однако, беспощадно изобличая всевозможное зло, царящее в современном мире, художник, кажется, не видит силы, способной ему противостоять, и, похоже, сильно сомневается в успехе такого противостояния. Это придает его сатире апокалипсический оттенок, что и подтверждается финалом романа.

Жена Уилта Ева узнает, где находится ее муж, и вместе с Мэвис Моттрам, возглавляющей женский комитет «Матери против бомбы», устраивает у ворот базы демонстрацию протеста в присутствии представителей прессы и телевидения. Американцы отвечают газовой атакой. В дальнейшем, чтобы замять скандал, командование приказывает вывезти Уилта с территории базы на вертолете. Поднимаясь в воздух, он видит картину, символизирующую для Шарпа современный мир: военная база словно концлагерь, где все слепо исполняют любые приказы, а у ворот ее — горстка протестующих, которые ничего не могут изменить.

Уилт лишний раз убеждается, что мир — «сумасшедший дом», где жить нормально уже нельзя. Постоянно сталкиваясь в романах трилогии с этим порочным миром, герой остро чувствует фальшь окружающей жизни. Он в равной степени отвергает и махровый консерватизм реакционеров, и сексуальную распущенность воинствующих леваков, и парламентскую демагогию, создающую лишь видимость демократии, но ничего не может противопоставить многоликому злу. Видимо, такова в сущности и позиция самого Шарпа, что ослабляет порой сатирический эффект его романов, заставляет примиренчески решать конфликт героя с окружающим миром, как подтверждают произведения писателя начала 80-х годов «Грехи предков» (1980) и «Старомодный хлам» (1982), уже рецензировавшиеся в нашей критике.

Однако самое, может быть, главное заключается в том, что романы Шарпа никогда не бывают скучны — писатель разит общественное зло оружием смеха, заставляя читателя взглянуть на жизнь критическим оком. А это уже немало.

**А. ШИШКИН**

◆

# Из месяца в месяц

## БОЛГАРИЯ

### МУЗЕЙ МОЗАИКИ

**В центре города Девня недавно открылся первый в Болгарии Музей мозаики, сообщает газета «Отечествен фронт». Построенное по проекту архитектора Камена Горанова, необычное по форме, красивое здание сооружено на частично уцелевшем античном фундаменте римского жилища конца третьего — начала четвертого века, входившего в черту древнего Марцианополя.**

**В цокольном этаже здания, в той естественной среде, где мозаики были найдены, экспонируются наиболее сохранившиеся из них, представляющие, по мнению специалистов, исключительную художественную и историческую ценность (мозаики с изображениями Зевса, Антиопы, Ганимеда, Медузы Горгоны), а также материалы раскопок — керамика, часть стенописи, предметы быта, монеты, украшения.**

**На первом этаже систематизированы фрагменты мозаик из других мест древнего римского города. Второй этаж музея отведен экспонатам, рассказывающим о жизни современной социалистической Девни.**

## ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

### «ДИККЕНС: ИНТЕРВЬЮ И ВОСПОМИНАНИЯ»

**Личность писателя не всегда бывает столь же интересна читателям, как и созданные им творения, считает составитель двухтомника «Диккенс: интервью и воспоминания» профессор Филип Коллинз. Однако юбиляр Чарльз Диккенс (сто семьдесят пять лет со дня его рождения исполняется 7 февраля 1987 года), по мнению Ф. Коллинза и тех, кому посчастливилось знать романиста при жизни, — исключение из общего правила.**

Чарльз Диккенс (1860-е годы). Редкий снимок работы Джона Уоткинса.

**Щедро одаренный от природы, обладавший поистине невероятной энергией, Чарльз Диккенс проявил свою одаренность не только в литературе. Он был хорошим актером, первоклассным чтецом собственных произведений, увлеченным издателем, вдохновенным оратором... Все эти, как, впрочем, и другие стороны его многогранной личности, отмечается в аннотации издательства «Макмиллан», отражены в книге, подготовленной Ф. Коллинзом.**

**Известный литературовед Филип Коллинз, пишет рецензент «Санди таймс» Ч. Рикс, готовил эту книгу в общей сложности двадцать лет, работая в архивах, терпеливо подбирая биографические материалы (некоторые из них публикуются впервые).**

**«В Диккенсе писатель и человек столь нераздельно слиты, что невозможно понять одного без другого»,— любил повторять Джон Форстер. Вдохновленный словами первого биографа Диккенса, Филип Коллинз поставил себе сложную задачу: сделать достоянием и специалистов, и самой широкой публики уникальные архивные материалы, воспоминания близких, друзей, коллег - писателей, художников, в частности иллюстраторов Диккенса. Особенно яркие строчки писем и дневниковых записей вынесены в заголовки материалов: «Диккенс, он поистине поразителен» — воспоминания знаменитого английского актера Уильяма Макреди; «Непереносимо вульгарен»— строка из письма автора «Ярмарки тщеславия» матери (хотя в книге есть и восторженные суждения Теккерея о Диккенсе). «Вульгарен, но и трагически глубок», — так отзывались о Диккенсе Томас и Джейн Карлейли. «Я любила его за его недостатки», — вспоминает дочь писателя Кейт Перруджини. «Человек с железным стержнем в душе, но**

Карикатура на Ч. Диккенса, выполненная Андре Жилем (1868).

*(Иллюстрации из книги Ф. Коллинза)*

и самый мягкий из всех встречавшихся мне» — вот суждение одного журналиста, современника Диккенса.

В книге Ф. Коллинза, подчеркивает рецензент «Бритиш бук ньюс», сталкиваются разные, часто противоречащие друг другу суждения, мнения, оценки, но именно в этом и заключается достоинство труда Ф. Коллинза. Рецензент с похвалой отзывается об иконографическом материале книги. Наряду с известными портретами Диккенса (работы Д. Маклиза и С. Лоуренса) есть и редкие (например, фотография, выполненная Джоном Уоткинсом, известным фотографом того времени).

Опубликовал Ф. Коллинз и редкую карикатуру на писателя, отметив, что Диккенс — человек легкоранимый, самолюбивый, вспыльчивый — не просто любил эту карикатуру Андре Жиля, но и гордился ею.

Со страниц книги Филипа Коллинза, полагают рецензенты, во всей полноте встает фигура Диккенса — «необычного гения», как назвал его один американский журналист.

## ВЕНГРИЯ

Венгерский скульптор, лауреат премии Кошута Миклош Боршош ознаменовал свое восьмидесятилетие новой крупной работой, сообщает журнал «Уй тюкёр». В июне 1986 года на полуострове Тихань состоялась торжественная церемония открытия нового творения мастера — бронзовой фигуры женщины, олицетворяющей эхо, на природной каменной глыбе. Бела Кёпеци, министр культуры Венгрии, в своей речи на церемонии открытия отметил выдающийся вклад М. Боршоша в национальную культуру, гуманистический характер его творчества; в частности, он сказал: «Главное в искусстве — призыв людей к общению. Этой цели и будет служить прекрасная скульптура Миклоша Боршоша «Эхо».

*(Журнал «Уй тюкёр»)*

## ГДР

### ЛАТЫШСКИЕ ДАЙНЫ НА НЕМЕЦКОМ

«Успех, равного которому еще не было в истории перевода латышской народной поэзии», — так характеризует рецензент газеты «Нойес Дойчланд» Гундега Зеехауз выход в свет антологии латышских дайн «Пять сундуков с песнями» (берлинское издательство «Рютген унд Лёнинг»).

«Это была отважная попытка,— подчеркивает Гундега Зеехауз, — ведь в 1905 году латышский писатель Рудольф Блауманис заявил: «Переводить латышскую народную поэзию — адский труд, дайны же и вовсе непереводимы».

«Очарование латышского эпоса — и главная трудность для переводчиков — в его сложном метрическом строении. Ритм, благозвучие дайн основываются на множестве языковых и стилистических средств, прежде всего на сложной системе ударений внутри строк, — отмечает Г. Зеехауз. — Просто удивительно, как точно удалось переводчице Аннемари Бострём, не владеющей латышским языком, передать эту специфику».

## ЕГИПЕТ

### ОБРАЗЫ ЕГИПЕТСКИХ ЖЕНЩИН

Литературовед Фавзия Ашмави-Абузейд опубликовала книгу «Женщина и современный Египет в творчестве Нагиба Махфуза». В книге рассматриваются образы трех героинь романов известного египетского писателя — женщин, принадлежащих к различным классам общества. Это Нафиса из трилогии «Бейн аль-Касрейн» — представительница мелкобуржуазной среды (писатель показывает жизнь представителей этого класса в период между двумя мировыми войнами), Нур — «женщина из рабочей среды, которую нищета вынуждает стать проституткой», и, наконец, Зухра из романа «Мирамар» — молодая крестьянка, которой удается вырваться из тисков нужды и невежества после революции 1952 года.

В исследовании Ф. Ашмави-Абузейд, отмечает обозреватель журнала «ИБЛА», показано, как египетская женщина пытается приспособиться к современным условиям жизни, как меняется ее облик по мере развития общества, в котором она живет.

Значительная часть книги посвящена также биографии и творческому пути Нагиба Махфуза.

## ИНДИЯ

### ФЕСТИВАЛЬ В КАЛЬКУТТЕ

В последнее время, особенно после конференции, прошедшей в 1985 году в Агре, активизировалась деятельность Ассоциации народного театра Индии (ИПТА)— организации, которая сыграла заметную роль в борьбе индийского народа за независимость на всех этапах.

Еженедельник «Нью эйдж» публикует обширную статью о состоявшейся в Калькутте трехдневной конференции Ассоциации индийской народной культуры (ИПКА) — организации штата Западная Бенгалия, которая примыкает к ИПТА.

Докладчик — президент ИПТА, известный поэт урду Кайфи Азми — отметил, что двери организации открыты для всех, кто искренне желает посвятить свое искусство народу, осуществлению его чаяний.

На заключительном заседании были приняты резолюции в поддержку борьбы за мир и солидарность с борющимися народами Никарагуа и Намибии. Президентом организации избран известный деятель индийской культуры Хеманго Бисвас.

В дни работы конференции в Калькутте проводился фестиваль народной культуры. Перед делегатами и гостями конференции выступили калькуттский молодежный хор под руководством Румы Гухи Тхакурты, профессиональные и самодеятельные певцы, чтецы и танцоры. Звучали стихи и песни на стихи великого Тагора и поэта-революционера Шуканто Бхаттачарджо, песни, зовущие к борьбе за мир и социальную справедливость.

Кульминацией фестиваля стал спектакль по пьесе Чандана Сена «Идущие на битву», повествующей о восстании бенгальских рыбаков в эпоху средневековья.

## ИРЛАНДИЯ

### ПИСЬМА ЙЕЙТСА

Уильяму Батлеру Йейтсу было двадцать два года, когда он писал Кэтрин Тайнен о своем намерении создать «школу ирландской поэзии, которую станут питать ирландская мифология и история, школу, которая положит начало неоромантизму». Как отмечает Шеймас Дин в «Таймс литерари сапплмент» (статья критика посвящена выходу в свет первого тома одиннадцатитомного собрания писем поэта), Йейтс постоянно напоминал читателю, что он — «ирландский поэт». Англия была для него олицетворением пороков современной цивилизации, меркантилизма, бездуховности. Он стремился вернуть ирландской куль-

туре ее исконный, гармоничный народный характер. Родоначальник и главный вдохновитель ирландского Возрождения, Йейтс был убежден, пишет Шеймас Дин, что национальный характер ирландца «неразрывен с вековечной мудростью народа, с легендами и мифами, он может и должен выстоять в современном обществе, проникнутом торгашеским духом».

В первый том (составитель и редактор собрания писем — Джон Келли) вошли письма, относящиеся к 1865—1895 годам, причем половина из них опубликованы впервые.

Йейтс верил в читателя, который пойдет за ним, «мистиком, отвергшим церковь», как он сам назвал себя в одном из писем 1891 года; он верил, что образованные, культурные ирландцы, носители национального духа, смогут вернуть простым людям чувство собственного достоинства, их литературу, их историю. Одним из злейших «врагов» Йейтса был дублинский Тринити-колледж, в котором преподавание велось только на английском языке. «Окончив этот колледж,— писал Йейтс, — наши интеллигенты превращаются в читателей «Айриш таймс». Тринити — цитадель смерти в нашей стране».

В первом томе писем, естественно, много адресатов, много имен, но подлинный, главный герой их, подчеркивает рецензент, — ирландский читатель, тот идеальный читатель, о котором мечтал Йейтс.

## ИСПАНИЯ

### «ЛОРКА, СМЕРТЬ ПОЭТА»

Так будет называться многосерийный телевизионный фильм, который снимает известный испанский режиссер Хуан Антонио Бардем. Создатели фильма, пишет мадридская газета «Паис», хотят за пять часов экранного времени рассказать нам всю биографию великого поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки. В интервью «Паис» режиссер заявил, что задумал воссоздать образ Лорки, не избегая спорных вопросов, касающихся его личной жизни и его политических убеждений. «Я должен рассказать о жизни Лорки так, как я ее вижу, ибо это жизнь поэта, тесно связанного со своим временем, не стоявшего в стороне от политики, в чем его многие до сих пор обвиняют», — сказал Бардем.

Первая из четырех серий фильма будет посвящена детским и юношеским годам поэта. Маленького и юного Федерико будут играть гранадские школьники Эдуардо Пуэртас и Рикардо Хименес. Вторая и третья серии посвящены поре творческой зрелости поэта, четвертая воссоздает последние дни жизни Лорки. Перед зрителями, по словам «Паис», предстанет панорама испанской культуры 20—30-х годов: объединение молодых поэтов в группу, получившую название «Поколение 27 года», театральная жизнь того времени, обстановка в Мадридской студенческой резиденции, где под одной крышей жили, учились, творили те, кому суждено было внести весомый вклад в мировую культуру XX века. Героями фильма станут поэт Хосе Бергамин, кинорежиссер Луис Бюнюэль, актриса Маргарита Ксиргу, художник Сальвадор Дали.

В фильме будет занято 211 исполнителей, среди них известные испанские актеры Ампаро Баро, Мария Луиса Понте, Фернандо Чичарро и другие. Особенно трудно, по словам Бардема, было найти исполнителя роли Лорки. Нужен был актер, незнакомый испанскому зрителю. Выбор пал на англичанина Николаса Грейса, поразительно похожего на гранадского поэта.

«Паис» пишет, что, закончив съемки в Гранаде, творческая группа отправится в Мадрид, а затем в Нью-Йорк. Еще не выбрано место, где будут сниматься сцены гибели поэта. Пока ясно одно: это не будет подлинное место трагедии — граница между селениями Виснар и Альфакар. Из многочисленных версий гибели поэта выбрана та, которую изложил в своей книге «Гранада 1936. Убийство Федерико Гарсиа Лорки» ирландский исследователь Ян Гибсон (он вместе с Х. А. Бардемом и М. Камусом является автором сценария). В фильме будет показана прямая причастность франкистов к убийству поэта.

Х. А. Бардем с восьмилетним Рикардо Хименесом — исполнителем роли Лорки.

*(Газета «Паис»)*

Газета рассказывает и о предыстории создания этой телевизионной ленты. Бардем предполагал приступить к работе над ней еще в 1979 году. Сейчас он с горечью вспоминает о препятствиях, встававших на его пути из-за равнодушия людей, от которых зависела судьба фильма, — равнодушия не только к самому фильму, «но и к подлинной истории испанского народа, которой он посвящен».

Кадр из фильма «Лорка, смерть поэта».

*(Газета «Паис»)*

## МАВРИКИЙ

### ЦЕНТР ИНДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В столице острова Маврикий Порт-Луи по инициативе Национального института индологии учрежден Центр изучения индийской культуры. Одна из газет Порт-Луи — «Уик-энд мэгэзин» — посвятила этому событию ряд статей, в которых подчеркивается исторический вклад Индии в формирование креольских национальных традиций и языка острова. В Центре имеется библиотека, насчитывающая около 3000 томов и различных периодических изданий на языках хинди, креольском, французском и английском, которая дает возможность ближе познакомиться со всеми отраслями науки и искусства Индии, с ее прошлым и настоящим. Особое значение придается культуре народа бходжпури, населяющего штат Бихар, что лежит в долине Ганга (отсюда прибыли на Маврикий большинство первых колонистов). Центр призван сохранить диалект бходжпури, возродить народные песни, танцы и художественные ремесла бихарцев. «Многонациональное наследие наших предков велико, и мы должны непрестанно развивать его», — сказал, выступив на открытии Центра, президент Маврикия Вирасами Рингаду.

## ПОЛЬША

### «В ГДАНЬСКЕ — ТОПОРИАДА»

Так названа статья критика Ежи Пельтца об XI Всепольском фестивале художественных фильмов, опубликованная в еженедельнике «Культура». Заголовок статьи не случаен. «Гран-при» фестиваля присужден фильму Витольда Лешчиньского «Топориада», снятому по повести Эдварда Стахуры. Гданьский фестиваль всегда вызывает горячие споры, и этот год не был исключением. Е. Пельтц использовал оригинальное заглавие повести и фильма только для того, чтобы рассказать о «баталиях» на фестивале (без них дело не обошлось, хотя критики единодушно признали, что «черная полоса» для польского кино кончилась). А «Топориада» Стахуры и Лешчиньского — это суровый рассказ о бегстве героя из города, о его жизни среди лесорубов. В общении с природой, с простыми, часто наивными, но добрыми людьми молодой человек пытается побороть душевный разлад, избавиться от предчувствия неизбежной беды.

Кадр из фильма В. Лешчиньского «Топориада».

*(Журнал «Экран»)*

Особенностью XI фестиваля стало значительное количество экранизаций литературных произведений. Из 28 представленных на конкурс фильмов 16 сняты по романам и повестям таких известных писателей, как Э. Ожешко («Над Неманом»), Я. Ивашкевич («Зигфрид»), П. Гоявичиньская («Девочки с Новолипок»), М. Кунцевич («Чужеземка»), Ст. Дыгат («Боденское озеро»). Эти фильмы Е. Пельтц называет «золотой серией».

Доказательством высокого уровня представленных на конкурс фильмов может служить тот факт, что лент, достойных наград, оказалось больше, чем... самих наград. Так, без приза остался фильм Магдалены Лазаркевич «Путем прикосновения», получивший высокую оценку критики; обойденным сочли критики фильм Я. Заорского «Боденское озеро», получивший «Гран-при» («Золотой леопард») на кинофестивале в Локарно (Швейцария).

Призерами XI Гданьского кинофестиваля стали фильмы: «Топориада» В. Лешчиньского («Золотые гданьские львы»), «Чужеземка» Р. Бера (специальный приз жюри), «Герой года» Ф. Фалька, «Любовники моей мамы» Р. Пивоварского (обе ленты получили «Серебряных гданьских львов»), «Зигфрид» А. Домалика («Бронзовые гданьские львы»).

Награду за лучшую женскую роль получила Э. Вишневска (фильм «Чужеземка»). За две лучшие мужские роли в фильмах «Боденское озеро» и «Большой пробег» приза удостоен Кш. Печиньский.

## США

### «ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ»

Во время гражданской войны в Испании 1936—1939 годов в рядах республиканской армии против сил франкистов, поддерживаемых фашистскими режимами Италии и Германии, в составе интернациональных бригад вместе с советскими добровольцами были французы, англичане, поляки, югославы и американцы. О том, как сражались американские добровольцы в Испании, рассказывает выпущенная издательством Невадского университета книга Марион Мерримэн и Уоррена Леруда «Американский командир в Испании: Роберт Хейл Мерримэн и бригада имени Авраама Линкольна».

Герой документального рассказа — молодой преподаватель экономики Калифорнийского университета Роберт Мерримэн — со своей женой Марион отправляется в 1935 году на исследовательскую работу в Москву. Мерримэн, побывавший во многих странах Европы, понимает, что над миром нависла угроза фашизма, остро осознает необходимость дать ему отпор. Поэтому, когда в Испании вспыхивает фашистский мятеж, он уезжает туда и в феврале 1937 года становится командиром батальона американских добровольцев, получившего название бригады имени Авраама Линкольна.

Батальон Мерримэна участвует в тяжелых схватках с превосходящими силами франкистов. Американцы, не имеющие опыта ведения боевых действий, часто проигрывают сражения. Тем не менее они упорно сопротивляются врагу и порой наносят ему ощутимые удары. Но силы слишком неравные — в битве при Белчите (1938) обескровленный батальон разбит. Мерримэн пропал без вести.

Книга, написанная Марион Мерримэн в соавторстве с журналистом Уорреном Лерудом, рассказывает о короткой жизни Роберта Мерримэна, отдавшего жизнь в борьбе с фашизмом. В издании использован богатый фактический материал. Это прежде всего воспоминания самой Марион, которая нелегально перешла границу, чтобы попасть в Испанию, к раненому мужу. Приведены и дневниковые записи Роберта Мерримэна, которые он передал жене при последнем их свидании, фронтовые корреспонденции Эрнеста Хемингуэя в газету «Нью-Йорк таймс». Кроме того, в книге представлены воспоминания оставшихся в живых бойцов бригады имени Линкольна.

Рецензент газеты «Вашингтон пост» Бернард Нокс, сражавшийся в составе французского батальона в Испании, назвал эту кни-

гу «замечательным портретом интеллектуала, который проявил достойное подражания мужество и недюжинные способности в военном деле». А известный экономист и публицист Джон Кеннет Гэлбрейт, учившийся вместе с Мерримэном в университете, назвал книгу «историей жизни и смерти первого героя второй мировой войны».

## ФРАНЦИЯ

### МАСТЕР «АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО» РОМАНА

**Имя Франсуа Нуриссье стало известно французским читателям в 1951 году, когда вышел его первый роман «Мутная вода». В начале нынешнего года издательство «Сток» вновь опубликовало это произведение, и одновременно в издательстве «Грассе» появилась новая книга писателя «Праздник отцов». Это дало французской критике повод для ретроспективного анализа творчества Нуриссье. «Автобиографические произведения, созданные Франсуа Нуриссье за тридцать пять лет, составляют правдивую хронику человеческой жизни и целой эпохи» — таково мнение парижского журнала «Магазин литтерер». Автор рецензии на роман «Праздник отцов» известный писатель Ален Боске также отмечает, что Нуриссье не чувствителен к соблазнам модных тем, языкового экспериментаторства, психоаналитического анатомирования. «Его ум, культура, совесть, его богатый внутренний мир дают ему достаточно пищи для разговора с читателями», — пишет в «Магазин литтерер» А. Боске. В самом деле, и «Мутная вода», и другие книги, такие как «Мелкий буржуа», «Французская история», «Хозяин дома», «Взрыв», создали Нуриссье репутацию подлинного мастера «автобиографического» романа. Из этого ряда выделяется лишь роман «Призрачное царство» (1981). Это вымышленная история, и, рассказывая ее, Нуриссье даже сменил свои обычно приглушенные словесные краски на яркие тона. Отвечая на вопрос корреспондента «Магазин литтерер», чем объяснить и ту перемену, и нынешний возврат к прежнему жанру в «Празднике отцов», писатель сказал, что «Призрачное царство» — первый и не последний его опыт в области, так сказать, «чистого» романа. «Праздник отцов» — это, по его словам, передышка: «Я позволил себе вновь заговорить своим голосом: ведь писать в первом лице несравненно легче». «Когда я захотел рассказать об отношениях с собственными детьми, — продолжает Ф. Нуриссье, — я сделал это в «Мелком буржуа» и в «Музее Человека». Что же касается «Праздника отцов», и здесь много от моего личного опыта: в первую очередь убежденность в том, что раны, наносимые друг другу детьми и родителями, намного болезненнее любых других». В центре новой книги — отношения поколений, рассказ о неизбежном конфликте зрелости и юности. «Это не исповедь, не признание, — говорит автор, — я рассказываю здесь о себе самом, каким я мог бы быть. Если бы был лет на десять старше... Если бы попал в такую ситуацию...»**

О премьере спектакля «Жизнь Клары Гасуль» в постановке Альфредо Ариаса, состоявшейся в Театре Коммуны в Обервильё, сообщает журнал «Нувель обсерватёр».
Молодой Проспер Мериме, бредивший Испанией, выпустил в 1825 году сборник небольших пьес, выдав их за перевод с испанского. На титульном листе стояло имя Клары Гасуль, на обложке красовался ее портрет: это был сам Мериме, закутанный в мантилью...
Коллектив Театра Коммуны, отмечает журнал «Нувель обсерватёр», показал в новой постановке лучшие пьесы Мериме — «Семья Карвахаля», «Женщина — это дьявол», «Африканская любовь» и «Карета святых даров». Клара Гасуль не только «автор», но и героиня маленьких шедевров Мериме. В этой роли с успехом выступила актриса Марилю Марини.
На снимке: Марилю Марини в роли Клары Гасуль.

*(Журнал «Нувель обсерватёр»)*

## ФРГ

### «МОМО НА ЭКРАНЕ»

**Повесть-сказка Михаэля Энде «Момо» уже много лет фигурирует в списках бестселлеров страны. Сравниться с ней по своей популярности может лишь «Бесконечная история» того же автора (см. «ИЛ», 1984, № 7). Сейчас на экраны страны вышел фильм «Момо» совместного производства Италии и ФРГ.**

Сказка повествует о борьбе храброй девочки-сироты Момо с коварными и страшными Серыми господами — «ворами времени», которые стремятся продлить срок своей жизни за счет людей. В человеческом сердце цветет цветок — «золотой купол времени», рассказывает Энде. Именно за ним охотятся Серые господа, которые курят сигары, скрученные из листьев Цветка Времени, и этим живут. Без сигар они тают, исчезают, как призраки. С помощью старого Хранителя Времени Секундуса Минутуса Хора и черепахи Кассиопеи после многих приключений Момо удается победить опасных врагов.

Много лет назад, когда книги Михаэля Энде еще не были столь популярными, писатель предложил этот сюжет телевидению, но желающих снять фильм тогда не нашлось, и автор в 1973 году сделал из сценария детскую повесть. Успех ее превзошел все ожидания. К настоящему времени, пишет журнал «Шпигель», тираж немецких изданий «Момо» составил 1,6 миллиона экземпляров, книга переведена на 25 иностранных языков. Именем Момо называют детей и домашних животных, есть даже молодежные кафе «Момо».

**«Это уже не детская книга, — пишет в газете «Франкфуртер альгемайне» критик Уве Витшток, — «Момо» стала «культовой» книгой».**

**«Некоторое время назад,— отмечает У. Витшток, пытаясь разобраться в причинах этого своеобразного феномена, — на стенах домов можно было прочесть лозунг: «Власть — фантазии...». Похоже, многие из тех, кто хотел когда-то переделать мир, решили теперь оставить эту трудную задачу своим детям. Утомленным, разочарованным взрослым детство всегда представлялось оплотом неиспорченной человечности. Когда кажется, что ты сам уже не в силах справиться с обступающими тебя проблемами, самый простой выход — передоверить все детям, их естественности... Распрощавшись с политикой, отвернувшись от истории, постаревшие бунтари ждут, что какое-нибудь прелестное, неиспорченное существо вроде Момо сумеет расправиться со злом».**

При таком успехе может показаться странным, что книга столь долго ждала экранизации. Объясняется это сложными отношениями Михаэля Энде с кинематографистами. Нашумевшая экранизация «Бесконечной истории» вызвала у автора такой протест, что он потребовал снять свое имя из титров.

На этот раз, пишет журнал «Шпигель», Михаэль

Кадр из фильма «Момо».

*(Журнал «Шпигель»)*

**Энде нашел подлинного единомышленника в лице режиссера Иоганнеса Шаафа. В результате возник фильм, «полный жизненной силы и фантазии», который, по словам рецензента Урса Йенчи, иногда «заставляет вспомнить Феллини».**

**Открытием постановщика стала исполнительница главной роли, десятилетняя франкфуртская школьница Радост Бокель, которая внесла в фильм много «тепла, очарования и прекрасной детской серьезности».**

## ШВЕЦИЯ

### «КУСТ СИРЕНИ»

**Издательство «Арбетаркультур» выпустило к юбилею известного советского поэта Арсения Тарковского (р. 1906 г.) сборник его стихов «Куст сирени».**

**«Тарковский — наследник традиций русской классической поэзии. Отличительная черта его поэтического мира в том, что здесь все взаимосвязано и все находится в непрерывном движении — человек, природа, вселенная», — отмечает обозреватель журнала «Бонньерс литтерера магазин» Стефан Скугелин. В книгу, представленную шведскому читателю, вошли стихотворения, написанные за полвека. С. Скугелин напоминает о малоизвестном факте биографии поэта — его литературный дебют состоялся в 20-е годы в газете «Гудок», где сотрудничал также Михаил Булгаков, но первый свой сборник стихов А. Тарковский выпустил лишь в 1962 году, и это объясняется, пишет обозреватель, необычайно высокой требовательностью поэта к собственному творчеству.**

**Составитель и переводчик сборника Пер-Арне Бодин пошел по линии наименьшего сопротивления, замечает С. Скугелин, — он сделал подстрочный перевод стихов. И хотя ритм и высокие музыкальные качества оригинала оказались утраченными, тем не менее, считает рецензент, шведского читателя ждет интересная встреча с русским советским поэтом.**

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
**Н. Т. ФЕДОРЕНКО**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**О. С. ВАСИЛЬЕВ** (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. С. ПЕРЕХВАТОВ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев**. Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 27.11.86. Подписано в печать 14.01.87. А. 08309. Формат 70×108 1/16
Печать высокая 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч.-изд. л. 28,28.

Тираж 465 000 экз. (1-й завод: 1 — 415 000 экз.). Зак. 4221.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

МАСАНАО. «Воробей».

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394